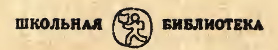

С. А. ЕСЕНИН

ИЗБРАННОЕ

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

С. Есенин

(1895—1925)

С. А. ЕСЕНИН

ИЗБРАННОЕ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

Р2
Е 82

Текст печатается по изданию:
С. А. Есенин. Собр. соч. в 6-ти томах.
М., «Художественная литература», 1977—1980 гг.

Составление, вступительная статья
и комментарии
Ю. Прокушева

Художник
О. Рытман

Е $\frac{4702010200-276}{028 (01)-85}$ 91-85

ЖИВАЯ ДУША РОССИИ

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Есенин. 1914 г.

Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть,—
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

Есенин. 1924 г.

Тысяча девятьсот шестнадцатый год. Выходит первая книга мало кому известного двадцатилетнего рязанского поэта Сергея Есенина — «Радуница»...

Тысяча девятьсот двадцать пятый год. Выходит «Русь советская» — одна из последних книг поэта, близкого и родного всей России!

Эпиграфы — из этих книг. Разделяет их — десять лет! Казалось, что они могут значить, заключать в себе существенного по сравнению с вечностью.

Оказывается, многое. Тут все зависит от масштабности, социальной значимости событий, происходящих в данное время, данную эпоху; от исторической прозорливости, степени талантливости художника, народности его творчества.

Александр Блок однажды справедливо заметил, что гений — всегда народен.

В поисках истины он может заблуждаться, ошибаться, отрицать самого себя, вчерашнего, сжигать за собой мосты, для возврата в прошлое, уничтожать свои рукописи, как это делал далеко не один великий Гоголь.

Гений не может одного: изменить своей Родине, своему народу, даже в самые драматические и трагические дни. На него каждый раз возлагается священная миссия: быть совестью и пророком своего времени, врачевателем, летописцем народной души.

Судьба гениального поэта России — Сергея Есенина — блистательное тому подтверждение. В его стихах и поэмах есть и беспощадный нравственный счет к своим ошибкам и заблуждениям, и кричащие противоречия, отражающие объективные противоречия самой действительности, равно как и субъективные противоречия во взглядах самого поэта.

Нет во всем творчестве Есенина, его жизни, гражданской позиции одного — ухода, отстраненности от самых жгучих, самых животрепещущих, самых сложных социально-классовых, политических, моральных, нравственных, этических проблем, которые встали перед Родиной поэта, его народом в годы революции.

Ныне становится все очевиднее, что Есенин, находясь в постоянных тревожных раздумьях о будущем крестьянской Руси, был предельно обеспокоен завтрашним днем всего человечества. Ему, как когда-то Льву Толстому из Ясной Поляны, из своего «знаменитого села» Константинова зримо открывался и проглядывался до самых дальних далей весь современный окружающий его мир, в вечном борении человеческих страстей, непримиримости добра и зла, света и тьмы, богатства и нищеты — мир, охваченный революционной Октябрьской бурей.

Только поэт, которого до глубины души, столь нераздельно и постоянно, волновала и красота родных «рязанских раздолий», и судьба «Руси крестьянской» в революции, и будущее всего «шара земного», мог создать «Инонию» и «Сорокоуст», «Пугачева» и «Страну негодяев», «Москву кабацкую» и «Персидские мотивы», «Русь советскую» и «Письмо к женщине», «Песнь о великом походе» и поэму «Ленин», «Капитана земли» и «Балладу о двадцати шести», «Черного человека» и «Анну Снегину».

А лирико-философские стихи Есенина! Такие, как «Не жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила роща золотая...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Жизнь — обман с чарующей тоской...», «Цветы мне говорят — прощай...» и другие. Сколько в них самого сокровенного, есенинского, лично пережитого поэтом, и одновременно сколько общечеловеческой доброты и сердечного тепла, которого ныне так явно не хватает на нашей планете.

Все очевиднее становится сегодня непреходящее значение и самобытнейшего прозаического наследия Есенина, его юношеской повести «Яр», рассказов «У Белой воды», «Бобыль и Дружок», очерка «Железный Миргород», его автобиографической, критической, эпистолярной прозы.

Художественный мир Есенина-прозаика романтически-эмоционален, драматичен, афористичен в слове, языке. Проза поэта, как правило, предельно открыта, обнажена в показе картин народной жизни.

Не только в стихах, но и в прозе Есенин стремится заглянуть в завтрашний день человечества. «Пространство будет побеждено, и в свой творческий рисунок мира люди, как в инженерный план, вдунут осязаемые грани строительства. Воздушные рифы глазам воздушных корабельщиков будут видимы так же, как рифы водные. Всюду будут расставлены вехи для безопасного плавания, и человечество будет перекликаться с земли не только с близкими ему по планетам спутниками, а со всем миром в его необъятности». Это было сказано в... 1918 году.

* * *

Сергей Есенин новаторски дерзко вписался в сложнопротиворечивую, героическую, революционную новь России:

Сойди, явись нам, красный конь!
Впрягись в земли оглобли.
. . . .
Мы радугу тебе — дугой,
Полярный круг — на сбрую.
О, вывези наш шар земной
На колею иную.

(II, 65) [1]

Сергею Есенину было предназначено Историей, Временем вместе с первопроходцами советской поэзии — Владимиром Маяковским, Александром Блоком, Демьяном Бедным — рассказать о рождении и утверждении на Земле Человека нового, революционного мира, а вместе с тем, одновременно, сказать решительное нет — «черному человеку» — черным силам зла и бездуховности.

Первопроходцам — всегда трудно, первопроходцам революции, обновляющим мир, возрождающим в человеке все Человеческое,— особенно. Против них весь, до зубов вооруженный, старый бесчеловечный мир. В самые трудные, в самые тяжелые для революции дни, в самые драматические часы жизни, когда, казалось, невозможно найти ответа на мучительно неотступный вопрос: «Куда несет нас рок событий?» — главная боль, главная дума Есенина о судьбе Родины:

---

[1] Здесь и далее произведения Есенина цитируются по изданию: Есенин С. А. Собр. соч. в 6-ти томах. М., Художественная литература. 1977—1980.

Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, песий лай.
(II, 126)

Преодолевая голод, холод, разруху, разгромив белогвардейщину и интервентов, Россия выстояла и победила в революции. Правда революции становится правдой поэта:

Но Россия... вот это глыба...
Лишь бы только Советская власть!
(III, 128)

Мировое значение Есенина, действенная сила его народной поэзии определяется прежде всего тем, что он сумел понять, осмыслить философски и раскрыть художественно величайшее историческое значение Октябрьской революции, открывшей народам мира путь к духовному возрождению Человека.

Одним из первых в мировой поэзии именно Есенин рассказал об исторически закономерном пути трудового крестьянства к берегу пролетарской революции.

Большевики-ленинцы, те, кто в эпоху Октября олицетворял все истинно человеческое и революционное в русском народе, становятся для Есенина идеалом прекрасного, идеалом Человека. Поэт жадно тянулся к ним, вначале больше стихийно, чем сознательно («Говорят, что я большевик. Да, я рад зауздать землю...»); несколько позднее он пробивался к ним настойчиво «в развороченном бурей быте», а затем, и это было главным, он рассказал о них в своих историко-революционных поэмах и стихах...

Чем сильнее, глубже в стихах чувство Родины, чем ярче и определеннее в них национальное начало, тем они общечеловечнее, а значит — ближе народам других стран и наций.

Проникнутая душевностью, предельной искренностью, добротой, чувством постоянного беспокойства за судьбу не только своих соотечественников, но и людей других стран и наций, поэзия Есенина активно живет и действует в наши дни, помогая сохранению мира во всем мире.

Я думаю:
Как прекрасна
Земля
И на ней человек.
И сколько с войной несчастных
Уродов теперь и калек!

И сколько зарыто в ямах!
И сколько зароют еще!
И чувствую в скулах упрямых
Жестокую судорогу щек.
(III, 54)

Эти строки Есенина могли бы, по праву, стать эпиграфом ко всем есенинским стихам и поэмам.

* * *

Народный поэт Есенин — наш живой современник. За последние четверть века шесть раз, «космическими» для поэзии тиражами, от пятисот тысяч до двух миллионов, выпускались собрания сочинений Есенина. Добавим к этому сотни отдельных изданий поэта в нашей стране и за рубежом. Приобрести эти издания, как правило, бывает почти невозможно. Расходятся они, обычно, в считанные дни.

Стихи Есенина кровно близки нам, нашему времени. Они затрагивают самые насущные, самые коренные, глобальные проблемы нашего времени. Каких бы глубинных проблем современной народной жизни, сегодняшней действительности мы ни коснулись, мы убеждаемся, что одним из первых, в свое время, о многих из них думал, размышлял Есенин; размышлял со светлой надеждой и верой в будущее России, порой мучительно тревожно и драматично вглядываясь в лицо своего противоречивого времени.

Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд?

А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
. . . .
Хорошо им стоять и смотреть,
Красить рты в жестяных поцелуях,—
Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя.
(II, 71, 72)

Кто сегодня не знает этих пронзительных стихов, впервые прозвучавших в русской поэзии еще в начале двадцатых годов. Чью душу и сердце не заберет в полон романтически-прекрасный образ красногривого жеребенка, трагически-беззащитного перед железной силой века? Могут ли эти стихи, наполненные великой сыновней любовью к родине, ко всему живому на земле, оставить кого-нибудь равнодушным? Нет! И еще раз нет!

Неумолим ход времени, ход истории и прогресса. Есенин-поэт чувствует это эмоционально, психологически значительно острее многих литераторов своего поколения. В одном из писем, относящихся к осени 1920 года, он рассказывает: «Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно, и что же. Видим, за паровозом что есть силы скачет маленький жеребенок... Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. *Конь стальной победил коня живого* (курсив мой.— *Ю. П.*). И этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни...» *(VI, 99)*.

На глазах у поэта умирала старая, патриархальная Русь. Что придет ей на смену? Что ждет Россию в будущем? Сумеют ли люди будущего сохранить красоту природы? А значит — и себя, и весь род человеческий!

Тревожны раздумья поэта...

Его стихи, прежде всего, обращены к современникам, к их сердцам и душам, к их разуму, но еще больше они обращены к нам, в завтрашний день человечества.

Истинная поэзия всегда с заглядом в будущее. То, что в ней художественно, философски общечеловечно, со временем, «на расстоянии» становится очевидным для всех: либо общей радостью и долгожданным озарением, либо общей болью, тревогой и заботой. Так и с есенинским «красногривым жеребенком», со стихами поэта, наполненными живой красотой русской природы, которая, по существу, уже со времени Есенина становилась все более беззащитной перед натиском стального коня. В самом деле: кажется, время сняло вопросы, столь драматично прозвучавшие в есенинском «Сорокоусте». И да, и нет! Судьба патриархальной Руси решена, притом — окончательно и бесповоротно. Она стала Русью советской, социалистической. А глубинная проблема «Сорокоуста»: защита живой красоты природы — этого драгоценнейшего и святого дара Земли — не только осталась, но со временем — заострилась. Более того — ныне она стала всемирной, касается всех и конечно же каждого из нас.

Вот почему стихи о красногривом жеребенке будут, несомненно, волновать и тех, кто придет за нами. По праву можно сказать: *это — стихи века*. Их пророческий пафос ныне особенно очевиден!

* * *

Для Есенина Природа — это вечная красота и вечная гармония мира. Нежно и заботливо, без какого-либо внешнего нажима, природа врачует людские души, снимая напряжение неминуемых земных перегрузок. Именно так воспринимаем мы стихи поэта о родной природе; именно так возвышенно-просветленно и благостно воздействуют они на нас.

Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси?

Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.

(1, 251)

Поэт как бы говорит всем нам: остановитесь хотя бы на мгновенье, оторвитесь от нашей повседневной «суеты сует», посмотрите вокруг себя, на окружающий нас мир земной красоты, послушайте шелест луговых трав, песнь ветра, голос речной волны, посмотрите на утреннюю зарю, возвещающую рождение нового дня, на звездное ночное небо... Живые, трепетные картины природы в стихах Есенина не только учат любить и хранить мир земной красоты. Они, как и сама природа, способствуют формированию нашего миросозерцания, нравственных основ нашего характера и, более того, нашего гуманистического мировоззрения.

Вспомним такие, ныне широко известные стихи поэта, как «Черная, пóтом пропахшая выть!..», «Гой ты, Русь, моя родная...», «Край любимый! Сердцу снятся...», «Разбуди меня завтра рано...», «Я по первому снегу бреду...», «Я покинул родимый дом...», «Песнь о хлебе», «Низкий дом с голубыми ставнями...», «Несказанное, синее, нежное...», «Мелколесье. Степь и дали...» и многие, многие другие. Или такие стихи, как «Табун», «Корова», «Лисица» и особенно «Песнь о собаке». Они ведь не столько о меньших братьях Человека, сколько о нем самом, его порой бездуховной жестокости и нравственном падении. Сегодня, когда тысячи беззащитных животных погибли от руки человека навсегда, когда многие другие занесены в «Красную книгу»,— стихи Есенина о природе и человеке, их высокий гуманистический настрой нам особенно близки и дороги.

Мир человека и мир природы в поэзии Есенина един и неделим. Отсюда половодье чувств и мудрость мысли, естественная их слитность, сопричастность в образной плоти стиха; отсюда прозрение, нравственная высота есенинской философской лирики.

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым,
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.
. . . .
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
(I, 188—189)

Поэт прекрасно осознает, что отстранение человека от природы, а тем более конфликт с ней, приносит обществу непоправимый моральный урон и нравственный ущерб. Потому-то Есенин столь открыто и бескомпромиссно встает в стихах на защиту красногривого жеребенка. Потому-то, будучи за границей в 1922—1923 годах, поэт столь остро почувствовал бездуховность Запада, беззащитность человека и природы, особенно в Америке, где всемогущий «бог» — доллар и бизнес.

Вместо наших глухих раздолий,
Там, на каждой почти полосе,
Перерезано рельсами поле
С цепью каменных рек — шоссе.
И по каменным рекам без пыли,
И по рельсам без стона шпал
И экспрессы и автомобили
От разбега в бензинном мыле
Мчат, секундой считая доллар,
Места нет здесь мечтам и химерам,
Отшумела тех лет пора.
Все курьеры, курьеры, курьеры,
Маклера, маклера, маклера.
. . . .
На цилиндры, шапо и кепи
Дождик акций свистит и льет.
Вот где вам мировые цепи,

Вот где вам мировое жулье.
Если хочешь здесь душу выржать,
То сочтут: или глуп, или пьян.
Вот она — мировая биржа!
Вот они — подлецы всех стран.

(III, 128—129)

Это сказано поэтом в 1923 году! Мне довелось побывать в США полвека спустя. Казалось, стихи Есенина написаны сегодня, настолько они современны. Истинный поэт — всегда пророк!

* * *

Огромен диапазон мыслей и чувств, заключенных в тех стихах поэта, где природа едва ли не основной главный герой. При этом не перестаешь удивляться, как меняются краски, картины природы, масштабность виденья поэтом вечно изменяющегося мира, наконец, выразительнейшая метафорическая образность стиха, от движения времени, истории, от нравственных, социальных, классовых, политических бурь и потрясений на его родной земле, с его родным народом.

Понакаркали черные вороны:
Грозным бедам широкий простор.
Крутит вихорь леса во все стороны,
Машет саваном пена с озер.

Грянул гром, чашка неба расколота,
Тучи рваные кутают лес,
На подвесках из легкого золота
Закачались лампадки небес.

(II, 16)

Это 1914 год, начало первой мировой войны. Миллионы могильных холмов — таков горький траурный след этой войны на русской земле. Война ускорила революционное обновление России.

О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная стень.

(I, 138)

И еще более определенная гражданская позиция поэта — его отношение к революции. Все в мире, включая и природу, видится поэту теперь сквозь призму вселенских масштабов.

Небо — как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя — родина.
Я — большевик.

(II, 48)

Это весна революции: семнадцатый — восемнадцатый год.

Наступают тяжелые, трудные будни революции. Идет гражданская война. Иные картины природы видятся поэту, иные печальные, сдержанные краски, иная образность и настрой чувств в его стихах.

Я последний поэт деревни,
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез.
. . . .
На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.
(I, 161)

Это — двадцатый год...

Прошло всего четыре года. Но каких! Русь советская выстояла, выдюжила. В свои права, и в городе, и на селе, вступила новая жизнь. Есенин на Кавказе, на нефтепромыслах Баку. Здесь рождаются его «Стансы».

Я вижу все
И ясно понимаю,
Что эра новая —
Не фунт изюма вам,
Что имя Ленина
Шумит, как ветр, по краю,
Давая мыслям ход,
Как мельничным крылам.
(II, 119)

Тогда же поэт создает ныне знаменитое стихотворение «Неуютная, жидкая лунность...». Как глубоко, самозабвенно надо любить Родину, каким гражданским мужеством, мудростью и стойкостью души обладать, чтобы столь исповедально-бескомпромиссно размышлять о своей дальнейшей судьбе и, вместе с тем, так пророчески-дальновидно и устремленно мечтать о стальном будущем крестьянской России.

Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.

Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальною
Видеть бедную, нищую Русь.
(IV, 187—188)

Не забудем, что сказано это было поэтом в... 1925 году! Страна тогда делала лишь первые скромные шаги по пути индустриализации «полевой России». Прославленные Магнитка и Кузнецк — металлургические гиганты Сибири и Урала — только начинали проектироваться.

Всем сердцем теперь Есенин принимает и готов воспеть эту иную красоту — красоту рождающейся «стальной» Руси, ибо за ней — будущее. И это для поэта становится все более очевидным. Вместе с тем Есенин ни на йоту не поступается в стихах любовью к «рязанским раздольям», красоте родной земли. И в этом нет противоречия. Ибо человек и природа, человек и родина — вечные темы поэзии. В наши дни об этом прекрасно сказал Александр Твардовский. Людям нужна «и та, и та» красота: и красота могучего Падунского порога, и красота Братской плотины, «усмирившей» стремительный бег великой сибирской реки.

В двадцатые годы Есенин одним из первых наших поэтов почувствовал это, и не только почувствовал, но сумел сохранить в своих стихах для будущего, для потомков красоту родной природы, русских раздолий, красоту души русского человека.

* * *

Только человек, душа которого светла и чиста, как родник, а сердце полно неисчерпаемой любви и милосердия ко всему живому в мире; только поэт за «случайными чертами» и «гримасами» века открывающий для себя, а значит — и для нас, всю красоту родной земли, поэт, твердо верящий в ту неизменную истину, что «мир — прекрасен», мог так почувствовать, так выразить себя, свое чувство Родины в русском Слове.

Отговорила роща золотая,
Березовым веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
. . . .
Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.
Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.
Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.

(1, 234)

Есенинская золотая роща и его же неповторимый красногривый жеребенок, его любимая, черная, пóтом пропахшая выть, край рязанских раздолий, вся его чудесная страна березового ситца,— это все для нас, соотечественников поэта, родное и близкое, это наша земля, это живая душа, живая красота России.

Юрий Прокушев

СТИХОТВОРЕНИЯ
И
ПОЭМЫ

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Вот уж вечер. Роса
Блестит на крапиве.
Я стою у дороги,
Прислонившись к иве.

От луны свет большой
Прямо на нашу крышу.
Где-то песнь соловья
Вдалеке я слышу.

Хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
И березы стоят,
Как большие свечки.

И вдали за рекой,
Видно, за опушкой,
Сонный сторож стучит
Мертвой колотушкой.

1910

* * *

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

1910

* * *

Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется — на душе светло.

Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие под соседний стог.

Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуду нет.

Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,
Унесу я пьяную до утра в кусты.

И пускай со звонами плачут глухари.
Есть тоска веселая в алостях зари.

1910

* * *

Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.

Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой вы, луга и дубравы,—
Я одурманен весной.

Радуют тайные вести,
Светятся в душу мою.
Думаю я о невесте,
Только о ней лишь пою.

Сыпь ты, черемуха, снегом,
Пойте вы, птахи, в лесу.
По полю зыбистым бегом
Пеной я цвет разнесу.

1910

* * *

Матушка в Купальницу по лесу ходила,
Босая, с подтыками, по росе бродила.

Травы ворожбиные ноги ей кололи,
Плакала родимая в купырях от боли.

Не дознамо печени судорга схватила,
Охнула кормилица, тут и породила.

Родился я с песнями в травном одеяле.
Зори меня вешние в радугу свивали.

Вырос я до зрелости, внук купальской ночи,
Сутемень колдовная счастье мне пророчит.

Только не по совести счастье наготове,
Выбираю удалью и глаза и брови.

Как снежинка белая, в просини я таю
Да к судьбе-разлучнице след свой заметаю.

1912

ПОЭТ

Горячо любимому другу Грише

Тот поэт, врагов кто губит,
Чья родная правда мать,
Кто людей, как братьев, любит
И готов за них страдать.

Он все сделает свободно,
Что другие не могли.
Он поэт, поэт народный,
Он поэт родной земли!

<1912>

ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР

Тихо струится река серебристая
В царстве вечернем зеленой весны.
Солнце садится за горы лесистые.
Рог золотой выплывает луны.

Запад подернулся лентою розовой,
Пахарь вернулся в избушку с полей,
И за дорогою в чаще березовой
Песню любви затянул соловей.

Слушает ласково песни глубокие
С запада розовой лентой заря.
С нежностью смотрит на звезды далекие
И улыбается небу земля.

<1912>

БЕРЕЗА

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.

А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

<1913>

ПОРОША

Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу,
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.

Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.

Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А над самою макушкой
Долбит дятел на суку.

Скачет конь, простору много,
Валит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.

<1914>

С ДОБРЫМ УТРОМ!

Задремали звезды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.

Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки,
И горят серебряные росы.

У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!»

<1914>

* * *

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.

По меже, на переметке,
Резеда и риза кашки.
И вызванивают в четки
Ивы — кроткие монашки.

Курит облаком болото,
Гарь в небесном коромысле.
С тихой тайной для кого-то
Затаил я в сердце мысли.

Все встречаю, все приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.

1914

В ХАТЕ

Пахнет рыхлыми драченами;
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.

Вьется сажа над заслонкою,
В печке нитки попелиц,
А на лавке за солонкою —
Шелуха сырых яиц.

Мать с ухватами не сладится,
Нагибается низкó,
Старый кот к махотке крадется
На парное молоко.

Квохчут куры беспокойные
Над оглоблями сохи,
На дворе обедню стройную
Запевают петухи.

А в окне на сени скатые,
От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты.

1914

* * *

По селу тропинкой кривенькой
В летний вечер голубой
Рекрута ходили с ливенкой
Разухабистой гурьбой.

Распевали про любимые
Да последние деньки:
«Ты прощай, село родимое,
Темна роща и пеньки».

Зори пенились и таяли.
Все кричали, пяча грудь:
«До рекрутства горе маяли,
А теперь пора гульнуть».

Размахнув кудрями русыми,
В пляс пускались весело.
Девки брякали им бусами,
Зазывали за село.

Выходили парни бравые
За гуменные плетни,
А девчоночки лукавые
Убегали,— догони!

Над зелеными пригорками
Развевалися платки.
По полям, бредя с кошелками,
Улыбались старики.

По кустам, в траве над лыками,
Под пугливый возглас сов,
Им смеялась роща зыками
С переливом голосов.

По селу тропинкой кривенькой,
Ободравшись о пеньки,
Рекрута играли в ливенку
Про остóльние деньки.

1914

* * *

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

1914

* * *

Я пастух, мои палаты —
Межи зыбистых полей,
По горам зеленым — скаты
С гарком гулких дупелей.

Вяжут кружево над лесом
В желтой пене облака.
В тихой дреме под навесом
Слышу шепот сосняка.

Светят зелено в сутёмы
Под росою тополя.
Я — пастух; мои хоромы —
В мягкой зелени поля.

Говорят со мной коровы
На кивливом языке.
Духовитые дубровы
Кличут ветками к реке.

Позабыв людское горе,
Сплю на вырублях сучья.
Я молюсь на алы зори,
Причащаюсь у ручья.

1914

* * *

Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь.
Сенокос некошеный,
Лес да монастырь.

Избы забоченились,
А и всех-то пять.
Крыши их запенились
В заревую гать.

Под соломой-ризою
Выструги стропил,
Ветер плесень сизую
Солнцем окропил.

В окна бьют без промаха
Вороны крылом,
Как метель, черемуха
Машет рукавом.

Уж не сказ ли в прутнике
Жисть твоя и быль,
Что под вечер путнику
Нашептал ковыль?

1914

* * *

Заглушила засуха засевки,
Сохнет рожь, и не всходят овсы.
На молебен с хоругвями девки
Потащились в комлях полосы.

Собрались прихожане у чащи,
Лихоманную грусть затая.
Загузынил дьячишко ледащий:
«Спаси, господи, люди твоя».

Открывались небесные двери,
Дьякон бавкнул из кряжистых сил:
«Еще молимся, братья, о вере,
Чтобы бог нам поля оросил».

Заливались веселые птахи,
Крапал брызгами поп из горстей,
Стрекотуньи-сороки, как свахи,
Накликали дождливых гостей.

Зыбко пенились зори за рощей,
Как холстины ползли облака,
И туманно по быльнице тощей
Меж кустов ворковала река.

Скинув шапки, молясь и вздыхая,
Говорили промеж мужики:
«Колосилась-то ярь неплохая,
Да сгубили сухие деньки».

На копе — черной тучице в санках —
Билось пламя-шлея... синь и дрожь.
И кричали парнишки в еланках:
«Дождик, дождик, полей нашу рожь!»

1914

* * *

Черная, потом пропахшая выть!
Как мне тебя не ласкать, не любить?

Выйду на озеро в синюю гать,
К сердцу вечерняя льнет благодать.

Серым веретьем стоят шалаши,
Глухо баюкают хлюпь камыши.

Красный костер окровил таганы,
В хворосте белые веки луны.

Тихо, на корточках, в пятнах зари
Слушают сказ старика косари.

Где-то вдали, на кукане реки,
Дремную песню поют рыбаки.

Оловом светится лужная голь...
Грустная песня, ты — русская боль.

1914

* * *

Топи да болота,
Синий плат небес.
Хвойной позолотой
Взвенивает лес.

Тенькает синица
Меж лесных кудрей,
Темным елям снится
Гомон косарей.

По лугу со скрипом
Тянется обоз —
Суховатой липой
Пахнет от колес.

Слухают ракиты
Посвист ветряной...
Край ты мой забытый,
Край ты мой родной!..

1914

* * *

Сторона ль моя, сторонка,
Горевая полоса.
Только лес, да посолонка,
Да заречная коса...

Чахнет старая церквушка,
В облака закинув крест.
И забольная кукушка
Не летит с печальных мест.

По тебе ль, моей сторонке,
В половодье каждый год
С подожочка и котомки
Богомольный льется пот.

Лица пыльны, загорелы,
Веки выглодала даль,
И впилась в худое тело
Спаса кроткого печаль.

1914

* * *

На небесном синем блюде
Желтых туч медовый дым.
Грезит ночь. Уснули люди,
Только я тоской томим.

Облаками перекрещен,
Сладкий дым вдыхает бор.
За кольцо небесных трещин
Тянет пальцы косогор.

На болоте крячет цапля;
Четко хлюпает вода,
А из туч глядит, как капля,
Одинокая звезда.

Я хотел бы в мутном дыме
Той звездой поджечь леса
И погинуть вместе с ними,
Как зарница в небеса.

<1913—1914?>

ЧЕРЕМУХА

Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.
Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная
Сияет в серебре.
А рядом, у проталинки,
В траве, между корней,
Бежит, струится маленький
Серебряный ручей.
Черемуха душистая,
Развесившись, стоит,
А зелень золотистая
На солнышке горит.
Ручей волной гремучею
Все ветки обдает
И вкрадчиво под кручею
Ей песенки поет.

<1915>

ГОРОД

Храня завет родных поверий —
Питать к греху стыдливый страх,
Бродил я в каменной пещере,
Как искушаемый монах.
Как муравьи кишели люди
Из щелей выдолбленных глыб,
И, схилясь, двигались их груди,
Что чешуя скорузлых рыб.
В моей душе так было гулко
В пеленках камня и кремней.
На каждой ленте переулка
Стонал коровий рев теней.
Дризжали дроги, словно стекла,
В лицо кнутом грозила даль,
А небо хмурилось и блекло,
Как бабья сношенная шаль.
С улыбкой змейного грешенья
Девичий смех меня манул,

Но я хранил завет крещенья —
Плевать с молитвой в сатану.
Как об ножи стальной дорогой
Рвались на камнях сапоги,
И я услышал зык от бога:
«Забудь, что видел, и беги!»

<1915>

* * *

Тебе одной плету венок,
Цветами сыплю стежку серую.
О Русь, покойный уголок,
Тебя люблю, тебе и верую.
Гляжу в простор твоих полей,
Ты вся — далекая и близкая.
Сродни мне посвист журавлей
И не чужда тропинка склизкая.
Цветет болотная купель,
Куга зовет к вечерне длительной.
И по кустам звенит капель
Росы холодной и целительной.
И хоть сгоняет твой туман
Поток ветров, крылато дующих,
Но вся ты — смирна и ливан
Волхвов, потайственно волхвующих.

<1915>

ДЕД

Сухлым войлоком по стежкам
Разрыхлел в траве помет.
У гумен к репейным брошкам
Липнет мушиий хоровод.

Старый дед, согнувши спину,
Чистит вытоптанный ток
И подонную мякину
Загребает в уголок.

Щурясь к облачному глазу,
Подсекает он лопух,
Роет скрябкою по пазу
От дождей обходный круг.

Черепки в огне червонца.
Дед — как в жамковой слюде,
И играет зайчик солнца
В рыжеватой бороде.

<1915>

* * *

В том краю, где желтая крапива
И сухой плетень,
Приютились к вербам сиротливо
Избы деревень.

Там в полях, за синей гущей лога,
В зелени озер,
Пролегла песчаная дорога
До сибирских гор.

Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.

Все они убийцы или воры,
Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.

Много зла от радости в убийцах,
Их сердца просты,
Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.

Я одну мечту, скрывая, нежу,
Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист.

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску.

И когда с улыбкой мимоходом
Распрямлю я грудь,
Языком залижет непогода
Прожитой мой путь.

1915

КОРОВА

Дряхлая, выпали зубы,
Свиток годов на рогах.
Бил ее выгонщик грубый
На перегонных полях.

Сердце неласково к шуму,
Мыши скребут в уголке.
Думает грустную думу
О белоногом телке.

Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.

Скоро на гречневом свее,
С той же сыновней судьбой,
Свяжут ей петлю на шее
И поведут на убой.

Жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога...
Снится ей белая роща
И травяные луга.

1915

ТАБУН

В холмах зеленых табуны коней
Сдувают ноздрями златой налет со дней.

С бугра высокого в синеющий залив
Упала смоль качающихся грив.

Дрожат их головы над тихою водой,
И ловит месяц их серебряной уздой.

Храпя в испуге на свою же тень,
Зазастить гривами они ждут новый день.

*

Весенний день звенит над конским ухом
С приветливым желаньем к первым мухам.

Но к вечеру уж кони над лугами
Брыкаются и хлопают ушами.

Все резче звон, прилипший на копытах.
То тонет в воздухе, то виснет на ракитах.

И лишь волна потянется к звезде,
Мелькают мухи пеплом по воде.

*

Погасло солнце. Тихо на лужке.
Пастух играет песню на рожке.

Уставясь лбами, слушает табун,
Что им поет вихрастый гамаюн.

А эхо резвое, скользнув по их губам,
Уносит думы их к неведомым лугам.

Любя твой день и ночи темноту,
Тебе, о родина, сложил я песню ту.

1915

ПЕСНЬ О СОБАКЕ

Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых ощенила сука,
Рыжих семерых щенят.

До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,

И струился снежок подталый
Под теплым ее животом.

А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклал в мешок.

По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать...
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.

А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.

В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях.

И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

1915

ОСЕНЬ

Р. В. Иванову

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.
Осень — рыжая кобыла — чешет гриву.

Над речным покровом берегов
Слышен синий лязг ее подков.

Схимник-ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным

И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримому Христу.

1914 <?>

* * *

За темной прядью перелесиц,
В неколебимой синеве,
Ягненочек кудрявый — месяц
Гуляет в голубой траве.

В затихшем озере с осокой
Бодаются его рога,—
И кажется с тропы далекой —
Вода качает берега.

А степь под пологом зеленым
Кадит черемуховый дым
И за долинами по склонам
Свивает полымя над ним.

О сторона ковыльной пущи,
Ты сердцу ровностью близка,
Но и в твоей таится гуще
Солончаковая тоска.

И ты, как я, в печальной требе,
Забыв, кто друг тебе и враг,
О розовом тоскуешь небе
И голубиных облаках.

Но и тебе из синей шири
Пугливо кажет темнота
И кандалы твоей Сибири,
И горб Уральского хребта.

<1916>

* * *

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.

Зерна глаз твоих осыпались, завяли,
Имя тонкое растаяло, как звук,
Но остался в складках смятой шали
Запах меда от невинных рук.

В тихий час, когда заря на крыше,
Как котенок, моет лапкой рот,
Говор кроткий о тебе я слышу
Водяных поющих с ветром сот.

Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта,
Всё ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи —
К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

<1916>

* * *

Прячет месяц за овинами
Желтый лик от солнца ярого.
Высоко над луговинами
По востоку пышет зарево.

Пеной рос заря туманится,
Словно глубь очей невестиных.
Прибрела весна, как странница,
С посошком в лаптях берестяных.

На березки в роще теневой
Серьги звонкие повесила
И с рассветом в сад сиреневый
Мотыльком порхнула весело.

<1916>

* * *

За рекой горят огни,
Погорают мох и пни.
Ой, купало, ой, купало,
Погорают мох и пни.

Плачет леший у сосны —
Жалко летошней весны.
Ой, купало, ой, купало,
Жалко летошней весны.

А у наших у ворот
Пляшет девок корогод.
Ой, купало, ой, купало,
Пляшет девок корогод.

Кому горе, кому грех,
А нам радость, а нам смех.
Ой, купало, ой, купало,
А нам радость, а нам смех.

<1916>

МОЛОТЬБА

Вышел заранья дед
На гумно молотить:
«Выходи-ка, сосед,
Старику подсобить».

Положили гурьбой
Золотые снопы.
На гумне вперебой
Зазвенели цепы.

И ворочает дед
Немолоченый край:
«Постучи-ка, сосед,
Выбивай каравай».

И под сильной рукой
Вылетает зерно.
Тут и солод с мукой,
И на свадьбу вино.

За тяжелой сохой
Эта доля дана.
Тучен колос сухой —
Будет брага хмельна.

<1916>

* * *

Устал я жить в родном краю
В тоске по гречневым просторам,
Покину хижину мою,
Уйду бродягою и вором.

Пойду по белым кудрям дня
Искать убогое жилище.
И друг любимый на меня
Наточит нож за голенище.

Весной и солнцем на лугу
Обвита желтая дорога,
И та, чье имя берегу,
Меня прогонит от порога.

И вновь вернусь я в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.

Седые вербы у плетня
Нежнее головы наклонят.
И необмытого меня
Под лай собачий похоронят.

А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам...
И Русь все так же будет жить,
Плясать и плакать у забора.

<1916>

* * *

Я снова здесь, в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный!
Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет белоснежной.

Седины пасмурного дня
Плывут всклокоченные мимо,
И грусть вечерняя меня
Волнует непреодолимо.

Над куполом церковных глав
Тень от зари упала ниже.
О други игрищ и забав,
Уж я вас больше не увижу!

В забвенье канули года,
Вослед и вы ушли куда-то.
И лишь по-прежнему вода
Шумит за мельницей крылатой.

И часто я в вечерней мгле,
Под звон надломленной осоки,
Молюсь дымящейся земле
О невозвратных и далеких.

Июнь 1916

ЛИСИЦА

А. М. Ремизову

На раздробленной ноге приковыляла,
У норы свернулася в кольцо.
Тонкой прошвой кровь отмежевала
На снегу дремучее лицо.

Ей все бластился в колючем дыме выстрел,
Колыхалася в глазах лесная топь.
Из кустов косматый ветер взбыстрил
И рассыпал звонистую дробь.

Как желна, над нею мгла металась,
Мокрый вечер липок был и ал.
Голова тревожно подымалась,
И язык на ране застывал.

Желтый хвост упал в метель пожаром,
На губах — как прелая морковь...
Пахло инеем и глиняным угаром,
А в ощур сочилась тихо кровь.

1916

* * *

Запели тесаные дроги,
Бегут равнины и кусты.
Опять часовни на дороге
И поминальные кресты.

Опять я теплой грустью болен
От овсяного ветерка.
И на известку колоколен
Невольно крестится рука.

О Русь — малиновое поле
И синь, упавшая в реку,—
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.

Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить —
Я научиться не могу.

И не отдам я эти цепи,
И не расстанусь с долгим сном,
Когда звенят родные степи
Молитвословным ковылем.

1916

* * *

Опять раскинулся узорно
Над белым полем багрянец,
И заливается задорно
Нижегородский бубенец.

Под затуманенною дымкой
Ты кажешь девичью красу,
И треплет ветер под косынкой
Рыжеволосую косу.

Дуга, раскалываясь, пляшет,
То выныряя, то пропав,
Не заворожит, не обмашет
Твой разукрашенный рукав.

Уже давно мне стала сниться
Полей малиновая ширь,
Тебе — высокая светлица,
А мне — далекий монастырь.

Там синь и полымя воздушней
И легкодымней пелена.
Я буду ласковый послушник,
А ты — разгульная жена.

И знаю я, мы оба станем
Грустить в упругой тишине:
Я по тебе — в глухом тумане,
А ты заплачешь обо мне.

Но и поняв, я не приемлю
Ни тихих ласк, ни глубины —
Глаза, увидевшие землю,
В иную землю влюблены.

1916

* * *

День ушел, убавилась черта,
Я опять подвинулся к уходу.
Легким взмахом белого перста
Тайны лет я разрезаю воду.

В голубой струе моей судьбы
Накипи холодной бьется пена,
И кладет печать немого плена
Складку новую у сморщенной губы.

С каждым днем я становлюсь чужим
И себе, и жизнь кому велела.
Где-то в поле чистом, у межи,
Оторвал я тень свою от тела.

Неодетая она ушла,
Взяв мои изогнутые плечи.
Где-нибудь она теперь далече
И другого нежно обняла.

Может быть, склоняяся к нему,
Про меня она совсем забыла
И, вперившись в призрачную тьму,
Складки губ и рта переменила.

Но живет по звуку прежних лет,
Что, как эхо, бродит за горами.
Я целую синими губами
Черной тенью тиснутый портрет.

<1916>

* * *

Гаснут красные крылья заката,
Тихо дремлют в тумане плетни.
Не тоскуй, моя белая хата,
Что опять мы одни и одни.

Чистит месяц в соломенной крыше
Обоймленные синью рога.
Не пошел я за ней и не вышел
Провожать за глухие стога.

Знаю, годы тревогу заглушат.
Эта боль, как и годы, пройдет.
И уста, и невинную душу
Для другого она бережет.

Не силен тот, кто радости просит,
Только гордые в силе живут.
А другой изомнет и забросит,
Как изъеденный сырью хомут.

Не с тоски я судьбу поджидаю,
Будет злобно крутить пороша.
И придет она к нашему краю
Обогреть своего малыша.

Снимет шубу и шали развяжет,
Примостится со мной у огня.
И спокойно и ласково скажет,
Что ребенок похож на меня.

<1916>

* * *

О красном вечере задумалась дорога,
Кусты рябин туманней глубины.
Изба-старуха челюстью порога
Жует пахучий мякиш тишины.

Осенний холод ласково и кротко
Крадется мглой к овсяному двору;
Сквозь синь стекла желтоволосый отрок
Лучит глаза на галочью игру.

Обняв трубу, сверкает по повети
Зола зеленая из розовой печи.
Кого-то нет, и топкогубый ветер
О ком-то шепчет, сгинувшем в ночи.

Кому-то пятками уже не мять по рощам
Щербленый лист и золото травы.
Тягучий вздох, ныряя звоном тощим,
Целует клюв нахохленной совы.

Все гуще хмарь, в хлеву покой и дрема,
Дорога белая узорит скользкий ров...
И нежно охает ячменная солома,
Свисая с губ кивающих коров.

1916

* * *

Синее небо, цветная дуга,
Тихо степные бегут берега,
Тянется дым, у малиновых сел
Свадьба ворон облегла частокол.

Снова я вижу знакомый обрыв
С красною глиной и сучьями ив,
Грезит над озером рыжий овес,
Пахнет ромашкой и медом от ос.

Край мой! Любимая Русь и Мордва!
Притчею мглы ты, как прежде, жива.
Нежно под трепетом ангельских крыл
Звонят кресты безымянных могил.

Многих ты, родина, ликом своим
Жгла и томила по шахтам сырым.
Много мечтает их, сильных и злых,
Выкусить ягоды персей твоих.

Только я верю: не выжить тому,
Кто разлюбил твой острог и тюрьму...
Вечная правда и гомон лесов
Радуют душу под звон кандалов.

<1916>

* * *

Там, где вечно дремлет тайна,
Есть нездешние поля.
Только гость я, гость случайный
На горах твоих, земля.

Широки леса и воды,
Крепок взмах воздушных крыл.
Но века твои и годы
Затуманил бег светил.

Не тобой я поцелован,
Не с тобой мой связан рок.
Новый путь мне уготован
От захода на восток.

Суждено мне изначально
Возлететь в немую тьму.
Ничего я в час прощальный
Не оставлю никому.

Но за мир твой, с выси звездной,
В тот покой, где спит гроза,
В две луны зажгу над бездной
Незакатные глаза.

1916

ГОЛУБЕНЬ

В прозрачном холоде заголубели долы,
Отчетлив стук подкованных копыт.
Трава, поблекшая, в расстеленные полы
Сбирает медь с обветренных ракит.

С пустых лощин ползет дугою тощей
Сырой туман, курчаво свившись в мох,
И вечер, свесившись над речкою, полощет
Водою белой пальцы синих ног.

*

Осенним холодом расцвечены надежды,
Бредет мой конь, как тихая судьба,
И ловит край махающей одежды
Его чуть мокрая буланая губа.

В дорогу дальнюю, не к битве, не к покою,
Влекут меня незримые следы,
Погаснет день, мелькнув пятой златою,
И в короб лет улягутся труды.

*

Сыпучей ржавчиной краснеют по дороге
Холмы плешивые и слегшийся песок,
И пляшет сумрак в галочьей тревоге,
Согнув луну в пастушеский рожок.

Молочный дым качает ветром села,
Но ветра нет, есть только легкий звон.
И дремлет Русь в тоске своей веселой,
Вцепивши руки в желтый крутосклон.

*

Манит ночлег, недалеко до хаты,
Укропом вялым пахнет огород,
На грядки серые капусты волноватой
Рожок луны по капле масло льет.

Тянусь к теплу, вдыхаю мягкость хлеба
И с хруптом мысленно кусаю огурцы,
За ровной гладью вздрогнувшее небо
Выводит облако из стойла под уздцы.

*

Ночлег, ночлег, мне издавна знакома
Твоя попутная разымчивость в крови,
Хозяйка спит, а свежая солома
Примята ляжками вдовеющей любви.

Уже светает, краской тараканьей
Обведена божница по углу,
Но мелкий дождь своей молитвой ранней
Еще стучит по мутному стеклу.

*

Опять передо мною голубое поле,
Качают лужи солнца рдяный лик.
Иные в сердце радости и боли,
И новый говор липнет на язык.

Водою зыбкой стынет синь во взорах,
Бредет мой конь, откинув удила,
И горстью смуглою листвы последний ворох
Кидает ветер вслед из подола.

<1917>

* * *

Проплясал, проплакал дождь весенний,
        Замерла гроза.
Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
        Подымать глаза...

Скучно слушать под небесным древом
        Взмах незримых крыл:
Не разбудишь ты своим напевом
        Дедовских могил!

Привязало, осаднило слово
        Даль твоих времен.
Не в ветрах, а, знать, в томах тяжелых
        Прозвенит твой сон.

Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи,
Вытянет персты.
Близок твой кому-то красный вечер,
Да не нужен ты.

Всколыхнет он Брюсова и Блока,
Встормошит других.
Но все так же день взойдет с востока,
Так же вспыхнет миг.

Не изменят лик земли напевы,
Не стряхнут листа...
Навсегда твои пригвождены ко древу
Красные уста.

Навсегда простер глухие длани
Звездный твой Пилат.
Или, Или, лама савахфани,
Отпусти в закат.

<1917>

* * *

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайным тихим светом
Напоил мои глаза.

С чьей-то ласковости вешней
Отгрустил я в синей мгле
О прекрасной, но нездешней,
Не разгаданной земле.

Не гнетет немая млечность,
Не тревожит звездный страх.
Полюбил я мир и вечность,
Как родительский очаг.

Все в них благостно и свято,
Все тревожное светло.
Плещет рдяный мак заката
На озерное стекло.

И невольно в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка.

<1917>

* * *

О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь.

По голубой долине,
Меж телок и коров,
Идет в златой ряднине
Твой Алексей Кольцов.

В руках — краюха хлеба,
Уста — вишневый сок.
И вызвездило небо
Пастушеский рожок.

За ним, с снегов и ветра,
Из монастырских врат,
Идет, одетый светом,
Его середний брат.

От Вытегры до Шуи
Он избродил весь край
И выбрал кличку — Клюев,
Смиренный Миколай.

Монашьи мудр и ласков,
Он весь в резьбе молвы,
И тихо сходит пасха
С бескудрой головы.

А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и веселый,
Такой разбойный я.

Долга, крута дорога,
Несчетны склоны гор;
Но даже с тайной бога
Веду я тайно спор.

Сшибаю камнем месяц
И на немую дрожь
Бросаю, в небо свесясь,
Из голенища нож.

За мной незримым роем
Идет кольцо других,
И далеко по селам
Звенит их бойкий стих.

Из трав мы вяжем книги,
Слова трясем с двух пол.
И сродник наш, Чапыгин,
Певуч, как снег и дол.

Сокройся, сгинь ты, племя
Смердящих снов и дум!
На каменное темя
Несем мы звездный шум.

Довольно гнить и ноять,
И славить взлетом гнусь —
Уж смыла, стерла деготь
Воспрянувшая Русь.

Уж повела крылами
Ее немая крепь!
С иными именами
Встает иная степь.

<1917>

* * *

Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать.

Я сегодня увидел в пуще
След широких колес на лугу.
Треплет ветер под облачной кущей
Золотую его дугу.

На рассвете он завтра промчится,
Шапку-месяц пригнув под кустом,
И игриво взмахнет кобылица
Над равниною красным хвостом.

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

Воспою я тебя и гостя,
Нашу печь, петуха и кров...
И на песни мои прольется
Молоко твоих рыжих коров.

1917

* * *

Небо ли такое белое
Или солью выцвела вода?
Ты поешь, и песня оголтелая
Береговые вяжет повода.

Синим жерновом развеяны и смолоты
Водяные зерна на муку.
Голубой простор и золото
Опоясали твою тоску.

Не встревожен лаской угрюмою
Загорелый взмах твоей руки.
Все равно — Архангельском иль Умбою
Проплывать тебе на Соловки.

Все равно под стоптанною палубой
Видишь ты погорбившийся скит.
Подпевает тебе жалоба
Об изгибах тамошних ракит.

Так и хочется под песню свеситься
Над водою, спихивая день...
Но спокойно светит вместо месяца
Отразившийся на облаке тюлень.

1917

* * *

Где ты, где ты, отчий дом,
Гревший спину под бугром?
Синий, синий мой цветок,
Неприхоженый песок.
Где ты, где ты, отчий дом?

За рекой поет петух.
Там стада стерег пастух,
И светились из воды
Три далекие звезды.
За рекой поет петух.

Время — мельница с крылом
Опускает за селом
Месяц маятником в рожь
Лить часов незримый дождь.
Время — мельница с крылом.

Этот дождик с сонмом стрел
В тучах дом мой завертел,
Синий подкосил цветок,
Золотой примял песок.
Этот дождик с сонмом стрел.

1917

* * *

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани.

1917

* * *

Я по первому снегу бреду,
В сердце ландыши вспыхнувших сил.
Вечер синею свечкой звезду
Над дорогой моей засветил.

Я не знаю, то свет или мрак?
В чаще ветер поет иль петух?
Может, вместо зимы на полях
Это лебеди сели на луг.

Хороша ты, о белая гладь!
Греет кровь мою легкий мороз!
Так и хочется к телу прижать
Обнаженные груди берез.

О лесная, дремучая муть!
О веселье оснеженных нив!..
Так и хочется руки сомкнуть
Над древесными бедрами ив.

1917

* * *

О верю, верю, счастье есть!
Еще и солнце не погасло.
Заря молитвенником красным
Пророчит благостную весть.
О верю, верю, счастье есть.

Звени, звени, златая Русь,
Волнуйся, неуемный ветер!
Блажен,— кто радостью отметил
Твою пастушескую грусть.
Звени, звени, златая Русь.

Люблю я ропот буйных вод
И на волне звезды сиянье.
Благословенное страданье,
Благословляющий народ.
Люблю я ропот буйных вод.

1917

* * *

О муза, друг мой гибкий,
Ревнивица моя.
Опять под дождик сыпкий
Мы вышли на поля.

Опять весенним гулом
Приветствует нас дол,
Младенцем завернула
Заря луну в подол.

Теперь бы песню ветра
И нежное баю —
За то, что ты окрепла,
За то, что праздник светлый
Влила ты в грудь мою.

Теперь бы брызнуть в небо
Вишневым соком стих
За отческую щедрость
Наставников твоих.

О мед воспоминаний!
О звон далеких лип!
Звездой нам пел в тумане
Разумниковский лик.

Тогда в веселом шуме
Игривых дум и сил
Апостол нежный Клюев
Нас на руках носил.

Теперь мы стали зрелей
И весом тяжелей...
Но не заглушит трелью
Тот праздник соловей.

И этот дождик шалый
Его не смоет в нас,
Чтоб звон твоей лампады
Под ветром не погас.

1917

* * *

Л. И. Кашиной

Зеленая прическа,
Девическая грудь,
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?

Что шепчет тебе ветер?
О чем звенит песок?
Иль хочешь в косы-ветви
Ты лунный гребешок?

Открой, открой мне тайну
Твоих древесных дум,
Я полюбил — печальный
Твой предосенний шум.

И мне в ответ березка:
«О любопытный друг,
Сегодня ночью звездной
Здесь слезы лил пастух.

Луна стелила тени,
Сияли зеленя.
За голые колени
Он обнимал меня.

И так, вздохнувши глубко,
Сказал под звон ветвей:
«Прощай, моя голубка,
До новых журавлей».

15 августа 1918

* * *

О пашни, пашни, пашни,
Коломенская грусть,
На сердце день вчерашний,
А в сердце светит Русь.

Как птицы, свищут версты
Из-под копыт коня.

И брызжет солнце горстью
Свой дождик на меня.

О край разливов грозных
И тихих вешних сил,
Здесь по заре и звездам
Я школу проходил.

И мыслил и читал я
По библии ветров,
И пас со мной Исайя
Моих златых коров.

1918

* * *

Песни, песни, о чем вы кричите?
Иль вам нечего больше дать?
Голубого покоя нити
Я учусь в мои кудри вплетать.

Я хочу быть тихим и строгим.
Я молчанью у звезд учусь.
Хорошо ивняком при дороге
Сторожить задремавшую Русь.

Хорошо в эту лунную осень
Бродить по траве одному
И сбирать на дороге колосья
В обнищалую душу-суму.

Но равнинная синь не лечит.
Песни, песни, иль вас не стряхнуть?..
Золотистой метелкой вечер
Расчищает мой ровный путь.

И так радостен мне над пущей
Замирающий в ветре крик:
«Будь же холоден ты, живущий,
Как осеннее золото лип».

<1917—1918>

* * *

Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат.

Здравствуй, златое затишье,
С тенью березы в воде!
Галочья стая на крыше
Служит вечерню звезде.

Где-то за садом несмело,
Там, где калина цветет,
Нежная девушка в белом
Нежную песню поет.

Стелется синею рясой
С поля ночной холодок...
Глупое, милое счастье,
Свежая розовость щек!

1918

КАНТАТА

Спите, любимые братья,
Снова родная земля
Неколебимые рати
Движет под стены Кремля.

Новые в мире зачатья,
Зарево красных зарниц...
Спите, любимые братья,
В свете нетленных гробниц.

Солнце златою печатью
Стражем стоит у ворот...
Спите, любимые братья,
Мимо вас движется ратью
К зорям вселенским народ.

<1918>

* * *

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге.

И я знаю, есть радость в нем
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого что тот старый клен
Головой на меня похож.

1918

* * *

Клюеву

Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь
О том, что лунная метла
Стихов не расплескала лужи.

Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил.

И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошел, как прежде, мимо крова.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?

Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

1918

* * *

Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.

Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.

И в душе и в долине прохлада,
Синий сумрак как стадо овец,
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрет бубенец.

Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть,
Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать...
Где ты, где, моя тихая радость —
Все любя, ничего не желать?

1918

* * *

Хорошо под осеннюю свежесть
Душу-яблоню ветром стряхать
И смотреть, как над речкою режет
Воду синюю солнца соха.

Хорошо выбивать из тела
Накаляющий песни гвоздь.
И в одежде празднично белой
Ждать, когда постучится гость.

Я учусь, я учусь моим сердцем
Цвет черемух в глазах беречь,
Только в скупости чувства греются,
Когда ребра ломает течь.

Молча ухает звездная звонница,
Что ни лист, то свеча заре.
Никого не впущу я в горницу,
Никому не открою дверь.

1918

* * *

Вот такой, какой есть,
Никому ни в чем не уважу,
Золотою плету я песнь,
А лицо иногда в сажу.

Говорят, что я большевик.
Да, я рад зауздать землю.
О, какой богомаз мой лик
Начертил, грозовице внемля?

Пусть Америка, Лондон пусть...
Разве воды текут обратно?
Это пляшет российская грусть,
На солнце смывая пятна.

Февраль 1919

* * *

Ветры, ветры, о снежные ветры,
Заметите мою прошлую жизнь.
Я хочу быть отроком светлым
Иль цветком с луговой межи.

Я хочу под гудок пастуший
Умереть для себя и для всех.
Колокольчики звездные в уши
Насыпает вечерний снег.

Хороша бестуманная трель его,
Когда топит он боль в пурге.
Я хотел бы стоять, как дерево,
При дороге на одной ноге.

Я хотел бы под конские храпы
Обниматься с соседним кустом.
Подымайте ж вы, лунные лапы,
Мою грусть в небеса ведром.

<1919?>

* * *

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

Новый с поля придет поэт,
В новом лес огласится свисте.
По-осеннему сыплет ветр,
По-осеннему шепчут листья.

1920

* * *

Мариенгофу

Я последний поэт деревни,
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез.

Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.

На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!

<1920>

ХУЛИГАН

Дождик мокрыми метлами чистит
Ивняковый помет по лугам.
Плюйся, ветер, охапками листьев,—
Я такой же, как ты, хулиган.

Я люблю, когда синие чащи,
Как с тяжелой походкой волы,
Животами, листвой хрипящими,
По коленкам марают стволы.

Вот оно, мое стадо рыжее!
Кто ж воспеть его лучше мог?
Вижу, вижу, как сумерки лижут
Следы человечьих ног.

Русь моя, деревянная Русь!
Я один твой певец и глашатай.
Звериных стихов моих грусть
Я кормил резедой и мятой.

Взбрезжи, полночь, луны кувшин
Зачерпнуть молока берез!
Словно хочет кого придушить
Руками крестов погост!

Бродит черная жуть по холмам,
Злобу вора струит в наш сад,
Только сам я разбойник и хам
И по крови степной конокрад.

Кто видал, как в ночи кипит
Кипяченых черемух рать?
Мне бы в ночь в голубой степи
Где-нибудь с кистенем стоять.

Ах, увял головы моей куст,
Засосал меня песенный плен.
Осужден я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм.

Но не бойся, безумный ветр,
Плюй спокойно листвой по лугам.
Не сотрет меня кличка «поэт»,
Я и в песнях, как ты, хулиган.

<1920>

ПЕСНЬ О ХЛЕБЕ

Вот она, суровая жестокость,
Где весь смысл — страдания людей!
Режет серп тяжелые колосья,
Как под горло режут лебедей.

Наше поле издавна знакомо
С августовской дрожью поутру.
Перевязана в снопы солома,
Каждый сноп лежит, как желтый труп.

На телегах, как на катафалках,
Их везут в могильный склеп — овин.
Словно дьякон, на кобылу гаркнув,
Чтит возница погребальный чин.

А потом их бережно, без злости,
Головами стелют по земле
И цепами маленькие кости
Выбивают из худых телес.

Никому и в голову не встанет,
Что солома — это тоже плоть!..
Людоедке-мельнице — зубами
В рот суют те кости обмолоть.

И, из мелева заквашивая тесто,
Выпекают груды вкусных яств...
Вот тогда-то входит яд белесый
В жбан желудка яйца злобы класть.

Все побои ржи в припек окрасив,
Грубость жнущих сжав в духмяный сок,
Он вкушающим соломенное мясо
Отравляет жернова кишок.

И свистят по всей стране, как осень,
Шарлатан, убийца и злодей...
Оттого что режет серп колосья,
Как под горло режут лебедей.

<1921>

* * *

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.

1921

* * *

Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет».

И теперь вот, когда простыла
Этих дней кипятковая вязь,
Беспокойная, дерзкая сила
На поэмы мои пролилась.

Золотая, словесная груда,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забияки и сорванца.

Как тогда, я отважный и гордый,
Только новью мой брызжет шаг...
Если раньше мне били в морду,
То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет!»

Февраль 1922

* * *

Не ругайтесь. Такое дело!
Не торговец я на слова.
Запрокинулась и отяжелела
Золотая моя голова.

Нет любви ни к деревне, ни к городу,
Как же смог я ее донести?
Брошу все. Отпущу себе бороду
И бродягой пойду по Руси.

Позабуду поэмы и книги,
Перекину за плечи суму,
Оттого что в полях забулдыге
Ветер больше поет, чем кому.

Провоняю я редькой и луком
И, тревожа вечернюю гладь,
Буду громко сморкаться в руку
И во всем дурака валять.

И не нужно мне лучшей удачи,
Лишь забыться и слушать пургу,
Оттого что без этих чудачеств
Я прожить на земле не могу.

1922

* * *

Я обманывать себя не стану,
Залегла забота в сердце мглистом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.
Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам.

Я московский озорной гуляка.
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку.

Каждая задрипанная лошадь
Головой кивает мне навстречу.
Для зверей приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя лечит.

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе,—
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.

Средь людей я дружбы не имею,
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук.

И теперь уж я болеть не стану.
Прояснилась омуть в сердце мглистом.
Оттого прослыл я шарлатаном,
Оттого прослыл я скандалистом.

1922

* * *

Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном.

Были годы тяжелых бедствий,
Годы буйных, безумных сил.
Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.

Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.

Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню.
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.

Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная морщь,
Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь.

Голос громкий и всхлипень зычный,
Как о ком-то погибшем, живом.
Что он видел, верблюд кирпичный,
В завывании дождевом?

Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары.

Ах, и я эти страны знаю —
Сам немалый прошел там путь.
Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.

Но угасла та нежная дрема,
Все истлело в дыму голубом.
Мир тебе — полевая солома,
Мир тебе — деревянный дом!

<1923>

* * *

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Был я весь — как запущенный сад,
Был на женщин и зелие падкий.
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без оглядки.

Мне бы только смотреть на тебя,
Видеть глаз злато-карий омут,
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому.

Поступь нежная, легкий стан,
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным.

Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил,
Только б тонко касаться руки
И волос твоих цветом в осень.

Я б навеки пошел за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дали...
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

1923

* * *

Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.
Знаешь ты одинокий рассвет,
Знаешь холод осени синий.

По-смешному я сердцем влип,
Я по-глупому мысли занял.
Твой иконный и строгий лик
По часовням висел в рязанях.

Я на эти иконы плевал,
Чтил я грубость и крик в повесе,
А теперь вдруг растут слова
Самых нежных и кротких песен.

Не хочу я лететь в зенит,
Слишком многое телу надо.
Что ж так имя твое звенит,
Словно августовская прохлада?

Я не нищий, ни жалок, ни мал
И умею расслышать за пылом:
С детства нравиться я понимал
Кобелям да степным кобылам.

Потому и себя не сберег
Для тебя, для нее и для этой.
Невеселого счастья залог —
Сумасшедшее сердце поэта.

Потому и грущу, осев,
Словно в листья, в глаза косые...
Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.

1923

* * *

Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.

О, возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображенью поэта.

Я сердцем никогда не лгу,
И потому на голос чванства
Бестрепетно сказать могу,
Что я прощаюсь с хулиганством.

Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой.
Уж сердце напилось иной,
Кровь отрезвляющею брагой.

И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход неприхотливый.

Теперь со многим я мирюсь
Без принужденья, без утраты.
Иною кажется мне Русь,
Иными — кладбища и хаты.

Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль,
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.

Что я одной тебе бы мог,
Воспитываясь в постоянстве,
Пропеть о сумерках дорог
И уходящем хулиганстве.

1923

* * *

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

Это золото осеннее,
Эта прядь волос белесых —
Все явилось, как спасенье
Беспокойного повесы.

Я давно мой край оставил,
Где цветут луга и чащи.
В городской и горькой славе
Я хотел прожить пропащим.

Я хотел, чтоб сердце глуше
Вспоминало сад и лето,
Где под музыку лягушек
Я растил себя поэтом.

Там теперь такая ж осень...
Клен и липы в окна комнат,
Ветки лапами забросив,
Ищут тех, которых помнят.

Их давно уж нет на свете.
Месяц на простом погосте
На крестах лучами метит,
Что и мы придем к ним в гости,

Что и мы, отжив тревоги,
Перейдем под эти кущи.
Все волнистые дороги
Только радость льют живущим.

Дорогая, сядь же рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

9 октября 1923

* * *

Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость!
Знать, только ивовая медь
Нам в сентябре с тобой осталась.

Чужие губы разнесли
Твое тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.

Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
Ведь не осталось ничего,
Как только желтый тлен и сырость.

Ведь и себя я не сберег
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.

Смешная жизнь, смешной разлад.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берез изглоданные кости.

Вот так же отцветем и мы
И отшумим, как гости сада...
Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо.

1923

* * *

Ты прохладой меня не мучай
И не спрашивай, сколько мне лет,
Одержимый тяжелой падучей,
Я душой стал, как желтый скелет.

Было время, когда из предместья
Я мечтал по-мальчишески — в дым,
Что я буду богат и известен
И что всеми я буду любим.

Да! Богат я, богат с излишком.
Был цилиндр, а теперь его нет.
Лишь осталась одна манишка
С модной парой избитых штиблет.

И известность моя не хуже,—
От Москвы по парижскую рвань
Мое имя наводит ужас,
Как заборная, громкая брань.

И любовь, не забавное ль дело?
Ты целуешь, а губы как жесть.
Знаю, чувство мое перезрело,
А твое не сумеет расцвесть.

Мне пока горевать еще рано,
Ну, а если есть грусть — не беда!
Золотей твоих кос по курганам
Молодая шумит лебеда.

Я хотел бы опять в ту местность,
Чтоб под шум молодой лебеды
Утонуть навсегда в неизвестность
И мечтать по-мальчишески — в дым.

Но мечтать о другом, о новом,
Непонятном земле и траве,
Что не выразить сердцу словом
И не знает назвать человек.

1923

* * *

Я усталым таким еще не был.
В эту серую морозь и слизь
Мне приснилось рязанское небо
И моя непутевая жизнь.

Много женщин меня любило,
Да и сам я любил не одну,
Не от этого ль темная сила
Приучила меня к вину.

Бесконечные пьяные ночи
И в разгуле тоска не впервь!
Не с того ли глаза мне точит,
Словно синие листья червь?

Не больна мне ничья измена,
И не радует легкость побед,—
Тех волос золотое сено
Превращается в серый цвет.

Превращается в пепел и воды,
Когда цедит осенняя муть.
Мне не жаль вас, прошедшие годы,—
Ничего не хочу вернуть.

Я устал себя мучить бесцельно,
И с улыбкою странной лица
Полюбил я носить в легком теле
Тихий свет и покой мертвеца...

И теперь даже стало не тяжко
Ковылять из притона в притон,
Как в смирительную рубашку,
Мы природу берем в бетон.

И во мне, вот по тем же законам,
Умиряется бешеный пыл.
Но и все ж отношусь я с поклоном
К тем полям, что когда-то любил.

В те края, где я рос под кленом,
Где резвился на желтой траве,—
Шлю привет воробьям, и воронам,
И рыдающей в ночь сове.

Я кричу им в весенние дали:
«Птицы милые, в синюю дрожь
Передайте, что я отскандалил,—
Пусть хоть ветер теперь начинает
Под микитки дубасить рожь».

<1923>

ПАПИРОСНИКИ

Улицы печальные,
Сугробы да мороз.
Сорванцы отчаянные
С лотками папирос.
Грязных улиц странники
В забаве злой игры,
Все они — карманники,
Веселые воры.
Тех площадь — на Никитской,
А этих — на Тверской.
Стоят с тоскливым свистом
Они там день-деньской.
Снуют по всем притонам
И, улучив досуг,
Читают Пинкертона
За кружкой пива вслух.
Пускай от пива горького,
Они без пива — вдрызг.
Все бредят Нью-Йорком,
Всех тянет в Сан-Франциск.
Потом опять печально
Выходят на мороз
Сорванцы отчаянные
С лотками папирос.

<1923>

ПИСЬМО МАТЕРИ

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось,—
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

<1924>

* * *

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

1924

ПУШКИНУ

Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.

Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.

Но эти милые забавы
Не затемнили образ твой,
И в бронзе выкованной славы
Трясешь ты гордой головой.

А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.

<1924>

* * *

Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.

Для меня было все тогда новым,
Много в сердце теснилось чувств,
А теперь даже нежное слово
Горьким плодом срывается с уст.

И знакомые взору просторы
Уж не так под луной хороши.
Буераки... пеньки... косогоры
Обпечалили русскую ширь.

Нездоровое, хилое, низкое,
Водянистая, серая гладь.
Это все мне родное и близкое,
От чего так легко зарыдать.

Покосившаяся избенка,
Плач овцы, и вдали на ветру
Машет тощим хвостом лошаденка,
Заглядевшись в неласковый пруд.

Это все, что зовем мы родиной,
Это все, отчего на ней
Пьют и плачут в одно с непогодиной,
Дожидаясь улыбчивых дней.

Потому никому не рассыпать
Эту грусть смехом ранних лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.

1924

* * *

Издатель славный! В этой книге
Я новым чувствам предаюсь,
Учусь постигнуть в каждом миге
Коммуной вздыбленную Русь.

Пускай о многом неумело
Шептал бумаге карандаш,
Душа спросонок хрипло пела,
Не понимая праздник наш.

Но ты видением поэта
Прочтешь не в буквах, а в другом,
Что в той стране, где власть Советов,
Не пишут старым языком.

И, разбирая опыт смелый,
Меня насмешке не предашь,—
Лишь потому так неумело
Шептал бумаге карандаш.

<1924>

* * *

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.

1924

СУКИН СЫН

Снова выплыли годы из мрака
И шумят, как ромашковый луг.
Мне припомнилась нынче собака,
Что была моей юности друг.

Нынче юность моя отшумела,
Как подгнивший под окнами клен,
Но припомнил я девушку в белом,
Для которой был пес почтальон.

Не у всякого есть свой близкий,
Но она мне как песня была,
Потому что мои записки
Из ошейника пса не брала.

Никогда она их не читала,
И мой почерк ей был незнаком,
Но о чем-то подолгу мечтала
У калины за желтым прудом.

Я страдал... Я хотел ответа...
Не дождался... уехал... И вот
Через годы... известным поэтом
Снова здесь, у родимых ворот.

Та собака давно околела,
Но в ту ж масть, что с отливом в синь,
С лаем ливисто ошалелым
Меня встрел молодой ее сын.

Мать честная! И как же схожи!
Снова выплыла боль души.
С этой болью я будто моложе,
И хоть снова записки пиши.

Рад послушать я песню былую,
Но не лай ты! Не лай! Не лай!
Хочешь, пес, я тебя поцелую
За пробуженный в сердце май?

Поцелую, прижмусь к тебе телом
И, как друга, введу тебя в дом...
Да, мне нравилась девушка в белом,
Но теперь я люблю в голубом.

<1924>

* * *

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда,—
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.

До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.

Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.

Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.

Только видели березь да цветь,
Да ракитник, кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисты,
От которых легко умереть.

Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.

Потому так и днями недавними
Уж не юные веют года...
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда.

<1924>

ПАМЯТИ БРЮСОВА

Мы умираем,
Сходим в тишь и грусть,
Но знаю я —
Нас не забудет Русь.

Любили девушек,
Любили женщин мы —
И ели хлеб
Из нищенской сумы.

Но не любили мы
Продажных торгашей.
Планета, милая,—
Катись, гуляй и пей.

Мы рифмы старые
Раз сорок повторим.
Пускать сумеем
Гоголя и дым.

Но все же были мы
Всегда одни.
Мой милый друг,
Не сетуй, не кляни!

Вот умер Брюсов,
Но помрем и мы,—
Не выпросить нам дней
Из нищенской сумы.

Но крепко вцапались
Мы в нищую суму.
Валерий Яклевич!
Мир праху твоему!

<1924>

* * *

Улеглась моя былая рана —
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане.

Сам чайханщик с круглыми плечами,
Чтобы славилась пред русским чайхана,
Угощает меня красным чаем
Вместо крепкой водки и вина.

Угощай, хозяин, да не очень.
Много роз цветет в твоем саду.
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.

Мы в России девушек весенних
На цепи не держим, как собак,
Поцелуям учимся без денег,
Без кинжальных хитростей и драк.

Ну, а этой за движенья стана,
Что лицом похожа на зарю,
Подарю я шаль из Хороссана
И ковер ширазский подарю.

Наливай, хозяин, крепче чаю,
Я тебе вовеки не солгу.
За себя я нынче отвечаю,
За тебя ответить не могу.

И на дверь ты взглядывай не очень,
Все равно калитка есть в саду...
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.

1924

* * *

Я спроспл сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?

Я спросил сегодня у менялы
Легче ветра, тише Ванских струй,
Как назвать мне для прекрасной Лалы
Слово ласковое «поцелуй»?

И еще спросил я у менялы,
В сердце робость глубже притая,
Как сказать мне для прекрасной Лалы,
Как сказать ей, что она «моя»?

И ответил мне меняла кратко:
О любви в словах не говорят,
О любвп вздыхают лпшь украдкой,
Да глаза, как яхонты, горят.

Поцелуй названья не имеет,
Поцелуй не надпись на гробах.
Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах.

От любви не требуют поруки,
С нею знают радость и беду.
«Ты — моя» сказать лишь могут руки,
Что срывали черную чадру.

1924

* * *

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,

Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.

Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

1924

* * *

Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, бога ради,
Обучусь когда-нибудь!

Ты пропела: «За Евфратом
Розы лучше смертных дев».
Если был бы я богатым,
То другой сложил напев.

Я б порезал розы эти,
Ведь одна отрада мне —
Чтобы не было на свете
Лучше милой Шаганэ.

И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.
Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.

19 декабря 1924

* * *

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем.
Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем.

Не ходил в Багдад я с караваном,
Не возил я шелк туда и хну.
Наклонись своим красивым станом,
На коленях дай мне отдохнуть.

Или снова, сколько ни проси я,
Для тебя навеки дела нет,
Что в далеком имени — Россия —
Я известный, признанный поэт.

У меня в душе звенит тальянка,
При луне собачий слышу лай.
Разве ты не хочешь, персиянка,
Увидать далекий синий край?

Я сюда приехал не от скуки —
Ты меня, незримая, звала.
И меня твои лебяжьи руки
Обвивали, словно два крыла.

Я давно ищу в судьбе покоя,
И хоть прошлой жизни не кляну,
Расскажи мне что-нибудь такое
Про твою веселую страну.

Заглуши в душе тоску тальянки,
Напои дыханьем свежих чар,
Чтобы я о дальней северянке
Не вздыхал, не думал, не скучал.

И хотя я не был на Босфоре —
Я тебе придумаю о нем.
Все равно — глаза твои, как море,
Голубым колышутся огнем.

21 декабря 1924

* * *

Свет вечерний шафранного края,
Тихо розы бегут по полям.
Спой мне песню, моя дорогая,
Ту, которую пел Хаям.
Тихо розы бегут по полям.

Лунным светом Шираз осиянен,
Кружит звезд мотыльковый рой.
Мне не нравится, что персияне
Держат женщин и дев под чадрой.
Лунным светом Шираз осияпеп.

Иль они от тепла застыли,
Закрывая телесную медь?
Или, чтобы их больше любили,
Не желают лицом загореть,
Закрывая телесную медь?

Дорогая, с чадрой не дружись,
Заучи эту заповедь вкратце,
Ведь и так коротка наша жизнь,
Мало счастьем дано любоваться.
Заучи эту заповедь вкратце.

Даже все некрасивое в роке
Осеняет своя благодать.
Потому и прекраспые щеки
Перед миром грешно закрывать,
Коль дала их природа-мать.

Тихо розы бегут по полям.
Сердцу снится страна другая.
Я спою тебе сам, дорогая,
То, что сроду не пел Хаям...
Тихо розы бегут по полям.

1924

* * *

Воздух прозрачный и синий,
Выйду в цветочные чащи.
Путник, в лазурь уходящий,

Ты не дойдешь до пустыни.
Воздух прозрачный и синий.

Лугом пройдешь, как садом,
Садом — в цветенье диком,
Ты не удержишься взглядом,
Чтоб не припасть к гвоздикам.
Лугом пройдешь, как садом.

Шепот ли, шорох иль шелест —
Нежность, как песни Саади.
Вмиг отразится во взгляде
Месяца желтая прелесть,
Нежность, как песни Саади.

Голос раздастся пери,
Тихий, как флейта Гассана.
В крепких объятиях стана
Нет ни тревог, ни потери,
Только лишь флейта Гассана.

Вот он, удел желанный
Всех, кто в пути устали.
Ветер благоуханный
Пью я сухими устами,
Ветер благоуханный.

<1925>

* * *

Золото холодное луны,
Запах олеандра и левкоя.
Хорошо бродить среди покоя
Голубой и ласковой страны.

Далеко-далече там Багдад,
Где жила и пела Шахразада.
Но теперь ей ничего не надо.
Отзвенел давно звеневший сад.

Призраки далекие земли
Поросли кладбищенской травою.
Ты же, путник, мертвым не внемли,
Не склоняйся к плитам головою.

Оглянись, как хорошо кругом:
Губы к розам так и тянет, тянет.
Помирись лишь в сердце со врагом —
И тебя блаженством ошафранит.

Жить — так жить, любить — так уж влюбляться.
В лунном золоте целуйся и гуляй,
Если ж хочешь мертвым поклоняться,
То живых тем сном не отравляй.

Это пела даже Шахразада,—
Так вторично скажет листьев медь.
Тех, которым ничего не надо,
Только можно в мире пожалеть.

<1925>

* * *

В Хороссане есть такие двери,
Где обсыпан розами порог.
Там живет задумчивая пери.
В Хороссане есть такие двери,
Но открыть те двери я не мог.

У меня в руках довольно силы,
В волосах есть золото и медь.
Голос пери нежный и красивый.
У меня в руках довольно силы,
Но дверей не смог я отпереть.

Ни к чему в любви моей отвага.
И зачем? Кому мне песни петь? —
Если стала неревнивой Шага,
Коль дверей не смог я отпереть,
Ни к чему в любви моей отвага.

Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь
Из любви к родимому мне краю?
Мне пора обратно ехать в Русь.

До свиданья, пери, до свиданья,
Пусть не смог я двери отпереть,

Ты дала красивое страданье,
Про тебя на родине мне петь.
До свиданья, пери, до свиданья.

Март 1925

* * *

Голубая родина Фирдуси,
Ты не можешь, памятью простыв,
Позабыть о ласковом урусе
И глазах, задумчиво простых,
Голубая родина Фирдуси.

Хороша ты, Персия, я знаю,
Розы, как светильники, горят
И опять мне о далеком крае
Свежестью упругой говорят.
Хороша ты, Персия, я знаю.

Я сегодня пью в последний раз
Ароматы, что хмельны, как брага.
И твой голос, дорогая Шага,
В этот трудный расставанья час
Слушаю в последний раз.

Но тебя я разве позабуду?
И в моей скитальческой судьбе
Близкому и дальнему мне люду
Буду говорить я о тебе —
И тебя навеки не забуду.

Я твоих несчастий не боюсь,
Но на всякий случай твой угрюмый
Оставляю песенку про Русь:
Запевая, обо мне подумай,
И тебе я в песне отзовусь...

Март 1925

* * *

Быть поэтом — это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.

Быть поэтом — значит петь раздолье,
Чтобы было для тебя известней.
Соловей поет — ему не больно,
У него одна и та же песня.

Канарейка с голоса чужого —
Жалкая, смешная побрякушка.
Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски, даже как лягушка.

Магомет перехитрил в Коране,
Запрещая крепкие напитки,
Потому поэт не перестанет
Пить вино, когда идет на пытки.

И когда поэт идет к любимой,
А любимая с другим лежит на ложе,
Влагою живительной хранимый,
Он ей в сердце не запустит ножик.

Но, горя ревнивою отвагой,
Будет вслух насвистывать до дома:
«Ну и что ж, помру себе бродягой,
На земле и это нам знакомо».

Август 1925

* * *

Руки милой — пара лебедей —
В золоте волос моих ныряют.
Все на этом свете из людей
Песнь любви поют и повторяют.

Пел и я когда-то далеко
И теперь пою про то же снова,
Потому и дышит глубоко
Нежностью пропитанное слово.

Если душу вылюбить до дна,
Сердце станет глыбой золотою,
Только тегеранская луна
Не согреет песни теплотою.

Я не знаю, как мне жизнь прожить:
Догореть ли в ласках милой Шаги
Иль под старость трепетно тужить
О прошедшей песенной отваге?

У всего своя походка есть:
Что приятно уху, что — для глаза.
Если перс слагает плохо песнь,
Значит, он вовек не из Шираза.

Про меня же и за эти песни
Говорите так среди людей:
Он бы пел нежнее и чудесней,
Да сгубила пара лебедей.

Август 1925

* * *

«Отчего луна так светит тускло
На сады и стены Хороссана?
Словно я хожу равниной русской
Под шуршащим пологом тумана»,—

Так спросил я, дорогая Лала,
У молчащих ночью кипарисов,
Но их рать ни слова не сказала,
К небу гордо головы завысив.

«Отчего луна так светит грустно?» —
У цветов спросил я в тихой чаще,
И цветы сказали: «Ты почувствуй
По печали розы шелестящей».

Лепестками роза расплескалась,
Лепестками тайно мне сказала:
«Шаганэ твоя с другим ласкалась,
Шаганэ другого целовала.

Говорила: «Русский не заметит...
Сердцу — песнь, а песне — жизнь и тело...»
Оттого луна так тускло светит,
Оттого печально побледнела.

Слишком много виделось измены,
Слез и мук, кто ждал их, кто не хочет.
. . . .
Но и все ж вовек благословенны
На земле сиреневые ночи.

Август 1925

* * *

Глупое сердце, не бейся!
Все мы обмануты счастьем,
Нищий лишь просит участья...
Глупое сердце, не бейся.

Месяца желтые чары
Льют по каштанам в пролесь.
Лале склонясь на шальвары,
Я под чадрою укроюсь.
Глупое сердце, не бейся.

Все мы порою, как дети,
Часто смеемся и плачем:
Выпали нам на свете
Радости и неудачи.
Глупое сердце, не бейся.

Многие видел я страны,
Счастья искал повсюду,
Только удел желанный
Больше искать не буду.
Глупое сердце, не бейся,

Жизнь не совсем обманула.
Новой напьемся силой.
Сердце, ты хоть бы заснуло
Здесь, на коленях у милой.
Жизнь не совсем обманула.

Может, и нас отметит
Рок, что течет лавиной,
И на любовь ответит
Песнею соловьиной.
Глупое сердце, не бейся.

Август 1925

* * *

Голубая да веселая страна.
Честь моя за песню продана.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Слышишь, роза клонится и гнется —
Эта песня в сердце отзовется.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Ты — ребенок, в этом спора нет,
Да и я ведь разве не поэт?
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Дорогая Гелия, прости.
Много роз бывает на пути,
Много роз склоняется и гнется,
Но одна лишь сердцем улыбнется.

Улыбнемся вместе. Ты и я.
За такие милые края.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Голубая да веселая страна.
Пусть вся жизнь моя за песню продана,
Но за Гелию в тенях ветвей
Обнимает розу соловей.

8 апреля 1925

КАПИТАН ЗЕМЛИ

Еще никто
Не управлял планетой,
И никому
Не пелась песнь моя.
Лишь только он,
С рукой своей воздетой,
Сказал, что мир —
Единая семья.

Не обольщен я
Гимнами герою,
Не трепещу
Кровопроводом жил.
Я счастлив тем,
Что сумрачной порою
Одними чувствами
Я с ним дышал
И жил.

Не то что мы,
Которым все так
Близко,—
Впадают в диво
И слоны...
Как скромный мальчик
Из Симбирска
Стал рулевым
Своей страны.

Средь рева волн
В своей расчистке,
Слегка суров
И нежно мил,

Он много мыслил
По-марксистски,
Совсем по-ленински
Творил.

Нет!
Это не разгулье Стеньки!
Не пугачевский
Бунт и трон!
Он никого не ставил
К стенке.
Все делал
Лишь людской закон.

Он в разуме,
Отваги полный,
Лишь только прилегал
К рулю,
Чтобы об мыс
Дробились волны,
Простор давая
Кораблю.

Он — рулевой
И капитан,
Страшны ль с ним
Шквальные откосы?
Ведь, собранная
С разных стран,
Вся партия — его
Матросы.

Не трусь,
Кто к морю не привык:
Они за лучшие
Обеты
Зажгут,
Сойдя на материк,
Путеводительные светы.

Тогда поэт
Другой судьбы,
И уж не я,
А он меж вами

Споет вам песню
В честь борьбы
Другими,
Новыми словами.

Он скажет:
«Только тот пловец,
Кто, закалив
В бореньях душу,
Открыл для мира наконец
Никем не виданную
Сушу».

17 января 1925

ВОСПОМИНАНИЕ

Теперь октябрь не тот,
Не тот октябрь теперь.
В стране, где свищет непогода,
Ревел и выл
Октябрь, как зверь,
Октябрь семнадцатого года.
Я помню жуткий
Снежный день.
Его я видел мутным взглядом.
Железная витала тень
Над омраченным Петроградом.
Уже все чуяли грозу,
Уже все знали что-то,
Знали,
Что не напрасно, знать, везут
Солдаты черепах из стали.
Рассыпались...
Уселись в ряд...
У публики дрожат поджилки...
И кто-то вдруг сорвал плакат
Со стен трусливой учредилки.
И началось...
Метнулись взоры,
Войной гражданскою горя,
И дымом пламенной «Авроры»
Взошла железная заря.

Свершилась участь роковая,
И над страной под вопли «матов»
Взметнулась надпись огневая:
«Совет Рабочих Депутатов».

1925

СОБАКЕ КАЧАЛОВА

Дай, Джим, на счастье лапу мне.
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Пожалуйста, голубчик, не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.

Хозяин твой и мил и знаменит,
И у него гостей бывает в доме много,
И каждый, улыбаясь, норовит
Тебя по шерсти бархатной потрогать.

Ты по-собачьи дьявольски красив,
С такою милою доверчивой приятцей.
И, никого ни капли не спросив,
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.

Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и невсяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку.
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват.

1925

* * *

Несказанное, синее, нежное...
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя — поле безбрежное —
Дышит запахом меда и роз.

Я утих. Годы сделали дело,
Но того, что прошло, не кляну.
Словно тройка коней оголтелая
Прокатилась во всю страну.

Напылили кругом. Накопытили.
И пропали под дьявольский свист.
А теперь вот в лесной обители
Даже слышно, как падает лист.

Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?
Все спокойно впивает грудь.
Стой, душа, мы с тобой проехали
Через бурный положенный путь.

Разберемся во всем, что видели,
Что случилось, что сталось в стране,
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.

Принимаю, что было и не было,
Только жаль на тридцатом году —
Слишком мало я в юности требовал,
Забываясь в кабацком чаду.

Но ведь дуб молодой, не разжелудясь,
Так же гнется, как в поле трава...
Эх ты, молодость, буйная молодость,
Золотая сорвиголова!

1925

ПЕСНЯ

Есть одна хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке.

Цвела — забубенная, росла — ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

Думы мои, думы! Боль в висках и темени.
Промотал я молодость без поры, без времени.

Как случилось-сталось, сам не понимаю.
Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю.

Лейся, песня звонкая, вылей трель унылую.
В темноте мне кажется — обнимаю милую.

За окном гармоника и сиянье месяца.
Только знаю — милая никогда не встретится.

Эх, любовь-калинушка, кровь — заря вишневая,
Как гитара старая и как песня новая.

С теми же улыбками, радостью и муками,
Что певалось дедами, то поется внуками.

Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха —
Все равно любимая отцветет черемухой.

Я отцвел, не знаю где. В пьянстве, что ли? В славе ли?
В молодости нравился, а теперь оставили.

Потому хорошая песня у соловушки,
Песня панихидная по моей головушке.

Цвела — забубенная, была — ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

1925

* * *

Ну, целуй меня, целуй,
Хоть до крови, хоть до боли.
Не в ладу с холодной волей
Кипяток сердечных струй.

Опрокинутая кружка
Средь веселых не для нас.
Понимай, моя подружка,
На земле живут лишь раз!

Оглядись спокойным взором,
Посмотри: во мгле сырой
Месяц, словно желтый ворон,
Кружит, вьется над землей.

Ну, целуй же! Так хочу я.
Песню тлен пропел и мне.
Видно, смерть мою почуял
Тот, кто вьется в вышине.

Увядающая сила!
Умирать — так умирать!
До кончины губы милой
Я хотел бы целовать.

Чтоб все время в синих дремах,
Не стыдясь и не тая,
В нежном шелесте черемух
Раздавалось: «Я твоя».

И чтоб свет над полной кружкой
Легкой пеной не погас —
Пей и пой, моя подружка:
На земле живут лишь раз!

1925

* * *

Не вернусь я в отчий дом,
Вечно странствующий странник.
Об ушедшем над прудом
Пусть тоскует конопляник.

Пусть неровные луга
Обо мне поют крапивой,—
Брызжет полночью дуга,
Колокольчик говорливый.

Высоко стоит луна,
Даже шапки не докинуть.
Песне тайна не дана,
Где ей жить и где погинуть.

Но на склоне наших лет
В отчий дом ведут дороги.
Повезут глухие дроги
Полутруп, полускелет.

Ведь недаром с давних пор
Поговорка есть в народе:
Даже пес в хозяйский двор
Издыхать всегда приходит.

Ворочусь я в отчий дом —
Жил и не́ жил бедный странник...
. . . .
В синий вечер над прудом
Прослезится коноплянник.

<1925>

* * *

Заря окликает другую,
Дымится овсяная гладь...
Я вспомнил тебя, дорогую,
Моя одряхлевшая мать.

Как прежде ходя на пригорок,
Костыль свой сжимая в руке,
Ты смотришь на лунный опорок,
Плывущий по сонной реке.

И думаешь горько, я знаю,
С тревогой и грустью большой,
Что сын твой по отчему краю
Совсем не болеет душой.

Потом ты идешь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вздыхаешь так нежно и просто
За братьев моих и сестер.

Пускай мы росли ножевые,
А сестры росли, как май,
Ты все же глаза живые
Печально не подымай.

Довольно скорбеть! Довольно!
И время тебе подсмотреть,
Что яблоне тоже больно
Терять своих листьев медь.

Ведь радость бывает редко,
Как вешняя звень поутру,
И мне — чем сгнивать на ветках —
Уж лучше сгореть на ветру.

<1925>

* * *

Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь.
Спит черемуха в белой накидке.

В деревянные крылья окна
Вместе с рамами в тонкие шторы
Вяжет взбалмошная луна
На полу кружевные узоры.

Наша горница хоть и мала,
Но чиста. Я с собой на досуге...
В этот вечер вся жизнь мне мила,
Как приятная память о друге.

Сад полышет, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящего слова «милый».

Только я в эту цветь, в эту гладь,
Под тальянку веселого мая,
Ничего не могу пожелать,
Все, как есть, без конца принимая.

Принимаю — приди и явись,
Все явись, в чем есть боль и отрада...
Мир тебе, отшумевшая жизнь.
Мир тебе, голубая прохлада.

1925

* * *

Неуютная жидкая лунность
И тоска бесконечных равнин,—
Вот что видел я в резвую юность,
Что, любя, проклинал не один.

По дорогам усохшие вербы
И тележная песня колес...
Ни за что не хотел я теперь бы,
Чтоб мне слушать ее привелось.

Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил,
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.

Мне теперь по душе иное.
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны.

Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету свою видеть больно
И березам и тополям.

Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальною
Видеть бедную, нищую Русь.

И, внимая моторному лаю
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.

<1925>

* * *

Прощай, Баку! Тебя я не увижу.
Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг.
И сердце под рукой теперь больней и ближе,
И чувствую сильней простое слово: друг.

Прощай, Баку! Синь тюркская, прощай!
Хладеет кровь, ослабевают силы.
Но донесу, как счастье, до могилы
И волны Каспия, и балаханский май.

Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!
В последний раз я друга обниму...
Чтоб голова его, как роза золотая,
Кивала нежно мне в сиреневом дыму.

Май 1925

* * *

Вижу сон. Дорога черная.
Белый конь. Стопа упорная.
И на этом на коне
Едет милая ко мне.
Едет, едет милая,
Только нелюбимая.

Эх, береза русская!
Путь-дорога узкая.
Эту милую, как сон,
Лишь для той, в кого влюблен,
Удержи ты ветками,
Как руками меткими.

Светит месяц. Синь и сонь.
Хорошо копытит конь.
Свет такой таинственный,
Словно для единственной —
Той, в которой тот же свет
И которой в мире нет.

Хулиган я, хулиган.
От стихов дурак и пьян.

Но и все ж за эту прыть,
Чтобы сердцем не остыть,
За березовую Русь
С нелюбимой помирюсь.

2 июля 1925

* * *

Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку — чтоб с рыбой невода,
Пахарю — чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.

Воду пьют из кружек и стаканов,
Из кувшинок также можно пить —
Там, где омут розовых туманов
Не устанет берег золотить.

Хорошо лежать в траве зеленой
И, впиваясь в призрачную гладь,
Чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный,
На себе, уставшем, вспоминать.

Коростели свищут... коростели...
Потому так и светлы всегда
Те, что в жизни сердцем опростели
Под веселой ношею труда.

Только я забыл, что я крестьянин,
И теперь рассказываю сам,
Соглядатай праздный, я ль не странен
Дорогим мне пашням и лесам.

Словно жаль кому-то и кого-то,
Словно кто-то к родине отвык,
И с того, поднявшись над болотом,
В душу плачут чибис и кулик.

12 июля 1925

* * *

Видно, так заведено навеки —
К тридцати годам перебесясь,
Все сильней, прожженные калеки,
С жизнью мы удерживаем связь.

Милая, мне скоро стукнет тридцать,
И земля милей мне с каждым днем.
Оттого и сердцу стало сниться,
Что горю я розовым огнем.

Коль гореть, так уж гореть сгорая,
И недаром в липовую цветь
Вынул я кольцо у попугая —
Знак того, что вместе нам сгореть.

То кольцо надела мне цыганка.
Сняв с руки, я дал его тебе,
И теперь, когда грустит шарманка,
Не могу не думать, не робеть.

В голове болотный бродит омут,
И на сердце изморозь и мгла:
Может быть, кому-нибудь другому
Ты его со смехом отдала?

Может быть, целуясь до рассвета,
Он тебя расспрашивает сам,
Как смешного, глупого поэта
Привела ты к чувственным стихам.

Ну, и что ж! Пройдет и эта рана.
Только горько видеть жизни край.
В первый раз такого хулигана
Обманул проклятый попугай.

14 июля 1925

* * *

Я иду долиной. На затылке кепи,
В лайковой перчатке смуглая рука.
Далеко сияют розовые степи,
Широко синеет тихая река.

Я — беспечный парень. Ничего не надо.
Только б слушать песни — сердцем подпевать,
Только бы струилась легкая прохлада,
Только б не сгибалась молодая стать.

Выйду за дорогу, выйду под откосы,—
Сколько там нарядных мужиков и баб!
Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы.
«Эй, поэт, послушай, слаб ты иль не слаб?

На земле милее. Полно плавать в небо.
Как ты любишь долы, так бы труд любил.
Ты ли деревенским, ты ль крестьянским не был?
Размахнись косою, покажи свой пыл».

Ах, перо не грабли, ах, коса не ручка —
Но косой выводят строчки хоть куда.
Под весенним солнцем, под весенней тучкой
Их читают люди всякие года.

К черту я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу —
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль не дорожу?

Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.
Хорошо косою в утренний туман
Выводить по долам травяные строчки,
Чтобы их читали лошадь и баран.

В этих строчках — песня, в этих строчках — слово.
Потому и рад я в думах ни о ком,
Что читать их может каждая корова,
Отдавая плату теплым молоком.

18 июля 1925

* * *

Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси?

Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.

И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревёнчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!

Июль 1925

* * *

Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось.

Я помню осенние ночи,
Березовый шорох теней,
Пусть дни тогда были короче,
Луна нам светила длинней.

Я помню, ты мне говорила:
«Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда».

Сегодня цветущая липа
Напомнила чувствам опять,
Как нежно тогда я сыпал
Цветы на кудрявую прядь.

И сердце, остыть не готовясь
И грустно другую любя,
Как будто любимую повесть
С другой вспоминает тебя.

<1925>

* * *

Сестре Шуре

Ах, как много на свете кошек,
Нам с тобой их не счесть никогда.
Сердцу снится душистый горошек,
И звенит голубая звезда.

Наяву ли, в бреду иль спросонок,
Только помню с далекого дня —
На лежанке мурлыкал котенок,
Безразлично смотря на меня.

Я еще тогда был ребенок,
Но под бабкину песню вскок
Он бросался, как юный тигренок,
На оброненный ею клубок.

Все прошло. Потерял я бабку,
А еще через несколько лет
Из кота того сделали шапку,
А ее износил наш дед.

13 сентября 1925

* * *

Море голосов воробьиных.
Ночь, а как будто ясно,
Так ведь всегда прекрасно.
Ночь, а как будто ясно,
И на устах невинных
Море голосов воробьиных.

Ах, у луны такое
Светит — хоть кинься в воду.
Я не хочу покоя
В синюю эту погоду.
Ах, у луны такое
Светит — хоть кинься в воду.

Милая, ты ли? та ли?
Эти уста не устали.
Эти уста, как в струях,

Жизнь утолят в поцелуях.
Милая, ты ли? та ли?
Розы ль мне то нашептали?

Сам я не знаю, что будет.
Близко, а может, где-то
Плачет веселая флейта.
В тихом вечернем гуде
Чту я за лилии груди.
Плачет веселая флейта,
Сам я не знаю, что будет.

<1925>

* * *

Гори, звезда моя, не падай.
Роняй холодные лучи.
Ведь за кладбищенской оградой
Живое сердце не стучит.

Ты светишь августом и рожью
И наполняешь тишь полей
Такой рыдалистою дрожью
Неотлетевших журавлей.

И, голову вздымая выше,
Не то за рощей — за холмом
Я снова чью-то песню слышу
Про отчий край и отчий дом.

И золотеющая осень,
В березах убавляя сок,
За всех, кого любил и бросил,
Листвою плачет на песок.

Я знаю, знаю. Скоро, скоро
Ни по моей, ни чьей вине
Под низким траурным забором
Лежать придется так же мне.

Погаснет ласковое пламя,
И сердце превратится в прах.
Друзья поставят серый камень
С веселой надписью в стихах.

Но, погребальной грусти внемля,
Я для себя сложил бы так:
Любил он родину и землю,
Как любит пьяница кабак.

17 августа 1925

* * *

Жизнь — обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письмена.

Я всегда, когда глаза закрою,
Говорю: «Лишь сердце потревожь,
Жизнь — обман, но и она порою
Украшает радостями ложь.

Обратись лицом к седому небу,
По луне гадая о судьбе,
Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе».

Хорошо в черемуховой вьюге
Думать так, что эта жизнь — стезя.
Пусть обманут легкие подруги,
Пусть изменят легкие друзья.

Пусть меня ласкают нежным словом,
Пусть острее бритвы злой язык,—
Я живу давно на все готовым,
Ко всему безжалостно привык.

Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звездного огня.
Те, кого любил я, отреклися,
Кем я жил — забыли про меня.

Но и все ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за все благодарю.

17 августа 1925

* * *

Листья падают, листья падают.
Стонет ветер,
Протяжен и глух.
Кто же сердце порадует?
Кто его успокоит, мой друг?

С отягченными веками
Я смотрю и смотрю на луну.
Вот опять петухи кукарекнули
В обосененную тишину.

Предрассветное. Синее. Раннее.
И летающих звезд благодать.
Загадать бы какое желание,
Да не знаю, чего пожелать.

Что желать под житейскою ношею,
Проклиная удел свой и дом?
Я хотел бы теперь хорошую
Видеть девушку под окном.

Чтоб с глазами она васильковыми
Только мне —
Не кому-нибудь —
И словами и чувствами новыми
Успокоила сердце и грудь.

Чтоб под этою белою лунностью,
Принимая счастливый удел,
Я над песней не таял, не млел
И с чужою веселою юностью
О своей никогда не жалел.

Август 1925

* * *

Над окошком месяц. Под окошком ветер.
Облетевший тополь серебрист и светел.

Дальний плач тальянки, голос одинокий —
И такой родимый, и такой далекий.

Плачет и смеется песня лиховая.
Где ты, моя липа? Липа вековая?

Я и сам когда-то в праздник спозаранку
Выходил к любимой, развернув тальянку.

А теперь я милой ничего не значу.
Под чужую песню и смеюсь и плачу.

Август 1925

* * *

Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!
Вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела?
Не шуми, осина, не пыли, дорога.
Пусть несется песня к милой до порога.

Пусть она услышит, пусть она поплачет.
Ей чужая юность ничего не значит.
Ну, а если значит — проживет не мучась.
Где ты, моя радость? Где ты, моя участь?

Лейся, песня, пуще, лейся, песня, звяньше.
Все равно не будет то, что было раньше.
За былую силу, гордость и осанку
Только и осталась песня под тальянку.

8 сентября 1925

* * *

Сестре Шуре

Я красивых таких не видел,
Только, знаешь, в душе затаю
Не в плохой, а в хорошей обиде —
Повторяешь ты юность мою.

Ты — мое васильковое слово,
Я навеки люблю тебя.
Как живет теперь наша корова,
Грусть соломенную теребя?

Запоешь ты, а мне любимо,
Исцеляй меня детским сном.
Отгорела ли наша рябина,
Осыпаясь под белым окном?

Что поет теперь мать за куделью?
Я навеки покинул село,
Только знаю — багряной метелью
Нам листвы на крыльцо намело.

Знаю то, что о нас с тобой вместе
Вместо ласки и вместо слез
У ворот, как о сгибшей невесте,
Тихо воет покинутый пес.

Но и все ж возвращаться не надо,
Потому и достался не в срок,
Как любовь, как печаль и отрада,
Твой красивый рязанский платок.

13 сентября 1925

* * *

Сестре Шуре

Ты запой мне ту песню, что прежде
Напевала нам старая мать.
Не жалея о сгибшей надежде,
Я сумею тебе подпевать.

Я ведь знаю, и мне знакомо,
Потому и волнуй и тревожь —
Будто я из родимого дома
Слышу в голосе нежную дрожь.

Ты мне пой, ну, а я с такою,
Вот с такою же песней, как ты,
Лишь немного глаза прикрою —
Вижу вновь дорогие черты.

Ты мне пой. Ведь моя отрада —
Что вовек я любил не один
И калитку осеннего сада,
И опавшие листья с рябин.

Ты мне пой, ну, а я припомню
И не буду забывчиво хмур:
Так приятно и так легко мне
Видеть мать и тоскующих кур.

Я навек за туманы и росы
Полюбил у березки стан,
И ее золотистые косы,
И холщовый ее сарафан.

Потому так и сердцу не жестко —
Мне за песнею и за вином
Показалась ты той березкой,
Что стоит под родимым окном.

13 сентября 1925

* * *

Сестре Шуре

В этом мире я только прохожий,
Ты махни мне веселой рукой.
У осеннего месяца тоже
Свет ласкающий, тихий такой.

В первый раз я от месяца греюсь,
В первый раз от прохлады согрет,
И опять и живу и надеюсь
На любовь, которой уж нет.

Это сделала наша равнинность,
Посоленная белью песка,
И измятая чья-то невинность,
И кому-то родная тоска.

Потому и навеки не скрою,
Что любить не отдельно, не врозь —
Нам одною любовью с тобою
Эту родину привелось.

13 сентября 1925

* * *

Эх вы, сани! А кони, кони!
Видно, черт их на землю принес.
В залихватском степном разгоне
Колокольчик хохочет до слез.

Ни луны, ни собачьего лая
В далеке, в стороне, в пустыре.
Поддержись, моя жизнь удалая,
Я еще не навек постарел.

Пой, ямщик, вперекор этой ночи,—
Хочешь, сам я тебе подпою
Про лукавые девичьи очи,
Про веселую юность мою.

Эх, бывало, заломишь шапку,
Да заложишь в оглобли коня,
Да приляжешь на сена охапку,—
Вспоминай лишь, как звали меня.

И откуда бралась осанка,
А в полуночную тишину
Разговорчивая тальянка
Уговаривала не одну.

Все прошло. Поредел мой волос.
Конь издох, опустел наш двор.
Потеряла тальянка голос,
Разучившись вести разговор.

Но и все же душа не остыла,
Так приятны мне снег и мороз,
Потому что над всем, что было,
Колокольчик хохочет до слез.

19 сентября 1925

* * *

Снежная замять дробится и колется,
Сверху озябшая светит луна.
Снова я вижу родную околицу,
Через метель огонек у окна.

Все мы бездомники, много ли нужно нам.
То, что далось мне, про то и пою.
Вот я опять за родительским ужином,
Снова я вижу старушку мою.

Смотрит, а очи слезятся, слезятся,
Тихо, безмолвно, как будто без мук.
Хочет за чайную чашку взяться —
Чайная чашка скользит из рук.

Милая, добрая, старая, нежная,
С думами грустными ты не дружись,
Слушай — под эту гармонику снежную
Я расскажу про свою тебе жизнь.

Много я видел, и много я странствовал,
Много любил я и много страдал,
И оттого хулиганил и пьянствовал,
Что лучше тебя никого не видал.

Вот и опять у лежанки я греюсь,
Сбросил ботинки, пиджак свой раздел.
Снова я ожил и снова надеюсь
Так же, как в детстве, на лучший удел.

А за окном под метельные всхлипы,
В диком и шумном метельном чаду,
Кажется мне — осыпаются липы,
Белые липы в нашем саду.

20 сентября 1925

* * *

Синий туман. Снеговое раздолье,
Тонкий лимонный лунный свет.
Сердцу приятно с тихою болью
Что-нибудь вспомнить из ранних лет.

Снег у крыльца как песок зыбучий.
Вот при такой же луне без слов,
Шапку из кошки на лоб нахлобучив,
Тайно покинул я отчий кров.

Снова вернулся я в край родимый.
Кто меня помнит? Кто позабыл?
Грустно стою я, как странник гонимый,—
Старый хозяин своей избы.

Молча я комкаю новую шапку,
Не по душе мне соболий мех.
Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабку,
Вспомнил кладбищенский рыхлый снег.

Все успокоились, все там будем,
Как в этой жизни радей не радей,—
Вот почему так тянусь я к людям,
Вот почему так люблю людей.

Вот отчего я чуть-чуть не заплакал
И, улыбаясь, душой погас,—
Эту избу на крыльце с собакой
Словно я вижу в последний раз.

24 сентября 1925

* * *

Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся.
Хорошо с любимой в поле затеряться.

Ветерок веселый робок и застенчив,
По равнине голой катится бубенчик.

Эх вы, сани, сани! Конь ты мой буланый!
Где-то на поляне клен танцует пьяный.

Мы к нему подъедем, спросим — что такое?
И станцуем вместе под тальянку трое.

3 октября 1925

* * *

Голубая кофта. Синие глаза.
Никакой я правды милой не сказал.

Милая спросила: «Крутит ли метель?
Затопить бы печку, постелить постель».

Я ответил милой: «Нынче с высоты
Кто-то осыпает белые цветы.

Затопи ты печку, постели постель,
У меня на сердце без тебя метель».

3 октября 1925

* * *

Снежная замять крутит бойко,
По полю мчится чужая тройка.

Мчится на тройке чужая младость.
Где мое счастье? Где моя радость?

Все укатилось под вихрем бойким
Вот на такой же бешеной тройке.

4/5 октября 1925

* * *

Вечером синим, вечером лунным
Был я когда-то красивым и юным.

Неудержимо, неповторимо
Все пролетело... далече... мимо...

Сердце остыло, и выцвели очи...
Синее счастье! Лунные ночи!

4/5 октября 1925

* * *

Не криви улыбку, руки теребя,
Я люблю другую, только не тебя.

Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо —
Не тебя я вижу, не к тебе пришел.

Проходил я мимо, сердцу все равно —
Просто захотелось заглянуть в окно.

4/5 октября 1925

* * *

Плачет метель, как цыганская скрипка.
Милая девушка, злая улыбка,
Я ль не робею от синего взгляда?
Много мне нужно и много не надо.

Так мы далеки и так не схожи —
Ты молодая, а я все прожил.
Юношам счастье, а мне лишь память
Снежною ночью в лихую замять.

Я не заласкан — буря мне скрипка.
Сердце метелит твоя улыбка.

<4/5 октября 1925>

* * *

Ах, метель такая, просто черт возьми!
Забивает крышу белыми гвоздьми.
Только мне не страшно, и в моей судьбе
Непутевым сердцем я прибит к тебе.

<4/5 октября 1925>

* * *

Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?

<4/5 октября 1925>

* * *

Свищет ветер, серебряный ветер,
В шелковом шелесте снежного шума.
В первый раз я в себе заметил —
Так я еще никогда не думал.

Пусть на окошках гнилая сырость,
Я не жалею, и я не печален.
Мне все равно эта жизнь полюбилась,
Так полюбилась, как будто вначале.

Взглянет ли женщина с тихой улыбкой —
Я уж взволнован. Какие плечи!
Тройка ль проскачет дорогой зыбкой —
Я уже в ней и скачу далече.

О, мое счастье и все удачи!
Счастье людское землей любимо.
Тот, кто хоть раз на земле заплачет,—
Значит, удача промчалась мимо.

Жить нужно легче, жить нужно проще,
Все принимая, что есть на свете.
Вот почему, обалдев, над рощей
Свищет ветер, серебряный ветер.

14 октября 1925

* * *

Мелколесье. Степь и дали.
Свет луны во все концы.
Вот опять вдруг зарыдали
Разливные бубенцы.

Неприглядная дорога,
Да любимая навек,
По которой ездил много
Всякий русский человек.

Эх вы, сани! Что за сани!
Звоны мерзлые осин.
У меня отец — крестьянин,
Ну, а я — крестьянский сын.

Наплевать мне на известность
И на то, что я поэт.
Эту чахленькую местность
Не видал я много лет.

Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти березке каждой
Ножку рад поцеловать.

Как же мне не прослезиться,
Если с венкой в стынь и звень
Будет рядом веселиться
Юность русских деревень.

Эх, гармошка, смерть-отрава,
Знать, с того под этот вой
Не одна лихая слава
Пропадала трын-травой.

21/22 октября 1925

* * *

Цветы мне говорят — прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Ее лицо и отчий край.

Любимая, ну, что ж! Ну, что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо,—
Я говорю на каждый миг,
Что все на свете повторимо.

Не все ль равно — придет другой,
Печаль ушедшего не сгложет,
Оставленной и дорогой
Пришедший лучше песню сложит.

И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне
Как о цветке неповторимом.

27 октября 1925

* * *

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?

Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.

Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.

Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.

И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.

28 ноября 1925

* * *

Какая ночь! Я не могу.
Не спится мне. Такая лунность.
Еще как будто берегу
В душе утраченную юность.

Подруга охладевших лет,
Не называй игру любовью,
Пусть лучше этот лунный свет
Ко мне струится к изголовью.

Пусть искаженные черты
Он обрисовывает смело,—
Ведь разлюбить не сможешь ты,
Как полюбить ты не сумела.

Любить лишь можно только раз.
Вот оттого ты мне чужая,
Что липы тщетно манят нас,
В сугробы ноги погружая.

Ведь знаю я и знаешь ты,
Что в этот отсвет лунный, синий
На этих липах не цветы —
На этих липах снег да иней,

Что отлюбили мы давно,
Ты не меня, а я — другую,
И нам обоим все равно
Играть в любовь недорогую.

Но все ж ласкай и обнимай
В лукавой страсти поцелуя,
Пусть сердцу вечно снится май
И та, что навсегда люблю я.

30 ноября 1925

* * *

Не гляди на меня с упреком,
Я презренья к тебе не таю,
Но люблю я твой взор с поволокой
И лукавую кротость твою.

Да, ты кажешься мне распростертой,
И, пожалуй, увидеть я рад,
Как лиса, притворившись мертвой,
Ловит воронов и воронят.

Ну, и что же, лови, я не струшу.
Только как бы твой пыл не погас?
На мою охладевшую душу
Натыкались такие не раз.

Не тебя я люблю, дорогая,
Ты лишь отзвук, лишь только тень.
Мне в лице твоем снится другая,
У которой глаза — голубень.

Пусть она и не выглядит кроткой
И, пожалуй, на вид холодна,
Но она величавой походкой
Всколыхнула мне душу до дна.

Вот такую едва ль отуманишь,
И не хочешь пойти, да пойдешь,
Ну, а ты даже в сердце не вранишь
Напоенную ласкою ложь.

Но и все же, тебя презирая,
Я смущенно откроюсь навек:
Если б не было ада и рая,
Их бы выдумал сам человек.

1 декабря 1925

* * *

Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки опустив.

Молодая, с чувственным оскалом,
Я с тобой не нежен и не груб.
Расскажи мне, скольких ты ласкала?
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?

Знаю я — они прошли, как тени,
Не коснувшись твоего огня,
Многим ты садилась на колени,
А теперь сидишь вот у меня.

Пусть твои полузакрыты очи
И ты думаешь о ком-нибудь другом,
Я ведь сам люблю тебя не очень,
Утопая в дальнем дорогом.

Этот пыл не называй судьбою,
Легкодумна вспыльчивая связь,—
Как случайно встретился с тобою,
Улыбнусь, спокойно разойдясь.

Да и ты пойдешь своей дорогой
Распылять безрадостные дни,
Только нецелованных не трогай,
Только негоревших не мани.

И когда с другим по переулку
Ты пройдешь, болтая про любовь,
Может быть, я выйду на прогулку,
И с тобою встретимся мы вновь.

Отвернув к другому ближе плечи
И немного наклонившись вниз,
Ты мне скажешь тихо: «Добрый вечер!»
Я отвечу: «Добрый вечер, miss».

И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь,—
Кто любил, уж тот любить не может,
Кто сгорел, того не подожжешь.

4 декабря 1925

* * *

Может, поздно, может, слишком рано,
И о чем не думал много лет,
Походить я стал на Дон-Жуана,
Как заправский ветреный поэт.

Что случилось? Что со мною сталось?
Каждый день я у других колен.
Каждый день к себе теряю жалость,
Не смиряясь с горечью измен.

Я всегда хотел, чтоб сердце меньше
Билось в чувствах нежных и простых,
Что ж ищу в очах я этих женщин —
Легкодумных, лживых и пустых?

Удержи меня, мое презренье,
Я всегда отмечен был тобой.
На душе холодное кипенье
И сирени шелест голубой.

На душе — лимонный свет заката,
И все то же слышно сквозь туман,—
За свободу в чувствах есть расплата,
Принимай же вызов, Дон-Жуан!

И, спокойно вызов принимая,
Вижу я, что мне одно и то ж —
Чтить метель за синий цветень мая,
Звать любовью чувственную дрожь.

Так случилось, так со мною сталось,
И с того у многих я колен,
Чтобы вечно счастье улыбалось,
Не смиряясь с горечью измен.

13 декабря 1925

* * *

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле,
Эту жизнь прожил я словно кстати,
Заодно с другими на земле.

И с тобой целуюсь по привычке,
Потому что многих целовал,
И, как будто зажигая спички,
Говорю любовные слова.

«Дорогая», «милая», «навеки»,
А в душе всегда одно и то ж,
Если тронуть страсти в человеке,
То, конечно, правды не найдешь.

Оттого душе моей не жестко
Не желать, не требовать огня,
Ты, моя ходячая березка,
Создана для многих и меня.

Но, всегда ища себе родную
И томясь в неласковом плену,
Я тебя нисколько не ревную,
Я тебя нисколько не кляну.

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле,
И тебя любил я только кстати,
Заодно с другими на земле.

<1925>

* * *

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей,—
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

<1925>

МАЛЕНЬКИЕ ПОЭМЫ

МАРФА ПОСАДНИЦА

1

Не сестра месяца из темного болота
В жемчуге кокошник в небо запрокинула,—
Ой, как выходила Марфа за ворота,
Письменище черное из дулейки вынула.

Раскололся зыками колокол на вече,
Замахали кружевом полотнища зорние;
Услыхали ангелы голос человечий,
Отворили наскоро окна-ставни горние.

Возговорит Марфа голосом серебряно:
«Ой ли, внуки Васькины, правнуки Микулы!
Грамотой московскою извольно повелено
Выгомонить вольницы бражные загулы!»

Заходила буйница выхвали старинной,
Бороды, как молнии, выпячили грозно:
«Что нам Московия,— как поставник блинный!
Там бояр-те жены хлыстают загозно!»

Марфа на крылечко праву ножку кинула,
Левой помахала каблучком сафьяновым.
«Быть так»,— кротко молвила, черны брови
сдвинула —
Не ручьи-брызгатели выцветням росяновым...

2

Не чернец беседует с господом в затворе —
Царь московский антихриста вызывает:
«Ой, Виельзевуле, горе мое, горе,
Новгород мне вольный ног не лобызает!»

Вылез из запечья сатана гадюкой,
В пучеглазых бельмах исчаведье ада.
«Побожися душу выдать мне порукой,
Иначе не будет с Новгородом слада!»

Вынул он бумаги — облака клок,
Дал ему перо — от молнии стрелу.
Чиркнул царь кинжалищем локоток,
Расчеркнулся и зажал руку в полу.

Зарычит антихрист земным гудом:
«А и сроку тебе, царь, даю четыреста лет!
Как пойдет на Москву заморский Иуда,
Тут тебе с Новгородом и сладу нет!»

«А откуль гроза, когда ветер шумит?» —
Задает ему царь хитрóй спрос.
Говорит сатана зыком черных згит:
«Этот ответ с собой ветер унес...»

3

На соборах Кремля колокола заплакали,
Собирались стрельцы из дальних слобод;
Кони ржали, сабли звякали,
Глас приказный чинно слухал народ.

Закраснели хоругви, образа засверкали.
Царь пожаловал бочку с вином.
Бабы подолами слезы утирали,—
Кто-то воротится невредим в дом?

Пошли стрельцы, запылили по полю:
«Берегись ты теперь, горды Новоград!»
Пики тенькали, кони топали,—
Никто не пожалел и не обернулся назад.

Возговорит царь жене своей:
«А и будет пир на красной браге!
Послал я сватать неучтивых семей,
Всем подушки голов расстелю в овраге».

«Государь ты мой,— шомонит жена,—
Моему ль уму судить суд тебе!..
Тебе власть дана, тебе воля дана,
Ты челом лишь бьешь одноей судьбе...»

4

В зарукавнике Марфа богу молилась,
Рукавом горючи слезы утирала;
За окошко она наклонилась,
Голубей к себе на колени сзывала:

«Уж вы, голубп, слуги боговы,
Солетайте-ко в райский терем,
Вертайтесь в земное логово,
Стучитесь к новоградским дверям!»

Приносили голуби от бога письмо,
Золотыми письменами рубленное;
Села Марфа за расшитою тесьмой:
«Уж ты, счастье ль мое загубленное!»

И писал господь своей верной рабе:
«Не гони метлой тучу вихристу;
Как московский царь на кровавой гульбе
Продал душу свою антихристу...»

5

А и минуло теперь четыреста лет.
Не пора ли нам, ребята, взяться за ум,
Исполнить святой Марфин завет:
Заглушить удалью московский шум?

А пойдемте, бойцы, ловить кречетов,
Отошлем дикомытя с потребою царю:
Чтобы дал нам царь ответ в сечи той,
Чтоб не застил он новоградскую зарю.

Ты шуми, певунный Волохов, шуми,
Разбуди Садко с Буслаем на-торгаш!
Выше, выше, вихорь, тучи подыми!
Ой ты, Новгород, родимый наш!

Как по быльнице тропинка пролегла;
А пойдемте стольный Киев звать!
Ой ли вы, с Кремля колокола,
А пора небось и честь вам знать!

Пропоем мы богу с ветрами тропарь,
Вспеним белую попончу,
Загудит наш с веча колокол, как встарь,
Тут я, ребята, и покончу.

Сентябрь 1914

РУСЬ

1

Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избенки леса.
Только видно на кочках и впадинах,
Как синеют кругом небеса.

Воют в сумерки долгие, зимние,
Волки грозные с тощих полей.
По дворам в погорающем инее
Над застрехами храп лошадей.

Как совиные глазки, за ветками
Смотрят в шали пурги огоньки.
И стоят за дубровными сетками,
Словно нечисть лесная, пеньки.

Запугала нас сила нечистая,
Что ни прорубь — везде колдуны.
В злую заморозь в сумерки мглистые
На березках висят талуны.

2

Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что — разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

Я люблю над покосной стоянкою
Слушать вечером гуд комаров.
А как гаркнут ребята тальянкою,
Выйдут девки плясать у костров.

Загорятся, как черна смородина,
Угли-очи в подковах бровей.
Ой ты, Русь моя, милая родина,
Сладкий отдых в шелку купырей.

3

Понакаркали черные вороны:
Грозным бедам широкий простор.
Крутит вихорь леса во все стороны,
Машет саваном пена с озер.

Грянул гром, чашка неба расколота,
Тучи рваные кутают лес.
На подвесках из легкого золота
Закачались лампадки небес.

Повестили под окнами сотские
Ополченцам идти на войну.
Загыгыкали бабы слободские,
Плач прорезал кругом тишину.

Собиралися мирные пахари
Без печали, без жалоб и слез,
Клали в сумочки пышки на сахаре
И пихали на кряжистый воз.

По селу до высокой околицы
Провожал их огулом народ.
Вот где, Русь, твои добрые молодцы,
Вся опора в годину невзгод.

4

Затомилась деревня невесточкой —
Как-то милые в дальнем краю?
Отчего не уведомят весточкой,—
Не погибли ли в жарком бою?

В роще чудились запахи ладана,
В ветре бластились стуки костей.
И пришли к ним нежданно-негаданно
С дальней волости груды вестей.

Сберегли по ним пахари памятку,
С потом вывели всем по письму.
Подхватили тут родные грамотку,
За ветловую сели тесьму.

Собралися над четницей Лушею
Допытаться любимых речей.
И на корточках плакали, слушая,
На успехи родных силачей.

5

Ах, поля мои, борозды милые,
Хороши вы в печали своей!
Я люблю эти хижины хилые
С поджиданьем седых матерей.

Припаду к лапоточкам берестяным,
Мир вам, грабли, коса и соха!
Я гадаю по взорам невестиным
На войне о судьбе жениха.

Помирился я с мыслями слабыми,
Хоть бы стать мне кустом у воды.
Я хочу верить в лучшее с бабами,
Тепля свечку вечерней звезды.

Разгадал я их думы несметные,
Не спугнет их ни гром и ни тьма.
За сохою под песни заветные
Не причудится смерть и тюрьма.

Они верили в эти каракули,
Выводимые с тяжким трудом,
И от счастья и радости плакали,
Как в засуху над первым дождем.

А за думой разлуки с родимыми
В мягких травах, под бусами рос,
Им мерещился в далях за дымами
Над лугами веселый покос.

Ой ты, Русь, моя родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

1914

УС

Не белы снега по-над Доном
Заметали степь синим звоном.
Под крутой горой, что ль под тыном,
Расставалась мать с верным сыном:

«Ты прощай, мой сын, прощай, чадо,
Знать, пришла пора, ехать надо!
Захирел наш дол по-над Доном,
Под пятой Москвы, под полоном».

То не водный звон за путиной —
Бьет копытом конь под осиной.
Под красневу дремь, под сугредок
Отвечал ей сын напоследок:

«Ты не стой, не плачь на дорогу,
Зажигай свечу, молись богу.
Соберу я Дон, вскручу вихорь,
Полоню царя, сниму лихо».

Не река в бугор била пеной —
Вынимал он нож с подколена.
Отрезал с губы ус чернявый,
Говорил слова над дубравой:

«Уж ты, мать моя, голубица,
Сбереги ты ус на божнице;
Окропи его красным звоном,
Положи его под икону!»
Гикал-ухал он под туманом,
Подымалась пыль за курганом
А она в ответ, как не рада:
«Уж ты сын ли мой, мое чадо!»

*

На крутой горе, под Калугой,
Повенчался Ус с синей вьюгой.
Лежит он на снегу под елью,
С весела-разгула, с похмелья.

Перед ним все знать да бояры,
В руках золотые чары.
«Не гнушайся ты, Ус, не злобуй,
Подымись, хоть пригубь, попробуй!

Нацедили мы вин красносоких
Из грудей из твоих из высоких.
Как пьяна с них твоя супруга,
Белокосая девица-вьюга!»

Молчит Ус, не кинет взгляда,—
Ничего ему от земли не надо.
О другой он земле гадает,
О других небесах вздыхает...

*

Заждалася сына дряхлая вдовица,
День и ночь горюя, сидя под божницей.
Вот прошло-проплыло уж второе лето,
Снова снег на поле, а его все нету.

Подошла, взглянула в мутное окошко...
«Не одна ты в поле катишься, дорожка!»
Свищет сокол-ветер, бредит тихим Доном.
«Хорошо б прижаться к золотым иконам...»

Села и прижалась, смотрит кротко-кротко...
«На кого ж похож ты, светлоглазый отрок?..
А! — сверкнули слезы над увядшим усом.—
Это ты, о сын мой, смотришь Иисусом!»

Радостью светит она из угла.
Песню запела и гребень взяла.
Лик ее старческий ласков и строг.
Встанет, присядет за печь, на порог.

Вечер морозный, как волк, темно-бур...
Кличет цыплят и нахохленных кур:
«Цыпушки-цыпы, свет-петушок!..»
Крепок в руке роговой гребешок.

Стала, уставилась лбом в темноту,
Чешет волосья младенцу Христу.

1914

ТОВАРИЩ

Он был сыном простого рабочего,
И повесть о нем очень короткая.
Только и было в нем, что волосы как ночь
Да глаза голубые, кроткие.

Отец его с утра до вечера
Гнул спину, чтоб прокормить крошку;
Но ему делать было нечего,
И были у него товарищи: Христос да кошка.

Кошка была старая, глухая,
Ни мышей, ни мух не слышала,
А Христос сидел на руках у матери
И смотрел с иконы на голубей под крышею.

Жил Мартин, и никто о нем не ведал.
Грустно стучали дни, словно дождь по железу.
И только иногда за скудным обедом
Учил его отец распевать марсельезу.

«Вырастешь,— говорил он,— поймешь...
Разгадаешь, отчего мы так нищи!»
И глухо дрожал его щербатый нож
Над черствой горбушкой насущной пищи.

Но вот под тесовым
Окном —
Два ветра взмахнули
Крылом;

То с вешнею полымью
Вод
Взметнулся российский
Народ...

Ревут валы,
Поет гроза!
Из синей мглы
Горят глаза.

За взмахом взмах,
Над трупом труп;
Ломает страх
Свой крепкий зуб.

Все взлет и взлет,
Все крик и крик!
В бездонный рот
Бежит родник...

И вот кому-то пробил
Последний, грустный час...
Но верьте, он не сробел
Пред силой вражьих глаз!

Душа его, как прежде,
Бесстрашна и крепка,
И тянется к надежде
Бескровная рука.

Он незадаром прожил,
Недаром мял цветы;
Но не на вас похожи
Угасшие мечты...

Нечаянно, негаданно
С родимого крыльца
Донесся до Мартина
Последний крик отца.

С потухшими глазами,
С пугливой синью губ,
Упал он на колени,
Обняв холодный труп.

Но вот приподнял брови,
Протер рукой глаза,
Вбежал обратно в хату
И стал под образа.

«Исус, Исус, ты слышишь?
Ты видишь? Я один.
Тебя зовет и кличет
Товарищ твой Мартин!

Отец лежит убитый,
Но он не пал, как трус.
Я слышу, он зовет нас,
О верный мой Исус.

Зовет он нас на помощь,
Где бьется русский люд,
Велит стоять за волю,
За равенство и труд!..»

И, ласково приемля
Речей невинных звук,
Сошел Исус на землю
С неколебимых рук.

Идут рука с рукою,
А ночь черна, черна!..
И пыжится бедою
Седая тишина.

Мечты цветут надеждой
Про вечный, вольный рок.
Обоим нежит вежды
Февральский ветерок.

Но вдруг огни сверкнули...
Залаял медный груз.
И пал, сраженный пулей,
Младенец Иисус.

Слушайте:
Больше нет воскресенья!
Тело его предали погребенью:
Он лежит
На Марсовом
Поле.

А там, где осталась мать,
Где ему не бывать
Боле,
Сидит у окошка
Старая кошка,
Ловит лапой луну...

Ползает Мартин по полу:
«Соколы вы мои, соколы,
В плену вы,
В плену!»
Голос его все глуше, глуше,
Кто-то давит его, кто-то душит,
Палит огнем.

Но спокойно звенит
За окном,
То погаснув, то вспыхнув
Снова,
Железное
Слово:
«Рре-ес-пуу-ублика!»

Март 1917.
Петроград

ОТЧАРЬ

1

Тучи — как озера,
Месяц — рыжий гусь.
Пляшет перед взором
Буйственная Русь.

Дрогнул лес зеленый,
Закипел родник.
Здравствуй, обновленный
Отчарь мой, мужик!

Голубые воды —
Твой покой и свет,
Гибельной свободы
В этом мире нет.

Пой, зови и требуй
Скрытые брега;
Не сорвется с неба
Звездная дуга!

Не обронит вечер
Красного ведра;
Могутные плечи —
Что гранит-гора.

2

Под облачным древом
Верхом на луне
Февральской метелью
Ревешь ты во мне.

Небесные дщери
Куделят кремник;
Учил тебя вере
Седой огневик.

Он дал тебе пику,
Грозовый ятаг
И силой Аники
Отметил твой шаг.

Заря — как волчиха
С осклабленным ртом;
Но гонишь ты лихо
Двуперстным крестом.

Протянешь ли руку
Иль склонишь ты лик,
Кладешь ей краюху
На желтый язык.

И чуется зверю
Под радугой слов:
Алмазные двери
И звездный покров.

3

О чудотворец!
Широкоскулый и красноротый,
Приявший в корузлые руки
Младенца нежного,—
Укачай мою душу
На пальцах ног своих!

Я сын твой,
Выросший, как ветла
При дороге,
Научился смотреть в тебя,
Как в озеро.
Ты несказанен и мудр.

По сединам твоим
Узнаю, что был снег
На полях
И поемах.
По глазам голубым
Славлю
Красное
Лето.

4

Ах, сегодня весна,—
Ты взыграл, как поток!
Гладит волны челнок,
И поет тишина.

Слышен волховский звон
И Буслаев разгул,
Закружились под гул
Волга, Каспий и Дон.

Синегубый Урал
Выставляет клыки,
Но кадят Соловки
В его синий оскал.

Всех зовешь ты на пир,
Тепля клич, как свечу,
Прижимаешь к плечу
Нецелованный мир.

Свят и мирен твой дар,
Синь и песня в речах,
И горит на плечах
Необъемлемый шар!..

5

Закинь его в небо,
Поставь на столпы!
Там лунного хлеба
Златятся снопы.

Там голод и жажда
В корнях не поют,
Но зреет однаждный
Свет ангельских юрт.

Там с вызвоном блюда
Прохлада куста,
И рыжий Иуда
Целует Христа.

Но звон поцелуя
Деньгой не гремит,
А цепь Акатуя —
Тропа перед скит.

Там дряхлое время,
Бродя по лугам,
Все русское племя
Сзывает к столам.

И, славя отвагу
И гордый твой дух,
Сыченою брагой
Обносит их круг.

19—20 июня 1917.
Константиново

ИНОНИЯ

Пророку Иеремии

1

Не устрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей,—
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.

Время мое приспело,
Не страшен мне лязг кнута.
Тело, Христово тело,
Выплевываю изо рта.

Не хочу восприять спасения
Через муки его и крест:
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд.

Я иное узрел пришествие —
Где не пляшет над правдой смерть.
Как овцу от поганой шерсти, я
Остригу голубую твердь.

Подыму свои руки к месяцу,
Раскушу его, как орех.
Не хочу я небес без лестницы,
Не хочу, чтобы падал снег.

Не хочу, чтоб умело хмуриться
На озерах зари лицо.
Я сегодня снесся, как курица,
Золотым словесным яйцом.

Я сегодня рукой упругою
Готов повернуть весь мир...
Грозовой расплескались вьюгою
От плечей моих восемь крыл.

2

Лай колоколов над Русью грозный —
Это плачут стены Кремля.
Ныне на пики звездные
Вздыбливаю тебя, земля!

Протянусь до незримого города,
Млечный прокушу покров.
Даже богу я выщиплю бороду
Оскалом моих зубов.

Ухвачу его за гриву белую
И скажу ему голосом вьюг:
Я иным тебя, господи, сделаю,
Чтобы зрел мой словесный луг!

Проклинаю я дыхание Китежа
И все лощины его дорог.
Я хочу, чтоб на бездонном вытяже
Мы воздвигли себе чертог.

Языком вылижу на иконах я
Лики мучеников и святых.
Обещаю вам град Инонию,
Где живет божество живых!

Плачь и рыдай, Московия!
Новый пришел Индикоплов.
Все молитвы в твоем часослове я
Проклюю моим клювом слов.

Уведу твой народ от упования,
Дам ему веру и мощь,
Чтобы плугом он в зори ранние
Распахивал с солнцем нощь.

Чтобы поле его словесное
Выращало ульями злак,
Чтобы зерна под крышей небесною
Озлащали, как пчелы, мрак.

Проклинаю тебя я, Радонеж,
Твои пятки и все следы!
Ты огня золотого залежи
Разрыхлял киркою воды.

Стая туч твоих, по-волчьи лающих,
Словно стая злющих волков,
Всех зовущих и всех дерзающих
Прободала копьем клыков.

Твое солнце когтистыми лапами
Прокогтялось в душу, как нож.
На реках вавилонских мы плакали,
И кровавый мочил нас дождь.

Ныне ж бури воловьим голосом
Я кричу, сняв с Христа штаны:
Мойте руки свои и волосы
Из лоханки второй луны.

Говорю вам — вы все погибнете,
Всех задушит вас веры мох.
По-иному над нашей выгибью
Вспух незримой коровой бог.

И напрасно в пещеры селятся
Те, кому ненавистен рев.
Все равно — он иным отелится
Солнцем в наш русский кров.

Все равно — он спалит телением,
Что ковало реке брега.
Разгвоздят мировое кипение
Золотые его рога.

Новый сойдет Олипий
Начертать его новый лик.
Говорю вам — весь воздух выпью
И кометой вытяну язык.

До Египта раскорячу ноги,
Раскую с вас подковы мук...
В оба полюса снежнорогие
Вопьюся клещами рук.

Коленом придавлю экватор
И, под бури и вихря плач,
Пополам нашу землю-матерь
Разломлю, как златой калач.

И в провал, отененный бездною,
Чтобы мир весь слышал тот треск,
Я главу свою власозвездную
Просуну, как солнечный блеск.

И четыре солнца из облачья,
Как четыре бочки с горы,
Золотые рассыпав обручи,
Скатясь, всколыхнут миры.

3

И тебе говорю, Америка,
Отколотая половина земли,—
Страшись по морям безверия
Железные пускать корабли!

Не отягивай чугунной радугой
Нив и гранитом — рек.
Только водью свободной Ладоги
Просверлит бытие человек!

Не вбивай руками синими
В пустошь потолок небес:
Не построить шляпками гвоздиными
Сияние далеких звезд.

Не залить огневого брожения
Лавой стальной руды.
Нового вознесения
Я оставлю на земле следы.

Пятками с облаков свесюсь,
Прокопытю тучи, как лось;
Колесами солнце и месяц
Надену на земную ось.

Говорю тебе — не пой молебствия
Проволочным твоим лучам.
Не осветят они пришествия,
Бегущего овцой по горам!

Сыщется в тебе стрелок еще
Пустить в его грудь стрелу.
Словно полымя, с белой шерсти его
Брызнет теплая кровь во мглу.

Звездами золотые копытца
Скатятся, взбороздив нощь.
И опять замелькает спицами
Над чулком ее черным дождь.

Возгремлю я тогда колесами
Солнца и луны, как гром;
Как пожар, размечу волосья
И лицо закрою крылом.

За уши встряхну я горы,
Копьями вытяну ковыль.
Все тыны твои, все заборы
Горстью смету, как пыль.

И вспашу я черные щеки
Нив твоих новой сохой;
Золотой пролетит сорокой
Урожай над твоей страной.

Новый он сбросит жителям
Крыл колосистых звон.
И, как жерди златые, вытянет
Солнце лучи на дол.

Новые вырастут сосны
На ладонях твоих полей.
И, как белки, желтые весны
Будут прыгать по сучьям дней.

Синие забрезжут реки,
Просверлив все преграды глыб.
И заря, опуская веки,
Будет звездных ловить в них рыб.

Говорю тебе — будет время,
Отплещут уста громов;
Прободят голубое темя
Колосья твоих хлебов.

И над миром с незримой лестницы,
Оглашая поля и луг,
Проклевавшись из сердца месяца,
Кукарекнув, взлетит петух.

4

По тучам иду, как по ниве, я,
Свесясь головою вниз.
Слышу плеск голубого ливня
И светил тонкоклювых свист.

В синих отражаюсь затонах
Далеких моих озер.
Вижу тебя, Инония,
С золотыми шапками гор.

Вижу нивы твои и хаты,
На крылечке старушку-мать;
Пальцами луч заката
Старается она поймать.

Прищемит его у окошка,
Схватит на своем горбе,—
А солнышко, словно кошка,
Тянет клубок к себе.

И тихо под шепот речки,
Прибрежному эху в подол,
Каплями незримой свечки
Капает песня с гор:

«Слава в вышних богу
И на земле мир!
Месяц синим рогом
Тучи прободил.

Кто-то вывел гуся
Из яйца звезды —
Светлого Исуса
Проклевать следы.

Без креста и мук,
Кто-то с новой верой,
Натянул па небе
Радугу, как лук.

Радуйся, Сионе,
Проливай свой свет!
Новый в пебосклоне
Вызрел Назарет.

Новый на кобыле
Едет к миру Спас.
Наша вера — в силе.
Наша правда — в нас!»

Январь 1918

ИОРДАНСКАЯ ГОЛУБИЦА

1

Земля моя златая!
Осенний светлый храм!
Гусей крикливых стая
Несется к облакам.

То душ преображенных
Несчислимая рать,
С озер поднявшись сонных,
Летит в небесный сад.

А впереди их лебедь.
В глазах, как роща, грусть.
Не ты ль так плачешь в небе,
Отчалившая Русь?

Лети, лети, не бейся,
Всему есть час и брег.
Ветра стекают в песню,
А песня канет в век.

2

Небо — как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя — родина,
Я — большевик.

Ради вселенского
Братства людей
Радуюсь песней я
Смерти твоей.

Крепкий и сильный,
На гибель твою
В колокол синий
Я месяцем бью.

Братья-миряне,
Вам моя песнь.
Слышу в тумане я
Светлую весть.

3

Вот она, вот голубица,
Севшая ветру на длань.
Снова зарею клубится
Мой луговой Иордань.

Славлю тебя, голубая,
Звездами вбитая высь.
Снова до отчего рая
Руки мои поднялись.

Вижу вас, злачные нивы,
С стадом буланых коней.
С дудкой пастушеской в ивах
Бродит апостол Андрей.

И, полная боли и гнева,
Там, на окрайне села,
Мати пречистая дева
Розгой стегает осла.

4

Братья мои, люди, люди!
Все мы, все когда-нибудь
В тех благих селеньях будем,
Где протоптан Млечный Путь.

Не жалейте же ушедших,
Уходящих каждый час,—
Там на ландышах расцветших
Лучше, чем в полях у нас.

Страж любви — судьба-мздоимец
Счастье пестует не век.
Кто сегодня был любимец —
Завтра нищий человек.

5

О новый, новый, новый,
Прорезавший тучи день!
Отроком солнцеголовым
Сядь ты ко мне под плетень.

Дай мне твои волосья
Гребнем луны расчесать.
Этим обычаем гостя
Мы научились встречать.

Древняя тень Маврикии
Родственна нашим холмам,
Дождиком в нивы златые
Нас посетил Авраам.

Сядь ты ко мне на крылечко,
Тихо склонись ко плечу.
Синюю звездочку свечкой
Я пред тобой засвечу.

Буду тебе я молиться,
Славить твою Иордань...
Вот она, вот голубица,
Севшая ветру на длань.

20—23 июня 1918.
Константиново

НЕБЕСНЫЙ БАРАБАНЩИК

Л. Н. Старку

1

Гей вы, рабы, рабы!
Брюхом к земле прилипли вы.
Нынче луну с воды
Лошади выпили.

Листьями звезды льются
В реки на наших полях.
Да здравствует революция
На земле и на небесах!

Души бросаем бомбами,
Сеем пурговый свист.
Что нам слюна иконная
В наши ворота в высь?

Нам ли страшны полководцы
Белого стада горилл?
Взвихренной конницей рвется
К новому берегу мир.

2

Если это солнце
В заговоре с ними,—
Мы его всей ратью
На штыках подымем.

Если этот месяц
Друг их черной силы,—
Мы его с лазури
Камнями в затылок.

Разметем все тучи,
Все дороги взмесим,
Бубенцом мы землю
К радуге привесим.

Ты звени, звени нам,
Мать-земля сырая,
О полях и рощах
Голубого края.

3

Солдаты, солдаты, солдаты —
Сверкающий бич над смерчом.
Кто хочет свободы и братства,
Тому умирать нипочем.

Смыкайтесь же тесной стеною!
Кому ненавистен туман,
Тот солнце корявой рукою
Сорвет на златой барабан.

Сорвет и пойдет по дорогам
Лить зов над озерами сил —
На тени церквей и острогов,
На белое стадо горилл.

В том зове калмык и татарин
Почуют свой чаемый град,
И черное небо хвостами,
Хвостами коров вспламенят.

4

Верьте, победа за нами!
Новый берег недалек.
Волны белыми когтями
Золотой скребут песок.

Скоро, скоро вал последний
Миллионом брызнет лун.
Сердце — свечка за обедней
Пасхе массы и коммун.

Ратью смуглой, ратью дружной
Мы идем сплотить весь мир.
Мы идем, и пылью вьюжной
Тает облако горилл.

Мы идем, а там, за чащей,
Сквозь белесость и туман
Наш небесный барабанщик
Лупит в солнце-барабан.

1918 — <начало 1919>

ПАНТОКРАТОР

1

Славь, мой стих, кто ревет и бесится,
Кто хоронит тоску в плече,
Лошадиную морду месяца
Схватить за узду лучей.

Тысячи лет те же звезды славятся,
Тем же медом струится плоть.
Не молиться тебе, а лаяться
Научил ты меня, господь.

За седины твои кудрявые,
За копейки с златых осин
Я кричу тебе: «К черту старое!»,
Непокорный, разбойный сын.

И за эти щедроты теплые,
Что сочишь ты дождями в муть,
О, какими, какими метлами
Это солнце с небес стряхнуть?

2

Там, за млечными холмами,
Средь небесных тополей,
Опрокинулся над нами
Среброструйный Водолей.

Он Медведицей с лазури —
Как из бочки черпаком.
В небо вспрыгнувшая буря
Села месяцу верхом.

В вихре снится сонм умерших,
Молоко дымящий сад,
Вижу, дед мой тянет вершей
Солнце с полдня на закат.

Отче, отче, ты ли внука
Услыхал в сей скорбный срок?
Знать, недаром в сердце мукал
Издыхающий телок.

3

Кружися, кружися, кружися,
Чекань твоих дней серебро!
Я понял, что солнце из выси —
В колодезь златое ведро.

С земли на незримую сушу
Отчалить и мне суждено.
Я сам положу мою душу
На это горящее дно.

Но знаю — другими очами
Умершие чуют живых.
О, дай нам с земными ключами
Предстать у ворот золотых.

Дай с нашей овсяною волей
Засовы чугунные сбить,
С разбега по ровному полю
Заре на закорки вскочить.

4

Сойди, явись нам, красный конь!
Впрягись в земли оглобли.
Нам горьким стало молоко
Под этой ветхой кровлей.

Пролей, пролей нам над водой
Твое глухое ржанье
И колокольчиком-звездой
Холодное сиянье.

Мы радугу тебе — дугой,
Полярный круг — на сбрую.
О, вывези наш шар земной
На колею иную.

Хвостом земле ты прицепись,
С зари отчалься гривой.
За эти тучи, эту высь
Скачи к стране счастливой.

И пусть они, те, кто во мгле
Нас пьют лампадой в небе,
Увидят со своих полей,
Что мы к ним в гости едем.

Февраль 1919

СОРОКОУСТ

А. Мариенгофу

1

Трубит, трубит погибельный рог!
Как же быть, как же быть теперь нам
На измызганных ляжках дорог?

Вы, любители песенных блох,
Не хотите ль — . . . .

Полно кротостью мордищ праздниться,
Любо ль, не любо ль — знай бери.
Хорошо, когда сумерки дразнятся
И всыпают нам в толстые задницы
Окровавленный веник зари.

Скоро заморозь известью выбелит
Тот поселок и эти луга.
Никуда вам не скрыться от гибели,
Никуда не уйти от врага.
Вот он, вот он с железным брюхом,
Тянет к глоткам равнин пятерню,

Водит старая мельница ухом,
Навострив мукомольный нюх,

И дворовый молчальник бык,
Что весь мозг свой на телок пролил,
Вытирая о прясло язык,
Почуял беду над полем.

2

Ах, не с того ли за селом
Так плачет жалостно гармоника:
Таля-ля-ля, тили-ли-гом
Висит над белым подоконником.
И желтый ветер осенницы
Не потому ль, синь рябью тронув,
Как будто бы с копей скребницей,
Очесывает листья с кленов.
Идет, идет он, страшный вестник,
Пятой громоздкой чащи ломит.
И все сильней тоскуют песни
Под лягушиный писк в соломе.
О, электрический восход,
Ремней и труб глухая хватка.
Се изб древенчатый живот
Трясет стальная лихорадка!

3

Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд?

А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
Неужель он не знает, что в полях бессиянных

Той поры не вернет его бег,
Когда пару красивых степных россиянок
Отдавал за коня печенег?
По-иному судьба на торгах перекрасила
Наш разбуженный скрежетом плес,
И за тысчи пудов конской кожи и мяса
Покупают теперь паровоз.

4

Черт бы взял тебя, скверный гость!
Наша песня с тобой не сживется.
Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце.
Хорошо им стоять и смотреть,
Красить рты в жестяных поцелуях,—
Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя.
Оттого-то в сентябрьскую склень
На сухой и холодный суглинок,
Головой размозжась о плетень,
Облилась кровью ягод рябина.
Оттого-то вросла тужиль
В переборы тальянки звонкой.
И соломой пропахший мужик
Захлебнулся лихой самогонкой.

Август 1920

ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА

Не каждый умеет петь,
Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам.

Сие есть самая великая исповедь,
Которой исповедуется хулиган.

Я нарочно иду нечесаным,
С головой, как керосиновая лампа, на плечах.
Ваших душ безлиственную осень
Мне нравится в потемках освещать.
Мне нравится, когда каменья брани

Летят в меня, как град рыгающей грозы,
Я только крепче жму тогда руками
Моих волос качнувшийся пузырь.

Так хорошо тогда мне вспоминать
Заросший пруд и хриплый звон ольхи,
Что где-то у меня живут отец и мать,
Которым наплевать на все мои стихи,
Которым дорог я, как поле и как плоть,
Как дождик, что весной взрыхляет зеленя.
Они бы вилами пришли вас заколоть
За каждый крик ваш, брошенный в меня.

Бедные, бедные крестьяне!
Вы, наверно, стали некрасивыми,
Так же боитесь бога и болотных недр.
О, если б вы понимали,
Что сын ваш в России
Самый лучший поэт!
Вы ль за жизнь его сердцем не индевели,
Когда босые ноги он в лужах осенних макал?
А теперь он ходит в цилиндре
И лакированных башмаках.

Но живет в нем задор прежней вправки
Деревенского озорника.
Каждой корове с вывески мясной лавки
Он кланяется издалека.
И, встречаясь с извозчиками на площади,
Вспоминая запах навоза с родных полей,
Он готов нести хвост каждой лошади,
Как венчального платья шлейф.

Я люблю родину.
Я очень люблю родину!
Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь.
Приятны мне свиней испачканные морды
И в тишине ночной звенящий голос жаб.
Я нежно болен вспоминаньем детства,
Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь.
Как будто бы на корточки погреться
Присел наш клен перед костром зари.
О, сколько я на нем яиц из гнезд вороньих,
Карабкаясь по сучьям, воровал!
Все тот же ль он теперь, с верхушкою зеленой?
По-прежнему ль крепка его кора?

А ты, любимый,
Верный пегий пес?!
От старости ты стал визглив и слеп
И бродишь по двору, влача обвисший хвост,
Забыв чутьем, где двери и где хлев.
О, как мне дороги все те проказы,
Когда, у матери стянув краюху хлеба,
Кусали мы с тобой ее по разу,
Ни капельки друг другом не погребав.

Я все такой же.
Сердцем я все такой же.
Как васильки во ржи, цветут в лице глаза.
Стеля стихов злаченые рогожи,
Мне хочется вам нежное сказать.

Спокойной ночи!
Всем вам спокойной ночи!
Отзвенела по траве сумерек зари коса...
Мне сегодня хочется очень
Из окошка луну . . . .

Синий свет, свет такой синий!
В эту синь даже умереть не жаль.
Ну так что ж, что кажусь я циником,
Прицепившим к заднице фонарь!
Старый, добрый, заезженный Пегас,
Мне ль нужна твоя мягкая рысь?
Я пришел, как суровый мастер,
Воспеть и прославить крыс.
Башка моя, словно август,
Льется бурливых волос вином.

Я хочу быть желтым парусом
В ту страну, куда мы плывем.

Ноябрь 1920

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Я посетил родимые места,
Ту сельщину,
Где жил мальчишкой,
Где каланчой с березовою вышкой
Взметнулась колокольня без креста.

Как много изменилось там,
В их бедном, неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.

Отцовский дом
Не мог я распознать:
Приметный клен уж под окном не машет,
И на крылечке не сидит уж мать,
Кормя цыплят крупитчатою кашей.

Стара, должно быть, стала...
Да, стара.
Я с грустью озираюсь на окрестность:
Какая незнакомая мне местность!
Одна, как прежняя, белеется гора,
Да у горы
Высокий серый камень.

Здесь кладбище!
Подгнившие кресты,
Как будто в рукопашной мертвецы,
Застыли с распростертыми руками.

По тропке, опершись на подожок,
Идет старик, сметая пыль с бурьяна.
«Прохожий!
Укажи, дружок,
Где тут живет Есенина Татьяна?»

«Татьяна... Гм...
Да вон за той избой.
А ты ей что?
Сродни?
Аль, может, сын пропащий?»

«Да, сын.
Но что, старик, с тобой?
Скажи мне,
Отчего ты так глядишь скорбяще?»

«Добро, мой внук,
Добро, что не узнал ты деда!..»
«Ах, дедушка, ужели это ты?»
И полилась печальная беседа

Слезами теплыми на пыльные цветы.

. . . .

«Тебе, пожалуй, скоро будет тридцать...
А мне уж девяносто...
Скоро в гроб.
Давно пора бы было воротиться».
Он говорит, а сам все морщит лоб.
«Да!.. Время!..
Ты не коммунист?»
«Нет!..»
«А сестры стали комсомолки.
Такая гадость! Просто удавись!
Вчера иконы выбросили с полки,
На церкви комиссар снял крест.
Теперь и богу негде помолиться.
Уж я хожу украдкой нынче в лес,
Молюсь осинам...
Может, пригодится...
Пойдем домой —
Ты все увидишь сам».

И мы идем, топча межой кукольни.
Я улыбаюсь пашням и лесам,
А дед с тоской глядит па колокольню

. . . .
. . . .

«Здорово, мать! Здорово!» —
И я опять тяну к глазам платок.
Тут разрыдаться может и корова,
Глядя па этот бедный уголок.

На стенке календарный Ленин.
Здесь жизнь сестер,
Сестер, а не моя,—
Но все ж готов упасть я на колени,
Увидев вас, любимые края.

Пришли соседи...
Женщина с ребепком.
Уже никто меня не узнает.
По-байроновски наша собачопка
Меня встречала с лаем у ворот.

Ах, милый край!
Не тот ты стал,
Не тот.

Да уж и я, конечно, стал не прежний.
Чем мать и дед грустней и безнадежней,
Тем веселей сестры смеется рот.

Конечно, мне и Ленин не икона,
Я знаю мир...
Люблю мою семью...
Но отчего-то все-таки с поклоном
Сажусь на деревянную скамью.

«Ну, говори, сестра!»

И вот сестра разводит,
Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»,
О Марксе,
Энгельсе...
Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.

И мне смешно,
Как шустрая девчонка
Меня во всем за шиворот берет...
. . . .
. . . .
По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот.

1 июня 1924

РУСЬ СОВЕТСКАЯ

А. Сахарову

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело.
На перекличке дружбы многих нет.
Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.

Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница — бревенчатая птица
С крылом единственным — стоит, глаза смежив.

Я никому здесь не знаком,
А те, что помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.

А жизнь кипит.
Вокруг меня снуют
И старые и молодые лица.
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу приют.

И в голове моей проходят роем думы:
Что родина?
Ужели это сны?
Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далекой стороны.

И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.

Но голос мысли сердцу говорит:
«Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.

Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней —
Уж не село, а вся земля им мать».

Ах, родина! Какой я стал смешной.
На щеки впалые летит сухой румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.

Вот вижу я:
Воскресные сельчане
У волости, как в церковь, собрались.
Корявыми, немытыми речами
Они свою обсуживают «жись».

Уж вечер. Жидкой позолотой
Закат обрызгал серые поля.
И ноги босые, как телки под ворота,
Уткнули по канавам тополя.

Хромой красноармеец с ликом сонным,
В воспоминаниях морщиня лоб,
Рассказывает важно о Буденном,
О том, как красные отбили Перекоп.

«Уж мы его — и этак и раз-этак,—
Буржуя энтого... которого... в Крыму...»
И клены морщатся ушами длинных веток,
И бабы охают в немую полутьму.

С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Ну что ж!
Прости, родной приют.
Чем сослужил тебе — и тем уж я доволен.
Пускай меня сегодня не поют —
Я пел тогда, когда был край мой болен.

Приемлю все.
Как есть все принимаю.
Готов идти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.

Я не отдам ее в чужие руки,
Ни матери, ни другу, ни жене.
Лишь только мне она свои вверяла звуки
И песни нежные лишь только пела мне.

Цветите, юные! И здоровейте телом!
У вас иная жизнь, у вас другой напев.
А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирев.

Но и тогда,
Когда во всей планете

Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть,—
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

<1924>

НА КАВКАЗЕ

Издревле русский наш Парнас
Тянуло к незнакомым странам,
И больше всех лишь ты, Кавказ,
Звенел загадочным туманом.

Здесь Пушкин в чувственном огне
Слагал душой своей опальной:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».

И Лермонтов, тоску леча,
Нам рассказал про Азамата,
Как он за лошадь Казбича
Давал сестру заместо злата.

За грусть и желчь в своем лице
Кипенья желтых рек достоин,
Он, как поэт и офицер,
Был пулей друга успокоен.

И Грибоедов здесь зарыт,
Как наша дань персидской хмари,
В подножии большой горы
Он спит под плач зурны и тари.

А ныне я в твою безгладь
Пришел, не ведая причины:
Родной ли прах здесь обрыдать
Иль подсмотреть свой час кончины!

Мне все равно! Я полон дум
О них, ушедших и великих.
Их исцелял гортанный шум
Твоих долин и речек диких.

Они бежали от врагов
И от друзей сюда бежали,
Чтоб только слышать звон шагов
Да видеть с гор глухие дали.

И я от тех же зол и бед
Бежал, навек простясь с богемой,
Зане созрел во мне поэт
С большой эпическою темой.

Мне мил стихов российский жар.
Есть Маяковский, есть и кроме,
Но он, их главный штабс-маляр,
Поет о пробках в Моссельпроме.

И Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочел —
И в клетке сдохла канарейка.

Других уж нечего считать,
Они под хладным солнцем зреют.
Бумаги даже замарать
И то, как надо, не умеют.

Прости, Кавказ, что я о них
Тебе промолвил ненароком,
Ты научи мой русский стих
Кизиловым струиться соком.

Чтоб, воротясь опять в Москву,
Я мог прекраснейшей поэмой
Забыть ненужную тоску
И не дружить вовек с богемой.

И чтоб одно в моей стране
Я мог твердить в свой час прощальный:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».

Сентябрь 1924.
Тифлис

БАЛЛАДА О ДВАДЦАТИ ШЕСТИ

С любовью —
прекрасному художнику
Г. Якулову

Пой песню, поэт,
Пой.
Ситец неба такой
Голубой.
Море тоже рокочет
Песнь.
Их было
26.
26 их было,
26.
Их могилы пескам
Не занесть.
Не забудет никто
Их расстрел
На 207-ой
Версте.
Там за морем гуляет
Туман.
Видишь, встал из песка
Шаумян.
Над пустыней костлявый
Стук.
Вон еще 50
Рук
Вылезают, стирая
Плесень.
26 их было,
26.

Кто с прострелом в груди,
Кто в боку,
Говорят:
«Нам пора в Баку —
Мы посмотрим,
Пока есть туман,
Как живет
Азербайджан».

. . . .
. . . .

Ночь, как дыню,
Катит луну.
Море в берег
Струит волну.
Вот в такую же ночь
И туман
Расстрелял их
Отряд англичан.

Коммунизм —
Знамя всех свобод.
Ураганом вскипел
Народ.
На империю встали
В ряд
И крестьянин
И пролетариат.
Там, в России,
Дворянский бич
Был наш строгий отец
Ильич.
А на Востоке
Здесь
Их было
26.

Все помнят, конечно,
Тот,
18-ый, несчастный
Год.
Тогда буржуа
Всех стран
Обстреливали
Азербайджан.

Тяжел был Коммуне
Удар.
Не вынес сей край
И пал,
Но жутче всем было
Весть
Услышать
Про 26.

В пески, что как плавленый
Воск,

Свезли их
За Красноводск.
И кто саблей,
Кто пулей в бок,
Всех сложили на желтый
Песок.

26 их было,
26.
Их могилы пескам
Не занесть.
Не забудет никто
Их расстрел
На 207-ой
Версте.

Там за морем гуляет
Туман.
Видишь, встал из песка
Шаумян.
Над пустыней костлявый
Стук.
Вон еще 50
Рук
Вылезают, стирая
Плесень.
26 их было,
26.

. . . .
Ночь как будто сегодня
Бледней.
Над Баку
26 теней.
Теней этих
26.
О них наша боль
И песнь.

То не ветер шумит,
Не туман.
Слышишь, как говорит
Шаумян:
«Джапаридзе,
Иль я ослеп,

Посмотри:
У рабочих хлеб.
Нефть — как черная
Кровь земли.
Паровозы кругом...
Корабли...
И во все корабли,
В поезда
Вбита красная наша
Звезда».

Джапаридзе в ответ:
«Да, есть.
Это очень приятная
Весть.
Значит, крепко рабочий
Класс
Держит в цепких руках
Кавказ.

Ночь, как дыню,
Катит луну.
Море в берег
Струит волну.
Вот в такую же ночь
И туман
Расстрелял нас
Отряд англичан».

Коммунизм —
Знамя всех свобод.
Ураганом вскипел
Народ.
На империю встали
В ряд
И крестьянин
И пролетариат.
Там, в России,
Дворянский бич
Был наш строгий отец
Ильич.
А на Востоке
Здесь
26 их было,
26.

. . . .
Свет небес все синей
И синей.
Молкнет говор
Дорогих теней.
Кто в висок прострелен,
А кто в грудь.
К Ахч-Куйме
Их обратный путь...

Пой, поэт, песню,
Пой,
Ситец неба такой
Голубой...
Море тоже рокочет
Песнь.
26 их было,
26.

Сентябрь 1924.
Баку

СТАНСЫ

Посвящается П. Чагину

Я о своем таланте
Много знаю.
Стихи — не очень трудные дела.
Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла.

Стишок писнуть,
Пожалуй, всякий может —
О девушке, о звездах, о луне...
Но мне другое чувство
Сердце гложет,
Другие думы
Давят череп мне.

Хочу я быть певцом
И гражданином,

Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
А не сводным сыном —
В великих штатах СССР.

Я из Москвы надолго убежал:
С милицией я ладить
Не в сноровке,
За всякий мой пивной скандал
Они меня держали
В тигулевке.

Благодарю за дружбу граждан сих,
Но очень жестко
Спать там на скамейке
И пьяным голосом
Читать какой-то стих
О клеточной судьбе
Несчастной канарейки,

Я вам не кенар!
Я поэт!
И не чета каким-то там Демьянам.
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих
Прозрений дивных свет.

Я вижу все
И ясно понимаю,
Что эра новая —
Не фунт изюму вам,
Что имя Ленина
Шумит, как ветр, по краю,
Давая мыслям ход,
Как мельничным крылам.

Вертитесь, милые!
Для вас обещан прок.
Я вам племянник,
Вы же мне все дяди.
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Понюхаем премудрость
Скучных строк.

Дни, как ручьи, бегут
В туманную реку.
Мелькают города,
Как буквы по бумаге.
Недавно был в Москве,
А нынче вот в Баку.
В стихию промыслов
Нас посвящает Чагин.

«Смотри,— он говорит,—
Не лучше ли церквей
Вот эти вышки
Черных нефть-фонтанов.
Довольно с нас мистических туманов,
Воспой, поэт,
Что крепче и живей».

Нефть на воде,
Как одеяло перса,
И вечер по небу
Рассыпал звездный куль.
Но я готов поклясться
Чистым сердцем,
Что фонари
Прекрасней звезд в Баку.

Я полон дум об индустрийной мощи,
Я слышу голос человечьих сил.
Довольно с нас
Небесных всех светил —
Нам на земле
Устроить это проще.

И, самого себя
По шее гладя,
Я говорю:
«Настал наш срок,
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Чтоб разгадать
Премудрость скучных строк».

<1924>

РУСЬ БЕСПРИЮТНАЯ

Товарищи, сегодня в горе я,
Проснулась боль
В угасшем скандалисте!
Мне вспомнилась
Печальная история —
История об Оливере Твисте.

Мы все по-разному
Судьбой своей оплаканы.
Кто крепость знал,
Кому Сибирь знакома.
Знать, потому теперь
Попы и дьяконы
О здравье молятся
Всех членов Совнаркома.

И потому крестьянин
С водки штофа,
Рассказывая сродникам своим,
Глядит на Маркса,
Как на Саваофа,
Пуская Ленину
В глаза табачный дым.

Ирония судьбы!
Мы все отропщены.
Над старым твердо
Вставлен крепкий кол.
Но все ж у нас
Монашеские общины
С «аминем» ставят
Каждый протокол.

И говорят,
Забыв о днях опасных:
«Уж как мы их...
Не в пух, а прямо в прах...
Пятнадцать штук я сам
Зарезал красных,
Да столько ж каждый,
Всякий наш монах».

Россия-мать!
Прости меня,
Прости!
Но эту дикость, подлую и злую,
Я на своем недлительном пути
Не приголублю
И не поцелую.

У них жилища есть,
У них есть хлеб,
Они с молитвами
И благостны и сыты.
Но есть на этой
Горестной земле,
Что всеми добрыми
И злыми позабыты.

Мальчишки лет семи-восьми
Снуют средь штатов без призора,
Бестелыми корявыми костьми
Они нам знак
Тяжелого укора.

Товарищи, сегодня в горе я,
Проснулась боль в угасшем скандалисте.
Мне вспомнилась
Печальная история —
История об Оливере Твисте.

Я тоже рос,
Несчастный и худой,
Средь жидких,
Тягостных рассветов.
Но если б встали все
Мальчишки чередой,
То были б тысячи
Прекраснейших поэтов.

В них Пушкин,
Лермонтов,
Кольцов,
И наш Некрасов в них,
В них я.

. . . .

Не потому ль моею грустью

Веет стих,
Глядя на их
Невымытые хари.

Я знаю будущее.
Это их...
Их календарь...
И вся земная слава.
Не потому ль
Мой горький буйный стих
Для всех других —
Как смертная отрава.

Я только им пою,
Ночующим в котлах,
Пою для них,
Кто спит порой в сортире.
О, пусть они
Хотя б прочтут в стихах,
Что есть за них
Обиженные в мире.

<1924>

РУСЬ УХОДЯЩАЯ

Мы многое еще не сознаем,
Питомцы ленинской победы,
И песни новые
По-старому поем,
Как нас учили бабушки и деды.

Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.

Я уходящих в грусти не виню,
Ну где же старикам
За юношами гнаться?
Они несжатой рожью на корню
Остались догнивать и осыпаться.

И я, я сам,
Не молодой, не старый,
Для времени навозом обречен.
Не потому ль кабацкий звон гитары
Мне навевает сладкий сон?

Гитара милая,
Звени, звени!
Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,
Чтоб я забыл отравленные дни,
Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Советскую я власть виню,
И потому я на нее в обиде,
Что юность светлую мою
В борьбе других я не увидел.

Что видел я?
Я видел только бой
Да вместо песен
Слышал канонаду.
Не потому ли с желтой головой
Я по планете бегал до упаду?

Но все ж я счастлив.
В сонме бурь
Неповторимые я вынес впечатленья.
Вихрь нарядил мою судьбу
В золототканое цветенье.

Я человек не новый!
Что скрывать?
Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою.

Но есть иные люди.
Те
Еще несчастней и забытей.
Они, как отрубь в решете,
Средь непонятных им событий.

Я знаю их
И подсмотрел:
Глаза печальнее коровьих.

Средь человечьих мирных дел,
Как пруд, заплесневела кровь их.

Кто бросит камень в этот пруд?
Не троньте!
Будет запах смрада.
Они в самих себе умрут,
Истлеют падью листопада.

А есть другие люди,
Те, что верят,
Что тянут в будущее робкий взгляд.
Почесывая зад и перед,
Они о новой жизни говорят.

Я слушаю. Я в памяти смотрю,
О чем крестьянская судачит оголь.
«С Советской властью жить нам по нутрю...
Теперь бы ситцу... Да гвоздей немного...»

Как мало надо этим брадачам,
Чья жизнь в сплошном
Картофеле и хлебе.
Чего же я ругаюсь по ночам
На неудачный, горький жребий?

Я тем завидую,
Кто жизнь провел в бою,
Кто защищал великую идею.
А я, сгубивший молодость свою,
Воспоминаний даже не имею.

Какой скандал!
Какой большой скандал!
Я очутился в узком промежутке.
Ведь я мог дать
Не то, что дал,
Что мне давалось ради шутки.

Гитара милая,
Звени, звени!
Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,
Чтоб я забыл отравленные дни,
Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Я знаю, грусть не утопить в вине,
Не вылечить души
Пустыней и отколом.
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.

2 ноября 1924

ПИСЬМО К ЖЕНЩИНЕ

Вы помните,
Вы всё, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.

Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел —
Катиться дальше, вниз.

Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был, как лошадь, загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.

Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму —
Куда несет нас рок событий.

Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстоянье.
Когда кипит морская гладь,
Корабль в плачевном состоянье.

Земля — корабль!
Но кто-то вдруг
За новой жизнью, новой славой
В прямую гущу бурь и вьюг
Ее направил величаво.

Ну кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.

Тогда и я
Под дикий шум,
Но зрело знающий работу,
Спустился в корабельный трюм,
Чтоб не смотреть людскую рвоту.

Тот трюм был —
Русским кабаком.
И я склонился над стаканом,
Чтоб, не страдая ни о ком,
Себя сгубить
В угаре пьяном.

Любимая!
Я мучил вас,
У вас была тоска
В глазах усталых:
Что я пред вами напоказ
Себя растрачивал в скандалах.

Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий...
. . . .

Теперь года прошли,
Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
И говорю за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!

Сегодня я
В ударе нежных чувств.
Я вспомнил вашу грустную усталость.
И вот теперь
Я сообщить вам мчусь,
Каков я был
И что со мною сталось!

Любимая!
Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи.
Теперь в Советской стороне
Я самый яростный попутчик.

Я стал не тем,
Кем был тогда.
Не мучил бы я вас,
Как это было раньше.
За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ла-Манша.

Простите мне...
Я знаю: вы не та —
Живете вы
С серьезным, умным мужем;
Что не нужна вам наша маета,
И сам я вам
Ни капельки не нужен.

Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кущей обновленной сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда
Знакомый ваш

Сергей Есенин.

<1924>

ПОЭТАМ ГРУЗИИ

Писали раньше
Ямбом и октавой.
Классическая форма

Умерла,
Но ныне, в век наш
Величавый,
Я вновь ей вздернул
Удила.

Земля далекая!
Чужая сторона!
Грузинские кремнистые дороги.
Вино янтарное
В глаза струит луна,
В глаза глубокие,
Как голубые роги.

Поэты Грузии!
Я ныне вспомнил вас.
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.

Я — северный ваш друг
И брат!
Поэты — все единой крови.
И сам я тоже азиат
В поступках, в помыслах
И слове.

И потому в чужой
Людская речь
В один язык сольется.
Историк, сочиняя труд,
Над нашей рознью улыбнется.
Стране
Вы близки
И приятны мне.

Века всё смелют,
Дни пройдут,

Он скажет:
В пропасти времен
Есть изысканья и приметы...
Дралися сонмища племен,
Зато не ссорились поэты.

Свидетельствует
Вещий знак:
Поэт поэту
Есть кунак.

Самодержавный
Русский гнет
Сжимал все лучшее за горло,
Его мы кончили —
И вот
Свобода крылья распростерла.

И каждый в племени своем
Своим мотивом и наречьем,
Мы всяк
По-своему поем,
Поддавшись чувствам
Человечьим...

Свершился дивный
Рок судьбы:
Уже мы больше
Не рабы.

Поэты Грузии,
Я ныне вспомнил вас,
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!..

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.

<1924>

ПИСЬМО ОТ МАТЕРИ

Чего же мне
Еще теперь придумать,
О чем теперь
Еще мне написать?
Передо мной
На столике угрюмом
Лежит письмо,
Что мне прислала мать

Она мне пишет:
«Если можешь ты,
То приезжай, голубчик,
К нам на святки.
Купи мне шаль,
Отцу купи порты,
У нас в дому
Большие недостатки.

Мне страх не нравится,
Что ты поэт,
Что ты сдружился
С славою плохою.
Гораздо лучше б
С малых лет
Ходил ты в поле за сохою.

Стара я стала
И совсем плоха,
Но если б дома
Был ты изначала,
То у меня
Была б теперь сноха
И на ноге
Внучонка я качала.

Но ты детей
По свету растерял,
Свою жену
Легко отдал другому,
И без семьи, без дружбы,
Без причал
Ты с головой
Ушел в кабацкий омут.

Любимый сын мой,
Что с тобой?
Ты был так кроток,
Был так смиренен.
И говорили все наперебой:
Какой счастливый
Александр Есенин!

В тебе надежды наши
Не сбылись,
И на душе
С того больней и горше,
Что у отца
Была напрасной мысль,
Чтоб за стихи
Ты денег брал побольше.

Хоть сколько б ты
Ни брал,
Ты не пошлешь их в дом,
И потому так горько
Речи льются,
Что знаю я
На опыте твоем:
Поэтам деньги не даются.

Мне страх не нравится,
Что ты поэт,
Что ты сдружился
С славою плохою.
Гораздо лучше б
С малых лет
Ходил ты в поле за сохою.

Теперь сплошная грусть,
Живем мы, как во тьме.
У нас нет лошади.
Но если б был ты в доме,
То было б все,
И при твоем уме —
Пост председателя
В волисполкоме.

Тогда б жилось смелей,
Никто б нас не тянул,

И ты б не знал
Ненужную усталость.
Я б заставляла
Прясть
Твою жену,
А ты, как сын,
Покоил нашу старость».

. . . .

Я комкаю письмо,
Я погружаюсь в жуть.
Ужель нет выхода
В моем пути заветном?
Но все, что думаю,
Я после расскажу.
Я расскажу
В письме ответном...

<1924>

ОТВЕТ

Старушка милая,
Живи, как ты живешь.
Я нежно чувствую
Твою любовь и память.
Но только ты
Ни капли не поймешь —
Чем я живу
И чем я в мире занят.

Теперь у вас зима.
И лунными ночами,
Я знаю, ты
Помыслишь не одна,
Как будто кто
Черемуху качает
И осыпает
Снегом у окна.

Родимая!
Ну как заснуть в метель?
В трубе так жалобно
И так протяжно стонет.
Захочешь лечь,

Но видишь не постель,
А узкий гроб
И — что тебя хоронят.

Как будто тысяча
Гнусавейших дьячков,
Поет она плакидой —
Сволочь-вьюга!
И снег ложится
Вроде пятачков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга!

Я более всего
Весну люблю.
Люблю разлив
Стремительным потоком,
Где каждой щепке,
Словно кораблю,
Такой простор,
Что не окинешь оком.

Но ту весну,
Которую люблю,
Я революцией великой
Называю!
И лишь о ней
Страдаю и скорблю,
Ее одну
Я жду и призываю!

Но эта пакость —
Хладная планета!
Ее и Солнцем-Лениным
Пока не растопить!
Вот потому
С больной душой поэта
Пошел скандалить я,
Озорничать и пить.

Но время будет,
Милая, родная!
Она придет, желанная пора!
Недаром мы
Присели у орудий:

Тот сел у пушки,
Этот — у пера.

Забудь про деньги ты,
Забудь про все.
Какая гибель?!
Ты ли это, ты ли?
Ведь не корова я,
Не лошадь, не осел,
Чтобы меня
Из стойла выводили!

Я выйду сам,
Когда настанет срок,
Когда пальнуть
Придется по планете,
И, воротясь,
Тебе куплю платок,
Ну, а отцу
Куплю я штуки эти.

Пока ж — идет метель,
И тысячей дьячков
Поет она плакидой —
Сволочь-вьюга.
И снег ложится
Вроде пятачков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга.

<1924>

ЦВЕТЫ

I

Цветы мне говорят — прощай,
Головками кивая низко.
Ты больше не увидишь близко
Родное поле, отчий край.

Любимые! Ну что ж, ну что ж!
Я видел вас и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

II

Весенний вечер. Синий час.
Ну как же не любить мне вас,
Как не любить мне вас, цветы?
Я с вами выпил бы на «ты».

Шуми, левкой и резеда.
С моей душой стряслась беда.
С душой моей стряслась беда.
Шуми, левкой и резеда.

III

Ах, колокольчик! Твой ли пыл
Мне в душу песней позвонил
И рассказал, что васильки
Очей любимых далеки.

Не пой! Не пой мне! Пощади.
И так огонь горит в груди.
Она пришла, как к рифме «вновь»,
Неразлучимая любовь.

IV

Цветы мои! Не всякий мог
Узнать, что сердцем я продрог,
Не всякий этот холод в нем
Мог растопить своим огнем,

Не всякий, длани кто простер,
Поймать сумеет долю злую.
Как бабочка — я на костер
Лечу и огненность целую.

V

Я не люблю цветы с кустов,
Не называю их цветами;
Хоть прикасаюсь к ним устами,
Но не найду к ним нежных слов.

Я только тот люблю цветок,
Который врос корнями в землю,
Его люблю я и приемлю,
Как северный наш василек.

VI

И на рябине есть цветы,
Цветы — предшественники ягод,
Они на землю градом лягут,
Багрец свергая с высоты.

Они не те, что на земле.
Цветы рябин — другое дело.
Они как жизнь, как наше тело,
Делимое в предвечной мгле.

VII

Любовь моя! Прости, прости,
Ничто не обошел я мимо.
Но мне милее на пути,
Что для меня неповторимо.

Неповторимы ты и я.
Помрем — за нас придут другие.
Но это все же не такие —
Уж я не твой, ты не моя.

VIII

Цветы, скажите мне — прощай,
Головками кивая низко,
Что не увидеть больше близко
Ее лицо, любимый край.

Ну что ж! Пускай не увидать!
Я поражен другим цветеньем
И потому словесным пеньем
Земную буду славить гладь.

IX

А люди разве не цветы?
О милая, почувствуй ты,
Здесь не пустынные слова.

Как стебель тулово качая,
А эта разве голова
Тебе не роза золотая?

Цветы людей и в солнь и в стыть
Умеют ползать и ходить.

X

Я видел, как цветы ходили,
И сердцем стал с тех пор добрей,
Когда узнал, что в этом мире
То дело было в Октябре.

Цветы сражалися друг с другом,
И красный цвет был всех бойчей.
Их больше падало под вьюгой,
Но все же мощностью упругой
Они сразили палачей.

XI

Октябрь! Октябрь!
Мне страшно жаль
Те красные цветы, что пали.
Головку розы режет сталь,
Но все же не боюсь я стали.

Цветы ходячие земли!
Они и сталь сразят почище,
Из стали пустят корабли,
Из стали сделают жилища.

XII

И потому, что я постиг,
Что мир мне не монашья схима,
Я ласково влагаю в стих,
Что все на свете повторимо.

И потому, что я пою,
Пою и вовсе не впустую,
Я милой голову мою
Отдам, как розу золотую.

<1924>

ПИСЬМО ДЕДУ

Покинул я
Родимое жилище.
Голубчик! Дедушка!
Я вновь к тебе пишу...
У вас под окнами
Теперь метели свищут,
И в дымовой трубе
Протяжный вой и шум,

Как будто сто чертей
Залезло на чердак.
А ты всю ночь не спишь
И дрыгаешь ногою.
И хочется тебе
Накинуть свой пиджак,
Пойти туда,
Избить всех кочергою.

Наивность милая
Нетронутой души!
Недаром прадед
За овса три меры
Тебя к дьячку водил
В заброшенной глуши
Учить: «Достойно есть»
И с «Отче» «Символ веры».

Хорошего коня пасут.
Отборный корм
Ему любви порука.
И, самого себя
Призвав на суд,
Тому же самому
Ты обучать стал внука.

Но внук учебы этой
Не постиг
И, к горечи твоей,
Ушел в страну чужую.
По-твоему, теперь
Бродягою брожу я,
Слагая в помыслах
Ненужный глупый стих.

Ты говоришь:
Что у тебя украли,
Что я дурак,
А город — плут и мот.
Но только, дедушка,
Едва ли так, едва ли,—
Плохую лошадь
Вор не уведет.

Плохую лошадь
Со двора не сгонишь,
Но тот, кто хочет
Знать другую гладь,
Тот скажет:
Чтоб не сгнить в затоне,
Страну родную
Нужно покидать.

Вот я и кинул.
Я в стране далекой.
Весна.
Здесь розы больше кулака.
И я твоей
Судьбине одинокой
Привет их теплый
Шлю издалека.

Теперь метель
Вовсю свистит в Рязани,
А у тебя —
Меня увидеть зуд.
Но ты ведь знаешь —
Никакие сани
Тебя сюда
Ко мне не завезут.

Я знаю —
Ты б приехал к розам,
К теплу.
Да только вот беда:
Твое проклятье
Силе паровоза
Тебя навек
Не сдвинет никуда.

А если я помру?
Ты слышишь, дедушка?
Помру я?
Ты сядешь или нет в вагон,
Чтобы присутствовать
На свадьбе похорон
И спеть в последнюю
Печаль мне «аллилуйя?»

Тогда садись, старик.
Садись без слез,
Доверься ты
Стальной кобыле.
Ах, что за лошадь,
Что за лошадь паровоз!
Ее, наверное,
В Германии купили.

Чугунный рот ее
Привык к огню,
И дым над ней, как грива,—
Черен, густ и четок.
Такую б гриву
Нашему коню,—
То сколько б вышло
Разных швабр и щеток!

Я знаю —
Время даже камень крошит...
И ты, старик,
Когда-нибудь поймешь,
Что, даже лучшую
Впрягая в сани лошадь,
В далекий край
Лишь кости привезешь...

Поймешь и то,
Что я ушел недаром
Туда, где бег
Быстрее, чем полет.
В стране, объятой вьюгой
И пожаром,
Плохую лошадь
Вор не уведет.

Декабрь 1924.
Батум

МЕТЕЛЬ

Прядите, дни, свою былую пряжу,
Живой души не перестроить ввек.
Нет!
Никогда с собой я не полажу,
Себе, любимому,
Чужой я человек.

Хочу читать, а книга выпадает,
Долит зевота,
Так и клонит в сон...
А за окном
Протяжный ветр рыдает,
Как будто чуя
Близость похорон.

Облезлый клен
Своей верхушкой черной
Гнусавит хрипло
В небо о былом.
Какой он клен?
Он просто столб позорный —
На нем бы вешать
Иль отдать на слом.

И первого
Меня повесить нужно,
Скрестив мне руки за спиной:
За то, что песней
Хриплой и недужной
Мешал я спать
Стране родной.

Я не люблю
Распевы петуха
И говорю,
Что если был бы в силе,
То всем бы петухам
Я выдрал потроха,
Чтобы они
Ночьми не голосили.

Но я забыл,
Что сам я петухом
Орал вовсю
Перед рассветом края,
Отцовские заветы попирая,
Волнуясь сердцем
И стихом.

Визжит метель,
Как будто бы кабан,
Которого зарезать собрались.
Холодный,
Ледяной туман,
Не разберешь,
Где даль,
Где близь...

Луну, наверное,
Собаки съели —
Ее давно
На небе не видать.
Выдергивая нитку из кудели,
С веретеном
Ведет беседу мать.

Оглохший кот
Внимает той беседе,
С лежанки свесив
Важную главу.
Недаром говорят
Пугливые соседи,
Что он похож
На черную сову.

Глаза смежаются.
И как я их прищурю,

То вижу въявь
Из сказочной поры:
Кот лапой мне
Показывает дулю,
А мать — как ведьма
С киевской горы.

Не знаю, болен я
Или не болен,
Но только мысли
Бродят невпопад.
В ушах могильный
Стук лопат
С рыданьем дальних
Колоколен.

Себя усопшего
В гробу я вижу
Под аллилуйные
Стенания дьячка.
Я веки мертвому себе
Спускаю ниже,
Кладя на них
Два медных пятачка.

На эти деньги,
С мертвых глаз,
Могильщику теплее станет,—
Меня зарыв,
Он тот же час
Себя сивухой остаканит.

И скажет громко:
«Вот чудак!
Он в жизни
Буйствовал немало...
Но одолеть не мог никак
Пяти страниц
Из «Капитала».

Декабрь 1924

ВЕСНА

Припадок кончен.
Грусть в опале.
Приемлю жизнь, как первый сон.
Вчера прочел я в «Капитале»,
Что для поэтов —
Свой закон.

Метель теперь
Хоть чертом вой,
Стучись утопленником голым,—
Я с отрезвевшей головой
Товарищ бодрым и веселым.

Гнилых нам нечего жалеть,
Да и меня жалеть не нужно,
Коль мог покорно умереть
Я в этой завирухе вьюжной.

Тинь-тинь, синица!
Добрый день!
Не бойся!
Я тебя не трону.
И коль угодно,
На плетень
Садись по птичьему закону.

Закон вращенья в мире есть,
Он — отношенье
Средь живущих.
Коль ты с людьми единой кущи,—
Имеешь право
Лечь и сесть.

Привет тебе,
Мой бедный клен!
Прости, что я тебя обидел.
Твоя одежда в рваном виде,
Но будешь
Новой наделен.

Без ордера тебе апрель
Зеленую отпустит шапку,
И тихо

В нежную охапку
Тебя обнимет повитель.

И выйдет девушка к тебе,
Водой окатит из колодца,
Чтобы в суровом октябре
Ты мог с метелями бороться.

А ночью
Выплывет луна.
Ее не слопали собаки:
Она была лишь не видна
Из-за людской
Кровавой драки.

Но драка кончилась...
И вот —
Она своим лимонным светом
Деревьям, в зелень разодетым,
Сиянье звучное
Польет.

Так пей же, грудь моя,
Весну!
Волнуйся новыми
Стихами!
Я нынче, отходя ко сну,
Не поругаюсь
С петухами.

Земля, земля!
Ты не металл,—
Металл ведь
Не пускает почку.
Достаточно попасть
На строчку,
И вдруг —
Понятен «Капитал».

Декабрь 1924

МОЙ ПУТЬ

Жизнь входит в берега.
Села давнишний житель,
Я вспоминаю то,
Что видел я в краю.
Стихи мои,
Спокойно расскажите
Про жизнь мою.

Изба крестьянская.
Хомутный запах дегтя,
Божница старая,
Лампады кроткий свет.
Как хорошо,
Что я сберег те
Все ощущенья детских лет.

Под окнами
Костер метели белой.
Мне девять лет.
Лежанка, бабка, кот...
И бабка что-то грустное
Степное пела,
Порой зевая
И крестя свой рот.

Метель ревела.
Под оконцем
Как будто бы плясали мертвецы.
Тогда империя
Вела войну с японцем,
И всем далекие
Мерещились кресты.

Тогда не знал я
Черных дел России.
Не знал, зачем
И почему война.
Рязанские поля,
Где мужики косили,
Где сеяли свой хлеб,
Была моя страна.

Я помню только то,
Что мужики роптали,
Бранились в черта,
В бога и в царя.
Но им в ответ
Лишь улыбались дали
Да наша жидкая
Лимонная заря.

Тогда впервые
С рифмой я схлестнулся.
От сонма чувств
Вскружилась голова.
И я сказал:
Коль этот зуд проснулся,
Всю душу выплещу в слова.

Года далекие,
Теперь вы как в тумане.
И помню, дед мне
С грустью говорил:
«Пустое дело...
Ну, а если тянет —
Пиши про рожь,
Но больше про кобыл».

Тогда в мозгу,
Влеченьем к музе сжатом,
Текли мечтанья
В тайной тишине,
Что буду я
Известным и богатым
И будет памятник
Стоять в Рязани мне.

В пятнадцать лет
Взлюбил я до печенок
И сладко думал,
Лишь уединюсь,
Что я на этой
Лучшей из девчонок,
Достигнув возраста, женюсь.

. . . .

Года текли.
Года меняют лица —

Другой на них
Ложится свет.
Мечтатель сельский —
Я в столице
Стал первокласснейший поэт.

И, заболев
Писательскою скукой,
Пошел скитаться я
Средь разных стран,
Не веря встречам,
Не томясь разлукой,
Считая мир весь за обман.

Тогда я понял,
Что такое Русь.
Я понял, что такое слава.
И потому мне
В душу грусть
Вошла, как горькая отрава.

На кой мне черт,
Что я поэт!..
И без меня в достатке дряни.
Пускай я сдохну,
Только...
Нет,
Не ставьте памятник в Рязани!

Россия... Царщина...
Тоска...
И снисходительность дворянства.
Ну что ж!
Так принимай, Москва,
Отчаянное хулиганство.

Посмотрим —
Кто кого возьмет!
И вот в стихах моих
Забила
В салонный вылощенный
Сброд
Мочой рязанская кобыла.

Не нравится?
Да, вы правы —
Привычка к Лориган
И к розам...
Но этот хлеб,
Что жрете вы,—
Ведь мы его того-с...
Навозом...

Еще прошли года.
В годах такое было,
О чем в словах
Всего не рассказать:
На смену царщине
С величественной силой
Рабочая предстала рать.

Устав таскаться
По чужим пределам,
Вернулся я
В родимый дом.
Зеленокосая,
В юбчонке белой
Стоит береза над прудом.

Уж и береза!
Чудная... А груди...
Таких грудей
У женщин не найдешь.
С полей обрызганные солнцем
Люди
Везут навстречу мне
В телегах рожь.

Им не узнать меня,
Я им прохожий.
Но вот проходит
Баба, не взглянув.
Какой-то ток
Невыразимой дрожи
Я чувствую во всю спину.

Ужель она?
Ужели не узнала?
Ну и пускай,

Пускай себе пройдет...
И без меня ей
Горечи немало —
Недаром лег
Страдальчески так рот.

По вечерам,
Надвинув ниже кепи,
Чтобы не выдать
Холода очей,—
Хожу смотреть я
Скошенные степи
И слушать,
Как звенит ручей.

Ну что же?
Молодость прошла!
Пора приняться мне
За дело,
Чтоб озорливая душа
Уже по-зрелому запела.

И пусть иная жизнь села
Меня наполнит
Новой силой,
Как раньше
К славе привела
Родная русская кобыла.

<1925>

ПИСЬМО К СЕСТРЕ

О Дельвиге писал наш Александр,
О черепе выласкивал он
Строки.
Такой прекрасный и такой далекий,
Но все же близкий,
Как цветущий сад!

Привет, сестра!
Привет, привет!
Крестьянин я иль не крестьянин?!
Ну как теперь ухаживает дед
За вишнями у нас, в Рязани?

Ах, эти вишни!
Ты их не забыла?
И сколько было у отца хлопот,
Чтоб наша тощая
И рыжая кобыла
Выдергивала плугом корнеплод.

Отцу картофель нужен.
Нам был нужен сад.
И сад губили,
Да, губили, душка!
Об этом знает мокрая подушка
Немножко... Семь...
Иль восемь лет назад.

Я помню праздник,
Звонкий праздник мая.
Цвела черемуха,
Цвела сирень.
И, каждую березку обнимая,
Я был пьяней,
Чем синий день.

Березки!
Девушки-березки!
Их не любить лишь может тот,
Кто даже в ласковом подростке
Предугадать не может плод.

Сестра! Сестра!
Друзей так в жизни мало!
Как и на всех,
На мне лежит печать...
Коль сердце нежное твое
Устало,
Заставь его забыть и замолчать.

Ты Сашу знаешь.
Саша был хороший.
И Лермонтов
Был Саше по плечу.
Но болен я...
Сиреневой порошей
Теперь лишь только
Душу излечу.

Мне жаль тебя.
Останешься одна,
А я готов дойти
Хоть до дуэли.
«Блажен, кто не допил до дна» [1]
И не дослушал глас свирели.

Но сад наш!..
Сад...
Ведь и по нем весной
Пройдут твои
Заласканные дети.
О!
Пусть они
Помянут невпопад,
Что жили...

Чудаки на свете.

<1925>

СКАЗКА О ПАСТУШОНКЕ ПЕТЕ, ЕГО КОМИССАРСТВЕ И КОРОВЬЕМ ЦАРСТВЕ

Пастушонку Пете
Трудно жить на свете:
Тонкой хворостиной
Управлять скотиной.

Если бы корова
Понимала слово,
То жилось бы Пете
Лучше нет на свете.

Но коровы в спуске
На траве у леса,
Говоря по-русски,
Смыслят ни бельмеса.

Им бы лишь мычалось
Да трава качалась,—
Трудно жить на свете
Пастушонку Пете.

[1] Слова Пушкина. *(Примеч. С. Есенина.)*

*

Хорошо весною
Думать под сосною,
Улыбаясь в дреме,
О родимом доме.

Май все хорошеет,
Ели все игольчей;
На коровьей шее
Плачет колокольчик.

Плачет и смеется
На цветы и травы,
Голос раздается
Звоном средь дубравы.

Пете-пастушонку
Голоса не новы,—
Он найдет сторонку,
Где звенят коровы.

Соберет всех в кучу,
На село отгонит,
Не получит взбучу —
Чести не уронит.

Любо хворостиной
Управлять скотиной,
В ночь у перелесиц
Спи и плюй на месяц.

*

Ну, а если лето —
Песня плохо спета.
Слишком много дела —
В поле рожь поспела.

Ах, уж не с того ли
Дни похорошели,—
Все колосья в поле,
Как лебяжьи шеи.

Но беда на свете
Каждый час готова,
Зазевался Петя —
В рожь зайдет корова.

А мужик, как взглянет,
Разведет ручищей
Да как в спину втянет
Прямо кнутовищей.

Тяжко хворостиной
Управлять скотиной.

*

Вот приходит осень
С цепью кленов голых,
Что шумит, как восемь
Чертенят веселых.

Мокрый лист с осины
И дорожных ивок
Так и хлещет в спину,
В спину и в загривок.

Елка ли, кусток ли,
Только вплоть до кожи
Сапоги промокли,
Одежонка — тоже.

Некому открыться,
Весь как есть пропащий.
Вспуганная птица
Улетает в чащу.

И дрожишь полсутки
То душой, то телом.
Рассказать бы утке —
Утка улетела.

Рассказать дубровам —
У дубровы опадь.
Рассказать коровам —
Им бы только лопать.

Нет, никто на свете
На обмокшем спуске
Пастушонка Петю
Не поймет по-русски.

Трудно хворостиной
Управлять скотиной.

*

Мыслит Петя с жаром:
То ли дело в мире
Жил он комиссаром
На своей квартире.

Знал бы все он сроки,
Был бы всех речистей,
Собирал оброки
Да дороги чистил.

А по вязкой грязи,
По осенней тряске
Ездил в каждом разе
В волостной коляске.

И приснился Пете
Страшный сон на свете.

*

Все доступно в мире,—
Петя комиссаром
На своей квартире
С толстым самоваром.

Чай пьет на террасе,
Ездит в тарантасе,
Лучше нет на свете
Жизни, чем у Пети.

Но всегда недаром
Служат комиссаром:
Нужно знать все сроки,
Чтоб сбирать оброки.

Чай, конечно, сладок,
А с вареньем — дважды,
Но блюсти порядок
Может, да не каждый.

Нужно знать законы,
Ну, а где же Пете?
Он еще иконы
Держит в волсовете.

А вокруг совета
В дождь и непогоду
С самого рассвета
Уймище народу.

Наш народ ведь голый,
Что ни день, то с требой,—
То построй им школу,
То давай им хлеба.

Кто им наморочил?
Кто им накудахтал?
Отчего-то очень
Стал им нужен трактор.

Ну, а где же Пете?
Он ведь пас скотину —
Понимал на свете
Только хворостину.

А народ суровый
В ропоте и гаме
Хуже, чем коровы,
Хуже и упрямей.

С эдаким товаром
Дрянь быть комиссаром.

Взяли раз Петрушу
За живот, за душу,
Бросили в коляску
Да как дали таску...

. . . .

Тут проснулся Петя.

*

Сладко жить на свете!

Встал, а день что надо,—
Солнечный, звенящий,
Легкая прохлада
Овевает чащи.

Петя с кротким словом
Говорит коровам:
«Не хочу и даром
Быть я комиссаром».

А над ним береза,
Веткой утираясь,
Говорит сквозь слезы,
Тихо улыбаясь:

«Тяжело на свете
Быть для всех примером.
Будь ты лучше, Петя,
Раньше пионером».

*

Малышам в острастку,
В мокрый день осенний,
Написал ту сказку
Я — Сергей Есенин.

Октябрь 1925

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь.
Черный человек,
Черный, черный,
Черный человек
На кровать ко мне садится,
Черный человек
Спать не дает мне всю ночь.

Черный человек
Водит пальцем по мерзкой книге
И, гнусавя надо мной,
Как над усопшим монах,
Читает мне жизнь
Какого-то прохвоста и забулдыги,
Нагоняя на душу тоску и страх.
Черный человек,
Черный, черный!

«Слушай, слушай,—
Бормочет он мне,—
В книге много прекраснейших
Мыслей и планов.
Этот человек
Проживал в стране
Самых отвратительных
Громил и шарлатанов.

В декабре в той стране
Снег до дьявола чист,
И метели заводят
Веселые прялки.
Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки.

Был он изящен,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою».

«Счастье,— говорил он,—
Есть ловкость ума и рук.
Все неловкие души
За несчастных всегда известны.
Это ничего,
Что много мук
Приносят изломанные
И лживые жесты.

В грозы, в бури,
В житейскую стынь,
При тяжелых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым —
Самое высшее в мире искусство».

«Черный человек!
Ты не смеешь этого!
Ты ведь не на службе
Живешь водолазовой.
Что мне до жизни
Скандального поэта.
Пожалуйста, другим
Читай и рассказывай».

Черный человек
Глядит на меня в упор.
И глаза покрываются
Голубой блевотой,—
Словно хочет сказать мне,
Что я жулик и вор,
Так бесстыдно и нагло
Обокравший кого-то.

. . . .

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Ночь морозная.
Тих покой перекрестка.

Я один у окошка,
Ни гостя, ни друга не жду.
Вся равнина покрыта
Сыпучей и мягкой известкой,
И деревья, как всадники,
Съехались в нашем саду.

Где-то плачет
Ночная зловещая птица.
Деревянные всадники
Сеют копытливый стук.
Вот опять этот черный
На кресло мое садится,
Приподняв свой цилиндр
И откинув небрежно сюртук.

«Слушай, слушай! —
Хрипит он, смотря мне в лицо,
Сам все ближе
И ближе клонится.—
Я не видел, чтоб кто-нибудь
Из подлецов
Так ненужно и глупо
Страдал бессонницей.

Ах, положим, ошибся!
Ведь нынче луна.
Что же нужно еще
Напоенному дремой мирику?
Может, с толстыми ляжками
Тайно придет «она»
И ты будешь читать
Свою дохлую томную лирику?

Ах, люблю я поэтов!
Забавный народ.
В них всегда нахожу я
Историю, сердцу знакомую,—
Как прыщавой курсистке
Длинноволосый урод
Говорит о мирах,
Половой истекая истомою.

Не знаю, не помню,
В одном селе,

Может, в Калуге,
А может, в Рязани,
Жил мальчик
В простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
С голубыми глазами...

И вот стал он взрослым,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою».

«Черный человек!
Ты прескверный гость.
Эта слава давно
Про тебя разносится».
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его,
В переносицу...

. . . .

...Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало...

14 ноября 1925

ПОЭМЫ

ПУГАЧЕВ

Анатолию Мариенгофу

ПОЯВЛЕНИЕ ПУГАЧЕВА В ЯИЦКОМ ГОРОДКЕ

Пугачев

Ох, как устал и как болит нога!..
Ржет дорога в жуткое пространство.
Ты ли, ты ли, разбойный Чаган,
Приют дикарей и оборванцев?
Мне нравится степей твоих медь
И пропахшая солью почва.
Луна, как желтый медведь,
В мокрой траве ворочается.

Наконец-то я здесь, здесь!
Рать врагов цепью волн распалась,
Не удалось им на осиновый шест
Водрузить головы моей парус.

Яик, Яик, ты меня звал
Стоном придавленной черни!
Пучились в сердце жабьи глаза
Грустящей в закат деревни.
Только знаю я, что эти избы —
Деревянные колокола,
Голос их ветер хмарью съел.

О, помоги же, степная мгла,
Грозно свершить мой замысел!

Сторож

Кто ты, странник? Что бродишь долом?
Что тревожишь ты ночи гладь?
Отчего, словно яблоко тяжелое,
Виснет с шеи твоя голова?

Пугачев

В солончаковое ваше место
Я пришел из далеких стран,—
Посмотреть на золото телесное,
На родное золото славян.
Слушай, отче! Расскажи мне нежно,
Как живет здесь мудрый наш мужик?
Так же ль он в полях своих прилежно
Цедит молоко соломенное ржи?
Так же ль здесь, сломав зари застенок,
Гонится овес на водопой рысцой,
И на грядках, от капусты пенных,
Челноки ныряют огурцов?
Так же ль мирен труд домохозяек,
Слышен прялки ровный разговор?

Сторож

Нет, прохожий! С этой жизнью Яик
Раздружился с самых давних пор.

С первых дней, как оборвались вожжи,
С первых дней, как умер третий Петр,
Над капустой, над овсом, над рожью
Мы задаром проливаем пот.

Нашу рыбу, соль и рынок,
Чем сей край богат и рьян,
Отдала Екатерина
Под надзор своих дворян.

И теперь по всем окраинам
Стонет Русь от цепких лапищ.
Воском жалоб сердце Каина
К состраданью не окапишь.

Всех связали, всех вневолили,
С голоду хоть жри железо.
И течет заря над полем
С горла неба перерезанного.

Пугачев

Невеселое ваше житье!
Но скажи мне, скажи,
Неужель в народе нет суровой хватки
Вытащить из сапогов ножи
И всадить их в барские лопатки?

Сторож

Видел ли ты,
Как коса в лугу скачет,
Ртом железным перекусывая ноги трав?
Оттого что стоит трава на корячках,
Под себя коренья подобрав.
И никуда ей, траве, не скрыться
От горячих зубов косы,
Потому что не может она, как птица,
Оторваться от земли в синь.
Так и мы! Вросли ногами крови в избы,
Что нам первый ряд подкошенной травы?
Только лишь до нас не добрались бы,
Только нам бы,
Только б нашей
Не скосили, как ромашке, головы.
Но теперь как будто пробудились,
И березами заплаканный наш тракт
Окружает, как туман от сырости,
Имя мертвого Петра.

Пугачев

Как Петра? Что ты сказал, старик?
. . . .
Иль это взвыли в небе облака?

Сторож

Я говорю, что скоро грозный крик,
Который избы словно жаб влакал,
Сильней громов раскатится над нами.
Уже мятеж вздымает паруса.
Нам нужен тот, кто б первый бросил камень.

Пугачев

Какая мысль!

Сторож

О чем вздыхаешь ты?

Пугачев

Я положил себе зарок молчать до срока.

. . . .

Клещи рассвета в небесах
Из пасти темноты
Выдергивают звезды, словно зубы,
А мне еще нигде вздремнуть не удалось.

Сторож

Я мог бы предложить тебе
Тюфяк свой грубый,
Но у меня в дому всего одна кровать,
И четверо на ней спит ребятишек.

Пугачев

Благодарю! Я в этом граде гость.
Дадут приют мне под любою крышей.
Прощай, старик!

Сторож

Храни тебя господь!

. . . .

. . . .

Русь, Русь! И сколько их таких,
Как в решето просеивающих плоть,
Из края в край в твоих просторах шляется?
Чей голос их зовет,
Вложив светильником им посох в пальцы?
Идут они, идут! Зеленый славя гул,
Купая тело в ветре и в пыли,
Как будто кто сослал их всех на каторгу
Вертеть ногами
Сей шар земли.

Но что я вижу?
Колокол луны скатился ниже,
Он, словно яблоко увянувшее, мал.
Благовест лучей его стал глух.

Уж на нашесте громко заиграл
В куриную гармонику петух.

2
БЕГСТВО КАЛМЫКОВ

Первый голос

Послушайте, послушайте, послушайте,
Вам не снился тележный свист?
Нынче ночью на заре жидкой
Тридцать тысяч калмыцких кибиток
От Самары проползло на Иргис.
От российской чиновничьей неволи,
Оттого что, как куропаток, их щипали
На наших лугах,
Потянулись они в свою Монголию
Стадом деревянных черепах.

Второй голос

Только мы, только мы лишь медлим,
Словно страшен нам захлестнувший нас шквал.
Оттого-то шлет нам каждую неделю
Приказы свои Москва.
Оттого-то, куда бы ни шел ты,
Видишь, как под усмирителей меч
Прыгают кошками желтыми
Казацкие головы с плеч.

Кирпичников

Внимание! Внимание! Внимание!
Не будьте ж трусливы, как овцы,
Сюда едут на страшное дело вас сманивать
Траубенберг и Тамбовцев.

Казаки

К черту! К черту предателей!

. . . .

Тамбовцев

Сми-ирно-о!
Сотники казачьих отрядов,
Готовьтесь в поход!
Нынче ночью, как дикие звери,
Калмыки всем скопом орд
Изменили Российской империи
И угнали с собой весь скот.
Потопленную лодку месяца

Чаган выплескивает на берег дня.
Кто любит свое отечество,
Тот должен слушать меня.
Нет, мы не можем, мы не можем, мы не можем
Допустить сей ущерб стране:
Россия лишилась мяса и кожи,
Россия лишилась лучших коней.
Так бросимьтесь же в погоню
На эту монгольскую мразь,
Пока она всеми ладонями
Китаю не предалась.

Кирпичников

Стой, атаман, довольно
Об ветер язык чесать.
За Россию нам, конешно, больно,
Оттого что нам Россия — мать.
Но мы ничуть, мы ничуть не испугались,
Что кто-то покинул наши поля,
И калмык нам не желтый заяц,
В которого можно, как в пищу, стрелять.
Он ушел, этот смуглый монголец,
Дай же бог ему добрый путь.
Хорошо, что от наших околиц
Он без боли сумел повернуть.

Траубенберг

Что это значит?

Кирпичников

Это значит то,
Что, если б
Наши избы были на колесах,
Мы впрягли бы в них своих коней
И гужом с солончаковых плесов
Потянулись в золото степей.
Наши б кони, длинно выгнув шеи,
Стадом черных лебедей
По вóдам ржи
Понесли нас, буйно хорошея,
В новый край, чтоб новой жизнью жить.

Казаки

Замучили! Загрызли, прохвосты!

Тамбовцев

Казаки! Вы целовали крест!
Вы клялись...

Кирпичников

Мы клялись, мы клялись Екатерине
Быть оплотом степных границ,
Защищать эти пастбища синие
От налета разбойных птиц.
Но скажите, скажите, скажите,
Разве эти птицы не вы?
Наших пашен суровых житель
Не найдет, где прикрыть головы.

Траубенберг

Это измена!..
Связать его! Связать!

Кирпичников

Казаки, час настал!
Приветствую тебя, мятеж свирепый!
Что не могли в словах сказать уста,
Пусть пулями расскажут пистолеты.
(Стреляет.)

Траубенберг падает мертвым. Конвойные разбегаются. Казаки хватают лошадь Тамбовцева под уздцы и стаскивают его на землю.

Голоса

Смерть! Смерть тирану!

Тамбовцев

О господи! Ну что я сделал?

Первый голос

Мучил, злодей, три года,
Три года, как коршун белый,
Ни проезда не давал, ни прохода.

Второй голос

Откушай похлебки метелицы.
Отгулял, отстегал и отхвастал.

Третий голос

Черта ли с ним канителиться?

Четвертый голос

Повесить его — и баста!

Кирпичников

Пусть знает, пусть слышит Москва —
На расправы ее мы взбыстрим.
Это только лишь первый раскат,
Это только лишь первый выстрел.
Пусть помнит Екатерина,
Что если Россия — пруд,
То черными лягушками в тину
Пушки мечут стальную икру.
Пусть носится над страной,
Что казак не ветла на прогоне
И в луны мешок травяной
Он башку незадаром сронит.

3

ОСЕННЕЙ НОЧЬЮ

Караваев

Тысячу чертей, тысячу ведьм и тысячу дьяволов!
Экий дождь! Экий скверный дождь!
Скверный, скверный!
Словно вонючая моча волов
Льется с туч на поля и деревни.
Скверный дождь!
Экий скверный дождь!

Как скелеты тощих журавлей,
Стоят ощипанные вербы,
Плавя ребер медь.
Уж золотые яйца листьев на земле
Им деревянным брюхом не согреть,
Не вывести птенцов — зеленых вербенят,
По горлу их скользнул сентябрь, как нож,
И кости крыл ломает на щебняк
Осенний дождь.
Холодный, скверный дождь!

О, осень, осень!
Голые кусты,
Как оборванцы, мокнут у дорог.
В такую непогодь собаки, сжав хвосты,

Боятся головы просунуть за порог,
А тут вот стой, хоть сгинь,
Но тьму глазами ешь,
Чтоб не пробрался вражеский лазутчик.
Проклятый дождь!
Расправу за мятеж
Напоминают мне рыгающие тучи.
Скорей бы, скорей в побег, в побег
От этих кровью выдоенных стран.
С объятьями нас принимает всех
С Екатериною воюющий султан.
Уже стекается придушенная чернь
С озиркой, словно полевые мыши.
О солнце-колокол, твое тили-ли-день,
Быть может, здесь мы больше не услышим!

Но что там? Кажется, шаги?
Шаги... Шаги...
Эй, кто идет? Кто там идет?

Пугачев

Свой... свой...

Караваев

Кто свой?

Пугачев

Я, Емельян.

Караваев

А, Емельян, Емельян, Емельян!
Что нового в этом мире, Емельян?
Как тебе нравится этот дождь?

Пугачев

Этот дождь на счастье богом дан,
Нам на руку, чтоб он хлестал всю ночь.

Караваев

Да, да! Я тоже так думаю, Емельян.
Славный дождь! Замечательный дождь!

Пугачев

Нынче вечером, в темноте скрываясь,
Я правительственные посты осмотрел.
Все часовые попрятались, как зайцы,

Боясь замочить шинели.
Знаешь? Эта ночь, если только мы выступим,
Не кровью, а зарею окрасила б наши ножи,
Всех бы солдат без единого выстрела
В сонном Яике мы могли уложить...

Завтра ж к утру будет ясная погода,
Сивым табуном проскачет хмарь.
Слушай, ведь я из простого рода
И сердцем такой же степной дикарь!
Я умею, на сутки и версты не трогаясь,
Слушать бег ветра и твари шаг,
Оттого что в груди у меня, как в берлоге,
Ворочается звереньшем теплым душа.

Мне нравится запах травы, холодом
подожженной,
И сентябрьского листолета протяжный свист.
Знаешь ли ты, что осенью медвежонок
Смотрит на луну,
Как на вьющийся в ветре лист?
По луне его учит мать
Мудрости своей звериной,
Чтобы смог он, дурашливый, знать
И призванье свое и имя.
. . . .
Я значенье мое разгадал...

Караваев

Тебе ж недаром верят?

Пугачев

Долгие, долгие тяжкие года
Я учил в себе разуму зверя...
Знаешь? Люди ведь все со звериной душой,—
Тот медведь, тот лиса, та волчица,
А жизнь — это лес большой,
Где заря красным всадником мчится.
Нужно крепкие, крепкие иметь клыки.

Караваев

Да, да! Я тоже так думаю, Емельян...
И если б они у нас были,
То московские полки
Нас не бросали, как рыб, в Чаган.

Они б побоялись нас жать
И карать так легко и просто
За то, что в чаду мятежа
Убили мы двух прохвостов.

Пугачев

Бедные, бедные мятежники!
Вы цвели и шумели, как рожь.
Ваши головы колосьями нежными
Раскачивал июльский дождь.
Вы улыбались тварям...

. . . .

Послушай, да ведь это ж позор,
Чтоб мы этим поганым харям
Не смогли отомстить до сих пор?
Разве это когда прощается,
Чтоб с престола какая-то б...
Протягивала солдат, как пальцы,
Непокорную чернь умерщвлять!
Нет, не могу, не могу!
К черту султана с туретчиной,
Только на радость врагу
Этот побег опрометчивый.
Нужно остаться здесь!
Нужно остаться, остаться,
Чтобы вскипела месть
Золотою пургой акаций,
Чтоб пролились ножи
Железными струями люто!

Слушай! Бросай сторожить,
Беги и буди весь хутор.

4

ПРОИСШЕСТВИЕ НА ТАЛОМ УМЕТЕ

Оболяев

Что случилось? Что случилось? Что случилось?

Пугачев

Ничего страшного. Ничего страшного.
Ничего страшного.
Там на улице жолклая сырость
Гонит туман, как стада барашковые.

Мокрою цаплей по лужам полей бороздя,
Ветер заставил все живое,
Как жаб по их гнездам, скрыться,
И только порою,
Привязанная к нитке дождя,
Черным крестом в воздухе
Проболтнется шальная птица.
Это осень, как старый оборванный монах,
Пророчит кому-то о погибели веще.

. . . .

Послушайте, для наших благ
Я придумал кой-что похлеще.

Караваев

Да, да! Мы придумали кой-что похлеще.

Пугачев

Знаете ли вы,
Что по черни ныряет весть,
Как по гребням волн лодка с парусом низким?
По-звериному любит мужик наш на корточки сесть
И сосать эту весть, как коровьи большие сиськи.
От песков Джигильды до Алатыря
Эта весть о том,
Что какой-то жестокий поводырь
Мертвую тень императора
Ведет на российскую ширь.

Эта тень с веревкой на шее безмясой,
Отвалившуюся челюсть теребя,
Скрипящими ногами приплясывая,
Идет отомстить за себя,
Идет отомстить Екатерине,
Подымая руку, как желтый кол,
За то, что она с сообщниками своими,
Разбив белый кувшин
Головы его,
Взошла на престол.

Оболяев

Это только веселая басня!
Ты, конечно, не за этим пришел,
Чтоб рассказать ее нам?

Пугачев

Напрасно, напрасно, напрасно
Ты так думаешь, брат Степан.

Караваев

Да, да! По-моему, тоже напрасно.

Пугачев

Разве важно, разве важно, разве важно,
Что мертвые не встают из могил?
Но зато кой-где почву безвлажную
Этот слух словно плугом взрыл.
Уже слышится благовест бунтов,
Рев крестьян оглашает зенит,
И кустов деревянный табун
Безлиственной ковкой звенит.
Что ей Петр? — Злой и дикой ораве? —
Только камень желанного случая,
Чтобы колья погромные правили
Над теми, кто грабил и мучил.
Каждый платит за лепту лептою,
Месть щенками кровавыми щенится.
Кто же скажет, что это свирепствуют
Бродяги и отщепенцы?
Это буйствуют россияне!
Я ж хочу научить их под хохот сабль
Обтянуть тот зловещий скелет парусами
И пустить его по безводным степям,
Как корабль.

А за ним
По курганам синим
Мы живых голов двинем бурливый флот.
. . . .
. . . .
Послушайте! Для всех отныне
Я — император Петр!

Казаки

Как император?

Оболяев

Он с ума сошел!

Пугачев

Ха-ха-ха!
Вас испугал могильщик,
Который, череп разложив как горшок,
Варит из медных монет щи,
Чтоб похлебать в черный срок.
Я стращать мертвецом вас не стану,
Но должны ж вы, должны понять,
Что этим кладбищенским планом
Мы подымем монгольскую рать!
Нам мало того простолюдства,
Которое в нашем краю,
Пусть калмык и башкирец бьются
За бараньи костры средь юрт!

Зарубин

Это верно, это верно, это верно!
Кой нам черт умышлять побег?
Лучше здесь всем им головы скверные
Обломать, как колеса с телег.
Будем крыть их ножами и матом,
Кто без сабли — так бей кирпичом!
Да здравствует наш император,
Емельян Иванович Пугачев!

Пугачев

Нет, нет, я для всех теперь
Не Емельян, а Петр...

Караваев

Да, да, не Емельян, а Петр...

Пугачев

Братья, братья, ведь каждый зверь
Любит шкуру свою и имя...
Тяжко, тяжко моей голове
Опушать себя чуждым инеем.
Трудно сердцу светильником месть
Освещать корявые чащи.
Знайте, в мертвое имя влезть —
То же, что в гроб смердящий.

Больно, больно мне быть Петром,
Когда кровь и душа Емельянова.

Человек в этом мире не бревенчатый дом,
Не всегда перестроишь наново...
Но... к черту все это, к черту!
Прочь жалость телячьих нег!

Нынче ночью в половине четвертого
Мы устроить должны набег.

5

УРАЛЬСКИЙ КАТОРЖНИК

Хлопуша

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.
Я три дня и три ночи искал ваш умёт,
Тучи с севера сыпались каменной грудой.
Слава ему! Пусть он даже не Петр!
Чернь его любит за буйство и удаль.
Я три дня и три ночи блуждал по тропам,
В солонце рыл глазами удачу,
Ветер волосы мои, как солому, трепал
И цепами дождя обмолачивал.
Но озлобленное сердце никогда не заблудится,
Эту голову с шеи сшибить нелегко.
Оренбургская заря красношерстной верблюдицей
Рассветное роняла мне в рот молоко.
И холодное корявое вымя сквозь тьму
Прижимал я, как хлеб, к истощенным векам.
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.

Зарубин

Кто ты? Кто? Мы не знаем тебя!
Что тебе нужно в нашем лагере?
Отчего глаза твои,
Как два цепных кобеля,
Беспокойно ворочаются в соленой влаге?
Что пришел ты ему сообщить?
Злое ль, доброе ль светится из пасти вспурга?
Прорубились ли в Азию бунтовщики?
Иль, как зайцы, бегут от Оренбурга?

Хлопуша

Где он? Где? Неужель его нет?
Тяжелее, чем камни, я нес мою душу.
Ах, давно, знать, забыли в этой стране
Про отчаянного негодяя и жулика Хлопушу.
Смейся, человек!
В ваш хмурый стан
Посылаются замечательные разведчики.
Был я каторжник и арестант,
Был убийца и фальшивомонетчик.

Но всегда ведь, всегда ведь, рано ли, поздно ли,
Расставляет расплата капканы терний.
Заковали в колодки и вырвали ноздри
Сыну крестьянина Тверской губернии.
Десять лет —
Понимаешь ли ты, десять лет? —
То острожничал я, то бродяжил.
Это теплое мясо носил скелет
На общипку, как пух лебяжий.

Черта ль с того, что хотелось мне жить?
Что жестокостью сердце устало хмуриться?
Ах, дорогой мой,
Для помещика мужик —
Все равно что овца, что курица.
Ежедневно молясь на зари желтый гроб,
Кандалы я сосал голубыми руками...
Вдруг... три ночи назад... губернатор Рейнсдорп,
Как сорвавшийся лист,
Взлетел ко мне в камеру...
«Слушай, каторжник!
(Так он сказал.)
Лишь тебе одному поверю я.
Там в ковыльных просторах ревет гроза,
От которой дрожит вся империя,
Там какой-то пройдоха, мошенник и вор
Вздумал вздыбить Россию ордой грабителей,
И дворянские головы сечет топор —
Как березовые купола
В лесной обители.
Ты, конечно, сумеешь всадить в него нож?
(Так он сказал, так он сказал мне.)
Вот за эту услугу ты свободу найдешь
И в карманах зазвякает серебро, а не камни».

Уж три ночи, три ночи, пробиваясь сквозь тьму,
Я ищу его лагерь, и спросить мне некого.
Проведите ж, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека!

Зарубин

Странный гость.

Подуров

Подозрительный гость.

Зарубин

Как мы можем тебе довериться?

Подуров

Их немало, немало, за червонцев горсть
Готовых пронзить его сердце.

Хлопуша

Ха-ха-ха!
Это очень неглупо,
Вы надежный и крепкий щит.
Только весь я до самого пупа —
Местью вскормленный бунтовщик.
Каплет гноем смола прогорклая
Из разодранных ребер изб.
Завтра ж ночью я выбегу волком
Человеческое мясо грызть.
Все равно ведь, все равно ведь, все равно ведь,
Не сожрешь — так сожрут тебя ж.
Нужно вечно держать наготове
Эти руки для драки и краж.
Верьте мне!
Я пришел к вам как друг.
Сердце радо в пурге расколоться,
Оттого, что без Хлопуши
Вам не взять Оренбург
Даже с сотней лихих полководцев.

Зарубин

Так открой нам, открой, открой
Тот план, что в тебе хоронится.

Подуров

Мы сейчас же, сейчас же пошлем тебя в бой
Командиром над нашей конницей.

Хлопуша

Нет!
Хлопуша не станет биться.
У Хлопуши другая мысль.
Он хотел бы, чтоб гневные лица
Вместе с злобой умом налились.
Вы бесстрашны, как хищные звери,
Грозен лязг ваших битв и побед,
Но ведь все ж у вас нет артиллерии?
Но ведь все ж у вас пороху нет?
Ах, в башке моей, словно в бочке,
Мозг, как спирт, хлебной едкостью лют.
Знаю я, за Сакмарой рабочие
Для помещиков пушки льют.
Там найдется и порох, и ядра,
И наводчиков зоркая рать,
Только надо сейчас же, не откладывая,
Всех крестьян в том краю взбунтовать.
Стыдно медлить здесь, стыдно медлить,
Гнев рабов — не кобылий фырк...

Так давайте ж по липовой меди
Трахнем вместе к границам Уфы.

6

В СТАНЕ ЗАРУБИНА

Зарубин

Эй ты, люд честной да веселый,
Забубенная трын-трава!
Подружилась с твоими селами
Скуломордая татарва.
Свищут кони, как вихри, по полю,
Только взглянешь — и след простыл.
Месяц, желтыми крыльями хлопая,
Раздирает, как ястреб, кусты.
Загляжусь я по ровной голи
В синью стынущие луга,
Не березовая ль то Монголия?
Не кибитки ль киргиз — стога?..

Слушай, люд честной, слушай, слушай
Свой кочевнический пересвист!
Оренбург, осажденный Хлопушей,
Ест лягушек, мышей и крыс.
Треть страны уже в наших руках,
Треть страны мы как войско выставили.
Нынче ж в ночь потеряет враг
По Приволжью все склады и пристани.

Шигаев

Стоп, Зарубин!
Ты, наверное, не слыхал,
Это видел не я...
Другие...
Многие...
Около Самары с пробитой башкой ольха,
Капая желтым мозгом,
Прихрамывает при дороге.
Словно слепец, от ватаги своей отстав,
С гнусавой и хриплой дрожью
В рваную шапку вороньего гнезда
Просит она на пропитанье
У проезжих и у прохожих.
Но никто ей не бросит даже камня.
В испуге крестясь на звезду,
Все считают, что это страшное знамение,
Предвещающее беду.
Что-то будет.
Что-то должно случиться.
Говорят, наступит глад и мор,
По сту раз на лету будет склевывать птица
Желудочное свое серебро.

Торнов

Да-да-да!
Что-то будет!
Повсюду
Воют слухи, как псы у ворот,
Дует в души суровому люду
Ветер сырью и вонью болот.
Быть беде!
Быть великой потере!
Знать, не зря с луговой стороны
Луны лошадиный череп
Каплет золотом сгнившей слюны.

Зарубин

Врете! Врете вы,
Нож вам в спины!
С детства я не видал в глаза,
Чтоб от этакой чертовщины
Хуже бабы дрожал казак.

Шигаев

Не дрожим мы, ничуть не дрожим!
Наша кровь — не башкирские хляби.
Сам ты знаешь ведь, чьи ножи
Пробивали дорогу в Челябинск.
Сам ты знаешь, кто брал Осу,
Кто разбил наголо Сарапуль.
Столько мух не сидело у тебя на носу,
Сколько пуль в наши спины вцарапали.
В стужу ль, в сырость ли,
В ночь или днем —
Мы всегда наготове к бою,
И любой из нас больше дорожит конем,
Чем разбойной своей головою.
Но кому-то грозится, грозится беда,
И ее ль казаку не слышать?
Посмотри, вон сидит дымовая труба,
Как наездник, верхом на крыше.
Вон другая, вон третья,
Не счесть их рыл
С залихватской тоской остолопов,
И весь дикий табун деревянных кобыл
Мчится, пылью клубя, галопом.
Ну куда ж он? Зачем он?
Каких дорог
Оголтелые всадники ищут?
Их стегает, стегает переполох
По стеклянным глазам кнутовищем.

Зарубин

Нет, нет, нет!
Ты не понял...
То слышится звань,
Звань к оружью под каждой оконницей.
Знаю я, нынче ночью идет на Казань
Емельян со свирепой конницей.
Сам вчера, от восторга едва дыша,

За горой в предрассветной мгле
Видел я, как тянулись за Черемшан
С артиллерией тысчи телег.
Как торжественно с хрипом колесным обоз
По дорожным камням грохотал.
Рев верблюдов сливался с блеянием коз
И с гортанною речью татар.

Торнов

Что ж, мы верим, мы верим,
Быть может,
Как ты мыслишь, все так и есть;
Голос гнева, с бедою схожий,
Нас сзывает на страшную месть.
Дай бог!
Дай бог, чтоб так и сталось.

Зарубин

Верьте, верьте!
Я вам клянусь!
Не беда, а нежданная радость
Упадет па мужицкую Русь.
Вот ззвенел, словно сабли о панцири,
Синий сумрак над ширью равнин.
Даже рощи —
И те повстанцами
Подымают хоругви рябин.
Зреет, зреет веселая сеча.
Взвоет в небо кровавый туман.
Гулом ядер и свистом картечи
Будет завтра их крыть Емельян.
И чтоб бунт наш гремел безысходней,
Чтоб вконец не сосала тоска,—
Я сегодня ж пошлю вас, сегодня,
На подмогу его войскам.

7

ВЕТЕР КАЧАЕТ РОЖЬ

Чумаков

Что это? Как это? Неужель мы разбиты?
Сумрак голодной волчицей выбежал кровь зари лакать.
О эта ночь! Как могильные плиты,

По небу тянутся каменные облака.
Выйдешь в поле, зовешь, зовешь,
Кличешь старую рать, что легла под Сарептой,
И глядишь и не видишь — то ли зыбится рожь,
То ли желтые полчища пляшущих скелетов.
Нет, это не август, когда осыпаются овсы,
Когда ветер по полям их колотит дубинкой грубой.
Мертвые, мертвые, посмотрите, кругом мертвецы,
Вон они хохочут, выплевывая сгнившие зубы.
Сорок тысяч нас было, сорок тысяч,
И все сорок тысяч за Волгой легли, как один.
Даже дождь так не смог бы траву иль солому высечь,
Как осыпали саблями головы наши они.

Что это? Как это? Куда мы бежим?
Сколько здесь нас в живых осталось?
От горящих деревень бьющий лапами в небо дым
Расстилает по земле наш позор и усталость.
Лучше б было погибнуть нам там и лечь,
Где кружит воронье беспокойным, зловещим свадьбищем,
Чем струить эти пальцы пятерками пылающих свеч,
Чем нести это тело с гробами надежд, как кладбище!

Бурнов

Нет! Ты не прав, ты не прав, ты не прав!
Я сейчас чувством жизни, как никогда, болен.
Мне хотелось бы, как мальчишке, кувыркаться по золоту трав
И сшибать черных галок с крестов голубых колоколен.
Все, что отдал я за свободу черни,
Я хотел бы вернуть и поверить снова,
Что вот эту луну,
Как керосиновую лампу в час вечерний,
Зажигает фонарщик из города Тамбова.
Я хотел бы поверить, что эти звезды — не звезды,
Что это — желтые бабочки, летящие на лунное пламя...
Друг!..
Зачем же мне в душу ты ропотом слезным
Бросаешь, как в стекла часовни, камнем?

Чумаков

Что жалеть тебе смрадную холодную душу —
Околевшего медвежонка в тесной берлоге?
Знаешь ли ты, что в Оренбурге зарезали Хлопушу?
Знаешь ли ты, что Зарубин в Табинском остроге?

Наше войско разбито вконец Михельсоном,
Калмыки и башкиры удрали к Аральску в Азию.
Не с того ли так жалобно
Суслики в поле притоптанном стонут,
Обрызгивая мертвые головы, как кленовые листья, грязью?
Гибель, гибель стучит по деревням в колотушку.
Кто ж спасет нас? Кто даст нам укрыться?
Посмотри! Там опять, там опять за опушкой
В воздух крылья крестами бросают крикливые птицы.

Бурнов

Нет, нет, нет! Я совсем не хочу умереть!
Эти птицы напрасно над нами вьются.
Я хочу снова отроком, отряхая с осинника медь,
Подставлять ладони, как белые скользкие блюдца.
Как же смерть?
Разве мысль эта в сердце поместится,
Когда в Пензенской губернии у меня есть свой дом?
Жалко солнышко мне, жалко месяц,
Жалко тополь над низким окном.
Только для живых ведь благословенны
Рощи, потоки, степи и зеленя.
Слушай, плевать мне на всю вселенную,
Если завтра здесь не будет меня!
Я хочу жить, жить, жить,
Жить до страха и боли!
Хоть карманником, хоть золоторотцем,
Лишь бы видеть, как мыши от радости прыгают в поле,
Лишь бы слышать, как лягушки от восторга поют в колодце.
Яблоневым цветом брызжется душа моя белая,
В синее пламя ветер глаза раздул.
Ради бога, научите меня,
Научите меня, и я что угодно сделаю,
Сделаю что угодно, чтоб звенеть в человечьем саду!

Творогов

Стойте! Стойте!
Если б знал я, что вы не трусливы,
То могли б мы спастись без труда.
Никому б не открыли наш заговор безъязыкие ивы,
Сохранила б молчанье одинокая в небе звезда.
Не пугайтесь!
Не пугайтесь жестокого плана,

Это не тяжелее, чем хруст ломаемых в теле костей,
Я хочу предложить вам:
Связать на заре Емельяна
И отдать его в руки грозящих нам смертью властей.

Чумаков

Как, Емельяна?

Бурнов

Нет! Нет! Нет!

Творогов

Хе-хе-хе!
Вы глупее, чем лошади!
Я уверен, что завтра ж,
Лишь золотом плюнет рассвет,
Вас развесят солдаты, как туш, на какой-нибудь площади,
И дурак тот, дурак, кто жалеть будет вас,
Оттого что сами себе вы придумали тернии.
Только раз ведь живем мы, только раз!
Только раз светит юность, как месяц в родной губернии.
Слушай, слушай, есть дом у тебя на Суре,
Там в окно твое тополь стучится багряными листьями,
Словно хочет сказать он хозяину в хмурой октябрьской
поре,
Что изранила его осень холодными меткими выстрелами.
Как же сможешь ты тополю помочь?
Чем залечишь ты его деревянные раны?
Вот такая же жизни осенняя гулкая ночь
Общипала, как тополь зубами дождей, Емельяна.

Знаю, знаю, весной, когда лает вода,
Тополь снова покроется мягкой зеленой кожей.
Но уж старые листья на нем не взойдут никогда —
Их растащит зверье и потопчут прохожие.

Что мне в том, что сумеет Емельян скрыться в Азию?
Что, набравши кочевников, может снова удариться в бой?
Все равно ведь и новые листья падут и покроются грязью.
Слушай, слушай, мы старые листья с тобой!
Так чего ж нам качаться на голых корявых ветвях?
Лучше оторваться и броситься в воздух кружиться,
Чем лежать и струить золотое гниенье в полях,
Чем глаза твои выклюют черные хищные птицы.
Тот, кто хочет за мной,— в добрый час!

Нам башка Емельяна — как челн
Потопающим в дикой реке...

Только раз ведь живем мы, только раз!
Только раз славит юность, как парус, луну вдалеке.

8

КОНЕЦ ПУГАЧЕВА

Пугачев

Вы с ума сошли! Вы с ума сошли! Вы с ума сошли!
Кто сказал вам, что мы уничтожены?
Злые рты, как с протухшею пищей кошли,
Зловонно рыгают бесстыдной ложью.
Трижды проклят тот трус, негодяй и злодей,
Кто сумел окормить вас такою дурью.
Нынче ж в ночь вы должны оседлать лошадей
И попасть до рассвета со мною в Гурьев.
Да, я знаю, я знаю, мы в страшной беде,
Но затем-то и злей над туманною вязью
Деревянными крыльями по каспийской воде
Наши лодки заплещут, как лебеди, в Азию.
О, Азия, Азия! Голубая страна,
Обсыпанная солью, песком и известкой.
Там так медленно по небу едет луна,
Поскрипывая колесами, как киргиз с повозкой.
Но зато кто бы знал, как бурливо и гордо
Скачут там шерстожелтые горные реки!
Не с того ли так свищут монгольские орды
Всем тем диким и злым, что сидит в человеке?

Уж давно я, давно я скрывал тоску
Перебраться туда, к их кочующим станам,
Чтоб разящими волнами их сверкающих скул
Стать к преддверьям России, как тень Тамерлана.
Так какой же мошенник, прохвост и злодей
Окормил вас бесстыдной трусливой дурью?
Нынче ж в ночь вы должны оседлать лошадей
И попасть до рассвета со мною в Гурьев.

Крямин

О смешной, о смешной, о смешной Емельян!
Ты все такой же сумасбродный, слепой и вкрадчивый;

Расплескалась удаль твоя по полям,
Не вскипеть тебе больше ни в какой азиатчине.
Знаем мы, знаем твой монгольский народ,
Нам ли храбрость его неизвестна?
Кто же первый, кто первый, как не этот сброд
Под Сакмарой ударился в бегство?
Как всегда, как всегда, эта дикая гнусь
Выбирала для жертвы самых слабых и меньших,
Только б грабить и жечь ей пограничную Русь
Да привязывать к седлам добычей женщин.
Ей всегда был приятней набег и разбой,
Чем суровые походы с житейской хмурью.

. . . .

Нет, мы больше не можем идти за тобой,
Не хотим мы ни в Азию, ни на Каспий, ни в Гурьев.

Пугачев

Боже мой, что я слышу?
Казак, замолчи!
Я заткну твою глотку ножом иль выстрелом...
Неужели и вправду отзвенели мечи?
Неужель это плата за все, что я выстрадал?
Нет, нет, нет, не поверю, не может быть!
Не на то вы взрастали в степных станицах,
Никакие угрозы суровой судьбы
Не должны вас заставить смириться.
Вы должны разжигать еще больше тот взвой,
Когда ветер метелями с наших стран дул...

Смело ж к Каспию! Смело за мной!
Эй вы, сотники, слушать команду!

Крямин

Нет! Мы больше не слуги тебе!
Нас не взманит твое сумасбродство.
Не хотим мы в ненужной и глупой борьбе
Лечь, как толпы других, по погостам.
Есть у сердца невзгоды и тайный страх
От кровавых раздоров и стонов.
Мы хотели б, как прежде, в родных хуторах
Слушать шум тополей и кленов.
Есть у нас роковая зацепка за жизнь,
Что прочнее канатов и проволок...
Не пора ли тебе, Емельян, сложить
Перед властью мятежную голову?!

Все равно то, что было, назад не вернешь,
Знать, недаром листвою октябрь заплакал...

Пугачев

Как? Измена?
Измена?
Ха-ха-ха!..
Ну так что ж!
Получай же награду свою, собака!
(Стреляет.)

Крямин падает мертвым. Казаки с криком обнажают сабли. Пугачев, отмахиваясь кинжалом, пятится к стене.

Голоса

Вяжите его! Вяжите!

Творогов

Бейте! Бейте прямо саблей в морду!

Первый голос

Натерпелись мы этой прыти...

Второй голос

Тащите его за бороду...

Пугачев

...Дорогие мои... Хор-рошие...
Что случилось? Что случилось? Что случилось?
Кто так страшно визжит и хохочет
В придорожную грязь и сырость?
Кто хихикает там исподтишка,
Злобно отплевываясь от солнца?

. . . .

...Ах, это осень!
Это осень вытряхивает из мешка
Чеканенные сентябрем червонцы.
Да! Погиб я!
Приходит час...
Мозг, как воск, каплет глухо, глухо...
...Это она!
Это она подкупила вас,
Злая и подлая оборванная старуха.

Это опа, она, она,
Разметав свои волосы зарею зыбкой,
Хочет, чтоб сгибла родная страна
Под ее невеселой холодной улыбкой.

Творогов

Ну, рехнулся... чего ж глазеть?
Вяжите!
Чай, не выбьет стены головою.
Слава богу! конец его зверской резне,
Конец его злобному волчьему вою.
Будет ярче гореть теперь осени медь,
Мак зари черпаками ветров не выхлестать.
Торопитесь же!
Нужно скорей поспеть
Передать его в руки правительства.

Пугачев

Где ж ты? Где ж ты, былая мощь?
Хочешь встать — и рукою не можешь двинуться!
Юность, юность! Как майская ночь,
Отзвенела ты черемухой в степной провинции.
Вот всплывает, всплывает синь ночная над Доном,
Тянет мягкою гарью с сухих перелесиц.
Золотою известкой над низеньким домом
Брызжет широкий и теплый месяц.
Где-то хрипло и нехотя кукарекнет петух,
В рваные ноздри пылью чихнет околица,
И все дальше, все дальше, встревоживши сонный луг,
Бежит колокольчик, пока за горой не расколется.
Боже мой!
Неужели пришла пора?
Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?
А казалось... казалось еще вчера...
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

Март — август 1921

СТРАНА НЕГОДЯЕВ

ПЕРСОНАЛ

Комиссар из охраны железнодорожной линии Чекистов.
Замарашкин — сочувствующий коммунистам. Доброволец.
Бандит Номах.
Комиссары приисков: Рассветов, Чирин, Лобок.
Комендант поезда.
Красноармейцы.
Рабочие.
Советский сыщик Литза-Хун.
Повстанец Барсук.
Повстанцы.
Милиционеры.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НА КАРАУЛЕ

Снежная чаща. Железнодорожная будка Уральской линии. Чекистов, охраняющий линию, ходит с одного конца в другой.

Чекистов

Ну и ночь! Что за ночь!
Черт бы взял эту ночь
С б....... холодом,
И такой темнотой,
С тем, что нужно без устали
Бельма перить.

. . . .

Стой!
Кто идет?
Отвечай!..

А не то
Мой наган размозжит твой череп!
Стой, холера тебе в живот.

Замарашкин

Тише... тише...
Легче бранись, Чекистов!
От ругательств твоих
Даже у будки краснеют стены.
И с чего это, брат мой,
Ты так неистов?
Это ж... я... Замарашкин...
Иду на смену...

Чекистов

Черт с тобой, что ты Замарашкин!
Я ведь не собака,
Чтоб слышать носом.

Замарашкин

Ох, и зол же ты, брат мой!..
Аж до печенок страшно...
Я уверен, что ты страдаешь
Кровавым поносом...

Чекистов

Ну конечно, страдаю!..
От этой проклятой селедки
Может вконец развалиться брюхо.
О!
Если б теперь... рюмку водки...
Я бы даже не выпил...
А так...
Понюхал...

. . . .

Знаешь? Когда эту селедку берешь за хвост,
То думаешь,
Что вся она набита рисом...
Разломаешь,
Глядь:
Черви... Черви...
Жирные белые черви...
Дьявол нас, знать, занес
К этой грязной мордве
И вонючим черемисам!

Замарашкин

Что ж делать,
Когда выпал такой нам год?
Скверный год! Отвратительный год!
Это еще ничего...
Там... За Самарой... Я слышал...
Люди едят друг друга...
Такой выпал нам год!
Скверный год!
Отвратительный год!
И к тому же еще чертова вьюга.

Чекистов

Мать твою в эт-тзою!
Ветер, как сумасшедший мельник,
Крутит жерновами облаков
День и ночь...
День и ночь...
А народ ваш сидит, бездельник,
И не хочет себе ж помочь.
Нет бездарней и лицемерней,
Чем ваш русский равнинный мужик!
Коль живет он в Рязанской губернии,
Так о Тульской не хочет тужить.
То ли дело Европа?
Там тебе не вот эти хаты,
Которым, как глупым курам,
Головы нужно давно под топор...

Замарашкин

Слушай, Чекистов!..
С каких это пор
Ты стал иностранец?
Я знаю, что ты еврей,
Фамилия твоя Лейбман,
И черт с тобой, что ты жил
За границей...
Все равно в Могилеве твой дом.

Чекистов

Ха-ха!
Нет, Замарашкин!
Я гражданин из Веймара
И приехал сюда не как еврей,

А как обладающий даром
Укрощать дураков и зверей.
Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет,
Потому что...
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.
Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы божие...
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.
Ха-ха!
Что скажешь, Замарашкин?
Ну?
Или тебе обидно,
Что ругают твою страну?
Бедный! Бедный Замарашкин...

Замарашкин

Черт-те что ты городишь, Чекистов!

Чекистов

Мне нравится околёсина.
Видишь ли... я в жизни
Был бедней церковного мыша
И глодал вместо хлеба камни.
Но у меня была душа,
Которая хотела быть Гамлетом.
Глупая душа, Замарашкин!
Ха-ха!
А когда я немного подрос,
Я увидел...

Слышатся чьи-то шаги.

Тише... Помолчи, голубчик...
Кажется... кто-то... кажется...
Черт бы взял этого мерзавца Номаха
И всю эту банду повстанцев!
Я уверен, что нынче ночью
Ты заснешь, как плаха,
А он опять остановит поезд
И разграбит станцию.

Замарашкин

Я думаю, этой ночью он не придет.
Нынче от холода в воздухе
Дохли птицы.
Для конницы нынче
Дорога скользка, как лед,
А с пехотой прийти
Он и сам побоится.
Нет! этой ночью он не придет!
Будь спокоен, Чекистов!
Это просто с мороза проскрипело дерево...

Чекистов

Хорошо! Я спокоен. Сейчас уйду.
Продрог до костей от волчьей стужи.
А в казарме сегодня,
Как на беду,
Из прогнившей картошки
Холодный ужин.
Эх ты, Гамлет, Гамлет!
Ха-ха, Замарашкин!..
Прощай!
Карауль в оба!..

Замарашкин

Хорошего аппетита!
Спокойной ночи!

Чекистов

Мать твою в эт-твою!
(Уходит.)

ССОРА ИЗ-ЗА ФОНАРЯ

Некоторое время Замарашкин расхаживает около будки один. Потом неожиданно подносит руку к губам и издает в два пальца осторожный свист. Из чащи, одетый в русский полушубок и в шапку-ушанку, выскакивает Номах.

Номах

Что говорил тебе этот коммунист?

Замарашкин

Слушай, Номах! Оставь это дело.
Они за тебя по-настоящему взялись.
Как бы не на столбе
Очутилось твое тело.

Номах

Ну так что ж!
Для ворон будет пища.

Замарашкин

Но ты должен щадить других.

Номах

Что другие?
Свора голодных нищих.
Им все равно...
В этом мире немытом
Душу человеческую
Ухорашивают рублем,
И если преступно здесь быть бандитом,
То не более преступно,
Чем быть королем...
Я слышал, как этот прохвост
Говорил тебе о Гамлете.
Что он в нем смыслит?
Гамлет восстал против лжи,
В которой варился королевский двор.
Но если б теперь он жил,
То был бы бандит и вор.
Потому что человеческая жизнь
Это тоже двор,
Если не королевский, то скотный.

Замарашкин

Помнишь, мы зубрили в школе?
«Слова, слова, слова...»
Впрочем, я вас обоих
Слушаю неохотно.
У меня есть своя голова.
Я только всему свидетель,
В тебе ж люблю старого друга.
В час несчастья с тобой на свете
Моя помощь к твоим услугам.

Номах

Со мною несчастье всегда.
Мне нравятся жулики и воры.
Мне нравятся груди,

От гнева спертые.
Люди устраивают договоры,
А я посылаю их к черту.
Кто смеет мне быть правителем?
Пусть те, кому дорог хлев,
Называются гражданами и жителями
И жиреют в паршивом тепле.
Это все твари тленные!
Предмет для навозных куч!
А я — гражданин вселенной,
Я живу, как я сам хочу!

Замарашкин

Слушай, Номах... Я знаю,
Быть может, ты дьявольски прав,
Но все ж... Я тебе желаю
Хоть немного смирить свой нрав.
Подумай... Не завтра, так после...
Не после... Так после опять...
Слова ведь мои не кости,
Их можно легко прожевать.
Ты понимаешь, Номах?

Номах

Ты думаешь, меня это страшит?
Я знаю мою игру.
Мне здесь на все наплевать.
Я теперь вконец отказался от многого,
И в особенности от государства,
Как от мысли праздной,
Оттого что постиг я,
Что все это договор,
Договор зверей окраски разной.
Люди обычаи чтут как науку,
Да только какой же в том смысл и прок,
Если многие громко сморкаются в руку,
А другие обязательно в носовой платок.
Мне до дьявола противны
И те и эти.
Я потерял равновесие...
И знаю сам —
Конечно, меня подвесят
Когда-нибудь к небесам.
Ну так что ж!

Это еще лучше!
Там можно прикуривать о звезды...
Но...
Главное не в этом.
Сегодня проходит экспресс,
В 2 ночи —
46 мест.
Красноармейцы и рабочие.
Золото в слитках.

Замарашкин

Ради бога, меня не впутывай!

Номах

Ты дашь фонарь?

Замарашкин

Какой фонарь?

Номах

Красный.

Замарашкин

Этого не будет!

Номах

Будет хуже.

Замарашкин

Чем хуже?

Номах

Я разберу рельсы.

Замарашкин

Номах! Ты подлец!
Ты хочешь меня под расстрел...
Ты хочешь, чтоб трибунал...

Номах

Не беспокойся! Ты будешь цел.
Я 200 повстанцев сюда пригнал.
Коль боишься расстрела,
Бежим со мной.

Замарашкин

Я? С тобой?
Да ты спятил с ума!

Номах

В голове твоей бродит
Непроглядная тьма.
Я думал — ты смел,
Я думал — ты горд,
А ты только лишь лакей
Узаконенных держиморд.
Ну так что ж!
У меня есть выход другой,
Он не хуже...

Замарашкин

Я не был никогда слугой.
Служит тот, кто трус.
Я не пленник в моей стране,
Ты меня не заманишь к себе.
Уходи! Уходи!
Уходи, ради дружбы.

Номах

Ты, как сука, скулишь при луне...

Замарашкин

Уходи! Не заставь скорбеть...
Мы ведь товарищи старые...
Уходи, говорю тебе...

(Трясет винтовкой.)

А не то вот на этой гитаре
Я сыграю тебе разлуку.

Номах
(смеясь)

Слушай, защитник коммуны,
Ты, пожалуй, этой гитарой
Оторвешь себе руку.
Спрячь-ка ее, бесструнную,
Чтоб не охрипла на холоде.
Я и сам ведь сонату лунную
Умею играть на кольте.

Замарашкин

Ну и играй, пожалуйста.
Только не здесь!
Нам такие музыканты не нужны.

Номах

Все вы носите овечьи шкуры,
И мясник пасет для вас ножи.
Все вы стадо!
Стадо! Стадо!
Неужели ты не видишь? Не поймешь,
Что такого равенства не надо?
Ваше равенство — обман и ложь.
Старая гнусавая шарманка
Этот мир идейных дел и слов.
Для глупцов — хорошая приманка,
Подлецам — порядочный улов.
Дай фонарь!

Замарашкин

Иди ты к черту!

Номах

Тогда не гневайся,
Пускай тебя не обижает
Другой мой план.

Замарашкин

Ни один план твой не пройдет.

Номах

Ну, это мы еще увидим...

. . . .

Послушай, я тебе скажу:
Коль я хочу,
Так, значит, надо.
Ведь я башкой моей не дорожу
И за грабеж не требую награды.
Все, что возьму,
Я все отдам другим.
Мне нравится игра,
Ни слава и ни злато.
Приятно мне под небом голубым
Утешить бедного и вшивого собрата.
Дай фонарь!

Замарашкин

Отступись, Номах!

Номах

Я хочу сделать для бедных праздник.

Замарашкин

Они сделают его сами.

Номах

Они сделают его через 1000 лет.

Замарашкин

И то хорошо.

Номах

А я сделаю его сегодня.

. . . .

Бросается на Замарашкина и давит его за горло. Замарашкин падает. Номах завязывает ему рот платком и скручивает веревками руки и ноги. Некоторое время он смотрит на лежащего, потом идет в будку и выходит оттуда с зажженным красным фонарем.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЭКСПРЕСС № 5

Салон-вагон. В вагоне страшно накурено. Едут комиссары и рабочие. Ведут спор.

Рассветов

Чем больше гляжу я на снежную ширь,
Тем думаю все упорнее.
Черт возьми!
Да ведь наша Сибирь
Богаче, чем желтая Калифорния.
С этими запасами руды
Нам не страшна никакая
Мировая блокада.
Только работай! Только трудись!
И в республике будет,
Что кому надо.
Можно ль представить,

Что в месяц один
Открыли пять золотоносных жил.
В Америке это было бы сенсацией,
На бирже стоял бы рев.
Маклера бы скупали акции,
Выдавая 1 пуд за 6 пудов.
Я работал в клондайкских приисках,
Где один нью-йоркский туз
За 3 миллиона без всякого риска
$12^1/_2$ положил в картуз.
А дело все было под шепот,
Просто биржевой трюк,
Но многие, денежки вхлопав,
Остались почти без брюк.
О! эти американцы...
Они — неуничтожимая моль.
Сегодня он в оборванцах,
А завтра золотой король.
Так было и здесь...
Самый простой прощелыга,
Из индианских мест,
Жил, по-козлиному прыгал
И вдруг в богачи пролез.
Я помню все штуки эти.
Мы жили в ночлежках с ним.
Он звал меня мистер Развети,
А я его — мистер Джим.
«Послушай,— сказал он,— please [1],
Ведь это не написано в брамах,
Чтобы без wisky и miss
Мы валялись с тобою в ямах.
У меня в животе лягушки
Завелись от голодных дум.
Я хочу хорошо кушать
И носить хороший костюм.
Есть одна у меня затея,
И если ты не болван,
То без всяких словес, не потея,
Согласишься на этот план.
Нам нечего очень стараться,
Чтоб расходовать жизненный сок.
Я знаю двух-трех мерзавцев,
У которых золотой песок.

[1] Пожалуйста *(англ.)*.

Они нам отыщут банкира
(т. е. мерзавцы эти),
И мы будем королями мира...
Ты понял, мистер Развети?»
«Открой мне секрет, Джим!» —
Сказал я ему в ответ.
А он мне сквозь трубочный дым
Пробулькал:
«Секретов нет!
Мы просто возьмем два ружья,
Зарядим золотым песком
И будем туда стрелять,
Куда нам укажет Том».
(А Том этот был рудокоп —
Мошенник, каких поискать.)
И вот мы однажды тайком
В Клондайке.
Нас целая рать...
И по приказу, даденному
Под браунинги в висок,
Мы в четыре горы громадины
Золотой стреляли песок,
Как будто в слонов лежащих,
Чтоб достать дорогую кость.
И громом гремела в чащах
Ружей одичалая злость.
Наш предводитель живо
Шлет телеграмму потом:
«Открыли золотую жилу.
Приезжайте немедленно.
Том».
А дело было под шепот,
Просто биржевой трюк...
Но многие, денежки вхлопав,
Остались почти без брюк.

Чарин

Послушай, Рассветов! и что же,
Тебя не смутил обман?

Рассветов

Не все ли равно,
К какой роже
Капиталы текут в карман.
Мне противны и те и эти.

Все они —
Класс грабительских банд.
Но должен же, друг мой, на свете
Жить Рассветов Никандр.

Голос из группы

Правильно!

Другой голос

Конечно, правильно!

Третий голос

С паршивой овцы хоть шерсти
Человеку рабочему клок.

Чарин

Значит, по этой версии
Подлость подчас не порок?

Первый голос

Ну конечно, в собачьем стане,
С философией жадных собак,
Защищать лишь себя не станет
Тот, кто навек дурак.

Рассветов

Дело, друзья, не в этом.
Мой рассказ вскрывает секрет.
Можно сказать перед всем светом,
Что в Америке золота нет.
Там есть соль,
Там есть нефть и уголь,
И железной много руды.
Кладоискателей вьюга
Замела золотые следы.
Калифорния — это мечта
Всех пропойц и неумных бродяг.
Тот, кто глуп или мыслить устал,
Прозябает в ее краях.
Эти люди — гнилая рыба.
Вся Америка — жадная пасть,
Но Россия... вот это глыба...
Лишь бы только Советская власть!..
Мы, конечно, во многом отстали.
Материк наш:

Лес, степь да вода.
Из железобетона и стали
Там настроены города.
Вместо наших глухих раздолий,
Там, на каждой почти полосе,
Перерезано рельсами поле
С цепью каменных рек — шоссе.
И по каменным рекам без пыли,
И по рельсам без стона шпал
И экспрессы и автомобили
От разбега в бензинном мыле
Мчат, секундой считая доллар,
Места нет здесь мечтам и химерам,
Отшумела тех лет пора.
Все курьеры, курьеры, курьеры,
Маклера, маклера, маклера.
От еврея и до китайца
Проходимец и джентельмен,
Все в единой графе считаются
Одинаково — business men [1],
На цилиндры, шапо и кепи
Дождик акций свистит и льет.
Вот где вам мировые цепи,
Вот где вам мировое жулье.
Если хочешь здесь душу выржать,
То сочтут: или глуп, или пьян.
Вот она — мировая биржа!
Вот они — подлецы всех стран.

Чарин

Да, Рассветов! но все же, однако,
Ведь и золота мы хотим.
И у нас биржевая клоака
Расстилает свой едкий дым.
Никому ведь не станет в новинки,
Что в кремлевские буфера
Уцепились когтями с Ильинки
Маклера, маклера, маклера...
И в ответ партийной команде,
За налоги на крестьянский труд,
По стране свищет банда на банде,
Волю власти считая за кнут.
И кого упрекнуть нам можно?

---

[1] Бизнесмены, деловые люди *(англ.)*.

Кто сумеет закрыть окно,
Чтоб не видеть, как свора острожная
И крестьянство так любят Махно?
Потому что мы очень строги,
А на строгость ту зол народ,
У нас портят железные дороги,
Гибнут озими, падает скот.
Люди с голоду бросились в бегство,
Кто в Сибирь, а кто в Туркестан,
И оскалилось людоедство
На сплошной недород у крестьян.
Их озлобили наши поборы,
И, считая весь мир за бедлам,
Они думают, что мы воры
Иль поблажку даем ворам.
Потому им и любы бандиты,
Что всосали в себя их гнев.
Нужно прямо сказать, открыто,
Что республика наша — bluff [1],
Мы не лучшее, друг мой, дерьмо.

Рассветов

Нет, дорогой мой!
Я вижу, у вас
Нет понимания масс.
Ну кому же из нас не известно
То, что ясно как день для всех.
Вся Россия — пустое место.
Вся Россия — лишь ветер да снег.
Этот отзыв ни резкий, ни черствый.
Знают все, что до наших лбов
Мужики караулили версты
Вместо пегих дорожных столбов.
Здесь все дохли в холере и оспе.
Не страна, а сплошной бивуак.
Для одних — золотые россыпи,
Для других — непроглядный мрак.
И кому же из нас незнакомо,
Как на теле паршивый прыщ,
Тысчи лет из бревна да соломы
Строят здания наших жилищ.
10 тысяч в длину государство,
В ширину окло верст тысяч 3-х.

---

[1] Блеф, обман *(англ.)*.

Здесь одно лишь нужно лекарство —
Сеть шоссе и железных дорог.
Вместо дерева нужен камень,
Черепица, бетон и жесть.
Города создаются руками,
Как поступками — слава и честь.
Подождите!
Лишь только клизму
Мы поставим стальную стране,
Вот тогда и конец бандитизму,
Вот тогда и конец резне.

Слышатся тревожные свистки паровоза. Поезд замедляет ход. Все вскакивают.

Рассветов

Что такое?

Лобок

Тревога!

Первый голос

Тревога!

Рассветов

Позовите коменданта!

Комендант
(вбегая)

Я здесь.

Рассветов

Что случилось?

Комендант

Красный фонарь...

Рассветов
(смотрит в окно)

Гм... да... я вижу...

Лобок

Дьявольская метель...
Вероятно, занос.

Комендант

Сейчас узнаем...

Поезд останавливается. Комендант выбегает.

Рассветов

Это не станция и не разъезд,
Просто маленькая железнодорожная будка.

Лобок

Мне говорили, что часто здесь
Поезда прозябают по целым суткам.
Ну, а еще я слышал...

Чарин

Что слышал?

Лобок

Что здесь немного шалят.

Рассветов

Глупости...

Лобок

Для кого как.

Входит комендант.

Рассветов

Ну?

Комендант

Здесь стрелочник и часовой
Говорят, что отсюда за $1/_2$ версты
Сбита рельса.

Рассветов

Надо поправить.

Комендант

Часовой говорит, что до станции
По другой ветке верст 8.
Можно съездить туда
И захватить мастеров.

Рассветов

Отцепляйте паровоз и поезжайте.

Комендант

Это дело 30-ти минут.

Уходит, Рассветов и другие остаются, погруженные в молчание.

ПОСЛЕ 30-ТИ МИНУТ

Красноармеец
(вбегая в салон-вагон)

Несчастие! Несчастие!

Все
(вперебой)

Что такое?..
Что случилось?..
Что такое?..

Красноармеец

Комендант убит.
Вагон взорван.
Золото ограблено.
Я ранен.
Несчастие! Несчастие!

Вбегает рабочий.

Рабочий

Товарищи! Мы обмануты!
Стрелочник и часовой
Лежат здесь в будке.
Они связаны.
Это провокация бандитов.

Рассветов

За каким вы дьяволом
Увезли с собой вагон?

Красноармеец

Комендант послушался стрелочника...

Рассветов

Мертвый болван!

Красноармеец

Лишь только мы завернули
На этот... другой путь,
Часовой сразу 2 пули
Всадил коменданту в грудь.
Потом выстрелил в меня.
Я упал...
Потом он громко свистнул,
И вдруг, как из-под земли,
Сугробы взрывая,
Нас окружили в приступ
Около двухсот негодяев.
Машинисту связали руки,
В рот запихали платок.
Потом я услышал стуки
И взрыв, где лежал песок.
Метель завывала чертом.
В плече моем ныть и течь.
Я притворился мертвым
И понял, что надо бечь.

Лобок

Я знаю этого парня,
Что орудует в этих краях.
Он, кажется, родом с Украйны
И кличку носит Номах.

Рассветов

Номах?

Лобок

Да. Номах.

Вбегает второй красноармеец.

2-й красноармеец

Рельсы в полном порядке!
Так что, выходит, обман...

Рассветов
(хватаясь за голову)

И у него не хватило догадки!..
Мертвый болван!
Мертвый болван!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ НА ВОКЗАЛЕ В СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

Замарашкин
(один около стола с телефоном)

Если б я не был обижен,
Я, может быть, и не сказал,
Но теперь я отчетливо вижу,
Что он плюнул мне прямо в глаза.

Входят Рассветов, Лобок и Чекистов.

Лобок

Я же говорил, что это место
Считалось опасным всегда.
Уже с прошлого года
Стало известно,
Что он со всей бандой перебрался сюда.

Рассветов

Что мне из того, что ты знал?
Узнай, где теперь он.

Чекистов

Ты, Замарашкин, идиот!
Я будто предчувствовал.

Рассветов

Бросьте вы к черту ругаться,—
Это теперь не помога.
Нам нужно одно:
Дознаться,
По каким они скрылись дорогам.

Чекистов

Метель замела все следы.

Замарашкин

Пустяки, мы следы отыщем.
Не будем ставить громоздко
Вопрос, где лежат пути.
Я знаю из нашего розыска
Ищейку, каких не найти.
Это шанхайский китаец.
Он коммунист и притом,

Под видом бродяги слоняясь,
Знает здесь каждый притон.

Рассветов

Это, пожалуй, дело.

Лобок

Как зовут китайца?
Уж не Литза ли Хун?

Замарашкин

Он самый!

Лобок

О, про него много говорят теперь.
Тогда Номах в наших лапах.

Рассветов

Но, я думаю... Номах
Тоже не из тетерь...

Замарашкин

Он чует самый тонкий запах.

Рассветов

Потом ведь нам очень важно
Поймать его не пустым...
Нам нужно вернуть покражу...
Но золото, может, не с ним...

Замарашкин

Золото, конечно, не при нем.
Но при слежке вернем и пропажу,
Нужно всех их забрать живьем...
Под кнутом они сами расскажут.

Рассветов

Что же: звоните в розыск.

Замарашкин
(проходит к телефону)

43—78...
Алло...
43—78?

ПРИВОЛЖСКИЙ ГОРОДОК

Тайный притон с паролем «Авдотья, подними подол». 2 тайных посетителя. Кабатчица, судомойка и подавщица.

Кабатчица

Спирт самый чистый, самый настоящий!
Сама бы пила, да деньги надо.
Милости просим.
Заглядывайте почаще.
Хоть утром, хоть в полночь —
Я всегда вам рада.

Входят Номах, Барсук и еще 2 повстанца. Номах в пальто и шляпе.

Барсук

Привет тетке Дуне!

Кабатчица

Мое вам почтение, молодые люди.

1-й повстанец

Дай-ка и нам по баночке клюнуть.
С перезябу-то легче, пожалуй, будет.

Садятся за стол около горящей печки.

Кабатчица

Сейчас, мои дорогие!
Сейчас, мои хорошие!

Номах

Холод зверский. Но... все-таки
Я люблю наши русские вьюги.

Барсук

Мне все равно. Что вьюга, что дождь...
У этой тетки
Спирт такой,
Что лучше во всей округе не найдешь.

1-й повстанец

Я не люблю вьюг,
Зато с удовольствием выпью.
Когда крутит снег,
Мне кажется,

На птичьем дворе гусей щиплют.
Вкус у меня раздражительный,
Аппетит, можно сказать, неприличный,
А потому я хотел бы положительно
Говядины или птичины.

Кабатчица

Сейчас, мои желанные...
Сейчас, сейчас...
(Ставит спирт и закуску.)

Номах
(тихо к кабатчице)

Что за люди... сидят здесь... окол?..

Кабатчица

Свои, голубчик,
Свои, мой сокол.
Люди не простого рода,
Знатные-с, сударь.
Я знаю их 2 года.
Посетители — первый класс,
Каких нынче мало.
У меня уж набит глаз
В оценке материала.
Люди ловкой игры.
Оба — спецы по винам.
Торгуют из-под полы
И спиртом и кокаином.
Не беспокойтесь! У них
Язык на полке.
Их ищут самих
Красные волки.
Это дворяне,
Щербатов и Платов.

Посетители начинают разговаривать.

Щербатов

Авдотья Петровна!
Вы бы нам на гитаре
Вальс
«Невозвратное время».

Платов

Или эту... ту, что вчера...
(напевает)
«Все, что было,
Все, что мило,
Все давным-давно
Уплы-ло...»
Эх, Авдотья Петровна!
Авдотья Петровна!
Кабы нам назад лет 8,
Старую Русь,
Старую жизнь,
Старые зимы,
Старую осень.

Барсук

Ишь чего хочет, сволочь!

1-й повстанец

М-да-с...

Щербатов

Невозвратное время! Невозвратное время!
Пью за Русь!
Пью за прекрасную
Прошедшую Русь.
Разве нынче народ пошел?
Разве племя?
Подлец на подлеце
И на трусе трус.
Отцвело навсегда
То, что было в стране благородно.
Золотые года!
Ах, Авдотья Петровна!
Сыграйте, Авдотья Петровна,
Вальс,
Сыграйте нам вальс
«Невозвратное время».

Кабатчица

Да, родимые, да, сердешные!
Это не жизнь, а сплошное безобразие.
Я ведь тоже была
Дворянка здешняя

И училась в первой
Городской гимназии.

Платов

Спойте! Спойте, Авдотья Петровна!
Спойте: «Все, что было».

Кабатчица

Обождите, голубчики,
Дайте с посудой справиться.

Щербатов

Пожалуйста. Пожалуйста!

Платов

Пожалуйста, Авдотья Петровна!

Через кухонные двери появляется китаец.

Китаец

Ниет Амиэрика,
Ниет Евыропе.
Опий, опий,
Сыамый лыучий опий.
Шанго курил,
Диеньги дыавал,
Сыам лиубил,
Есыли б не сытрадал.
Куришь, колпца виюца,
А хыто пыривык,
Зыабыл ливарюца,
Зыабыл большевик.
Ниет Амиэрика,
Ниет Евыропе.
Опий, опий,
Сыамый лыучий опий.

Щербатов

Эй, ходя! Давай 2 трубки.

Китаец

Диеньги пирёт.
Хыодя очень бедыпый.
Тывой шибко живет,
Мой очень быледный.

Подавщица

Курить на кухню.

Щербатов

На кухню так на кухню.
(Покачиваясь, идет с Платовым на кухню. Китаец за ними.)

Номах

Ну и народец здесь.
О всех веревка плачет.

Барсук

М-да-с...

1-й повстанец

Если так говорить,
То, значит,
В том числе и о нас.

Барсук

Разве ты себя считаешь негодяем?

1-й повстанец

Я не считаю,
Но нас считают.

2-й повстанец

Считала лисица
Ворон на дереве.

К столику подходит подавщица.

Подавщица

Сегодня в газете...

Номах

Что в газете?

Подавщица
(тихо)

Пишут, что вы разгромили поезд,
Убили коменданта и красноармейца.
За вами отправились в поиски.
Говорят, что поймать надеются.

Обещано 1000 червонцев.
С описанием ваших примет:
Блондин.
Среднего роста.
28-ми лет.
(Отходит.)

Номах

Ха-ха!
Замарашкин не выдержал.

Барсук

Я говорил, что его нужно было
Прикончить, и дело с концом.
Тогда б ни одно рыло
Не знало,
Кто справился с мертвецом.

Номах

Ты слишком кровожаден.
Если б я видел,
То и этих двоих
Не позволил убить...
Зачем?
Ведь так просто
Связать руки
И в рот платок.

Барсук

Нет! Это не так уж просто.
В живом остается протест.
Молчат только те — на погостах,
На ком крепкий камень и крест.
Мертвый не укусит носа,
А живой...

Номах

Кончим об этом.

1-й повстанец

Два вопроса...

Номах

Каких?

1-й повстапец

Куда деть слитки
И куда нам?

Номах

Я сегодня в 12 в Киев.
Паспорт у меня есть.
Вас не знают, кто вы такие,
Потому оставайтесь здесь...
Телеграммой я дам вам знать,
Где я буду...
В какие минуты...
Обязательно тыщ 25
На песок закупить валюты.
Пусть они поумерят прыть —
Мы мозгами немного побольше...

Барсук

Остальное зарыть?

Номах

Часть возьму я с собой,
Остальное пока зарыть...
После можно отправить в Польшу.
У меня созревает мысль
О российском перевороте,
Лишь бы только мы крепко сошлись,
Как до этого, в нашей работе.
Я не целюсь играть короля
И в правители тоже не лезу,
Но мне хочется погулять
И под порохом и под железом.
Мне хочется вызвать тех,
Что на Марксе жиреют, как янки.
Мы посмотрим их храбрость и смех,
Когда двинутся наши танки.

Барсук

Замечательный план!

1-й повстанец

Мы всегда готовы.

2-й повстанец

Я как-то отвык без войны.

Барсук

Мы все по ней скучаем.
Стало тошно до чертиков
Под юбкой сидеть у жены
И живот напузыривать чаем.
Денег нет, чтоб пойти в кабак,
Сердце ж спиртику часто хочет.
Я от скуки стал нюхать табак —
Хоть немного в носу щекочет.

Номах

Ну, а теперь пора.
До 12 четверть часа.
(Бросает на стол два золотых.)

Барсук

Может быть, проводить?

Номах

Ни в коем случае.
Я выйду один.
(Быстро прощается и уходит.)

Из кухни появляется **китаец** и неторопливо выходит вслед за ним. Опьяневшие посетители садятся на свои места. Барсук берет шапку, кивает товарищам на китайца и выходит тоже.

Щербатов

Слушай, Платов!
Я совсем ничего не чувствую.

Платов

Это виноват кокаин.

Щербатов

Нет, это не кокаин.
Я, брат, не пьян.
Я всего лишь одну понюшку.
По-моему, этот китаец
Жулик и шарлатан!
Ну и народ пошел!
Ну и племя!
Ах, Авдотья Петровна!
Сыграйте нам, Авдотья Петровна, вальс...

Сыграйте нам вальс
«Невозвратное время».
(Тычется носом в стол. Платов тоже.)

Повстанцы молча продолжают пить. Кабатчица выходит с гитарой. Садится у стойки и начинает настраивать.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

НА ВОКЗАЛЕ N

Рассветов и Замарашкин. Вбегает Чекистов.

Чекистов

Есть! Есть! Есть!
Замарашкин, ты не брехун!
Вот телеграмма:
«Я Киев. Золото здесь.
Нужен ли арест.
Литза-Хун».
(Передает телеграмму Рассветову.)

Рассветов

Все это очень хорошо,
Но что нужно ему ответить?

Чекистов

Как что?
Конечно, взять на цугундер!

Рассветов

В этом мало радости —
Уничтожить одного,
Когда на свободе
Будет 200 других.

Чекистов

Других мы поймаем потом.
С другими успеем после...
Они ходят
Из притона в притон,
Пьют спирт и играют в кости.
Мы возьмем их в любом кабаке.
В них одних, без Номаха,
Толку мало.
А пока

Нужно крепко держать в руке
Ту добычу,
Которая попала.

Рассветов

Теперь он от нас не уйдет,
Особенно при сотне нянек.

Чекистов

Что ему няньки?
Он их сцапает в рот,
Как самый приятный
И легкий пряник.

Рассветов

Когда будут следы к другим,
Мы возьмем его в 2 секунды.
Я не знаю, с чего вы
Вдолбили себе в мозги —
На цугундер да на цугундер.
Нам совсем не опасен
Один индивид,
И скажу вам, коллега, вкратце,
Что всегда лучше
Отыскивать нить
К общему центру организации.
Нужно мыслить без страха.
Послушайте, мой дорогой:
Мы уберем Номаха,
Но завтра у них будет другой.
Дело совсем не в Номахе,
А в тех, что попали за борт.
Нашей веревки и плахи
Ни один не боится черт.
Страна негодует на нас.
В стране еще дикие нравы.
Здесь каждый Аким и Фанас
Бредит имперской славой.
Еще не изжит вопрос,
Кто ляжет в борьбе из нас.
Честолюбивый росс
Отчизны своей не продаст.
Интернациональный дух
Прет на его рожон.
Мужик если гневен не вслух,

То завтра придет с ножом.
Повстанчество есть сигнал.
Поэтому сказ мой весь:
Тот, кто крыло поймал,
Должен всю птицу съесть.

Чекистов

Клянусь всеми чертями,
Что эта птица
Даст вам крылом по морде
И улетит из-под носа.

Рассветов

Это не так просто.

Замарашкин

Для него будет,
Пожалуй, очень просто.

Рассветов

Мы усилим надзор
И возьмем его,
Как мышь в мышеловку.
Но только тогда этот вор
Получит свою веревку,
Когда хоть бандитов сто
Будет качаться с ним рядом,
Чтоб чище синел простор
Коммунистическим взглядом.

Чекистов

Слушайте, товарищи!
Это превышение власти —
Этот округ вверен мне.
Мне нужно поймать преступника,
А вы разводите теорию.

Рассветов

Как хотите, так и называйте.
Но,
Чтоб больше наш спор
Не шел о том,
Мы сегодня ж дадим ответ:
«Литза-Хун!

Наблюдайте за золотом.
Больше приказов нет».

Чекистов быстро поворачивается, хлопает дверью и выходит в коридор.

В КОРИДОРЕ

Чекистов

Тогда я поеду сам.

КИЕВ

Хорошо обставленная квартира. На стене большой, во весь рост, портрет Петра Великого. Номах сидит на крыле кресла, задумавшись. Он, по-видимому, только что вернулся. Сидит в шляпе. В дверь кто-то барабанит пальцами. Номах, как бы пробуждаясь от дремоты, идет осторожно к двери, прислушивается и смотрит в замочную скважину.

Номах

Кто стучит?

Голос

Отворите... Это я...

Номах

Кто вы?

Голос

Это я... Барсук...

Номах
(отворяя дверь)

Что это значит?

Барсук

(входит и закрывает дверь)
Это значит — тревога.

Номах

Кто-нибудь арестован?

Барсук

Нет.

Номах

В чем же дело?

Барсук

Нужно быть наготове,
Немедленно нужно в побег.
За вами следят.
Вас ловят.
И не вас одного, а всех.

Номах

Откуда ты узнал это?

Барсук

Конечно, не высосал из пальцев.
Вы помните тот притон?

Номах

Помню.

Барсук

А помните одного китайца?

Номах

Да...
Но неужели...

Барсук

Это он.
Лишь только тогда вы скрылись,
Он последовал за вами.
Через несколько минут
Вышел и я.
Я видел, как вы сели в вагон,
Как он сел в соседний.
Потом осторожно, за золотой
Кондуктору,
Сел я сам.
Я здесь, как и вы,
Дней 10.

Номах

Посмотрим, кто кого перехитрит?

Барсук

Но это еще не все.
Я следил за ним, как лиса.
И вчера, когда вы выходили

Из дому,
Он был более полчаса
И рылся в вашей квартире.
Потом он, свистя под нос,
Пошел на вокзал...
Я — тоже.
Предо мной стоял вопрос —
Узнать:
Что хочет он, черт желтокожий...
И вот... на вокзале...
Из-за спины
На синем телеграфном бланке
Я прочел,
Еле сдерживаясь от мести,
Я прочел —
От чего у меня чуть не скочили штаны —
Он писал, что вы здесь,
И спрашивал об аресте.

Номах

Да... Это немного пахнет...

Барсук

По-моему, не немного, а очень много.
Нужно скорей в побег.
Всем нам одна дорога —
Поле, леса и снег,
Пока доберемся к границе,
А там нас лови!
Грози!

Номах

Я не привык торопиться,
Когда вижу опасность вблизи.

Барсук

Но это...

Номах

Безумно?
Пусть будет так.
Я —
Видишь ли, Барсук,—
Чудак.
Я люблю опасный момент,
Как поэт — часы вдохновенья,

Тогда бродит в моем уме
Изобретательность
До остервененья.
Я ведь не такой,
Каким представляют меня кухарки.
Я весь — кровь,
Мозг и гнев весь я.
Мой бандитизм особой марки.
Он осознание, а не профессия.
Слушай! я тоже когда-то верил
В чувства:
В любовь, геройство и радость,
Но теперь я постиг, по крайней мере,
Я понял, что все это
Сплошная гадость.
Долго валялся я в горячке адской,
Насмешкой судьбы до печенок израненный.
Но... Знаешь ли...
Мудростью своей кабацкой
Все выжигает спирт с бараниной...
Теперь, когда судорога
Душу скрючила
И лицо как потухающий фонарь в тумане,
Я не строю себе никакого чучела.
Мне только осталось —
Озорничать и хулиганить...

. . . .

Всем, кто мозгами бедней и меньше,
Кто под ветром судьбы не был нищ и наг,
Оставляю прославлять города и женщин,
А сам буду славить
Преступников и бродяг.

. . . .

Банды! банды!
По всей стране,
Куда ни вглядись, куда ни пойди ты —
Видишь, как в пространстве,
На конях
И без коней,
Скачут и идут закостенелые бандиты.
Это все такие же
Разуверившиеся, как я...

. . . .

А когда-то, когда-то...
Веселым парнем,

До костей весь пропахший
Степной травой,
Я пришел в этот город с пустыми руками,
Но зато с полным сердцем
И не пустой головой.
Я верил... я горел...
Я шел с революцией,
Я думал, что братство не мечта и не сон,
Что все во единое море сольются,
Все сонмы народов,
И рас, и племен.

. . . .

Но к черту все это!
Я далек от жалоб.
Коль началось —
Так пускай начинается.
Лишь одного я теперь желаю,
Как бы покрепче...
Как бы покрепче
Одурачить китайца!..

Барсук

Признаться, меня все это,
Кроме побега,
Плохо устраивает.
(Подходит к окну.)
Я хотел бы...
О! Что это? Боже мой!
Номах! Мы окружены!
На улице милиция.

Номах
(подбегая к окну)

Как?
Уже?
О! Их всего четверо...

Барсук

Мы пропали.

Номах

Скорей выходи из квартиры.

Барсук

А ты?

Номах

Не разговаривай!..
У меня есть ящик стекольщика
И фартук...
Живей обрядись
И спускайся вниз...
Будто вставлял здесь стекла...
Я положу в ящик золото...
Жди меня в кабаке «Луна».

(Бежит в другую комнату, тащит ящик и фартук.)

Барсук быстро подвязывает фартук. Кладет ящик на плечо и выходит.

Номах

(прислушиваясь у двери)

Кажется, остановили...
Нет... прошел...
Ага...
Идут сюда...

(Отскакивает от двери. В дверь стучат. Как бы раздумывая, немного медлит. Потом неслышными шагами идет в другую комнату.)

СЦЕНА ЗА ДВЕРЬЮ

Чекистов, Литза-Хун и 2 милиционера.

Чекистов

(смотря в скважину)

Что за черт!
Огонь горит,
Но в квартире
Как будто ни души.

Литза-Хун

(с хорошим акцентом)

Это его прием...
Всегда... Когда он уходит.
Я был здесь, когда его не было,
И так же горел огонь.

1-й милиционер

У меня есть отмычка.

Литза-Хун

Давайте мне...
Я вскрою...

Чекистов

Если его нет,
То надо устроить засаду.

Литза-Хун
(вскрывая дверь)

Сейчас узнаем...
(Вынимает браунинг и заглядывает в квартиру.)
Тс... Я сперва один.
Спрячьтесь на лестнице.
Здесь ходят
Другие квартиранты.

Чекистов

Лучше вдвоем.

Литза-Хун

У меня бесшумные туфли...
Когда понадобится,
Я дам свисток или выстрел.
(Входит в квартиру и закрывает дверь.)

ГЛАЗА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Осторожными шагами Литза-Хун идет к той комнате, в которой скрылся Номах. На портрете глаза Петра Великого начинают моргать и двигаться. Литза-Хун входит в комнату. Портрет неожиданно открывается как дверь, оттуда выскакивает Номах. Он рысьими шагами подходит к двери, запирает на цепь и снова исчезает в портрет-дверь. Через некоторое время слышится беззвучная короткая возня, и с браунингом в руке из комнаты выходит китаец. Он делает световой полумрак. Открывает дверь и тихо дает свисток. Вбегают милиционеры и Чекистов.

Чекистов

Он здесь?

Китаец
(прижимая в знак молчания палец к губам)

Тс... он спит...
Стойте здесь...
Нужен один милиционер,
К черному выходу.
(Берет одного милиционера и крадучись проходит через комнату к черному выходу.)

Через минуту слышится выстрел, и испуганный милиционер бежит обратно к двери.

Милиционер

Измена!
Китаец ударил мне в щеку
И удрал черным ходом.
Я выстрелил...
Но... дал промах...

Чекистов

Это он!
О! проклятье!
Это он!
Он опять нас провел.

Вбегают в комнату и выкатывают оттуда в кресле связанного по рукам и ногам. Рот его стянут платком. Он в нижнем белье. На лицо его глубоко надвинута шляпа. Чекистов сбрасывает шляпу, и милиционеры в ужасе отскакивают.

Милиционер

Провскация!..
Это Литза-Хун...

Чекистов

Развяжите его...

Милиционеры бросаются развязывать.

Литза-Хун

(выпихивая освобожденными руками платок изо рта)
Черт возьми!
У меня болит живот от злобы.
Но клянусь вам...
Клянусь вам именем китайца,
Если б он не накинул на меня мешок,
Если б он не выбил мой браунинг,
То бы...
Я сумел с ним справиться...

Чекистов

А я... Если б был мандарин,
То повесил бы тебя, Литза-Хун,
За такое место...
Которое вслух не называется.

1922—1923

ЛЕНИН

Отрывок из поэмы «Гуляй-поле»

Еще закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.

Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, песий лай.

Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и долы.

Немолчный топот, громкий стон,
Визжат тачанки и телеги.
Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон
Нас окружают печенеги?
Не сон, не сон, я вижу въявь,
Ничем не усыпленным взглядом,
Как, лошадей пуская вплавь,
Отряды скачут за отрядом.
Куда они? И где война?
Степная водь не внемлет слову.
Не знаю, светит ли луна
Иль всадник обронил подкову?
Все спуталось...

Но понял взор:
Страну родную в край из края,

Огнем и саблями сверкая,
Междоусобный рвет раздор.

. . . .

Россия —
Страшный, чудный звон.
В деревьях березь, в цветь — подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?
Суровый гений! Он меня
Влечет не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.
Сплеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

Для нас условен стал герой,
Мы любим тех, что в черных масках,
А он с сопливой детворой
Зимой катался на салазках.
И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин томных,—
Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных.
Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...
Шуми и вей!
Крути свирепей, непогода,
Смывай с несчастного народа
Позор острогов и церквей.

. . . .

Была пора жестоких лет,
Нас пестовали злые лапы.
На поприще крестьянских бед
Цвели имперские сатрапы.

. . . .

Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром,
И продал власть аристократ

Промышленникам и банкирам.
Народ стонал, и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь...
И он пришел.

. . . .

Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.
Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
Берите всё в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет —
Как ваша власть и ваш Совет».

. . . .

И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели:
Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племен...

. . . .

И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из медиолающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь:
«Ленин умер!»
Их смерть к тоске не привела.

. . . .

Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела...

<1924>

ПЕСНЬ О ВЕЛИКОМ ПОХОДЕ

Эй вы, встречные,
Поперечные!
Тараканы, сверчки
Запечные!
Не народ, а дрохва
Подбитая!
Русь нечесаная,
Русь немытая.
Вы послушайте
Новый вольный сказ,
Новый вольный сказ
Про житье у нас.
Первый сказ о том,
Что давно было.
А второй — про то,
Что сейчас всплыло.
Для тебя я, Русь,
Эти сказы спел,
Потому что был
И правдив и смел.
Был мастак слагать
Эти притчины,
Не боясь ничьей
Зуботычины.

*

Ой, во городе
Да во Ипатьеве
При Петре было
При императоре.
Говорил слова

Непутевый дьяк:
«Уж и как у нас, ребята,
Стал быть, царь дурак.
Царь дурак-батрак
Сопли жмет в кулак,
Строит Питер-град
На немецкий лад.
Видно, делать ему
Больше нечего,
Принялся он Русь
Онемечивать.
Бреет он князьям
Брады, усие,—
Как не плакаться
Тут над Русию?
Не тужить тут как
Над судьбиною?
Непослушных он
Бьет дубиною».

*

Услыхал те слова
Молодой стрелец.
Хвать смутьянщика
За тугой косец.
«Ты иди, ползи,
Не кочурься, брат.
Я свезу тебя
Прямо в Питер-град.
Привезу к царю,
Кайся, сукин кот!
Кайся, сукин кот,
Что смущал народ!»

*

По Тверской-Ямской
Под дугою вбряк
С колокольцами
Ехал бедный дьяк.
На четвертый день,
О полднёвых пор,
Прикатил наш дьяк

Ко царю во двор.
Выходил тут царь
С высока крыльца,
Мах-дубинкою
Подозвал стрельца.
«Ты скажи, зачем
Прикатил, стрелец?
Аль с Москвы какой
Потайной гонец?»
«Не гонец я, царь,
Не родня с Москвой.
Я всего лишь есть
Слуга верный твой.
Я привез к тебе
Бунтаря-дьяка.
У него, знать, в жисть
Не болят бока.
В кабаке на весь
На честной народ
Он позорил, царь,
Твой высокий род».
«Ну,— сказал тут Петр,—
Вылезай-кось, вошь!»
Космы дьяковы
Поднялись, как рожь.
У Петра с плеча
Сорвался кулак...
И навек задрал
Лапти кверху дьяк.

У Петра был двор,
На дворе был кол,
На колу — мочало.
Это только, ребята,
Начало.

*

Ой, суров наш царь,
Алексеич Петр.
Он в единый дух
Ведро пива пьет.
Курит — дым идет
На три сажени,

Во немецких одеждах
Разнаряженный.
Возговорит наш царь
Алексеич Петр:
«Подойди ко мне,
Дорогой Лефорт.
Мастер славный ты:
В Амстердаме был.
Русский царь тебе,
Как батрак, служил.
Он учился там,
Как топор держать.
Ты езжай-кось, мастер,
В Амстердам опять.
Передай ты всем
От Петра поклон.
Да скажи, что сейчас
В страшной доле он.
В страшной доле я
За родную Русь...
Скоро смерть придет,
Помирать боюсь.
Помирать боюсь,
Да и жить не рад:
Кто ж теперь блюсти
Будет Питер-град?
Средь туманов сих
И цепных болот
Снится сгибший мне
Трудовой народ.
Слышу, голос мне
По ночам звенит,
Что на их костях
Лег тугой гранит.
Оттого подчас,
Обступая град,
Мертвецы встают
В строевой парад.
И кричат они,
И вопят они.
От такой крични
Загашай огни.
Говорят слова:
«Мы всему цари!
Попадешься, Петр,

Лишь сумей помри.
Мы сдерем с тебя
Твой лихой чупрын,
Потому что ты
Был собачий сын.
Поблажал ты знать
Со министрами.
На крови для них
Город выстроил.
Но пускай за то
Знает каждый дом —
Мы придем еще,
Мы придем, придем!
Этот город наш,
Потому и тут
Только может жить
Лишь рабочий люд».

Смолк наш царь
Алексеич Петр,
В три ручья с него
Льет холодный пот.

*

Слушайте, слушайте,
Вы, конечно, народ
Хороший,
Хоть метелью вас крой,
Хоть порошей.
Одним словом,
Миляги!
Не дадите ли
Ковшик браги?
Человечий язык,
Чай, не птичий.
Славный вы, люди,
Придумали
Обычай.

*

И пушки бьют,
И колокола плачут.
Вы, конечно, понимаете,

Что это значит?
Много было роз,
Много было маков.
Схоронили Петра,
Тяжело оплакав.
И с того ль, что там
Всякий сволок был,
Кто всерьез рыдал,
А кто глаза слюнил.
Но с того вот дня
Да на двести лет
Дуракам-царям
Прямо счету нет.
И все двести лет
Шел подземный гуд:
«Мы придем, придем!
Мы возьмем свой труд.
Мы сгребем дворян
Да по плеши им,
На фонарных столбах
Перевешаем!»

*

Через двести лет,
В снеговой октябрь,
Затряслась Нева,
Подымая рябь.
Утром встал народ
И на бурю глядь:
На столбах висит
Сволочная знать.
Ай да славный люд!
Ай да Питер-град!
Но с чего же там
Пушки бьют-палят?
Бьют за городом,
Бьют из-за моря.
Понимай как хошь
Ты, душа моя!
Много в эти дни
Совершилось дел.
Я пою о них,
Как спознать сумел.

*

Веселись, душа
Молодецкая.
Нынче наша власть,
Власть советская.
Офицерика,
Да голубчика
Прикокошили
Вчера в Губчека.
. . . .
Гаркнул «Яблочко»
Молодой матрос:
«Мы не так еще
Подотрем вам нос!»

*

А за Явором,
Под Украйною,
Услыхали мужики
Весть печальную.
Власть советская
Им очень нравится,
Да идут войска
С ней расправиться.
В тех войсках к мужикам
Родовая месть.
И Врангель тут,
И Деникин здесь.
А на помог им,
Как лихих волчат,
Из Сибири шлет отряды
Адмирал Колчак.

*

Ах, рыбки мои,
Мелки косточки!
Вы, крестьянские ребята,
Подросточки.
Ни ногатой вас не взять,
Ни резанами,

Вы гольем пошли гулять
С партизанами.
Красной Армии штыки
В поле светятся.
Здесь отец с сынком
Могут встретиться.
За один удел
Бьется эта рать,
Чтоб владеть землей
Да весь век пахать,
Чтоб шумела рожь
И овес звенел,
Чтобы каждый калачи
С пирогами ел.

*

Ну и как же тут злобу
Не вынашивать?
На Дону теперь поют
Не по-нашему:
«Пароход идет
Мимо пристани.
Будем рыбу кормить
Коммунистами».
А у нас для них поют:
«Куда ты котишься?
В Вечека попадешь —
Не воротишься».

*

От одной беды
Целых три растут,—
Вдруг над Питером
Слышен новый гуд.
Не поймет никто,
Отколь гуд идет:
«Ты не смей дремать,
Трудовой народ,
Как под Питером
Рать Юденича».
Что же делать нам

Всем теперича?
И оттуда бьют,
И отсель палят —
Ой ты, бедный люд,
Ой ты, Питер-град!

*

. . . .
Дождик лил тогда
В три погибели.
На корню дожди
Озимь выбили.
И на энтот год
Не шумела рожь.
То не жизнь была,
А в печенки нож.
. . . .

*

А за синим Доном,
Станицы казачьей,
В это время волк ехидный
По-кукушьи плачет.
Говорит Корнилов
Казакам поречным:
«Угостите партизанов
Вишеньем картечным.
С Красной Армией Деникин
Справится, я знаю.
Расстелились наши пики
С Дона до Дунаю».

*

. . . .
Вей сильней и крепче,
Ветер синь-студеный.
С нами храбрый Ворошилов,
Удалой Буденный.

*

Если крепче жмут,
То сильней орешь.
Мужику одно:
Не топтали б рожь.
А как пошла по ней
Тут рать Деникина —
В сотни верст легла
Прямо в никь она.
Над такой бедой
В стане белых ржут.
Валят сельский скот
И под водку жрут.
Мнут крестьянских жен,
Девок лапают.
«Так и надо вам,
Сиволапые!
Ты, мужик, прохвост!
Сволочь, бестия!
Отплати-кось нам
За поместия.
Отплати за то,
Что ты вешал знать.
Эй, в кнуты их всех,
Растакую мать!»

*

Ой ты, синяя сирень,
Голубой палисад!
На родимой стороне
Никто жить не рад.
Опустели огороды,
Хаты брошены,
Заливные луга
Не покошены.
И примят овес,
И прибита рожь.—
Где ж теперь, мужик,
Ты приют найдешь?

*

Но сильней всего
Те встревожены,
Что ночьми не спят
В куртках кожаных,
Кто за бедный люд
Жить и сгибнуть рад,
Кто не хочет сдать
Вольный Питер-град.

*

Там под Лиговом
Страшный бой кипит.
Питер траурный
Без огней. Не спит.
Миг — и вот сейчас
Враг проломит все,
И прощай мечта
Городов и сел...
Пот и кровь струит
С лиц встревоженных.
Бьют и бьют людей
В куртках кожаных.
Как снопы, лежат
Трупы по полю.
Кони в страхе ржут,
В страхе топают.
Но напор от нас
Все сильней, сильней.
Бьются восемь дней,
Бьются девять дней...
На десятый день
Не сдержался враг...
И пошел чесать
По кустам в овраг.
Наши взад им: «Крой!»
Пушки бьют, палят...
Ай да славный люд!
Ай да Питер-град!

*

А за Белградом,
Окол Харькова,
Кровью ярь мужиков
Перехаркана.
Бедный люд в Москву
Босиком бежит.
И от стона, и от рева
Вся земля дрожит.
Ищут хлеба они,
Просят милости,
Ну и как же злобной воле
Тут не вырасти?
У околицы
Гуляй-полевой
Собиралися
Буйны головы.
Да как стали жечь,
Как давай палить.
У Деникина
Аж живот болит.

*

Эх, песня,
Песня!
Есть ли что на свете
Чудесней?
Хоть под гусли тебя пой,
Хоть под тальяночку.
Не дадите ли вы мне,
Хлопцы,
Еще баночку?

*

Ах, яблочко,
Цвета милого!
Бьют Деникина,
Бьют Корнилова.
Цветочек мой,
Цветик маковый.

Ты скорей, адмирал,
Отколчакивай.
Там за степью гул,
Там за степью гром,
Каждый в битве защищает
Свой отцовский дом.
Курток кожаных
Под Донцом не счесть.
Видно, много в Петрограде
Этой масти есть.

*

В белом стане вопль,
В белом стане стон:
Обступает наша рать
Их со всех сторон.
В белом стане крик,
В белом стане бред.
Как пожар стоит
Золотой рассвет.
И во всех кабаках
Огни светятся...
Завтра многие друг с другом
Уж не встретятся.
И все пьют за царя,
За святую Русь,
В ласках знатных шлюх
Забывая грусть.

*

В красном стане храп,
В красном стане смрад.
Вонь портяночная
От сапог солдат.
Завтра, еле свет,
Нужно снова в бой.
Спи, корявый мой!
Спи, хороший мой!
Пусть вас золотом
Свет зари кропит.
В куртке кожаной
Коммунар не спит.

*

На заре, заре
В дождевой крутень
Свистом ядерным
Мы встречали день.
Подымая вверх,
Как тоску, глаза,
В куртке кожаной
Коммунар сказал:
«Братья, если здесь
Одолеют нас,
То октябрьский свет
Навсегда погас.
Будет крыть нас кнут,
Будет крыть нас плеть,
Всем весь век тогда
В нищете корпеть».
С горьким гневом рук,
Утерев слезу,
Ротный наш с тех слов
Сапоги разул.
Громко кашлянув,
«На,— сказал он мне,—
Дома нет сапог,
Передай жене».

*

На заре, заре
В дождевой крутень
Свистом ядерным
Мы сушили день.
Пуля входит в грудь,
Как пчелы ужал.
Наш отряд тогда
Впереди бежал.
За лощиной пруд,
А за прудом лог.
Коммунар ничком
В землю носом лег.
Мы вперед, вперед!
Враг назад, назад!
Мертвецы пусть так

Под дождем лежат.
Спите, храбрые,
С отзвучавшим ртом!
Мы придем вас всех
Хоронить потом.

*

Вот и кончен бой,
Машет красный флаг.
Не жалея пят,
Удирает враг.
Удивленный тем,
Что остался цел,
Молча ротный наш
Сапоги надел.
И сказал: «Жене
Сапоги не враз,
Я их сам теперь
Износить горазд».

*

Вот и кончен бой,
Тот, кто жив, тот рад.
Ай да вольный люд!
Ай да Питер-град!
От полуночи
До синя утра
Над Невой твоей
Бродит тень Петра.
Бродит тень Петра,
Грозно хмурится
На кумачный цвет
В наших улицах.
В берег бьет вода
Пенной индевью...
Корабли плывут
Будто в Индию...

Июль 1924

АННА СНЕГИНА

А. Воронскому

1

«Село, значит, наше — Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.
Богаты мы лесом и водью,
Есть пастбища, есть поля.
И по всему угодью.
Рассажены тополя.

Мы в важные очень не лезем,
Но все же нам счастье дано.
Дворы у нас крыты железом,
У каждого сад и гумно.
У каждого крашены ставни,
По праздникам мясо и квас.
Недаром когда-то исправник
Любил погостить у нас.

Оброки платили мы к сроку,
Но — грозный судья — старшина
Всегда прибавлял к оброку
По мере муки и пшена.
И чтоб избежать напасти,
Излишек нам был без тягóт.
Раз — власти, на то они власти,
А мы лишь простой народ.

Но люди — все грешные души.
У многих глаза — что клыки.

С соседней деревни Криуши
Косились на нас мужики.
Житье у них было плохое —
Почти вся деревня вскачь
Пахала одной сохою
На паре заезженных кляч.

Каких уж тут ждать обилий,—
Была бы душа жива.
Украдкой они рубили
Из нашего леса дрова.
Однажды мы их застали...
Они в топоры, мы тож.
От звона и скрежета стали
По телу катилась дрожь.

В скандале убийством пахнет.
И в нашу и в их вину
Вдруг кто-то из них как ахнет! —
И сразу убил старшину.
На нашей быдластой сходке
Мы делу условили ширь.
Судили. Забили в колодки
И десять услали в Сибирь.
С тех пор и у нас неуряды.
Скатилась со счастья вожжа.
Почти что три года кряду
У нас то падеж, то пожар».

*

Такие печальные вести
Возница мне пел весь путь.
Я в радовские предместья
Ехал тогда отдохнуть.

Война мне всю душу изъела.
За чей-то чужой интерес
Стрелял я в мне близкое тело
И грудью на брата лез.
Я понял, что я — игрушка,
В тылу же купцы да знать,
И, твердо простившись с пушками,
Решил лишь в стихах воевать.

Я бросил мою винтовку,
Купил себе «липу» [1], и вот
С такою-то подготовкой
Я встретил 17-ый год.

Свобода взметнулась неистово.
И в розово-смрадном огне
Тогда над страною калифствовал
Керенский на белом коне.
Война «до конца», «до победы»,
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать.
Но все же не взял я шпагу...
Под грохот и рев мортир
Другую явил я отвагу —
Был первый в стране дезертир.

*

Дорога довольно хорошая,
Приятная хладная звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.
«Ну, вот оно, наше Радово,—
Промолвил возница,—
Здесь!
Недаром я лошади вкладывал
За норов ее и спесь.
Позволь, гражданин, на чаишко.
Вам к мельнику надо?
Так вон!..
Я требую с вас без излишка
За дальний такой прогон».

. . . .

Даю сороковку.
«Мало!»
Даю еще двадцать.
«Нет!»
Такой отвратительный малый.
А малому тридцать лет.

---

[1] «Липа» — подложный документ. *(Примеч. С. Есенина.)*

«Да что ж ты?
Имеешь ли душу?
За что ты с меня гребешь?»
И мне отвечает туша:
«Сегодня плохая рожь.
Давайте еще незвонких
Десяток иль штучек шесть —
Я выпью в шинке самогонки
За ваше здоровье и честь...»

*

И вот я на мельнице...
Ельник
Осыпан свечьми светляков.
От радости старый мельник
Не может сказать двух слов:
«Голубчик! Да ты ли?
Сергуха!
Озяб, чай? Поди, продрог?
Да ставь ты скорее, старуха,
На стол самовар и пирог!»

В апреле прозябнуть трудно,
Особенно так в конце.
Был вечер задумчиво чудный,
Как дружья улыбка в лице.
Объятья мельника круты,
От них заревет и медведь,
Но все же в плохие минуты
Приятно друзей иметь.

«Откуда? Надолго ли?»
«На год».
«Ну, значит, дружище, гуляй!
Сим летом грибов и ягод
У нас хоть в Москву отбавляй.
И дичи здесь, братец, до черта,
Сама так под порох и прет.
Подумай ведь только...
Четвертый
Тебя не видали мы год...»
. . . .
. . . .

Беседа окончена...
Чинно
Мы выпили весь самовар.
По-старому с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.
Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Состарившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет,
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»
Далекие, милые были.
Тот образ во мне не угас...
Мы все в эти годы любили,
Но мало любили нас.

2

«Ну что же! Вставай, Сергуша!
Еще и заря не текла,
Старуха за милую душу
Оладьев тебе напекла.
Я сам-то сейчас уеду
К помещице Снегиной...
Ей
Вчера настрелял я к обеду
Прекраснейших дупелей».

Привет тебе, жизни денница!
Встаю, одеваюсь, иду.
Дымком отдает росяница
На яблонях белых в саду.

Я думаю:
Как прекрасна
Земля
И на ней человек.
И сколько с войной несчастных
Уродов теперь и калек!
И сколько зарыто в ямах!
И сколько зароют еще!
И чувствую в скулах упрямых
Жестокую судоргу щек.

Нет, нет!
Не пойду навеки!
За то, что какая-то мразь
Бросает солдату-калеке
Пятак или гривенник в грязь.

«Ну, доброе утро, старуха!
Ты что-то немного сдала...»
И слышу сквозь кашель глухо:
«Дела одолели, дела.
У нас здесь теперь неспокойно.
Испариной все зацвело.
Сплошные мужицкие войны —
Дерутся селом на село.
Сама я своими ушами
Слыхала от прихожан:
То радовцев бьют криушане,
То радовцы бьют криушан.
А все это, значит, безвластье.
Прогнали царя...
Так вот...
Посыпались все напасти
На наш неразумный народ.
Открыли зачем-то остроги,
Злодеев пустили лихих.
Теперь на большой дороге
Покою не знай от них.
Вот тоже, допустим... с Криуши...
Их нужно б в тюрьму за тюрьмой,
Они ж, воровские души,
Вернулись опять домой.
У них там есть Прон Оглоблин,
Булдыжник, драчун, грубиян.
Он вечно на всех озлоблен,
С утра по неделям пьян.
И нагло в третьевом годе,
Когда объявили войну,
При всем честном народе
Убил топором старшину.
Таких теперь тысячи стало
Творить на свободе гнусь.
Пропала Расея, пропала...
Погибла кормилица Русь...»

Я вспомнил рассказ возницы
И, взяв свою шляпу и трость,
Пошел мужикам поклониться,
Как старый знакомый и гость.

*

Иду голубою дорожкой
И вижу — навстречу мне
Несется мой мельник на дрожках
По рыхлой еще целине.
«Сергуха! За милую душу!
Постой, я тебе расскажу!
Сейчас! Дай поправить вожжу,
Потом и тебя оглоушу.
Чего ж ты мне утром ни слова?
Я Снегиным так и бряк:
Приехал ко мне, мол, веселый
Один молодой чудак.
(Они ко мне очень желанны,
Я знаю их десять лет.)
А дочь их замужняя Анна
Спросила:
— Не тот ли, поэт?
— Ну, да,— говорю,— он самый.
— Блондин?
— Ну, конечно, блондин!
— С кудрявыми волосами?
— Забавный такой господин!
— Когда он приехал?
— Недавно.
— Ах, мамочка, это он!
Ты знаешь,
Он был забавно
Когда-то в меня влюблен.
Был скромный такой мальчишка,
А нынче...
Поди ж ты...
Вот...
Писатель...
Известная шишка...
Без просьбы уж к нам не придет».

И мельник, как будто с победы,
Лукаво прищурил глаз:
«Ну, ладно! Прощай до обеда!
Другое сдержу про запас».

Я шел по дороге в Криушу
И тростью сшибал зеленя.
Ничто не пробилось мне в душу,
Ничто не смутило меня.
Струилися запахи сладко,
И в мыслях был пьяный туман...
Теперь бы с красивой солдаткой
Завесть хорошо роман.

*

Но вот и Криуша...
Три года
Не зрел я знакомых крыш.
Сиреневая погода
Сиренью обрызгала тишь.
Не слышно собачьего лая,
Здесь нечего, видно, стеречь —
У каждого хата гнилая,
А в хате ухваты да печь.
Гляжу, на крыльце у Прона
Горластый мужицкий галдеж.
Толкуют о новых законах.
О ценах на скот и рожь.
«Здорово, друзья!»
«Э, охотник!
Здорово, здорово!
Садись!
Послушай-ка ты, беззаботник,
Про нашу крестьянскую жисть.
Что нового в Питере слышно?
С министрами, чай, ведь знаком?
Недаром, едрит твою в дышло,
Воспитан ты был кулаком.
Но все ж мы тебя не порочим.
Ты — свойский, мужицкий, наш,
Бахвалишься славой не очень
И сердце свое не продашь.
Бывал ты к нам зорким и рьяным,

Себя вынимал на испод...
Скажи:
Отойдут ли крестьянам
Без выкупа пашни господ?
Кричат нам,
Что землю не троньте,
Еще не настал, мол, миг.
За что же тогда на фронте
Мы губим себя и других?»

И каждый с улыбкой угрюмой
Смотрел мне в лицо и в глаза,
А я, отягченный думой,
Не мог ничего сказать.
Дрожали, качались ступени,
Но помню
Под звон головы:
«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он — вы».

3

На корточках ползали слухи,
Судили, решали, шепча.
И я от моей старухи
Достаточно их получал.

Однажды, вернувшись с тяги,
Я лег подремать на диван.
Разносчик болотной влаги,
Меня прознобил туман.
Трясло меня, как в лихорадке,
Бросало то в холод, то в жар,
И в этом проклятом припадке
Четыре я дня пролежал.

Мой мельник с ума, знать, спятил.
Поехал,
Кого-то привез...
Я видел лишь белое платье
Да чей-то привздернутый нос.
Потом, когда стало легче,
Когда прекратилась трясь,

На пятые сутки под вечер
Простуда моя улеглась.
Я встал.
И лишь только пола
Коснулся дрожащей ногой,
Услышал я голос веселый:
«А!
Здравствуйте, мой дорогой!
Давненько я вас не видала.
Теперь из ребяческих лет
Я важная дама стала,
А вы — знаменитый поэт.

. . . .

Ну, сядем.
Прошла лихорадка?
Какой вы теперь не такой!
Я даже вздохнула украдкой,
Коснувшись до вас рукой.
Да...
Не вернуть, что было.
Все годы бегут в водоем.
Когда-то я очень любила
Сидеть у калитки вдвоем.
Мы вместе мечтали о славе...
И вы угодили в прицел,
Меня же про это заставил
Забыть молодой офицер...»

*

Я слушал ее и невольно
Оглядывал стройный лик.
Хотелось сказать:
«Довольно!
Найдемте другой язык!»

Но почему-то, не знаю,
Смущенно сказал невпопад:
«Да... Да...
Я сейчас вспоминаю...
Садитесь.
Я очень рад.
Я вам прочитаю немного
Стихи

Про кабацкую Русь...
Отделано четко и строго.
По чувству — цыганская грусть».
«Сергей!
Вы такой нехороший.
Мне жалко,
Обидно мне,
Что пьяные ваши дебоши
Известны по всей стране.
Скажите:
Что с вами случилось?»
«Не знаю».
«Кому же знать?»
«Наверно, в осеннюю сырость
Меня родила моя мать».
«Шутник вы...»
«Вы тоже, Анна».
«Кого-нибудь любите?»
«Нет».
«Тогда еще более странно
Губить себя с этих лет:
Пред вами такая дорога...»

Сгущалась, туманилась даль...
Не знаю, зачем я трогал
Перчатки ее и шаль.

. . . .

Луна хохотала, как клоун.
И в сердце хоть прежнего нет,
По-странному был я полон
Наплывом шестнадцати лет.
Расстались мы с ней на рассвете
С загадкой движений и глаз...

Есть что-то прекрасное в лете,
А с летом прекрасное в нас.

*

Мой мельник...
Ох, этот мельник!
С ума меня сводит он.
Устроил волынку, бездельник,
И бегает как почтальон.
Сегодня опять с запиской,

Как будто бы кто-то влюблен:
«Придите.
Вы самый близкий.
С любовью
Оглоблин Прон».
Иду.
Прихожу в Криушу.
Оглоблин стоит у ворот
И спьяну в печенки и в душу
Костит обнищалый народ.

«Эй, вы!
Тараканье отродье!
Все к Снегиной!..
Р-раз и квас!
Даешь, мол, твои угодья
Без всякого выкупа с нас!»
И тут же, меня завидя,
Снижая сварливую прыть,
Сказал в неподдельной обиде:
«Крестьян еще нужно варить».

«Зачем ты позвал меня, Проша?»
«Конечно, ни жать, ни косить.
Сейчас я достану лошадь
И к Снегиной... вместе...
Просить...»
И вот запрягли нам клячу.
В оглоблях мосластая шкеть —
Таких отдают с придачей,
Чтоб только самим не иметь.
Мы ехали мелким шагом,
И путь нас смешил и злил:
В подъемах по всем оврагам
Телегу мы сами везли.

Приехали.
Дом с мезонином
Немного присел на фасад.
Волнующе пахнет жасмином
Плетневый его палисад.
Слезаем.
Подходим к террасе
И, пыль отряхая с плеч,
О чьем-то последнем часе

Из горницы слышим речь:
«Рыдай — не рыдай,— не помога...
Теперь он холодный труп...
Там кто-то стучит у порога.
Припудрись...
Пойду отопру...»

Дебелая грустная дама
Откинула добрый засов.
И Прон мой ей брякнул прямо
Про землю,
Без всяких слов.
«Отдай!..—
Повторял он глухо.—
Не ноги ж тебе целовать!»

Как будто без мысли и слуха
Она принимала слова.
Потом в разговорную очередь
Спросила меня
Сквозь жуть:
«А вы, вероятно, к дочери?
Присядьте...
Сейчас доложу...»

Теперь я отчетливо помню
Тех дней роковое кольцо.
Но было совсем не легко мне
Увидеть ее лицо.
Я понял —
Случилось горе,
И молча хотел помочь.
«Убили... Убили Борю...
Оставьте!
Уйдите прочь!
Вы — жалкий и низкий трусишка.
Он умер...
А вы вот здесь...»

Нет, это уж было слишком.
Не всякий рожден перенесть.
Как язвы, стыдясь оплеухи,
Я Прону ответил так:
«Сегодня они не в духе...
Поедем-ка, Прон, в кабак...»

4

Все лето провел я в охоте.
Забыл ее имя и лик.
Обиду мою
На болоте
Оплакал рыдальщик-кулик.

Бедна наша родина кроткая
В древесную цветень и сочь,
И лето такое короткое,
Как майская теплая ночь.
Заря холодней и багровей.
Туман припадает ниц.
Уже в облетевшей дуброве
Разносится звон синиц.

Мой мельник вовсю улыбается,
Какая-то веселость в нем.
«Теперь мы, Сергуха, по зайцам
За милую душу пальнем!»
Я рад и охоте...
Коль нечем
Развеять тоску и сон.
Сегодня ко мне под вечер,
Как месяц, вкатился Прон.
«Дружище!
С великим счастьем!
Настал ожидаемый час!
Приветствую с новой властью!
Теперь мы всех р-раз — и квас!
Без всякого выкупа с лета
Мы пашни берем и леса.
В России теперь Советы
И Ленин — старшой комиссар.
Дружище!
Вот это номер!
Вот это почин так почин.
Я с радости чуть не помер,
А брат мой в штаны намочил.
Едри ж твою в бабушку плюнуть!
Гляди, голубарь, веселей!
Я первый сейчас же коммуну
Устрою в своем селе».
У Прона был брат Лабутя,

Мужик — что твой пятый туз:
При всякой опасной минуте
Хвальбишка и дьявольский трус.
Таких вы, конечно, видали.
Их рок болтовней наградил.
Носил он две белых медали
С японской войны на груди.
И голосом хриплым и пьяным
Тянул, заходя в кабак:
«Прославленному под Ляояном
Ссудите на четвертак...»
Потом, насосавшись до дури,
Взволнованно и горячо
О сдавшемся Порт-Артуре
Соседу слезил на плечо.
«Голубчик! —
Кричал он.—
Петя!
Мне больно... Не думай, что пьян.
Отвагу мою на свете
Лишь знает один Ляоян».

Такие всегда на примете.
Живут, не мозоля рук.
И вот он, конечно, в Совете,
Медали запрятал в сундук.
Но с тою же важной осанкой,
Как некий седой ветеран,
Хрипел под сивушной банкой
Про Нерчинск и Турухан:
«Да, братец!
Мы горе видали,
Но нас не запугивал страх...»
. . . .
Медали, медали, медали
Звенели в его словах.
Он Прону вытягивал нервы,
И Прон материл не судом.
Но все ж тот поехал первый
Описывать снегинский дом.

В захвате всегда есть скорость:
— Даешь! Разберем потом!
Весь хутор забрали в волость
С хозяйками и со скотом.

А мельник...

. . . .

Мой старый мельник
Хозяек привез к себе,
Заставил меня, бездельник,
В чужой ковыряться судьбе.
И снова нахлынуло что-то...
Тогда я всю ночь напролет
Смотрел на скривленный заботой
Красивый и чувственный рот.

Я помню —
Она говорила:
«Простите... Была не права...
Я мужа безумно любила.
Как вспомню... болит голова...
Но вас
Оскорбила случайно...
Жестокость была мой суд...
Была в том печальная тайна,
Что страстью преступной зовут.
Конечно,
До этой осени
Я знала б счастливую быль...
Потом бы меня вы бросили,
Как выпитую бутыль...
Поэтому было не надо...
Ни встреч... ни вобще продолжать...
Тем более с старыми взглядами
Могла я обидеть мать».

Но я перевел на другое,
Уставясь в ее глаза,
И тело ее тугое
Немного качнулось назад.
«Скажите,
Вам больно, Анна,
За ваш хуторской разор?»
Но как-то печально и странно
Она опустила свой взор.

. . . .

«Смотрите...
Уже светает.
Заря как пожар на снегу...
Мне что-то напоминает...

Но что?..
Я понять не могу...
Ах!.. Да...
Это было в детстве...
Другой... Не осенний рассвет...
Мы с вами сидели вместе...
Нам по шестнадцать лет...»

Потом, оглядев меня нежно
И лебедя выгнув рукой,
Сказала как будто небрежно:
«Ну, ладно...
Пора на покой...»
. . . .
Под вечер они уехали.
Куда?
Я не знаю куда.
В равнине, проложенной вехами,
Дорогу найдешь без труда.

Не помню тогдашних событий,
Не знаю, что сделал Прон.
Я быстро умчался в Питер
Развеять тоску и сон.

5

Суровые, грозные годы!
Но разве всего описать?
Слыхали дворцовые своды
Солдатскую крепкую «мать».

Эх, удаль!
Цветение в далях!
Недаром чумазый сброд
Играл по дворам на роялях
Коровам тамбовский фокстрот.
За хлеб, за овес, за картошку
Мужик залучил граммофон,—
Слюнявя козлиную ножку,
Танго себе слушает он.
Сжимая от прибыли руки,
Ругаясь на всякий налог,
Он мыслит до дури о штуке,
Катающейся между ног.

Шли годы
Размашисто, пылко...
Удел хлебороба гас.
Немало попрело в бутылках
«Керенок» и «ходей» у нас.
Фефела! Кормилец! Касатик!
Владелец землей и скотом,
За пару измызганных «катек»
Он даст себя выдрать кнутом.

Ну, ладно.
Довольно стонов!
Не нужно насмешек и слов!
Сегодня про участь Прона
Мне мельник прислал письмо:
«Сергуха! За милую душу!
Привет тебе, братец! Привет!
Ты что-то опять в Криушу
Не кажешься целых шесть лет!
Утешь!
Соберись, на милость!
Прижваривай по весне!
У нас здесь такое случилось,
Чего не расскажешь в письме.
Теперь стал спокой в народе,
И буря пришла в угомон.
Узнай, что в двадцатом годе
Расстрелян Оглоблин Прон.

Расея...
Дуровая зыкь она.
Хошь верь, хошь не верь ушам —
Однажды отряд Деникина
Нагрянул на криушан.
Вот тут и пошла потеха...
С потехи такой — околеть.
Со скрежетом и со смехом
Гульнула казацкая плеть.
Тогда вот и чикнули Проню,
Лабутя ж в солому залез
И вылез,
Лишь только кони
Казацкие скрылись в лес.
Теперь он по пьяной морде
Еще не устал голосить:
«Мне нужно бы красный орден

За храбрость мою носить».
Совсем прокатились тучи...
И хоть мы живем не в раю,
Ты все ж приезжай, голубчик,
Утешить судьбину мою...»

*

И вот я опять в дороге.
Ночная июньская хмарь.
Бегут говорливые дроги
Ни шатко ни валко, как встарь.
Дорога довольно хорошая,
Равнинная тихая звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.
Мелькают часовни, колодцы,
Околицы и плетни.
И сердце по-старому бьется,
Как билось в далекие дни.

Я снова на мельнице...
Ельник
Усыпан свечьми светляков.
По-старому старый мельник
Не может связать двух слов:
«Голубчик! Вот радость! Сергуха!
Озяб, чай? Поди, продрог?
Да ставь ты скорее, старуха,
На стол самовар и пирог.
Сергун! Золотой! Послушай!
. . . .
И ты уж старик по годам...
Сейчас я за милую душу
Подарок тебе передам».
«Подарок?»
«Нет...
Просто письмишко.
Да ты не спеши, голубок!
Почти что два месяца с лишком
Я с почты его приволок».

Вскрываю... читаю... Конечно!
Откуда же больше и ждать!
И почерк такой беспечный,
И лондонская печать.

«Вы живы?.. Я очень рада...
Я тоже, как вы, жива.
Так часто мне снится ограда,
Калитка и ваши слова.
Теперь я от вас далеко...
В России теперь апрель.
И синею заволокой
Покрыта береза и ель.
Сейчас вот, когда бумаге
Вверяю я грусть моих слов,
Вы с мельником, может, на тяге
Подслушиваете тетеревов.
Я часто хожу на пристань
И, то ли на радость, то ль в страх,
Гляжу средь судов все пристальней
На красный советский флаг.
Теперь там достигли силы.
Дорога моя ясна...
Но вы мне по-прежнему милы,
Как родина и как весна».

. . . .

Письмо как письмо.
Беспричинно.
Я в жисть бы таких не писал.

По-прежнему с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.
Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Погорбившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет.

И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»

Далекие милые были!..
Тот образ во мне не угас.

Мы все в эти годы любили,
Но, значит,
Любили и нас.

Январь 1925.
Батум

ПРОЗА

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

ЯР

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

По оконцам кочкового болота скользили волки. Бурый вожак потянул носом и щелкнул зубами. Примолкшая ватага почуяла добычу.

Слабый вой и тихий панихидный переклик разбудил прикурнувшего в дупле сосны дятла.

Из чапыги с фырканьем вынырнули два зайца и, взрывая снег, побежали к межам.

По коленкоровой дороге скрипел обоз; под обротями тропыхались вяхири, и лошади, кинув жвачку, напрянули уши.

Из сетчатых кустов зловеще сверкнули огоньки и, притаившись, погасли.

— Волки,— качнулась высокая тень в подлунье.

— Да,— с шумом кашлянули притулившиеся голоса.

В тихом шуме хвои слышался морочный ушук ледяного заслона...

Ваньчок на сторожке пел песни. Он сватал у Филиппа сестру Лимпиаду и, подвыпевши, бахвалился своей мошной.

На пилепом столе в граненом графине шипела сивуха.

Филипп, опоражнивая стакан, прислонял к носу хлеб и, понюхав, пихал за поросшие, как мшаниной, скулы. На крыльце залаяла собака, и по скользкому катнику заскрипели полозья.

— Кабы не лес крали,— ухватился за висевшее на стенке ружье Филипп и, стукнув дверью, нахлобучил лосиную шапку.

В запотевшие щеки дунуло ветром.

Забрякавшая щеколда скользнула по двери и с инистым визгом стукнула о пробой.

— Кто едет? — процедил его охрипший голос.

— Овсянники,— кратко ответили за возами.

— То-то!

К кружевеющему крыльцу подбег бородатый старик и, замахав кнутовищем, указал на дорогу.

— В чапыжнике,— глухо крякнул он, догоняя сивого мерина.

Филипп вышел на дорогу и упал ухом на мятущие порошни. В ухо, как вата, втыкался пуховитый налет.

— Идут,— позвенел он ружьем по выбоине и, не затворив крыльца, вбежал в избу.

Ваньчок дремал над пустым стаканом. На пол капал огуречный сок и сливался с жилкой пролитого из махотки молока.

— Эй, Фанас,— дернул его Филипп за казинетовую поддевку.— Волки пришли на свадьбу.

— Никакой свадьбы не будет,— забурукал Ваньчок.— Без приданого бери да свадьбу играй.

Филипп, засмехнувши, вынул из запечья старую берданку и засыпал порохом.

— Волки, говорю, на яру.

— Ась? — заспанно заерзал Ваньчок и растянулся на лавке.

Над божницей горевшая лампадка заморгала от шумовитого храпа. Филипп накинул кожух и, опоясав пороховницу, заложил в карман паклю.

— Чукан, Чукан! — кликнул он свернувшуюся под крыльцом собаку и вынул, громыхая бадьей, прицепленный к притолке нацепник. Собака, зачуяв порох, ерзала у ног и виляла хвостом.

Отворил дверь и забрызгал теплыми валенками по снегу.

Чукан, кусая ошейник, скулил и царапался в пострявшее на проходе ведро.

Филипп свернул на бурелом и, минуя коряжник около чапыги, притулился в яме, вывороченной корнями упавшей сосны.

По лещуге, шурша, проскользнул матерый вожак. В коряжнике хряснули сучья, и в мути месяца закружились распыленные перья.

Курок щелкнул в наскребанную селитру, и кверху с дымом взвился вожак и веснянка-волчиха.

К дохнувшей хмелем крови, фыркая, подбежал огузлый самец.

Филипп поднял было на приклад, но пожалел наскреб.

В застывшей сини клубилась снежная сыворотка. Месяц в облаке качался как на подвесках. Самец потянул в себя изморозь и, поджав хвост, сплетаясь с корягами, нырнул в чащу.

Вскинул бердянку и поплелся домой. С помятого кожуха падал пристывший снег.

Оследил кругом для приметы место и вывел пальцем ружье.

На снегу мутнела медвежья перебежка; след вел за чапыгу.

Вынул нож и с взведенным курком, скорчившись, пополз, приклоняясь к земле.

Околь бурыги, посыпаясь белою пылью, валялся чернорыжий пестун.

По спине пробежала радостью волнующая дрожь, коленки опустились и задели за валежник.

Медведь, косолапо повернувшись на левую лопатку, глухо рыкнул и, взрыв копну снега, пустился бежать.

«Упустил»,— мелькнуло в одурманенной голове, и, кидая бивший в щеки чапыжник, он помчал ему наперескок.

Клубоватой дерюгой на снегу застыли серые следы. Медведь, как бы догадавшись, повернул в левую сторону.

На левой стороне по еланке вспорхнули куропатки, он тряхнул головой и шарахнулся назад, но грянул выстрел, и Филипп, споткнувшись, упал на кочку.

«Упустил-таки»,— заколола его проснувшаяся мысль.

С окровавленной головой медведь упал ничком и опять быстро поднялся.

Грянули один за другим еще два выстрела, и тяжелая туша, выпятив язык, задрыгала ногами.

Из кустов, в коротком шубейном пиджаке, с откинутой на затылок папахой, вынырнул высокого роста незнакомец.

Филипп поднял скочившую шапку и робко отодвинул кусты.

Незнакомец удивленно окинул его глазами и застыл в ожидающем молчанье.

Филипп откинул бараний ворот.

— Откулева?

— С Чухлинки.

— Далеконько забрел.

— Да.

Над носом медведя сверкнул нож, и Филипп, склонившись на ружье, с жалостью моргал суженными глазками.

— Я ведь гнал-то.

— Ты?

— Я...

Тяжелый вздох сдул с ворота налет паутинок. Под захряслыми валенками зажевал снег.

— Коли гнал, поделимся.

Филипп молчал и с грустной улыбкой нахлобучивал шапку.

— Скидывай кожух-то?

— Я хотел тебе сказать — не замай.

— А что?

— Тут недалече моя сторожка. Я волков только тудылича бил.

Незнакомец весело закачал головою.

— Так ты, значит, беги за салазками.

— Сейчас сбегаю.

Филипп запахнул кожух и, взяв наперевес ружье, обернулся на коченелого пестуна.

— А как тебя зовут-то?

— Карев, — тихо ответил, запихивая за пояс нож.

Филипп вошел в хату, и в лицо ему пахнуло теплом. Он снял голицы и скинул ружье.

Под иконами ворочался Ваньчок и, охая, опускал под стол голову.

— Блюешь?..

— Брр... — задрыгал ногами Ваньчок и, приподнявшись, выпучил посовелые глаза. — Похмели меня...

— Вставай... проветришься...

Приподнявшись, шаркнул ногами и упал головою в помойную лохань.

Филипп, поджав живот, катался, сдавленный смехом, по кровати и, дергая себя за бороду, хотел остановиться.

Ваньчок барахтался и, прислонясь к притолке, стирал подолом рубахи прилипшие к бороде и усам высевки.

Прикусив губу, Филипп развязал кушак и, скинув кожух, напялил полушубок.

— Медведя убили...

— Самдели?

— Без смеха.

Посовелые глаза заиграли волчьим огоньком, но прихлынувший к голове хмель погасил их.

— Ты идешь?

— Иду...

— И я пойду.

Подковылял к полатям и вытащил свою шубу.

— Пойдем... подсобишь.

Ваньчок нахлобучил шапку и подошел к окну; па окно, прикрытая стаканом, синела недопитая бутыль.

— Там выпьем.

Шаги разбудили уснувшего Чукана, и он опять завыл, скребя в подворотню, и грыз ошейник; с губ его кружевом сучилась пена.

Карев сидел на остывшей туше и, вынув кисет, свертывал из махорки папиросу. С коряжника дул ветер и звенел верхушками отточенных елей.

С поникших берез падали, обкалываясь, сосульки и шуршали по обморози.

Месяц, застыв на заходе, стирался в мутное пятно и бросал сероватые тени.

По снегу, крадучись на кровь, проползла росомаха, но почуяла порох, свернулась клубком и, взрывая снег, покатилась, обеленная, в чапыгу и растаяла в мути. По катнику заскрипели полозья, и сквозь леденелые стволы осинника показались Ваньчок и Филипп.

— Ух какой! — протянул, покачиваясь, Ваньчок и, падая, старался ухватиться за куст.— Ну и лопатки!

— Ты лучше встань, чем мерить лопатки-то, — заговорил Филипп, — да угости пришляка тепленьким.

— А есть разве?

— Есть.

Ваньчок подполз к Кареву и вынул бутыль.

— Валяй прям из горлышка.

Тушу взвалили на салазки и закрепили тяжем.

Ваньчок, растянувшись, спал у куста и бредил о приданом.

— Волков я тожо думаю взвалить.

— А где они?

— Недалече.

В протычинах взвенивал коловшийся под валенками лед.

Филипп взял матерого вожака, а Карев закинул за спину веснянку.

С лещуги с посвистом поднялись глухари и кольцом упали в осинник.

— Пугаются,— крякнул Филипп и скинул ношу на салазки.

Крученый тяж повернулся концом под грядку.

— Эй, вставай, — крикнул он над ухом Ваньчка и потянул его за обвеянный холодом рукав.

— Не встану,— кричал Ваньчок и, ежась, подбирал под себя опустившиеся лыками ноги.

Ветер тропыхал корявый можжевельник и сыпал обдернутой мшанниной в потянутые изморозью промоины.

В небе туманно повис черемуховый цвет, и поблекший месяц нырял за косогором расколовшейся половинкой.

Филипп и Карев взяли поддепки, и полозья заскрипели по катнику.

Щеки горели, за шеями таял засыпанный снег и колол растянутые плечи холодом.

Под валенками, как ржаной помол, хрустел мягкий нанос; на салазках, верхом на медведе, укрывши голову под молодую волчиху, качался уснувший Ваньчок.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Анисим Карев загадал женить сына Костю на золовке своей племянницы.

Парню щелкнул двадцать шестой год, дома не хватало батрачки, да и жена Анисима жаловалась на то, что ей одной скучно и довериться некому.

На Преображенье сосватали, а на Покров сыграли свадьбу.

Свадьба вышла в дождливую погоду; по селу, как кулага, сопела грязь и голубели лужи.

После обедни к попу подъехала запряженная в колымагу пара сиваков. Дымовитые гривы тряхнули обвешенными лентами, и из головней вылез подвыпивший дружко.

Он вытащил из-под сена вязку кренделей, с прижаренной верхушкой лушник и с четвертью вина окорок ветчины.

Из сеней выбег попов работник, помог ему нести и ввел в сдвохлую от телячьей вони кухню.

Из горницы, с завязанным на голове пучком, вышел поп, вынул берестяную табакерку и запустил щепоть в расхлябанную ноздрю.

— Чи-их! — фыркнуло около печки, и с кособокой скамьи полетела куча пыли.

— К твоей милости,— низко свесился дружко.

— Зубок привез?

— Привез.

Поп глянул на сочную, только вынутую из рассола ветчину и ткнул в красниковую любовину пальцем.

— Хорошая.

Вошла кухарка и, схватив за горлышко четверть, понесла к открытому подполью.

— Расколешь! — заботливо поддерживая донышко, крикнул работник.

— Небось,— выпятив отвислую грудь, ответила кухарка и, подоткнув подол, с оголенными икрами полезла в подпол.

— Смачная! — лукаво мигнул работнику дружко и обернулся к попу: — Так ты, батюшка, не мешкай.

В заслюделую дверь, спотыкаясь на пороге, ввалились грузной походкой дьячок и дьякон.

— На колымагу! — замахал рукою дружко.— Выходит сейчас.

— На колымагу так на колымагу,— крякнул дьякон и, подбирая засусленный подрясник, повернул обратно.

— Есть,— щелкнул дьячок под салазки.

— Опосля, опосля,— зашептал дружко.

— Чего опосля?..

С взбитой набок отерханной шапкой и обгрызанным по запяткам халатом, завернув в ворот редкую белую бороденку, вышел поп.

— Едем.

Дьякон сидел на подостланной соломе и, свесив ноги, кышкал облепивших колымагу кур.

Куры, с кудахтаньем и хлопая крыльями, падали наземь, а сердитый огнеперый петух, нахохлившись, кричал на дьякона и топорщил клювом.

— Ишь ты какой сурьезный,— говорил шепелявя дьякон,— в засычку все норовишь, не хуже попа нашего, того и гляди в космы вцепишься.

Батюшка облокотился на дьячка и сел подле дьякона.

— Ты больно широко раздвинулся,— заметил он ему.

Дьякон сполз совсем па грядку, прицепил за дышло ноги и мысленно ругался: «Как петух, черт сивый!»

— Эй, матушка! — крикнул дружко на коренного, но колесо зацепило за вбитый кол.— Н-но, дьявол!— рванул он крепко вожжи, и лошади, кидая грязь, забрякали подковами.

— А ты, пожалуй, нарочно уселся так,— обернулся поп опять к дьякону,— грязь-то вся мне в лицо норовит.

— Это, батюшка, бог шельму карает,— огрызнулся дьякон, но, повернувшись на грядке, полетел кубарем в грязь.

— Тпру, тпру! — кричал взбудораженный дружко и хлестанул остановившихся лошадей кнутовищем.

Лошади рванули, но уже не останавливались.

Подъехав к крыльцу, дружко суматошно ссадил хохотавшего с дьячком попа и повернул за дьяконом.

Дьякон, склонясь над лужей, замывал грязный подрясник.

— Не тпрукай, дурак, когда лошади стали,— искоса поглядел на растерявшегося дружка и сел на взбитую солому.

Молодых вывели с иконами и рассадили по телегам. Жених поехал с попом, а невеста — с крестной матерью.

Впереди, обвязанные накрест рушниками, скакали верховые, а позади с придаными сундуками гремели несправленные дроги.

Перед церковью на дорогу выбежала толпа мужиков и, протянув на весу жердь, загородила дорогу.

Сваха вынесла четверть с водкой и, наливая бражный стакан, приговаривала:

— Пей, гусь, да пути не мочи.

Выпившие мужики оттащили жердь в канаву и с криком стали бросать вверх шапки.

Дьячок сидел с дьяконом и косился — как сваха, не заткнув пробки, болтала пузырившееся вино.

Из калитки церковной ограды вышел сторож, и отодвигая засов, отворил ворота. Поп слез и, подведя жениха к невесте, сжал их правые руки.

Около налоя краснел расстеленный полушалок и коптело пламя налепок.

Не в охоту Косте было жениться, да не захотелось огорчать отца.

По селу давненько шушукали, что он присватался к вдове-соседке.

Слухи огорчали мать, а обозленный отец называл его ёрником.

— Женится — переменится,— говорил Анисиму уважительный кум.— Я сам такой смолоду олахарь был.

Молодайка оказалась приглядная; после загула свекровь показала ей все свое имущество и отдала сарайные ключи.

Костя как-то мало смотрел на жену. Он только узнал, что ходившие о невесте слухи оправдались.

До замужества Анна спуталась со своим работником.

Сперва в утайку заговаривали, что она ходит к нему на сеновал, а потом говор пошел чуть не открыто.

Костя ничего не сказал жене. Не захотелось опечалить мать и укорить отца, да и потом ему самое Анну сделалось жалко. Слабая такая, в одной сорочке стояла она перед ним. На длинные ресницы падали густые каштановые волосы, а в голубых глазах светилась затаенная боль.

Вечерами Костя от скуки ходил с ребятами на улицу и играл на тальянке. Отец ворчал, а жена кротко отпирала ему дверь.

В безмолвной кротости есть зачатки бури, которая загорается слабым пламенем и свивается в огненное половодье.

Анна полюбила Костю, но любовь эта скоро погасла и перешла в женскую ласку; она не упрекала его за то, что он пропадал целыми ночами, и даже иногда сама посылала.

Там, где отперты двери и где нет засовов, воры не воруют.

Но бывает так, что постучится запоздалый путник и, пригретый, забывает, что он пришел на минуту, и остается навсегда.

Анисим вздумал арендовать у соседнего помещика землю. Денег у него не было, но он думал сперва занять, а потом перевернуться на обмолоте.

На рождество пришел к нему из деревни Кудашева молодой парень, годов двадцати, и согласился на найм.

Костя пропал где-то целую неделю на охоте, и от знакомых стрелков о нем не было слуху.

Анна с батраком ходила в ригу, и в два цепа молотили овес.

Парень ударял резко, колос перебивался пополам, а зерна с визгом впивались в разбросанную солому.

После хрестца он вынимал баночку и, завернув накосо бумажку, насыпал в нее, как опилки, чистую полукрупку.

Анна любовалась на его вихрастые кудри, и она чувствовала, как мягко бы щекотали его пуховитые усы губы.

Парень тоже засматривал ей в глаза и, улыбаясь, стряхивал пепел.

— Ну, давай, Степан, еще хрестец обмолотим,— говорила она и, закинув за подмышки зарукавник, развязывала снопы.

Незаметно они сблизились. Садились рядышком и говорили, сколько можно вымолотить из копны.

Степан иногда хватал ее за груди и, щекоча, валил на солому. Она не отпихивала его. Ей было приятно, как загрубелые и скользкие от цепа руки твердо катились по ее телу.

Однажды, когда Костя вернулся и уехал на базар, он повалил ее в чан и горячими губами коснулся щеки.

Она обняла его за голову, и пальцы ее утонули в мягких кудрях...

Вечером на масленицу Костя ушел в корогод и запевал с бабами песни; Анна вышла в сени, а Степан, почистив кирпичом уздечку, перевязал поводья и вынес в клеть.

На улице громко рассыпались прибаски, и слышно, как под окнами хрустел снег. Анисим с бабкой уехал к куму в гости, а оставшийся саврасый жевал в кошелке овес.

Анна, кутаясь в шаль, стояла, склонясь грудью на перила крыльца.

Степан повесил уздечку и вышел на крыльцо. Он неслышно подокрался и закрыл ей ладонями глаза.

Анна обернулась и отвела его руки.

— Пойдем,— покраснев, как бы выплеснула она слово и закрылась рукавом...

В избу вошел с веселой улыбкой Костя.

Степан, побледнев, выбежал в сени, а Анна, рыдая, закопала судорожно вздрагивающие губы в подушку.

Костя сел на лавку и закачал ногами; теперь еще ясней показалось ему все.

Он обернулся к окну и, поманув стоявшего у ветлы Степана, вышел в сени.

— Ничего, Степан, не бойся,— подошел он к нему и умильно потрепал за подбородок.— ты парень хороший...

Степан недоверчиво вздрагивал. Ему казалось, что ласкающие его руки ищут место для намыленной петли.

— Я ничего, Степан... стариков только опасайся... ты, может быть, думаешь — я сержусь? Нет!.. Оденься и пойдем посидим в шинке.

Степан вошел в избу и, не глядя на Анну, вытащил у нее из-под головы нанковый казакин.

Нахлобучил стогом барашковую шапку и хлопнул дверью.

Вечером за ужином Анна видела, как Костя весело перемаргивался с Степаном. На душе у нее сделалось легче, и она опять почувствовала, что любит только одного Костю.

Заметил Анисим, что Костя что-то тоскует, и жене сказал. Мать заботливо пытала, уж не с женой ли, мол, вышел разлад, но Костя, только махнув рукой, грустно улыбался.

Он как-то особенно нежен стал к жене.

На прощеный день она ходила на реку за водой и, поскользнувшись на льду, упала в конурку.

Домой ее привезли на санях, сарафан был скороблен ледяным застывом.

Ночью с ней сделался жар, он мочил ее красный полушалок и прикладывал к голове.

Анна брала его руку и прижимала к губам. Ей легко было, когда он склонялся к ней и слушал, как билось ее сердце.

— Ничего,— говорил он спокойно и ласково.— Завтра к вечеру все как рукой снимет.

Анна смотрела, и из глаз ее капали слезы.

На первой неделе поста Костя причастился и стал собираться на охоту.

В кошель он воткнул кожаные сапоги, онучи, пороховницу и сухарей, а Анна сунула ему рушник.

Достал висевший на гвоздике у бруса обмотанный паутиной картуз и завязал рушником.

Опешила, но спросить не посмела. После чая он сел под иконы и позвал отца с матерью.

Анна присела с краю.

— Благословите меня,— сказал он, нагнувши голову, и подпер локтем бледное красивое лицо.

Отец достал с божницы икону Миколы Чудотворца. Костя вылез и упал ему в ноги. В глазах его колыхалась мутная грусть.

Связав пожитки, передернул кошель за плечи и нахлобучил шапку.

— К страстной вертайся,— сказал отец и, взяв клин, начал справлять топорище.

Покрестился, обнял мать и вышел с Анной наружу. Дул ветер, играла поземка, и снег звенел.

Костя взял Анну за руку и зашагал по кустарниковому подгорью.

Анна шла, наклонив голову, и захлестывала от ветра каратайку.

У озера, где начинался лес, остановился и встряхнул кошелем.

Хвои шумели.

— Ну, прощай, Анна! — проговорил тихо и кротко.— Не обижай стариков.— Немного задумался и гладил ее щеку.—Совсем я...

Анна хотела крикнуть и броситься ему на шею, но, глянув сквозь брызгавшие слезы, увидела, что он был уж на другом конце оврага.

— Костя! — гаркнула она.— Вернись!

— Ись...— ответило в стихшем ветре эхо.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Очухайся! — кричал Филипп, снимая с Ваньчка шубу.

Ваньчок, опустив руки, ослаб, как лыко.

Гасница прыгающим отсветом выводила на белой печи тень нависшего на потолке крюка. За печурками фенькал сверчок, а на полатях дремал, поджав лапы калачиком, сивоухий кот.

— Снегом его,— тихо сказал Карев.

— И то снегом...

Филипп сгорстал нутровый окоренок и, помыв над рукомойником, припес снегу.

Ваньчка раздели наголо, дряблое тело, пропитанное солнцем, вывело синие жилы. Карев разделся и начал натирать. Голова Ваньчка, шленая губами, отвисла и каталась по полу.

В руках снег сжимался, как вата, и выжатым творогом капал.

От Ваньчка пошел пар, зубы его разжались, и глухо он простонал:

— Пи-ить...

Вода плеснула ему в глаза, и, потирая их корявыми руками, он стал подыматься.

Шатаясь, сел на лавку и с дрожью начал напяливать рубаху.

Филипп подсобил надеть ему порты и, расстелив шубу, уложил спать его.

— С перепою,— тихо сказал он, вешая на посевку корец, и стал доставать хлеб.

Карев присел к столу и стал чистить водяниковую наволочку картошки.

Отломив кусочек хлеба, он посолил его и зажевал.

Пахло огурцами, смешанной с клюквой капустой и моченой брусникой.

Филипп вынул с полки сороковку и, ударяя ладонью по донышку, выбил пробку.

— Пей,— поднес он стакан Кареву.— Небось не как ведь Ваньчок. Самовар бы поставить,— почесался Филипп и вышел в теплушку.

— Липа? Лип?..— загукал его сиповатый голос.— Проснися!

Немного погодя в красном сборчатом сарафане вошла девушка.

Косы ее были растрепаны и черными волнами обрамляли лицо и шею.

Карев чистил ружье и, взведя курок, нацелил в нее мушку.

— Убью,— усмехнулся он и спустил щелкнувший курок.

— Не боюсь,— тихо ответила и зазвенела в дырявой махотке березовыми углями.

Лимпиаду звали лесной русалкой; она жила с братом в сторожке, караулила чухлинский лес и собирала грибы.

Она не помнила, где была ее родина, и не знала ее. Ей близок был лес, она и жила с ним.

Двух лет потеряла отца, а на четвертом году ее мать, как она помнила, завернули в белую холстину, накрыли досками и унесли.

Память ее прояснилась, как брат привез ее на яр.

Жена его Аксинья ходила за ней и учила, как нужно складывать пальцы, когда молишься богу.

Потом, когда под окном синели лужи, Аксинья пошла к реке и не вернулась. Ей мерещились багры, которыми Филипп тыкал в воду, и рыбацкий невод.

— Тетенька ушла,— сказал он ей, как они пришли из церкви.— Теперь мы будем жить с Чуканом.

Филипп сам мыл девочку и стирал белье.

Весной она бегала с Чуканом под черемуху и смотрела, как с черемухи падал снег.

— Отчего он не тает? — спрашивала Чукана и, положив на ладонь, дула своим теплом.

Собака весело каталась около ее ног и лизала босые, утонувшие в мшанине скользкие ноги.

Когда ей стукнуло десять годов, Филипп запряг буланку и отвез ее в Чухлинку, к теще, ходить в школу.

Девочка зиму училась, а летом опять уезжала к брату.

На шестнадцатом году за нее приезжал свататься сын дьячка, но Филипп пожалел, да потом девка сама заартачилась.

— Лучше я повешусь на ветках березы,— говорила она,— чем уйду с яра.

Она знала, что к ним никто не придет и жить с ними не останется, но часто сидела на крыльце и глядела на дорогу. Когда поднималась пыль и за горой ныряла, выплясывая, дуга, она бежала, улыбаючись, к загородке и отворяла околицу.

Нынче вечером с соседнего объезда приехал вдовый мужик Ваньчок и сватал ее без приданого.

Весной она часто, бродя по лесу, натыкалась на его коров и подолгу говорила с его подпаском, мальчиком Юшкой.

Юшка вил ей венки и, надевая на голову, всегда приговаривал:

— Ты ведь русалка лесная, а я тебя не боюсь.

— А я возьму тебя и съем,— шутила она и, посадив его на колени, искала у него в рыжих волосах гниды.

Юшка вертелся и не давался искаться.

— Пусти ты,— отпихивал он ее руки.

— Ложись, ложись,— тянула она его к себе.— Я расскажу тебе сказку.

— Ты знаешь про Аленушку и про братца-козленочка Иванушку? — пришлепывая губами, выговаривал Юшка.— Расскажи мне ее... мне ее, бывалоча, мамка рассказывала.

Самовар метнул на загнетку искрами.

— Готов,— сдунув золу, сказала Лимпиада и подошла к желтой полке за чашками.

— Славная штука,— ухмыльнулся Филипп,— рублев двести смоем... Чтой-то я тебя, братец, не знаю,— обернулся он к Кареву: — Говоришь, с Чухлинки, а тебя и не видывал.

— Я пришляк, у просфирни проживаю.

— Пономарь, что ль, какой?

— Охотник.

Лимпиада расстелила скатерть, наколола крошечными кусочками сахар и поставила на стол самовар.

Ободнялая снеговая сыворотка пряжей висела на ставне и шомонила в окно.

— Зорит...— поднял блюдце Карев.— Вот сейчас на глухарей-то хорошо.

От околицы заерзал скрип полозьев. Ваньчок, охая, повернулся на другой бок и зачесал спину.

— Ишь наклюкался,— рассмеялась Лимпиада и накрыла заголившуюся спину халатом.— Гусь жареный, тоже свататься приехал!

— Ох,— застонал Ваньчок и откинул полу.

— Кто там? — отворил дверь Филипп.

— Свои,— забасил густой голос.

Засов, дребезжа, откатился в сторону, и в хату ввалились трое скупщиков.

— Есть дичь-то? — затеребил бороду брюхатый, низенького роста барышник.

— Есть.

— А я тут проездом был, да вижу огонь, дай, мол, заверну наудалую.

— Ты, Кузьмич, отродясь такого не видывал; одно слово, пестун четвертной стоит.

Карев, поворачивая тушу, улыбался, а Лимпиада светила гасницей.

— Бейся не бейся, меньше двух с половиной не возьмем.

Кузьмич, поворачивая и тыча в лопатки, щупал волков.

— Ну, так, знычит, Филюшка, двести с четвертью да за волков четверть.

— Коли не обманываешь — ладно.

Влез за пазуху и вынул туго набитый бумажками кошелек.

— Получай,— слюнявя пальцы, отсчитывал он.

— Счастлив, брат, ты,— ткнул в бок Филипп Карева,— и скупщик, как нарочито, пожаловал.

Карев весело помаргивал глазами и глядел на Лимпиаду. Она, кротко потупив голову, молчала.

— Так ты помоги,— скинул тулуп Кузьмич.

Карев приподнял задние ляжки и поволок тушу за дверь.

— Ишь какой здоровый! — смеялись скупщики.

— Мерина своротит,— щелкнул кушаком Филипп.— Как дерболызнул ему, так ан навзничь упал.

— Он убил-то?
— Он...
На розвальни положили пестуна и обоих волков. Филипп вынул из головней рогожу и, накрыв, затянул веревкой.
— Н-но! — крикнул Кузьмич, и лошади, дернув сани, засемно поплелись шагом.
Умытое снегом утро засмеялось окровавленным солнцем в окно.
Кузьмич шагал за возом и сопел в трубку.
— Не надуешь проклятого.
— Хитрой мужик,— подхватили скупщики и задергали башлыками.
— Дели,— выбросил Филипп на стол деньги.
— Сам дели.
— Ну, не ломайся.
Ваньчок встал, свесил разутые ноги и попросил квасу.
— Кто это? — мотнул он на согнувшегося над кучей денег Карева.
— Всю память заспал,— ухмыльнулся Филипп.
— Нет, самдели?
— Забыл, каналья?
— Эй, дядя,— поднялся Карев,— аль и впрямь запамятовал, как мы тебя верхом на медведе везли?
— Смеетесь,— поднес к губам корец.
— А нам и смеяться нечего, коли снегом тебя оттирали.
К столу подошла Лимпиада. Ваньчок нахлобучил одеяло и, скорчившись, ухватился за голову.
— Тебе полтораста, а мне сто,— встал Карев и протянул руку.
— Как же так?
— Так... я один... А ты с сестрой, вишь.
Ваньчок завистливо посмотрел на деньги.
— Ай и скупщики были?..
— Были.
— Вон оно что...
Карев схватил шапку, взмахнул ружье и вышел.
— Погоди,— останавливал Филипп,— выспишься.
— Нет, поторапливаться надо.
В щеки брызнуло солнце и пахнуло тем весенним ветром, который высасывает сугробы.
На крыльцо выбегла Лимпиада.
— Заходи! — крикнула она, махая платком.
— Ладно.

Шел примятой стежкой и норовил напрямик. На кособокой сосне дятел чистил красноватое, как раненое, крыло.

На засохшую ракиту вспорхнул снегирь и звонко рассыпался свистом.

С дальних полян курилась молочная морока и, как рукав, обвивала одинокие разбросанные липы.

— Садись, касатик, подвезу! — крикнула поравнявшаяся на порожняке баба.

— И то думаю.

— Знамо, лучше... Ишь как щеки-то разгорелись.

Хлестнула кнутом, и лошадь помчала взнамет, разрывая накат и поморозь.

— Что ж пустой-то?

— Продал.

— Ишь бог послал. У меня намедни сын тоже какого ухлопал матерого, четвертную, не стуча по рукам, давали.

— Да, охота хорошая.

За косогором показалась деревня.

— Раменки! — крикнула баба и опять хлестнула трусившую лошадь.

Около околицы валялась сдохлая кобыла, по деревне пахло блинным дымом.

На повороте он увидел, как старуха, несшая вязанку дров, завязла в снег и рассыпала поленья.

На плетне около крайней хаты висела телячья шкура.

— Подбирай, бабушка! — крикнул весело и припал на постельник.

За деревней подхватил ветер и забили крапины застывающего в бисер дождя.

Баба накинула войлоковую шаль и поджала накрытые соломой ноги под поддевку; ветер дул ей в лицо.

Карев, свернувшись за ее спиною, свертывал папиросу, но табак от тряски и ветра рассыпался.

Ствол гудел, и казалось, где-то далеко-далеко кого-то провожали на погост.

— Остановись, тетенька, закурю.

Лошадь почувствовала, как над взнузданными губами натянулись вожжи, и, фыркнув, остановилась.

Свернув папиросу, он чиркал, закрывая ладонями, спичку, но она тут же, не опепеля стружку, гасла.

— Экай ты какой! — крикнула укоризненно баба.— Погоди уж.

Стряхнув солому, она обернулась к нему лицом и расстегнула петли.

— Закуривай,— оттопырила на красной подкладке полы и громко засмеялась.

Спичка чиркнула, и в лицо ударил смешанный с мятой запах махорки.

Баба застегнулась и поправила размотавшуюся по мохрастым концам шаль.

Туман припадал к земле и зарывался в голубеющий по лощинам снег.

Откуда-то с ветром долетел благовест и уныло растаял в шуме хвой.

За санями кружилась, как липовый цвет, снежная пыль, а на высокую гору, погромыхивая тесом, карабкался застрявший обоз.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Старый мельник Афонюшка жил одиноко в покосившейся мельнице, в яровой долине.

В заштопанной мешками поддевке его были зашиты истертые денежные бумажки и медные кресты. Когда-то он пришел сюда батраком, но через год хозяин его, пьянчужка, скопырнулся как-то в плотину и утоп.

Жена его Фетинья не могла заплатить ему зажитое и приписала мельницу. С тех пор мельница получила прозвище «Афонин перекресток».

Афонюшка, девятнадцатигодовалый парень, сделался мельником и скоро прослыл по округе как честный помолотчик.

Из веселого и беспечного он обернулся в задумчивого монаха.

Первые умолотные деньги положил на божницу за Егория и прикрыл тряпочкой.

В сумерки, когда нечего было делать, сидел часто на крылечке и смотрел, как невидимая рука зажигала звезды.

Бор шумел хвойными макушками и с шелестом на поросшие стежки осыпал иглы и шишки.

— Фюи, фюи,— шныряла, шаря по сочной коре, желтохвостая иволга.

— Ух, ух,— лазушно хлопал крыльями сыч.

Нравилось Афоньке сидеть так.

Он все ждал кого-то неизвестного. Но к нему не шли.

— Придут,— говорил он, гладя мухортую собаку.— Где-нибудь и нас так поджидают.

Так прожил он десять лет, но тут с ним случилось то, что заставило его призадуматься.

На пятом ходу хозяйничанья Афонька поехал к сестре взять к себе на прокорм шалыгана Кузьку.

Мать Кузькина с радостью отдала его брату; на ней еще была обуза — шесть человек.

Она оторвала от кудели ссученную нитку, сделала гайтан, надела крест и повесила Кузьке на шею.

— Мотри, богу молись,— наказывала ему.

Кузька, попрощавшись с сестренками, щипнул маленького братишку и весело вскочил на телегу.

— А далеко будем ехать-то? — спросил Афоньку и, лукаво щуря глазенки, забрыкал по соломе.

— Две ночи спать будешь,— ухмыльнулся он,— а на половину третьей приедем...

Первое время Кузька боялся бора. Ему казалось, что за каждым кустом лежит медведь и под каждой кочкой черным кольцом свернулась змея.

Потихонечку он стал привыкать и ходил искать на еланках пьянику.

— Заблудишь,— ворчал Афонька,— не броди далеко.

— Я, дяденька, не боюсь теперь,— смышлено качал желтой курчавой головой Кузька.— Ты разя не знаешь сказку про мальчика с пальчик? Когда его отвели в лес, он бросал белые камешки, а я бросаю калину, она красная, кислая, и птица ее не склюет.

— Ишь какой догадливый,— смеялся Афонька и гладил его по загорелой щеке.

По праздникам они ходили на охоту. Афонька припадал к земле и заставлял Кузьку лечь...

Утро щебетало в лесу птичий молебен и умывало зеленый шелк росою.

Кузька ложился в траву и смотрел в небо.

Синь, как вода, застыла в воздухе; алели паутинки, и висли распластанные коршуны.

Над сосной шумно повис взъерошенный косач; Афонька спустил курок... Облаком заклубился дым.

— Где он, где он? — крикнул, вскакивая, Кузька и побежал к кустам.

За кустами, под спуском, голубело озеро; по озеру катились круги...

— Вот он, вот он! — кричал Кузька и, скинув порт-

чонки, суматошно вытащил из узкой кумачной рубахи голову и прыгнул в воду.

Вода брызнула разбитым стеклом, и лилии, покачиваясь, зачерпывали головками струйки.

Косач был подстрелен в оба крыла, но левое крыло, может быть, было обрызгано кровью или только задето.

Когда Кузька подплыл к нему, он замахал крылом и затрепыхал по воде на другой конец.

— Лови, лови! — кричал Афонька.— Эх ты, сопляк,— протянул он и, сняв картуз, полез в озеро сам.— Гони в кусты! — кричал он, плеская брызгами.

Косач кидался в обратную сторону и ловко проскальзывал за Кузькиной спиною.

— Погоди,— сказал Афонька,— я нырну, а ты гони на кусты, а то опять улизнет.

Потянул губами воздух, и вихрастая голова скрылась под водою.

«Буль, буль!» — забулькало над головами лилий.

— Кши, дьявол! — гонялся Кузька и подымал, шлепая ладонью, брызги к небу.

Косач замахал к кустам и, озираясь, глядел на противоположную сторону.

Запыхавшись, он залез на высунувшуюся корягу и глядел на Кузьку.

У кустов показалась вихрастая голова Афоньки, он осторожно высунул руку и схватил косача за хвост.

Косач забился, и с водяными кругами завертелись черные перья.

Один раз вечером Кузька взял ружье и пошел по тетеревам.

— Не нарвись! — крикнул ему Афонька и поплелся с кузовком за брусникой.

Кузька вошел в калиновый кустарник и сел, схолясь, в листовую опаду.

Как застывшая кровь висели гроздья ягод; чиликали стрекозы, и удушливо дергал дергач.

Кузька ждал и, затаенно выпятив глаза, глядел, оттопыривая зенки, в частый ельник.

— Тех, тех, тех,— щелкал в березняке соловей.

— Тинь, тинь, тинь,— откликались ему желтоперые синицы.

В густом березняке вдруг что-то тяжело заухало и раздался хряст сучьев.

На окропленную кровяной брусникой мшанину выбе-

жал лось, и ветвистые рога затрепали где-то подхваченным поветелем.

Кузька спокойно, как стрелок, высунул за ветку ствол и нацелил в лоб.

Ружье трахнуло, и лось как подкошенный упал на мшанину.

Красные капельки по черным губам застыли в розовату́ю ленту.

«Убил!» — мелькнуло в его голове, и, дрожа радостным страхом, он склонился обрезать для спуска задние колешки.

Но случилось то, чего испугалась даже повисшая на осине змея и, стукнувшись о землю, прыснула кольцом за кочковатую выбень.

Лось вдруг наотмашь поднял судорожно вздрагивающие ноги и с силой размахнул назад.

Кузька не успел повернуться, как костяные копыта ударили ему в череп и застыли.

Пахло паленым порохом; на синих рогах случайно повисшая фуражка трепыхалась от легкого, вздыхающего ветра.

Долго Афонька не показывался на мельницу.

Сельчане, приезжавшие с помолом, думали — он к сестре уехал.

Он глубоко забрался в глушь, свил, как барсук, себе логово и полночью ходил туда, где лежали два смердящие трупа.

Потом он очнулся.

«Господи, не помешался ли я?»

Перекрестился и выполз наружу.

В голове его мелькали, как болотные огоньки, мысли; он хватался то за одну, то за другую, то связывал их вместе и, натянув казакин, побежал в Чухлинку за попом.

Осунулся Афонька и лосиные рога прибил вместе с висевшей на них фуражкою около жернова.

Крепко задумался он — не покинуть ли ему яр, но в крови его светилась с зеленоватым блеском, через черные, как омут, глаза, лесная глушь и дремь. Он еще крепче связался Кузькиной смертью с лесом и боялся, что лес изменит ему, прогонит его.

В нем, ласковая до боли, проснулась любовь к людям, он уж не ждал, а тосковал по ком-то и часто, заслоняя от света глаза, выбегал на дорогу, падал наземь, припадал

ухом, но слышал только, как вздрагивала на вздыхающем болоте чапыга.

Как-то в бессонную ночь к нему пришла дума построить здесь, в яровой лощине, церковь.

Он обвязался, как прутом, круг этой мысли и стал копить деньги.

Каждую тысячу он зашивал с крестом Ивана Богослова в поддевку и спал в ней, почти не раздеваясь.

Деньги с умолота он совсем отказался тянуть на прожитье.

Колол дрова, пилил тес и отдавал скупщикам.

Зимой частенько, когда все выходило до последней картошки, он убегал на болото, рыл рыхлый снег, разгребал скорченными пальцами и жевал мерзлый, спутанный с клюквой мох.

В один из мрачных его дней к нему, обвешанный куропатками, пришел Карев.

С крыши звенели капли, около ставен, шмыгая по карнизу, ворковали голуби и чирикали воробьи.

— Здорово, дедунь! — крикнул он, входя за порог и крестясь на иконы.

Афонюшка слез с печи. Лицо его было сведено морщинами, как будто кто затянул на нем швы. Белая луневая бородка клином лезла за пазуху, а через расстегнутый ворот на обсеянном гнидами гайтане болтался крест.

— Здорово,— кашлянул он, заслоняясь рукой, и скинул шубу,— нет ли, родненький, сухарика? Второй день ничего не жевал.

Карев ласково обвел его взглядом и снял шапку.

— Мы с тобой, дедушка, куропатку зажарим...

Ощипал, выпотрошил и принес беремя дров.

Печка-согревушка засопела березняком, и огоньки запрыгали, свивая бересту в свиной высушенный пузырь.

Когда Карев собрался уходить, Афонюшка почуял, так почуял, как он ждал кого-то, что этот человек к нему не вернется.

— Останься,— грустно поникнул он головою.— Один я...

Карев удивленно поднял завитые на кончиках веки и остановился.

На Фоминой неделе Афонюшка позвал Карева на долину и показал место, где задумал строить церковь. Поддевка его дотрепалась, он высыпал все скопленные деньги на стол и, отсчитав маленькую кучку, остальное зарыл на еланке под старый вяз.

— Глух наш яр-то, жисть надо поджечь в нем,— толковал он с Каревым.— Всю молодость свою думал поставить церковь. Трать,— вынул он пачку бумаг,— ты как Кузька стал мне... словно век я тебя ждал.

Лес закурчавился. В синеве повис весенний звон.

Оба сидели на завалинке; Афонюшка, захлебываясь, рассказывал лесные сказки.

— Не гляди, что мы ковылем пахнем,— грустно усмехнулся он,— мы всю жисть, как вино, тянули...

— Что ж, захмелел?..

— Нема, только икота горло мышью выскребла.

К двору, медленно громыхая колесами, подполз скрипящий обоз. Пахло овсом и рожью... лошадиным потом.

С телеги вскочил, махая голицами, мужик и, сняв с колечка дуги повод, привязал лошадь у стойла.

Баба задзенькала ведром и, разгребая в плотине горстью воду, зачерпнула, едва закрыв пахнувшее замазкой дно. Опрокинула ведро набок и заглотала.

Большой кадык прыгал то в пазуху, то за подбородок.

Афонюшка подбежал к столбам и, падая бессильной грудью на рычаг, подымал обитый жестью спущенный заслон.

Рыжебородый сотский, сдвинув на грядки мешок и подымая за голову руку, кряхтя, потащил на крутую лестницу.

Жернов вертелся и свистел. За стеной с дробным звоном слышался рев воды.

Карев смотрел, как на притолке около жернова на лосиных рогах моталась желтая фуражка.

В сердце светилась тихая, умиленная грусть.

В его глазах стоял с трясущейся бородкой и дремными глазками Афонюшка.

— Чтоб те пусто взяло! — выругался сотский, спуская осторожно мешок.— Не мудрено и брыкнуться...

— Крута лестница-то, крута...— зашамкал, упыхавшись, Афонюшка.— Обвалилась намедни плоская-то, новую заказал.

Карев дернул рычаг, и жернов, хрустя о камень, брызнул потоками искр.

— Сыпь! — крикнул он сотскому и открыл замучнелые совки.

Рожь захрустела, запылилась, и из совков посыпалась мука.

Афонюшка зацепил горсть, высыпал на ладонь и слизнул языком.

— Хруп,— обратился он к Кареву,— спусти еще.

На лестнице показалась баба; лицо ее было красно, спина согнута, а за плечами дыхал травяной мешок. Карев смотрел, как Афонюшка суетливо бегал из стороны в сторону и хватал то совок, то соломенную кошелку.

«Людям обрадовался»,— подумал он с нежной радостью и подпустил помолу.

Баба терлась около завьялого в муке и обвязанного паутинником окошка.

— Что такую рваную повесили! — крикнула она со смехом, кидая под жернов фуражку, и задрожала...

— Фуражка, фуражка! — застонал Афонюшка и сунулся под жернов.

Громыхающий поворот приподнял обмучнелый комок и отбросил на ларь.

На полу рассыпались красные ягоды.

Думы смялись... Это, может быть, рухнула старая церковь. Аллилуйя, аллилуйя...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Карев застыл от той боли, которую некому сказать и незачем.

Его сожгла дума о постройке церкви, но денег, которые дал ему Афонюшка, хватило бы только навести фундамент.

Он лежал на траве и кусал красную головку колючего татарника.

Рядом валялось ружье и с чесаной паклей кожаная пороховница.

Тихо качались кусты, по хвоям щелкали расперившиеся шишки и шомонила вода.

Быстро поднялся, вскинул ружье и пошагал к дому. За спиной болтался брусниковый кузов.

Сунулся за божницу, вынул деньги и, лихорадочно пересчитав, кинулся обратывать лошадь.

Пегасый жеребец откидывал раскованные ноги, ощеривал зубы и прядал ушами.

Скакал прямой поляной к сторожке Филиппа. Поводья звякали удилами, а бляхи бросали огонь.

С крутояра увидел, как Лимпиада отворяла околицу. Она издалека узнала его и замахала зарукавником.

Лошадь, тупо ударив копытами, остановилась; спрыгнул и поздоровался.

— Дома?

— Тут.

Отворил окно и задымил свернутой папиросой. Филипп чинил прорватое веретье, он воткнул шило в стенку и подбежал к окну.

— Ставь! — крикнул Лимпиаде, указывая на прислоненный к окну желтый самовар.

Лимпиада схватила коромысло и, ловко размахнувшись, ударила по свесившейся сосне.

С курчавых веток, как стая воробьев, в траву посыпались шишки.

— Хватит! — крикнул, улыбаясь, Карев и пошел к крыльцу.

— Вот что, Филюшка,— сказал он, расстегивая пиджак,— Афоня до смерти церковь хотел строить. Денег у него было много, но они где-то зарыты. Дал он мне три тысячи. А ведь с ними каши не сваришь.

Филипп задумался. Волосатая рука забарабанила по голубому стеклу пальцами.

— Что ж надумал? — обернулся он, стряхивая повисшие на глаза смоляные волосы.

— Школу на Раменках выстроить...

— Что ж, это разумно... А то тут у нас каждый год помирают мальцы... Шагай до Чухлинки по открытому полю версты четыре... Одежонка худая, сапожки снег жуют, знамо дело, поневоле схватишь скарлатину или еще что...

— Так и я думаю... сказать обществу, чтоб выгоняло подводы, а за рубку и извоз заплатить мужикам вперед.

От самовара повеяло смольными шишками, приятный запах расплылся, как ладан, и казалось, в избе только что отошла вечерня.

Карев глядел молча на Лимпиаду, она желтым полотенцем вытирала глиняные чашки.

Закрасневшись, она робко вскидывала свои крыльями разведенные брови, и в глазах ее словно голуби пролетали.

Она сама не знала, почему не могла смотреть на при-

шляка. Когда он появлялся, сердце ее замирало, а горячая кровь пенилась.

Но бывало, он пропадал и не являлся к ним по неделям.

Тогда она запрягала лошадь в таратайку и посылала Филиппа спроведать его.

Филипп чуял, что с сестрой что-то стало неладное, и заботливо исполнял ее приказанья.

Он пришел в лунную майскую ночь. Шмыгнул, как тень, за сосну и притаился.

Карев сидел на крыльце и, слушая соловьев, совал в лыки горбатый кочатыг. Он плел кошель и тоненько завастривал тычинки.

В кустах завозилось, он поднял голову и стал вслушиваться.

В прозрачной тишине ему ясно послышались крадущиеся шаги и сдавленное дыханье.

— Кто там? — крикнул он, откидывая кошель.

— Я...— тихо и кратко было ответом.

— Кто ты?

— Я...

— Я не знаю, кто ты,— смеясь, зашевелил он кудрявые волосы.— А если пришел зачем, так подходи ближе.

Кусты зашумели, и тень прыгнула прямо на освещенное луною крыльцо.

— Чего ж ты таишься?

К крыльцу, ссутулясь, подошел приземистый парень. Лицо его было покрыто веснушками, рыжие волосы клоками висели из-под картуза за уши и над глазами.

— Так,— брызнул он сквозь зубы слюну.

Карев глухо и протяжно рассмеялся. Глаза его горели лунным блеском, а под бородой и усами, как приколотый мак, алели губы.

— Ты бел, как мельник,— сказал отрывисто парень.— Я думал, ты ранен и с губ твоих течет кровь... Ты сегодня не ел калину?

Карев качнул головою.

— Я не сбирал ее прошлый год, а сегодня она только зацветает.

— Что ж ты здесь делаешь? — обернулся он, доставая кочатыг и опять протыкая в петлю лыко.

— Дорогу караулю...

Карев грустно посмотрел на его бегающие глазки и покачал головою.

— Зря все это...

Парень лукаво ухмыльнулся и, раскачиваясь, сел на обмазанную лунью ступеньку.

— Как тебя величают-то?..

— Аксютка.

Улыбнулся и почему-то стал вглядываться в его лицо.

— Правда, Аксютка... Когда крестили, назвали Аксеном, а потом почему-то по-бабьему прозвище дали.

— Чай хочешь пить? — поднялся Карев.

— Не отказываюсь... Я так и норовил к тебе ночевать.

— Что ж, у меня места хватит... Уснем на сеновале, так завтра тебя до вечера не разбудишь. Сено-то свежее, вчера самый зеленый побег скосил... она, вешняя отава-то, мягче будет и съедобней... Расставь-ка таганы,— указал он на связанные по верхушке три кола.

Аксютка разложил на кулижке плахи, собрал в кучу щепу и чиркнул спичку. Дым потянулся кверху и издали походил на махающий полотенец.

Карев повесил на выструганный крюк чайник и лег.

— Не воруй, Аксютка,— сказал, загораживаясь ладонью от едкого дыма.— Жисть хорошая штука, я тебе не почему-нибудь говорю, а жалеючи... поймают тебя, изобьют... зачахнешь, опаршивеет все, а не то и совсем укокошат.

Аксютка, облокотясь, тянул из глиняной трубки сизый дым и, отплевываясь, улыбался.

— Ладно тебе жалеть-то,— махнул он рукой.— Либо пан, либо пропал!

Чайник свистел и белой накипью брызгал на угли.

— Ох,— повернулся Аксютка,— хочешь, я расскажу тебе страшный случай со мною.

— Ну-ка...

Он повернулся, всматриваясь в полыхающий костер, и откинул трубку.

— Пошел я по весне с богомолками в лавру Печерскую. Накинул за плечи чоботы с узлом на палочке, помолился на свою церковь и поплелся.

С богомольцами, думаю, лучше промышлять. Где уснет, можно обшарить, а то и отдыхать сядешь, не дреми.

В корогоде с нами старушка шла. Двохлая такая старушонка, всю дорогу перхала.

Прослыхал я, что она деньжонки с собой несет, ну и стал присватываться к ней.

С ней шла годов восемнадцати али меньше того внучка.

Я и так к девке, и этак,— отвиливает, чертовка. Долго бился, половину дороги почти, и все зря.

Потихонечку стала она отставать от бабки, стал я ей речи скоромные сыпать, а она все бурдовым платком закрывалась.

Разомлела моя краля. Подставила мне свои сахарные губы, обвила меня косником каштановым, так и прилипла на шею.

Ну, думаю, теперь с бабкой надо проехать похитрей; да чтоб того... незаметно было.

Идем мы, костылями звеним, воркуем, как голубь с голубкой. А все ж я вперед бабки норовлю.

Смотри, мол, карга, какой я путевый; внука-то твоя как исповедуется со мной.

Стала и бабка со мной про божеское затевать, а я начал ей житие преподобных рассказывать. Помню, как рассказал про Алексея божьего человека, инда захныкала.

Покоробило исперва меня, да выпил дорогой косушечку, все как рукой сняло.

Пришли все гуртом на постоялый двор, я и говорю бабке... что, мол, бабушка, вшей-то набирать в людской, давай снимем каморочку; я заплачу... Двохлая такая была старушонка, все время перхала.

Полеглись мы кой-как па полу; я в углу, а они посередке.

Ночью шарю я бабкины ноги, помню, что были в лаптях.

Ощупал и тихонечко к изголовью подполз.

Шушпан ее как-то выбился, сунулся я в карман и вытащил ее деньги-то...

А она, старая, хотела повернуться, да почуяла мою руку и крикнула.

Спугался я, в горле словно жженый березовый сок прокатился.

Ну, думаю, услышит девка, каюк будет мпе.

Хвать старуху за горло и туловищем налег...

Под пальцами словно морковь переломилась.

Сгреб я свой узелок, да и вышел тихонечко. Вышел я в поле, только ветер шумит... Куда, думаю, бежать...

Вперед пойду — по спросу урядники догадаются; назад — люди заметят... Повернул я налево и набрел через два дня на село.

Шел лесом, с дороги сбился, падал на мох, рвался о пеньки и царапался о щипульник; ночью все старуха бластилась и слышалось, как это морковь переломилась...

Приковылял я за околицу, гляжу, как на выкате трактирная вывеска размалевана...

Вошел, снял картуз и уселся за столик.

Напротив сидел какой-то хлюст и булькал в горлышко «жулика». «Из своих»,— подумал я и лукаво подмигнул.

— А, Иван Яклич! — поднялся он.— Какими судьбами?..

— Такими судьбами,— говорю.— Иду богу молиться.

Сели мы с ним, зашушукались.

— Дельце,— говорит,— у меня тут есть. Вдвоем, как пить дадим, обработаем. «Была бы только ноченька сегодня потемней».

Ехидно засмеялся, ощурив гнилые, как суровикой обмазанные зубы.

Сидим, пьем чай, глядим — колымага подъехала, из колымаги вылез в синей рубахе мужик и, привязав лошадь, поздоровался с хозяйкой.

Долго сидели мы, потом мой хлюст моргнул мне, и мы, расплатившись, вышли.

— К яру пойдем,— говорит он мне.— Слышал я — ночевать у стогов будет.

Осторожно мы добрались до стогов и укутались в промежках...

Слышим — колеса застучали, зашлепали копыта, и мужик, тпрукая, стал распрягать.

Хомут ерзал, и слышно было, как скрипели гужи.

Ночь и впрямь, как в песне, вышла темная-претемная.

Сидим, ждем, меня нетерпенье жжет. «Не спит все»,— думаю.

Тут я почуял, как по щеке моей проползла рука и, ущипнув, потянула за собой. Подползли к оглоблям; он спал за задком на веретье.

Я видел, как хлюст вынул из кармана чекмень и размахнулся...

Но тут я увидел... я почувствовал, как шею мою сдавил аркан.

Мужик встал, обежал нас кругом и затянул еще крепче.

— Да,— протянул Аксютка,— как вспомнишь, кровь приливает к жилам.

Карев подкладывал уже под скипевший чайник поленьев и, вынув кисет, взял Аксюткину трубку.

— Что же дальше-то было?

Аксютка вынул платок и отмахнул пискливого комара.

— Ну и дока! — прошептал хлюст, когда тот ушел в кустарник, и стал грызть на моих руках веревку.

Вытащил я левую руку, а правую-то никак не могу отвязать от ног.

Принес он крючковатых тычинок, повернул хлюста спиною и начал, подвострив концы, в тело ему пихать...

Заорал хлюст, а у меня, не знаю откуда, сила взялась. Выдернул я руку, аж вся шкура на веревке осталась, и, откатившись, стал развязывать ноги.

Покуль я развязывал, он ему штук пять вогнал.

Нащупал я нож в кармане, вытащил его и покатился, как будто связанный... к нему... Только он хотел вонзить тычинку, — я размахнулся и через спину угодил, видно, в самое его сердечушко...

Обрезал я на хлюсту веревки, качнул его голову, а он, бедняга, впился зубами в землю да так... и богу душу отдал.

Аксютка замолчал. Глаза его как бы заволоклись дымом, а под рубахой, как голубь, клевало грудь сердце.

Лунь лизала траву, дробно щелкали соловьи, и ухал филин.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На Миколин день Карев с Аксюткой ловил в озере красноперых карасей.

Сняли портки и, свернув их комом, бросили в щипульник. На плече Карева висел длинный мешок. Вьюркие щуки, ударяя в стенки мешка, щекотали ему колени.

— Кто-то идет, — оглянулся Аксютка, — кажись, баба, — и, бросив ручку бредня к берегу, побег за портками.

Карев увидел, как по черной балке дороги с осыпающимися пестиками черемухи шла Лимпиада.

Он быстро намахнул халат и побежал ей навстречу.

— Какая ты сегодня нарядная...

— А ты какой ненарядный, — рассмеялась она и брызнула снегом черемухи в его всклокоченные волосы.

Улыбнулся своей немного грустной улыбкой и почуял, как радостно защемило сердце. Взял нежно за руку и повел показывать рыбу.

— Вот и к разу попала. Растагарю костер и ухи наварю...

— Во-во! — замахал весело ведром Карев и, скатывая

бредень, положил конец на плечо, а другой подхватил Аксютка.

— Ведь он ворица,— указала пальцем на него.— Ты небось думаешь, какой прохожий?..

— Нет,— улыбнулся Карев,— я знаю.

Аксютка вертел от смеха головою и рассучивал рукав.

— Я пришла за тобой к празднику. Ты разве не знаешь, что сегодня в Раменках престол?

— К кому ж мы пойдем?

— Как к кому?.. Там у меня тетка...

— Хорошо,— согласился он,— только вперед Аксютку накормить надо. Он сегодня ко мне на заре вернулся.

Лимпиада развела костер и, засучив рукава, стала чистить рыбу.

С губастых лещей, как гривенники, сыпалась чешуя и липла на лицо и на волосы. Соль, как песок, обкатывала жирные спины и щипала заусенцы.

— Ну, теперь садись с нами к костру,— шумнул Карев.— Да выбирай зараня большую ложку.

Лимпиада весело хохотала и указывала на Аксютку. Он, то приседая, то вытягиваясь, ловил картузом бабочку.

— Аксютка,— крикнула, встряхивая раскосмаченную косу,— иди, поищу!

Аксютка, запыхавшись, положил ей на колени голову и зажмурил глаза.

Рыба кружилась в кипящем котле и мертво пучила зрачки.

Солнце плескалось в синеве, как в озере, и рассыпало огненные перья.

Карев сидел в углу и смотрел, как девки, звякая бусами, хватались за руки и пели про царевну.

В избу вкатился с расстегнутым воротом рубахи, в грязном фартуке сапожник Царек.

Царька обступили корогодом и стали упрашивать, чтоб сыграл на губах плясовую.

Он вынул из кармана обгрызанный кусок гребешка и, оторвав от численника бумажку, приложил к зубьям.

«Подружки голубушки,— выговаривал, как камышовая дудка, гребешок,— ложитесь спать, а мне, молодешеньке, дружка поджидать».

— Будя,— махнула старуха,— слезу точишь.

Царек вытер рукавом губы и засвистал плясовую. Девки с серебряным смехом расступились и пошли в пляс.

— В расходку! — кричал в новой рубахе Филипп.— Ходи веселей, а то я пойду!

Лимпиада дернула за рукав Карева и вывела плясать.

На нем была белая рубашка, и черные плюшевые штаны широко спускались на лаковые голенища.

С улыбкой щелкнул пальцами и, приседая, с дробью ударял каблуками.

В избу ввалился с тальянкой Ваньчок и, покачиваясь, кинулся в круг.

— Ух, леший тебя принес! — засуетился обидчиво Филипп.— Весь пляс рассыпал.

Ваньчок вытаращил покраснелые глаза и впился в Филиппа.

— Ты не ругайся,— сдавил он мехи,— а то я играть не буду.

— Ты чей же будешь, касатик? — подвинулась к Кареву старуха.

— С мельницы,— ласково обернулся он.

— Это что школу строишь?..

— Самый.

— Надоумь тебя царица небесная. Какое дело-то ты делаешь... Ведь ты нас на воздуси кинаешь — звезды, как картошку, сбирать.

Карев перебил и, отмахиваясь руками, стал отказываться:

— Я тут, как кирпич, толку... Деньги-то ведь не мои.

— Зрящее, зрящее,— зашамкала прыгающим подбородком.— Ведь тебе оставил-то он...

Лимпиада стояла и слушала. В ее глазах сверкал умильный огонек.

За окном в матовом отсвете грустили вербы и целовали листьями голубые окна.

Аксютка запер хату и пошел в Раменки.

Ему хотелось напиться пьяным и побуянить. Он любил, когда на него смотрели как на страшного человека.

Однажды покойная Устинья везла с ярмарки спившегося Ваньчка и, поравнявшись с Аксюткой, схватила мужа за голову и ударила о постельник.

— Чтоб тебя где-нибудь уж Аксютка зарезал! — крикнула она и пнула в лицо ногой.

Ребятишки, собираясь по кулижкам, часто грезили о нем; каждый думал — как вырастет, пойдет к нему в шайку.

— Вот меня-то уж он наверняка возьмет в кошевые,— говорил с белыми, как сметана, волосами Микитка,— потому знает, что я крепче всех люблю его.

— А я кашеваром буду,— тянул однотонно Федька,— Ермаком сделаюсь и Сибирь завоюю.

— Сибирь,— передразнивал Микитка.— А мы, пожалуй, вперед тваво возьмем Сибирь-то, уж ты это не говори.

— Ты все сычишься наперед,— обидчиво дернул губами Федька.— Твоя вся родня такая... твой отец, мамка говорит, только губами шлепает. А мы все время на Чухлинке лес воруем. Нам Ваньчок что хошь сделает.

— Поди-ка съешь кулака,— волновался Микитка.— А откуда у нас жерди-то, чьи строги-то на телегах?.. Это вы губами-то шлепаете, мы у вас в овине всю солому покрали, а вы и не знаете... накось...

Аксютка вошел в избу сотского и попросил бабку налить ему воронка.

Бабка в овчинной шубенке вышла в сени и, отвернув кран, нацедила глубокий половник.

— Где ж Аким-то? — спросил, оглядывая пустую лежанку.

— У свата.

— Обсусоливает все,— смеясь, мотнул головой.

— Что ж делать, касатик, скучно ему. Вдовец ведь...

Надел фуражку и покачнулся от ударившего в голову хмеля.

— Не обессудь, ягодка, дала бы тебе драчонку, да все вышли. Оладьями, хошь, угощу?

Вынесла жарницу от загнетки и открыла сковороду. Аксютка выглядел, какие порумяней, и, сунув горсть в карман, выбег на улицу.

У дороги толпился народ. Какой-то мужик с колом бегал за сотским и старался ударить его в голову.

Нахлынувшие зеваки подзадоривали драку. Ухабистый мужик размахнулся, и переломившийся о голову сотского кол окунулся расщепленным концом в красную, как воронок, кровь.

Аксютка врезался в толпу и прыгнул на мужика, ударяя его в висок рукояткой ножа.

Народ зашумел, и все кинулись на Аксютку.

— Бей живореза! — кричал мужик и, ловко подняв ногу, ударил Аксютку по пяткам.

Упал и почуял, как на грудь надавились тяжелые костяные колени.

Расчищая кулаками дорогу, к побоищу подбег какой-то парень и ударил лежачему обухом около шеи.

Побои посыпались в лицо, и сплюснутый нос пузырился красно-черной пеной...

— Эх, Аксютка, Аксютка,— стирал кулаком слезу старый пономарь,— подломили твою бедную головушку!.. Что ж ты стоишь, чертовка! — ругнул он глазеющую бабу.— Принесла бы воды-то... живой, чай, человек валяется.

Опять собрался народ, и отрезвевший мужик бледно тряс губами.

— Подкачнуло тебя, окаянного. Мою душу загубил и себя потерял до срока.

— То-то не надо бы горячиться,— укорял пономарь.— Оно, вино-то, что хошь сделает.

Аксютка поднялся слабо на колени и, свесив голову, отирал слабой рукой прилипшую к щеке грязь.

— На... а... мель...— дрогнул он всем телом и упал навзничь.

— На мельницу, вишь, просится,— жалобно заохала бабка.— Везите его скорей...

Парень, бивший топором Аксютку, болезно смотрел на его заплывшие глаза и, отвернувшись, смахнул каплю слезы.

Мужик побежал запрягать лошадь, а он взял черпак и начал поливать голову Аксютки водой.

Вода лилась с подбородка струей и, словно подожженная, брызгала на кончике алостью...

Положили бережно на сено и помчали на мельницу. Дорогой он бредил о Кареве, пел песни, ругался и срывал повязку.

Карев сидел с Лимпиадой у окна и смотрел, как розовый закат поджигал черную, клубившуюся дымом тучу. По дороге вдруг громко загремели бубенцы, и к крыльцу подъехали с Аксюткой.

Он почуял, как в сердце у него закололо шилом. Взял Аксютку, обнял и понес в хату.

— Ложись, ложись,— шептал бледный как снег...

Лимпиада тряслась, как осина, и рыданья кропили болью скребущую тишину.

Аксютка встал и провел по губам рукой...

— Поди...— глухо прошептал, поманув Карева.— Хва-

стал я... никого не убивал,— закашлялся он.— Это я так все... выдумал...

Карев прислонил к его голове мокрую тряпку.

Сумерки грустно сдували последнее пламя зари, и за косогором показался, как желтая дыня, месяц.

На плесе шомонили вербы, и укромно шнырял ветерок.

— Липа! — крикнул Аксютка, хватаясь за грудь.— Сложи мне руки... помирать хочу...

Лимпиада, с красными глазами, подбежала к постели и опустилась на колени.

— Крест на меня надень...— опять глухо заговорил он.— В кармане... оторвался... Мать надела.

Судорожно всхлипывая, сунула в карман руку и, вынув из косы алый косник, продела в ушко креста.

Аксютка горько улыбнулся, вздрогнул, протягивая свесившиеся ноги, и замер.

За окошком кугакались совы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Покосилась изба Анисима под ветрами, погнулся и сам старый Анисим.

Не вернулся Костя с охоты, а после пасхи пришло письмо от вихлюйского стрелка.

Почуял старый Анисим, что неладное принесло это письмо, еще не распечатывая.

«Посылаю свое почтение Анисиму Панкратьеву, я знал хорошо твоего сына и спяшу с скорбью поведать, что о второй день пасхи он переправлялся через реку и попал в полынью.

На льду осталась его шапка с адристом, а его, как ни тыкали баграми, не нашли».

Жена Анисима слегла в постель и, прохворав полторы недели, совсем одряхлела.

Анна с бледной покорностью думала, что Костя покончил с собой нарочно, но отпихивала эту думу и боялась ее.

Степан прилип к ней, и смерть Кости его больше обрадовала, чем опечалила.

Старушка мать на Миколу пошла к обедне и заказала попу сорокоуст.

Вечером на дом пришел дьякон и отслужил панихиду.

— Мать скорбящая,— молился Анисим,— не отступись от меня.

В седых волосах его зеленела вбившаяся трава и пестиками щекотала шею.

Анисим махал над шеей рукой и думал, что его кусает муха.

— Жалко, жалко,— мотал рыжей бородой дьякон,— только женили и па поди какой грех.

— Стало быть, богу угодно так,— грустно и тихо говорил Анисим, с покорностью принимая свое горе.— Видно, на роду ему было написано. От судьбы, говорится, на коне не ускачешь.

Запечалилась Наталья по сыну. Не спалось ей, не елось.

— Пусти меня, Анисим,— сказала она мужу.— Нет моей мочи дома сидеть. Пойду по монастырям православным поминать новопреставленного Константина.

Отпустил Анисим Наталью и пятерку на гайтан привязал.

«Тоскует Наталья,— думал он,— не успокоить ей своей души. Пожалуй, помрет дома-то».

Помаленьку стала собираться. Затыкала в стенку веретена свои, скомкала шерсть на кудели и привесила с донцем у бруса.

Пусть, мол, как уйду, поминают.

Утром, в петровское заговенье, она истопила печь, насушила жаровню сухарей и связала их в холщовую сумочку.

Анна помогала ей и заботливо совала в узел, что могло понадобиться.

В обеды старуха гаркнула рубившему дрова Анисиму, присела на лавку и со слезами упала перед иконами на колени.

От печи пахло поджаренными пирогами, на загнетке котенок тихонько звенел заслоном.

— Прости Христа ради,— обняла она за шею Анисима.— Не знаю, ворочусь ли я.

Анисим, скомкав шапку, утирал заголубевшую на щеке слезу.

— А ты все-таки того...— ласково обернулся к ней.— Помирать-то домой приходи.

Наталья, крестясь, подвязала сумочку и взяла камышовый костыль.

— Анна,— позвала она бледную сноху,— поди, я тебя благословлю.

Анна вышла и, падая в ноги, зарукавником прикрыла опухшие глаза.

— Господь тебя благословит. Пройдет сорокоуст, можешь замуж итить... Живи хорошенько. Пойдем,— крикнула она Анисиму,— за околицу проводить надо.

Анна надела каратайку и тихо побрела, поддерживая ей сумку, к полю.

— А ты нет-нет и вестку пришли,— тягуче шептал Анисим,— оно и нам веселей станет. А то ведь одни мы...

Тихо, тихо... В смолкших травах чудилось светлое успокоение... Пошла, оборачиваясь назад, и, приостановившись, махала костылем, чтобы домой шли.

От сердца как будто камень отвалился.

С спокойной радостью взглянула в небо и, шамкая, прошептала:

— Мати дево, все принимаю на стези моей, пошли мне с благодатной верой покров твой.

Анисим стоял с покрытой головой и, закрываясь от солнца, смотрел на дорогу.

Наталья утонула в лоску, вышла на бугор и сплелась с космами рощи; он еще смотрел, и застывшие глаза слезились.

— Пойдем, папаша,— дернула его за рукав Анна.— Теперь не воротишь ведь.

Шли молча, но ясно понимали, что печаль их связала в один узел.

— Не надо мне теперь землю,— говорил он, безнадежно оглядывая арендованное поле.— Затянет она меня и тебя разорит. Ты молодая еще, жить придется. Без приданого-то за вдовой не погонятся, а так весь век не проживешь, выходить все равно придется.

— Тебе видней,— отвечала Анна.— Знамо, теперь нам мускорно.

Покорился Анисим опутавшей его участи. Ничего не спихнул с своих ссутуленных плеч.

Залез только он ранее срока на печь и, свесив голову, как последней тайны, ждал конца.

Анна позвала Степана посмотреть выколосившуюся рожь.

Степан взял назубренный серп и, заломив картуз, пошел за Анной.

— Что ты думаешь делать? — спросила она его.

— Не знаю,— тихо качнул головою и застегнул ослаблый ремень.

— Я тоже не знаю,— сказала она и поникла головою.

Вошла в межу, и босые ноги ее утонули в мягкой резеде.

— Хорош урожай,— сказал, срывая колос, Степан.— По соку видно, вишь, как пенится.

Анна протянула руку за синим васильком и, поскользнувшись с межи, потонула, окутанная рожью.

— Ищи! — крикнула она Степану и поползла в соседнюю долю.

— Где ты? — улыбаясь, подымался Степан.

— Ау,— звенел ее грудной голос.

— Вот возьму и вырву твои глаза,— улыбался он, посадив ее на колени.— Вырву и к сердцу приколю. Они синей васильков у тебя.

— Не мели зря,— зажимала она ему ладонью губы.— Ведь я ослепну тогда.

— А я тебя водить стану,— отслонял он ее руку,— сумочку надену, подожочек вытешу, поводырем пойду стучать под окна: подайте, мол, Аннушке горькой, которая сидела тридцать три года над мертвым возлюбленным и выплакала оченьки.

Вечером к дому Анисима прискакал без фуражки верховик и, бросив поводья без привязи, вбежал в хату.

— Степан,— крикнул он с порога,— скорей, мать помирает!

Степан надел картуз и выбежал в сени.

— Погоди,— крикнул он,— сейчас обратаю!

Лошади пылили и брызгали пенным потом.

Когда они прискакали в село, то увидели, что у избы стояла попова таратайка.

В избе пахло воском, копотливой гарью и кадильным ладаном.

Акулина лежала на передней лавке. Глаза ее, как вшитая в ложбинки вода, тропыхались.

Степан перекрестился и подошел к матери.

Родные стояли молча и плакали.

— Степан,— прохрипела она,— не бросай Мишку...

Желтая свечка задрожала в ее руках и упала на саван.

Одна осталась Анна. Анисим слез с печи, надел старую хламиду и поплелся на сход. Она оперлась на подоконник и задумалась. Слышно, как тоненько взвенивала осокой река и где-то наянно бухал бучень.

«Одна, совсем одна,— вихрились в голове ее думы,— свекор в могилу глядит, а у Степана своя семья, его так и тянет туда.

Теперь, как померла мать, жениться будет и дома останется. Может быть, остался бы, если не Мишка... Подросток, припадочный... ему без Степана живая могила.

Бог с ним,— гадала она,— пускай делает как хочет».

В душе ее было тихое смирение, она знала, что боль, которая бередит сердце, пройдет скоро, и все пойдет по повому руслу.

К окну подошел столяр Епишка. От него пахло водкой и саламатой.

— Ты, боярышня круглолицая, что призадумалась у окна?

— Так, Епишка,— грустно улыбнулась она.— Невесело мне.

— Али Иван-царевич покинул?

— Все меня бросили... А может, и я покинула.

— Не тужи, красавица! Прискачет твой суженый, недолго тебе томиться в терему затворчатом.

— Жду,— тихо ответила она.— Только, видно, серые волки его разорвали.

— Не то, не то, моя зоренька,— перебил Епишка,— ворон живой воды не нашел.

Кис Анисим на печи, как квас старый, да взыграли дрожжи, кровь старая, подожгла она его старое тело, и не узнала Анна своего свекра.

Ходил старик на богомолье к Сергию Троице, пришел оттолева и шапки не снял.

— Вот что,— сказал он Анне,— нечего мне дома делать. Иди замуж, а я в монахи. Не вернется наша бабка. Почуял я.

Ушел старый Анисим, пришел в монастырь и подрясник надел.

Возил воду, колол дрова и молился за Костю.

— На старости спасаться пришел,— шамкал беззубый седой игумен,— путево, путево, человече... В писании сказано: грядущего ко мне не изжену вон,— бог видит душуто. У него все мысли ее записаны.

Анисим откидывал колун и, снимая с кудлатой головы скуфью, с благоговением чмокал жилистую руку игумена.

По субботам он с богомолками отсылал Анне просфорочку и с потом выведенную писульку.

«Любая сношенька, живи хорошенько, горюй помалу и зря не крушпнься.

Я молюсь за тебя богу, дай тебе он, милосердный, силы и крепости.

Житье мое доброе и во всем благословение божьей матери.

Вчера мне приснилась Натальюшка. Она пришла ко мне в келью с закрытым лицом. Гадаю, не померла ли она... Утиральник твой получил... спасибо... Посылаю тебе артус, девятичиновную просфору, положи их на божницу и пей каждое утро со святой водой, это тебе хорошо и от всякого недуга пользительно».

Анна радостно клала письмо за пазуху и ходила перечитывать по базарным дням к лавочнику Левке.

По селу загуторили, что она от Степки забрюхатела.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Филипп запряг лошадь, перекрестил Лимпиаду и, тронув вожжи, помчал на дорогу.

Он ехал в Чухлинку сказать, что приехали инженеры и отрезали к казенному участку, который покупал какой-то помещик, чухлинский Пасик.

Пасик — еланка и орешник — место буерачное и неприглядное.

Но мужики каждой осенью дробились на выти и почти по мешку на душу набирали орехов.

Весной там паслись овцы, и в рытых землянках жили пастухи.

Филипп досадовал, что чухлинцы не могли приехать по наказу сами.

Спустился в долину и увидел вбивавшего колья около плотины Карева.

— Далеко?

— Да в Чухлинку,— сердито махнул он, заворачивая к мельнице.— Отрезали ведь,— поморщился и стер со лба остывающий пот.

— Плохое дело...

— Куда хуже.

— Ты погоди ехать в Чухлинку,— сказал Карев.— Попьем чай, погуторим, а потом и я с тобой поеду.

День был ветреный, и сивые тучи, как пакля, трепались и, подхваченные ветром, таяли.

Филипп отпустил повод, завязал его за оглоблю и отвел лошадь на траву.

Летняя томь кружила голову, он открыл губы и стал пить ветер.

— Ох,— говорил Карев,— теперь война пойдет не на шутку. Да и нельзя никак. Им, инженерам-то, что! Подкупил их помещик, отмерили ему этой астролябией без лощин, значит, и режь. Ведь они хитрые бестии. Думают: не смекнут мужики.

— Где смекнуть второпях-то,— забуробил Филипп,— тут все портки растеряешь.

— Я думаю нанять теперь своих инженеров и перемерить участки... Нужно вот только посмотреть бумаги — как там сказано, с лощинами или без лощин. Если не указано — плевое дело. У нас на яру ведь нет впадин и буераков, кроме этой долины, а в старину земли делили не как сейчас делят.

— Говоришь — война будет, значит, не миновать... Кто их знает: целы ли бумаги.

Тучи клубились шерстью и нитками сучили дождь.

Карев надел кожан, дал Филиппу накрыться веретье, и поехали на Чухлинку.

Дорога кисла киселем, и грязь обдавала седоков в спины и в лицо.

Лес дымил как задавленным пожаром; в щеки сыпал молодятник мох, и веяло пролетней вялостью.

Переехали высохший ручей и стали взбираться на бугор.

Сотский вырезал из орясника палку, обстрогал конец и, нахлобучив шапку, вышел на кулижку.

— На сход! — кричал он, прислоняясь к мутно-голубым стеклам.

Скоро оравами затонакали мужики и, следом за ними, шли, поникнув, пожилые вдовы.

Староста встал с крыльца и пошел с корогодом в пожарный сарай.

— Православные,— заговорил он,— Филипп приехал сказать, что инженеры отрезали у нас Пасик.

Мужики завозились, и с нырявшим кашлем кой-где зашипел ропот.

Обсуждали, как их обманывают и как доказать, что оба участка равны по старой меже.

Порешили выписать инженеров и достать бумаги.

Карев опасался, как бы бумаги не пропали.

Он искал старожилов и расспрашивал, с кем дружил покойный барин и живы ли те, при ком совершался акт.

Тяжба принимала серьезный характер; он разузнал, что и сам помещик был свидетелем, когда барин одну половину отмежевал казне, а другую — крестьянам.

— Уж ты выручи нас,— говорили мужики,— мы тебя за это попомним...

Карев, усмехаясь, вынимал кисет и, отрывая листки тоненькой бумаги, угощал мужиков куревом.

— Ничего мне не надо, табак пока у меня завсегда свой, а коли, случится на охоте, кисет забуду, так тут попросил бы одолжить щепоть.

Смеялись и с веселым размахиваньем шли в трактирчик.

— Одурачить-то мы их одурачим,— возвращался он к старому разговору,— вот только б бумаги не подкашляли...

Лимпиада, покрыв стол, стала ждать брата и, прислонясь к окну, засверкала над варежкой спицами.

Ставни скрипели, как зыбка.

Она задумалась и не заметила, как к крыльцу подкатила таратайка.

Ворота громыхнули, Чукан с веселым лаем выскочил наружу, и Лимпиада, встрепенувшись, отбросила моток.

— Ты что ж это околицу-то прозевала,— весело поздоровался Карев.

Лимпиада, закрасневшись, выставила свои, как берестяные, зубы и закрылась рукавом.

— Забылася,— стыдливо ответила она.

— Эх ты, разепа,— шутливо обернулся он, засматривая ей в глаза.

Вошел Филипп и внес мокрый хомут; с войлока катился бисер воды и выводил змеистую струйку.

— Гыть-кыря! — пронеслось над самым окном.

— Кто это? — встрепенулся Филипп.— Никак пастухи... Федот, Федот,— замахал он высокому безбородому, как чухонец, пастуху,— ай прогнали?

— Прогнали,— сердито щелкнул кнутом на отставшую ярку пастух.

— Вот, сукин сын, что делает,— злобно вздохнул Филипп,— убить не грех.

— На Афонин перекресток гоним! — крикнул опять пастух.— Измокли все из кобеля борзого... петлю бы ему на шею.

Лимпиада искоса глядела на Карева, и когда он повертывался, она опускала глаза.

Тучи прорванно свисли над верхушками елей, и голубые просветы бражно запенились солнцем. По траве серебряно белела мокресть.

— Пойдем в лес сходим,— сказал Филипп.— Нужно на перемет посмотреть, в куге на озере я жерлику поставил; теперь, после дождя, самый клев.

Сосны пряно кадили смолой, красно-желтая кора вяло вздыхала, и на обдире висли дождевые бусы.

— Ау! — крикнула Лимпиада, задевая за руку Карева.

— У-у-у! — прокатилось гаркло по освеженному лесу.

Карев отбежал и тряхнул сосну, с веток посыпался бисер и, раскалываясь, обсыпал Лимпиаду. Волосы ее светились, на ресницах дрожали капли, а платок усыпали зеленые иглы.

— Недаром тебя зовут русалка-то,— захохотал он,— ты словно из воды вышла.

Лимпиада, смеясь, смотрела в застывшую синь озера...

Помещик узнал через работника, что крестьяне вызывают на перемер инженеров и подали в суд.

— Проиграет твое,— говорил робко работник.— Там за них какой-то охотник вступился — бедовая, говорят, голова.

Помещик угрюмо кусал ус и обозленно стучал ногами.

— Знаю я вас, мошенников... михрютки вы сиволапые! Так один за другого и тянете.

— Я ничего,— виновато косился работник,— я сказать тебе... может, сделаешь что...

Помещик, косясь, уходил на конюшню и, щупая лошадь, кричал на конюха:

— Деньги только драть с хозяина. Опять не чистил, скотина... Заложи живо овса!..

Конюх, суетясь, тыкался в ларь, разгребал куколь и, горстью просеивая, насыпал в меру.

Мякина сыпалась прямо в глаза вилявшей собаке и щекотала ей ноздри.

— Ты еще что мешаешься! — ткнул ее помещик ногой.— Вон пошла, стерва!

«Ишь черт дурковатый,— думал конюх,— не везет ни в чем, так и зло на всех срывает!»

— А где он живет? — обратился к вошедшему за метлой работнику.

— Он живет в долине, на Афонином перекрестке, помол держит.

— Так, так,— кивал головой конюх,— сказывают, охотой займается еще.

— Так ты вот что, Прохор,— обратился помещик к конюху.— Заложи нам гнедого в тарантас и сена положи. А ты, брат, пей поскорей чай да со мной поедешь.

Карев увидел, как к мельнице подкатил тарантас и с сиденья грузно вывалился барин.

— Он живет в долине, на Афонином перекрестке, помоле.

«Хитрит,— подумал Карев,— не знает, с чего начать».

— Трудно, трудно ужиться с мужиками,— говорил он, качая тростью.— Я, собственно...— начал он, заикнувшись на этом слове,— приехал...

— Я знаю,— перебил Карев.

— А что?

— Хотите сказать, чтобы я не совался не в свои сани, и пообещаете наградить.

— Н-да,— протянул тот, шевеля усом,— но вы очень резко выражаетесь.

— Я говорю напрямую,— сказал Карев,— и если б был помоложе, то обязательно дал бы вам взбучку.

Помещик сузил глазки и стал прощаться.

Работник насмешливо прикусил губы и хлестал лошадь. Тарантас летел, как паровоз.

— Гони сильней! — ткнул он его ногой.

— Больше некуда гнать,— оглянулся работник,— а ежели будешь тыкаться, так я так тыкну, что ты ребер не соберешь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Стояла июльская жара. Пахло ожогом трав и сухой соломой. Колосился овес.

Мужики собрались на сходку и порешили косить луга.

Десятские взяли общественные канаты и пошли за реку отыскивать занесенные в половодье на делянках ямы.

Они осторожно, не сминая травы, становились на раскосы и прикидывали веревку.

К вечеру у парома заскрипели с шалашами телеги и забренчали косы.

По лугу потянулись гуськом подводы и, покачиваясь, ехали за песчаную луку.

За лукой, на бугорке, считая свою выть от ямы, они скидывали, окосив траву, шалаши, уставляли их поплотней и устилали сочной травой.

Из телег летели вилы, грабли, связки дров и хламная рухлядь.

Потом, осторожно взяв косы, вешали их на попки шалаша и втаскивали во внутрь сундучок с посудой и снедью.

Шалаши лицом друг к другу ставили в два ряда и позади, распрягая лошадей, подняв оглобли, притыкали накрытые веретьями телеги.

В это утро к Кареву пришел Филипп и стал звать на покос.

— А я и работника не наймал,— говорил он, улыбаясь издалека.— На тебя надеялся... Ты не бойся, нам легко будет, на семь душ всего; а ежели Кукариху скинуть — и того меньше...

Карев весело поднял голову и всадил в дровосеку топор.

— А я уж вилы готовлю.

Филипп по порядку отыскал четвертную стоянку и завернул на край.

У костра с каким-то стариком сидел Карев и, подкладывая плах, говорил о траве.

— Трава хорошая,— зашептал Филипп, раздувая костер.— Один медушник и кашка.

— А по лугам один клевер,— заметил старик.— И забольно так по впадинам чесноком череда разит.

Небо щурилось и морщилось. В темной сини купола шелестели облака.

Мигали звезды, и за бугром выкатывался белый месяц.

Где-то замузыкала ливенка, и ухабистые канавушки поползли по росному лугу.

Милый в ливенку играет,
Сам на ливенку глядит,
А на ливенке написано:
В солдатушки итить.

Карев пил из железной кружки чай и, обжигая губы, выдувал колечко.

Пели коростели, как в колотушку, стучал дупель, и фыркали лошади.

Филипп постелил у костра кожух, накрылся свиткой и задремал.

Старик, лежа, согнув кольцом над головой руки, отсвистывал носом храповитую песню, и на шапку его сыпался пепел.

Карев на корточках вполз в шалаш и, не стеля, бросился на траву.

Зарило.

— У... роса-то,— зевнул Филипп,— пора будить.

Было свежо и тихо. Погасшие костры светились неподмоченной золой.

— Костя... а Кость...— трепал он за ногу.— Кость...

Карев вскочил и протер глаза. Во рту у него было плохо от вчерашней выпивки, он достал чайник и стал полоскать.

— Ого-го-го... вставать пора,— протянулось по стоянке.

Филипп налил брусницы водой, заткнул клоком скошенной травы и одну припоясал, свешивая на лопатку, сам, а другую подал Кареву.

Косы звякнули, и косари разделились на полувыти.

— Наша вторая полувыть,— подошел к Филиппу вчерашний старик.— Меримся, кому от краю.

Филипп ухватился за окосье, и стали перебираться руками.

— Мой конец,— сказал старик,— мне от краю.

— Ну, а моя околь,— протянул Филипп,— самая удобь. Бабы лучше в чужую не сунутся.

— Бреди за ним по чужому броду,— указал он Кареву на старика,— меряй да подымай косу.

Карев побрел, и сапоги его как вымазались в деготь: на них прилип слет трав и роса.

— А коли побредешь,— пояснил старик,— так держи прям и по цветкам порови, лучше в свою не зайдешь и чужую не тронешь.

Они пошли вдоль по чужой выти и стали отмерять. Карев прикинул окосьем уже разделенную им со стариком луговину и отмерил себе семь, а старику — три; потом он стал на затирку и, повесив на обух косы фуражку, поднял ее.

По росе виднелся широкой прошвой вырезанный след.

Карев снял косу, вынул брус и, проводя с обуха, начал точить.

Филипп шагнул около брода, и трава красиво прилегла к старикову краю, как стояла, частой кучей.

На рассвете ярко, цветным гужом, по лугу с кузовами и ведрами потянулись бабы и девки и весело пели песни.

Карев размахивал косой, и подрезанная трава тихо вжикала.

— Вж... Вж...— неслось со всех концов, и запотелые спины, через мокрые рубахи, обтяжно вырезали плечи и хребет.

Пахло травой, пóтом и, от слюнявых брусниц, глиной.

— Ох и жара! — оглянулся Филипп на солнце.— До спада надо скосить. С росой-то легче.

Карев снял брусницу, подошел к маленькому, поросшему травой озеру и стал ополаскивать.

Зачерпнув, он прислонил к губам потный подол рубахи и стал пить через него.

Потом выплеснул с букашками на траву и пошел опять на конец.

Филипп гнал уж ряд к озеру. Вдруг на косу его легло, как плеть, что-то серое, и по косе алой струйкой побежала кровь.

— Утка,— поднял он, показывая ее Кареву, за синие лапы.

Из горла капала кровь и падала на мысок сапога.

С двумя работницами пришла Лимпиада и, сбросив кузов, достала с повети котел.

— Прось,— обратилась к высокой здоровенной бабе,— ты сходи за водой, а мы здесь кашу затогарим.

Костры задымили, и мужики бросили косить.

Карев подошел к старику и поплелся, размахивая фуражкой, за ним следом.

— Дед Иен, погоди! — крикнул отставший Филипп.— Дакось понюхаем из табатерки-то.

К вечеру по окошенному лугу выросли копны, и бабы пошагали обратно домой.

Дед Иен подошел к костру, где сидел Карев, и стал угощать табаком.

Мужики, махая кисетами, расселись кругом и стали уговаривать деда рассказать сказку.

— Эво, что захотели! — тыкал в нос щепоть зеленого табаку.— Вот кабы вы Петруху Ефремова послухали, так он вам наврал бы — приходи любоваться.

— Ну и ты соври что-нибудь,— засмеялся Филипп.— Ты думаешь — мы поверять, что ль, будем.

Дед Иен высморкался, отер о полу халата сопли и очистил об траву.

— Имелася у одного попа собака, такая дотошная, ин всех кур у дьякона потяпала. Сгадал поп собаку поучить говорить по-человечьи. Позвал поп работника Ивана и грить ему так: «Пожжай, балбес, в Амирику, обучи пса по-людски гуторить. Вот тебе сто рублев, ин нехватки, так займи там. У меня оттулева много попов сродни есть». Хитрой был попина. Прихлопывал он за кухаркой Анисьей. Да тулился, как бы люди не мекали. Пшел Иван, знычит, в яр, надел собаке оборку на шею и бух в озер. Минул год, к попу стучится: «Отопри-де, поп, ворота». Глазеет поп. Иван почесал за ухом и грить попу: «Эх, батько, вышколили твою собаку, хлеще монаха псалтырь читала, только, каналья, и зазналась больно, не исть хлебушка, а давай-подавай жареного мяса. Так и так грю ей, батько, мол, наш не ахти богач, зря, касатка, не хрындучи. Никаких собака моих делов не хочет гадать. «К ирхирею, гарчит, побегу, скажу про него, гривана, что он с кухаркой ёрничает». Спугался я за тебя и порешил ее».— «Молодчина,— похвалил его поп.— Вот тебе еще сто рублей».

Дед Иен кончил и совал в бок соседа.

— Ну-с, Кондак, это только присказка, а ты сказку кажи.

Мужики слухали и, затаив дыхание, сопели трубками.

Полночь проглотила гомон коростелей. Карев поднялся и пошел в копну. В лицо пахнуло приятным запахом луга, и синее небо, прилипаясь к глазам, окутало их дремью.

Проснья тыкала в лапти травяниковые оборки и, опустив ногу на пенек, поправляла портянку.

Дед Иен подошел сзади и ухватил ее за груди.

— Ай да старик! — засмеялись бабы.

— Ах ты, юрлов купырь! — ухмыльнулась Проснья.— Одной ногой в гроб глядишь, а другой в сметану тычешь. Ну, погоди, я тебе сделаю.

Дед Иен взял, не унимаясь от смеха, косу и сел на втулке отбивать.

Из кармана выпала табакерка и откатилась за телегу.

Проснья подошла к телеге, взяла впотайку ее двумя пальцами и пошла на дорогу.

С муканьем проходили коровы, и на скосе дымился помет.

Просинья взяла щепку и, открыв табакерку, наклала туда помету.

Крадучись, она положила опять ее около его лаптей и отошла.

Дед слюнявил молоток и тонко оттягивал лезвие.

Он сунул руку в карман и, не замечая табакерки, пошел в шалаш.

Перетряхивал все белье, смотрел в котлы и чашки, но табакерки не было.

«Не выскочила ли? — подумал он.— Кажется, никуды не ховал».

Просинья, спрятавшись за шалаш, позвала народ, и сквозь дырочки стали смотреть...

— Ишь где оставил,— гуторил про себя Иен,— забывать стал... Эх-хе-хе!

Он открыл крышку и зацепил щепоть... Глаза его обернулись на запутавшуюся на веревке лошадь, и он не заметил, что в пальцах его было что-то мягкое.

В нос ударило поганым запахом, он поглядел на пальцы и растерянно стал осматривать табакерку.

— Ах ты, нехолявая! — ругал он Просинью.— Погоди, отдыхать ляжешь, я с тобой не то сделаю. Ты от меня огонь почуешь в жилах.

— Сено перебивать! — закричали бабы и бросились врассыпную по долям.

Карев взял грабли и побежал с Просиньей.

Лимпиада побегла за ним и на ходу подтыкала сарафан.

— Ты куда же? — крикнул ей Филипп.— Там ведь Просинья.

Она замешливо и неохотно побегла к другой работнице и зашевелила ряды.

— Труси, труси! — кричал ей издалека Карев.— Завтра навильники швырять заставим.

Лимпиада оглядывалась и, не перевертывая сена, метила, как бы сбить Просинью и стать с Каревым.

Она сгребла остальную копну и бросилась помогать им.

— Ты ступай вперед,— сказала она ей,— а я здесь догребу.

— Ишь какая балмошная! — ответила Просинья.— Так и норовит по-своему.

— Девка настойчивая,— шутливо кинул Карев.

— Молчи! — крикнула она и, подбежав, пихнула его в копну.

Карев увидел, как за копной сверкнули ее лапти и, развеваясь, заполыхал сарафан.

— Догонит, догонит! — кричала Лимпиаде с соседней гребенки баба.

Он ловко подхватил ее на руки и понес в копну.

Лимпиада почувствовала, как забилось ее сердце, она, как бы отбиваясь, обняла его за шею и стала сжимать.

В голове закружилось, по телу пробежала пена огня. Испугался себя и, отнимая ее руки, прошептал:

— Будя...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Карев лежал на траве и кусал тонкие усики чемерики.

Рядом высвистывал перепел и кулюкали кузнечики.

Солнце кропило горячими каплями, и по лицу его от хворостинника прыгали зайчики.

Откуда-то выбежал сельский дурачок и, погоняя хворостинного коня, помчал к лесу.

Приподняв картуз, Карев побрел за ним.

Был праздник, мужики с покоса уехали домой, и на недометанные стога с криком садились галки.

Около чащи с зарябившегося озера слетели утки и, со свистом на полете, упали в кугу.

Дурачок сидел над озером и болтал ногами воду.

— Пей,— нукал он свою палку,— волк пришел, чуешь — пахнет? Поди сюда,— поманул он пальцем Карева.

Отряхивая с лица накусанную траву, Карев подошел и снял фуражку.

— Ты поп? — бросил он ему, сверкая глазами.

— Нет,— ответил Карев,— я мельник.

— Когда пришел? — замахал он раздробленной палкой по траве.

— Давеча.

— Дурак.

Красные губы подернулись пьяникой, а подбородок задергал скулами.

— Разве есть давеча? Когда никогда — нонче. Дурак,— крикнул он, злобно вытаскивая затиснутую палку, и, сунув ее меж ног, поскакал на гору.

— Отгадай загадку,— гаркнул он, взбираясь на верхушку: — За белой березой живет тарарай.

— Эх, мужик-то какой был! — сказал, проезжая верхом, старик.— Рехнулся, сердечный, с думы, бают, запутался. Вот и орет про нонче. Дотошный был. Все пытал, как земля устроена... «Это, грил, враки, что бог на небе живет». Попортился. А може, и бог отнял разум: не лезь, дескать, куды не годится тебе. Озорной, кормилец, народ стал. Книжки стал читать, а уже эти книжки сохе пожар. Мы, бывалоча, за меру картошки к дьячку ходили аз-буки узнать, а болей не моги. Ин, можа, и к лучшему, только про бога и шамкать не надо.

Желтой шалью махали облака, и тихо-тихо таял, замирая, чей-то напевающий голос:

Догорай, моя лучина, догорю с тобой и я.

С горки шли купаться на бочаг женихи, и, разводя ливенку на елецкую игру, гармонист и попутники кружились, выплясывая казачка.

Кто-то, махая мотней, нес, сгорбившись, просмоленный бредень и, спотыкаясь, звенел ведром.

На скошенной луговине, у маленького высыхающего озера кружились с карканьем вороны и плакали цыбицы.

Карев взял палку и побежал, пугая ворон, к озерку. На дне желтела глина, и в осоке, сбившись в кучу, копошились жирные, с утиными носами, щуки.

«Ух, сколько!» — ужахнулся он про себя и стал раздеваться.

Разувшись, он снял подштанники, а концы завязал узлом.

Подошел к траве и, хватая рыбу, стал кидать в них.

Щуки бились, и надутые половинки означались как обрубленные ноги.

— Вот и уха,— крякнул он,— да тут, кажется, лини катаются еще.

Не спалось в эту ночь Кареву.

«Неужели я не вернусь?» — удивлялся он на себя, а какой-то голос так и пошептывал: «Вернись, там ждут, а ты обманул их». Перед ним встала кроткая и слабая перед жизнью Анна.

«Нет,— подумал он,— не вернусь. Не надо подчиняться чужой воле и ради других калечить себя. Делать жисть надо,— кружилось в его голове,— так делать, как делаешь слеги в колымаге».

Перед ним встал с горькой улыбкой Аксютка. «Так я, хвастал...» — кольнула его предсмертная исповедь.

Ему вспоминался намеднишний вечер, как дед Иен переносил с своего костра плахи к ихнему огню, костер завился сильней, и обгоревшие полена дольше, как он заметил, держали огонь и тепло.

Из соседней копны послышался кашель и сдавленный испугом голос.

— Горим! — крикнул, почесываясь, парень.— Пожар!

Карев обернулся на шалаш, и в глаза ударило пламя с поселка Чухлинки.

Бешено поднялся гвалт. Оставшиеся мужики погнали лошадей на село.

— Эй, э-эй! — прокатилось.— Вставай тушить!

К шалашу подъехал верхом Ваньчок.

— Филипп! — гаркнул он над дверью.— Ай уехали?

— Кистинтин здесь,— прошамкал, зевая, дед Иен.— Что горит-то?

— Попы горят,— кинул Ваньчок.— Разве не мекаешь по кулижке?

— Ано словно и так, да слеп я, родной, стал, плохо уж верю глазам.

— Ты что, разве с пожара? — спросил Карев, приподнимая, здороваясь, картуз.

— Там был, из леса опять черт носил, целый пятирик срубили в покос-то.

— Кто же?

— Да, бают, помещик возил с работниками, ходили обыскивать. А разве сыщешь... он сам семь волков съел. Проведет и выведет... На сколько душ косите-то,— перебил разговор он,— на семь или на шесть?

— На семь с половиной,— ответил Карев.— Да тут, кажется, Белоборку наша выть купила.

— Ого,— протянул Ваньчок,— попаритесь. Липка-то, чай, все за ребятами хлыщет,— потянул он, разглаживая бороду.

— Не вижу,— засмеялся Карев.— Плясать вот — все время пляшет.

— Играет,— кивнул Ваньчок.— Как кобыла молодая.

Пахло рассветом, клубилась морока, и заря дула огненным ветерком.

— Чайничек бы догадался поставить,— обернулся он, слезая с лошади.

— Ано на зорьке как смачно выйдет: чай-то, что мак, запахнет.

Филипп положил в грядки сенца и тронулся в Чухлинку. Нужно было закупить муки и пшена.

Он ехал не по дороге, а выкошенной равниной.

Труском подъехал к перевозу и стал в очередь.

Мужики, столпившись около коровьих загонов, на корточках, разговаривали о чем-то и курили.

Вдруг от реки пронзительно гаркнул захлебывающийся голос: «Помогите!»

Мужики опрометью кинулись бегом к мосту и на средке реки увидели две барахтающиеся головы.

Кружилась корова и на шее ее прилипший одной рукой человек.

— Спасайте,— крикнул кто-то,— чего ж глазеть-то будем!

Но, как нарочно, в подвозе ни одной не было лодки.

Перевозчик спокойно отливал лейкой воду и чадил, вытираясь розовым рукавом, трубкой.

Филипп скинул с себя одежу и телешом бросился на мост.

Он подумал, что они постряли на канате, и потряс им.

Но заметить было нельзя, их головы уже тыкались в воду.

Легким взмахом рук он пересек бурлившую по крутояру струю и подплыл к утопающим; мужик бледномертвенно откидывал голову, и губы его ловили воздух.

Он осторожно подплыл к нему и поднял, поддерживая правой рукой за живот, а левой замахал, плоско откидывая ладонь, чтобы удержаться на воде.

Корова поднялась и, фыркнув ноздрями, поплыла обратно к селу.

Шум заставил обернуться перевозчика, и он, бросив лейку, побежал к челну.

Филипп чуял, как под ложечкой у него словно скреблась мышь и шевелила усиками.

Он задыхался, быстрина сносила его, кружа, все дальше и дальше под исток.

Тихий гуд от воды оглушился криками, и выскочившая на берег корова задрала хвост, вскачь бросилась бежать на гору.

Невод потащили, и суматошно все тыкались посмотреть... Тут ли?

Белое тело Филиппа скользнуло по крылу невода и слабо закачалось.

— Батюшки,— крикнул перевозчик,— мертвые!

Как подстреленного сыча, Филиппа вытащили с косоруким на дно лодки и понеслись к берегу.

На берегу, засучив подолы, хныкали бабы и, заламывая руки, тянулись к подплывающей лодке. В лодке на беспорядочно собранном неводе лежали два утопленника.

С горы кто-то бежал, размахивая скатертью, и, все время спотыкаясь, летел кубарем.

— Откачивай, откачивай! — кричали бабы и, разделившись на две кучи, взяв утопленников за руки и ноги, высоко ими размахивали.

Какой-то мужик колотил Филиппа колом по пятке и норовил скопырнуть ее.

— Что ты, родимец те сломай, уродуешь его? — подбежала какая-то баба.— Дакось я те стану ковырять морду-то!

— Уйди, сука,— замахнулся мужик кулаком.— Сам знаю, что делаю.

Он поднял палку еще выше и ударил с силой по ляжкам.

Из носа Филиппа хлынула кровь.

— Жив, жив! — замахали сильней еще бабы и стали бить кругом ладошами.

— Что, стерва,— обернулся мужик на подстревшую к нему бабу,— каб не палка-то, и живому не быть! Измусолить тебя надыть.

— А за что?

— Не лезь куда не следует.

Филипп вдруг встал и, кашлянув, стал отплевываться.

— Рубахи? — обернулся он к мужику.

— Там они, не привозили еще.

Жена перевозчика выбежала с бутылкой вина и куском жареной телятины.

— Пей,— поднесла она, наливая кружку Филиппу.— Уходился, ин лучше станет.

Филипп дрожащими руками прислонил кружку к губам и стал тянуть.

Бабы, ободренные тем, что одного откачали, начали тоже колотить косорукого палкой.

Филипп телешом стал, покачиваясь, в сторонку и попросил мужика закурить.

Мимо, болезно взглядывая, проходили девки и бабы.

— Прикрой свои хундры-мудры-то,— подошла к нему сгорбившаяся старушонка и подала ему свою шаль.

Его трясло, и солнцепек, обжигая спину, лихорадил, но выпитая водка прокаливала застывшую кровь, горячила.

С подтянутого парома выбегли приехавшие с той стороны, и плечистый парень подал ему рубахи.

С шумом в голове стал натягивать на себя подштанники и никак не мог попасть ногой.

— Ничего, ничего,— говорил, поддерживая его, мужик,— к вечеру все пройдет.

Народ радостно заволновался: косорукий вдруг откинул голову и стал с кровью и водой блевать.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Ой, и дорога, братец мой, кремень, а не путь! — говорил, хлебая чай, Ваньчок.

— Болтай зря-то,— вылез из шалаша дед Иен.

— Сичас только Ляля приехал.

— Кочки, сказывает, да прохлябы. Это ты, видно, с вина катался так.

— Эй, заспорили! — гаркнул с дороги мужик.— Не слыхали, что Филька-то утонул.

— Мели,— буркнул дед.

— Пра.

Мужик сел, ковыляя, на плаху и стал завертывать папироску.

— Не верите, псы... Вот и уговори вас. А ведь на самом деле тонул.

И начал рассказывать по порядку, как было.

— И ничего,— заметил он.— Я пошел, а он на пожаре там тушит вовсю. Косорукий, баил аптешник, полежит малость.

— Полежит, это рай! — протянул дед Иен.— А то б навечно отправился лежать-то. Со мной такой случай тоже был. В Питере, знычит, на барках ходили мы. Всю жисть помню и каждый час вздрагиваю. Шутка ли дело, достаться черту воду возить. Тогда проклянешь отца и матерю.

— А вправду это черт возит воду на них? — прошептал подползший малец.

— Вправду? Знамо ненароком.

— Мне так говорил покойный товарищ — водоливом были вместе,— что коли тонет человек, то, знычит, прямо норовит за горло схватить, если обманывает.

— Кто это? — переспросил малец.

— Кто?.. Про кого говорить нельзя на ночь.

Дед поднял шапку и обернулся к зареву.

— А прогорело,— сказал он, зевая.

— А как же обманывает-то? — спросил Ваньчок.— Ведь небось не сразу узнаешь.

— Эва,— протянул дед Иен.— Разве тут помнишь чего! Ехали мы этось в темь, когда в Питере были; на барке нас было человек десять, а водоливов-то — я да Андрюха Сова. Качаю я лейку и не вижу, куды делся Сова. Быдто тут, думаю. А он вышел наверх да с лоцманом там нализался как сапожник. Гляжу я так. Вдруг сверху как бултыхнет что-то. Оглянулся — нет Совы. Пойду, спрошу, мол, не упало ли что нужное. Только поднялся, вижу — лоцман мой руками воду разгребает. «Ты что делаешь?» — спрашиваю его. «Дело, грить, делаю: Сова сичас утопился». Я туды, я сюды, как на грех, нигде багра не сыщу. Кричу, махаю: кидайте якорь, мол, человек утоп. Смекнули накладники, живо якорь спустили, стали мы шарить, стали нырять, де-то, де-то и напали на него у затона.

Опосля он нам и начал рассказывать. Так у меня по телу муравьи бегали, когда я слушал.

«Упал, говорит, я как будто с неба на землю; гляжу: сады, все сады. Ходят в этих садах боярышни чернобровые, душегрейками машут. Куды ни гляну, одна красивей другой. Провалиться тебе, думаю, вот где лафа-то на баб». А распутный был,— добавил дед Иен, кутаясь в поддевку.— Бывало, всех кухарок перещупает за все такие места... ахальник.

«Эх! — говорит.— Взыграло мое сердечушко, словно подожгли его. Гляжу, как нарочно, идет ко мне одна, да такая красивая, да такая пригожая, на земле, видно, такой и не было. Идет, как павочка, каблуками сафьяновыми выстукивает, кокошником покачивает, серьгами позвякивает и рукавом алы губки свои от меня заслоняет. Подошла и тихо молвит на ушко, как колокольчик синенький звенит: «Напейся, Иван-царевич, тебя жажда берет». Как назвала она меня Иван-царевичем, сердце мое закатилось. «Что ж, говорю, Василиса моя премудрая, я попью, да только из рук твоих». Только было прислонился губами, только было обнял колени лебяжьи, меня и вытащили»... Вот она как обманывает-то. Опосля сказывал ему поп на селе: «Служи, грить, молебен, такой-сякой, это царица небесная спасла тебя. Как бы хлебнул, так и окадычился».

— Тпру! — гаркнул, слезая с телеги, Филипп и запутал на колесо вожжи.

— Вот он,— обернулись они.— На помине легок.

— Здорово, братец! — крикнул, подбегая, Карев.

— З-з-здорово,— заплетаясь пьяным языком, ответил Филипп.— От-от-отвяжи п-поди вож-жу-у...

— Ну, крепок ты,— поднялся дед Иен.— Вишь, как не было сроду ничего.

Филипп, приседая на колени, улыбался и старался обнять его, но руки его ловили воздух.

— Ты ложись лучше,— уговаривал дед Иен.— Угорел, чай, сердешный, ведь. Это не шутка ведь.

Дед Иен отвел его в шалаш и, постелив постель, накрыл, перекрестив, веретьем.

Филипп поднимался и старался схватить его за ноги.

— Голубчик,— кричал он,— за что ты меня любишь-то, ведь я тебя бил! Бил! — произнес он с всхлипываньем.— Из чужого добра бил... лесу жалко стало...

— Будя, будя,— ползал дед Иен.— Это дело прошлое, а разве не помнишь, как ты меня выручил, когда я девку замуж отдавал. Вся свадьба на твои деньги сыгралась.

Кадила росяная прохлада. Ночь шла под уклон.

От пожара нагоревшее облако поджигало небо.

Карев распряг лошадь и повесил дугу на шалаш. Оброть звякала и шуршала на соломе.

— За что он бил-то тебя? — переспросил около дверки деда Иена.

— За лес. Пустое все это... прошлое напоминать-то, пожалуй, и грех и обидно. Перестраивал я летось осенью двор, да тесин-то оказалась нехватка. Запряг я кобылу и ночью поехал на яр, воровать, знычит.

Ночь темная... ветер... валежник по еланке так и хрипит орясинами. Не почует, гадал я, Филипп, срублю две-три сосны, и не услышит при ветре-то. Свернул лошадь в кусты, привязал ее за березу и пошел с топором выглядывать. Выбрал я четыре сосны здоровых-прездоровых. Срублю, думаю, а потом уж ввалю как-нибудь. Только я стал рубить, хвать он меня за плечо и давай валтузить. Я в кусты, он за мной, я к лошади, и он туды; сел на дроги и не слезает. Все равно пропадать, жалко ведь лошадь-то, узнает общество, и поминай как звали. «Филипп,— говорю, затулившись в мох,— пусти ради бога меня». Услышит это он мой голос — и шасть искать. А я прикутаю голову мохом, растянусь пластом и не дышу. Раза два по мне проходил, инда кости хрустели.

Потом, слышу, гарчет он мне: «Выходи, сукин сын, не то лошадь погоню старосте».

Вышел я да бух ему в ноги, не стал бить ведь боле. Постращал только. А потом, чудак, сам стал со мной рубить. Полон воз наклали. Насилу привез.

«Прости,— говорил мне еще,— горяч я очень». Да я и не взыскивал. За правду.

В частый хворостник в половодье забежали две косули. Они приютились у кореньев старого вяза и, обгрызывая кору, смотрели на небо.

Как из сита моросил дождь, и дул порывистый с луговых полян ветер.

В размашистой пляске ветвей они осмотрели кругом свое место и убедились, что оно надежно. Это был остров затерявшегося рукава реки. Туда редко кто заглядывал, и умные звери смекнули, что человеческая нога здесь еще не привыкла крушить коряги можжевеля.

Но как-то дед Иен пошел драть лыки орешника и переплыл через рукав реки на этот остров.

Косули услышали плеск воды и сквозь оконца курчавых веток увидели нагое тело. На минуту они застыли, потом вдруг затопали по твердой земле копытцами, и перекатная дробь рассыпалась по воде.

Дед Иен вслушался, ему почудилось, что здесь уже дерут лыки, и он, осторожно крадучись по тине, вышел на бугорок; перед ним, пятясь назад, вынырнула косуля, а за кустом, доставая ветку с листовыми удилами, стояла другая.

Он повернул обратно и ползком потянулся, как леший, к воде.

Косуля видела, как бородатый человек скрылся за бугром, и затаенно толкнула свою подругу; та подняла востро уши и, потянув воздух, мотнула головой и свесилась за белевшим мохрасто цветком.

Дед Иен вышел на берег и, подхватив рубашки, побежал за кусты; на ходу у него выпал лапоть, но он, не поднимая его, помчал к стоянке.

Филипп издали увидел бегущего деда и сразу почуял запах дичи.

Он окликнул согнувшегося над косой Карева и вытащил из шалаша два ружья.

— Скорей, скорей,— шепотом зашамкал дед Иен,— косули на острове. Бегим скорей.

У таганов ходила в упряжи лошадь Ваньчка, а на телеге спал с похмелья Ваньчок.

Они быстро уселись и погнали к острову; вдогонь им засвистали мужики, и кто-то бросил принесенное под щавель решето.

Решето стукнулось о колесо и, с прыгом взвиваясь, покатилось обратно.

— Шути,— ухмыльнулся дед, надевая рубаху.— Как смажем этих двух, и рты разинете.

— Куда? — поднялся заспанный Ваньчок.

— За дровами,— хихикнул Филипп.— На острове, кажут, целые груды пятириков лежат.

Но Ваньчок последних слов не слышал, он ткнулся опять в сено и засопел носом.

— И к чему человек живет,— бранился дед,— каждый день пьяный и пьяный.

— Это он оттого, что любит,— шутливо обернулся Карев.— Ты разве не слыхал, что сватает Лимпиаду.

— Лимпиаду,— членораздельно произнес дед.— Сперва нос утри, а то он у него в коровьем дерьме. Разве такому медведю эту кралю надо? Вот тебе это еще под стать.

Карев покраснел и, замявшись, стал заступаться за Ваньчка.

Но в душе его гладила, лаская, мысль деда, и он хватал ее, как клад скрытый.

— Брось,— сказал дед,— я ведь знаю его, он человек лесной, мы все медведи, не он один. Ты, вишь, говоришь, всю Росею обходил, а мы дальше Питера ничего не видали, да и то нас таких раз-два и обчелся.

Подвязав ружья к голове, Карев и Филипп, чтобы не замочить их, тихо отплыли, отпихиваясь ногами от берега.

Плыть было тяжело, ружья сворачивали головы набок, и бечевки резали щеки.

Филипп опустил правую ногу около куги и почувствовал землю.

— Бреди,— показал он знаком и вышел, горбатясь, на траву.

— Ты с того бока бугра, а я с этого,—шептал он ему,— так пригоже, по-моему.

Косули, мягко взбрыкивая, лизали друг друга в спины и оттягивали ноги.

Вдруг они обернулись и, столкнувшись головами, замерли.

Тихо взвенивала трава, шелыхались кусты, и на яру одиноко грустила кукушка.

— Ваньчок, Ваньчок,— будил дед, таская его за волосы.— Встань, Ваньчок!

Ваньчок потянулся и закачал головою.

— Ох, Иен, трещит башка здорово.

— Ты глянь-кась,— повернул его дед, указывая на мокрую, с полосой крови на лбу, косулю.— Другую сейчас принесут. А ты все спишь...

Ваньчок слез с телеги и стал почесываться.

— Славная,— полез он в карман за табаком.— Словно сметаной кормленная.

С полдня Филипп взял грабли и пошел на падины.

— Ты со мной едем! — крикнул он Ваньчку.— Навивать копна станешь.

— Ладно,— ответил Ваньчок, заправляя за голенище портянку.

Лимпиада с работницами бегала по долям и сгребала сухое сено.

— Шевелись, шевелись! — гаркала ей Просинья.— Полно оглядываться-то. Авось не подерутся.

С тяжелым возом Карев подъезжал к стогу и, подворачивая воз так, чтобы он упал, быстро растягивал с него веревку.

После воза метчик обдергивал граблями осыпь и усевшись с краю, болтал в воздухе ногами.

Скрипели шкворни, и ухали подтянутые усталью голоса.

К вечеру стога были огорожены пряслом и приятно манили на отдых.

Мужики стали в линию и, падая на колени, замолились на видневшуюся на горе чухлинскую церковь.

— Шабаш,— крякнули все в один раз,— теперь, как бог приведет, до будущего года.

Роса туманом гладила землю, пахло мятой, ромашкой, и около озера дымилась покинутая с пеплом пожня.

В бору чуть слышно ухало эхо, и шомонил притулившийся в траве ручей.

Карев сел на пенек и, заряжая ружье, стал оглядываться на осыпанную иглами стежку.

Отстраняя наразмах кусты, в розовом полушалке и белом сарафане с расшитой рубахой, подобрав подол зарукавника, вышла Лимпиада.

На каштановых распущенных космах бисером сверкала роса, а в глазах плескалось пролитое солнце.

— Ждешь?

— Жду! — тихо ответил Карев и, приподнявшись, облокотился на ствол ружья.

— Фюи, фюи,— стучала крошечным носиком по коре березы иволга...

Шла по мягкой мшанине и полушалком глаза закрывала.

«Где была, где шаталась?» — спросит Филипп, думала она и, краснея от своих дум, бежала, бежала...

«Дошла, дошла,— стучало сердце.— Где была, отчего побледнела? Аль молоком умывалась?»

На крыльце, ловя зубами хвост, кружился Чукан. Филипп, склонясь над телегой, подмазывал дегтем оси.

— Ты бы, Липка, грибов зажарила,— крикнул он, не глядя на нее,— эво сколища я на окне рассыпал, люли малина!

Лимпиада вошла в избу и надела черный фартук; руки ее дрожали, голова кружилась словно с браги.

Тоненькими ломтиками стала разрезать желтоватые масленки и клала на сковороду.

Карев скинул ружье и повесил на гвоздь. Сердце его билось и щемило. Он грустно смахивал с волос насыпь игл и все еще чувствовал, как горели его губы.

К окну подошел Ваньчок и стукнул кнутовищем в раму.

— Тут Лимпиада-то? — кисло поморщился он.— Я заезжал, их никого не было.

— Нет,— глухо ответил Карев.— Она была у меня, но уж давеча и ушла. Ты что ж стоишь там, наружи-то? Входи сюда.

— Чего входить,— ответил Ваньчок.— Дела много: пастух мой двух ярок потерял.

— Найдутся.

— Какой найдутся, хоть бы шкуру-то поднять, рукавицы и то годится заштопать.

— Ишь какой скупой! — засмеялся, глухо покачиваясь всем телом.

— Будешь скупой... почти три сотни в лето ухлопал. Все выпить и выпить. Сегодня зарок дал. На год. Побожился — ни капли не возьму в рот.

— Ладно, ладно, посмотрим.

— Так я, знычит, поеду, когда ушла. Нужно поговорить кой о чем.

Когда Ваньчок подъехал, Филипп, сердито смерив его глазами, вдруг просиял.

— Да ты трезвый никак! — удивился он.

Ваньчок кинул на холку поводья и, вытаскивая кошель, рассыпал краснобокую клюкву.

— Не вызрела еще,— нагнулась Лимпиада,— зря напушил только. Целую поставню загубил.

— Мало ли ее у нас,— кинул с усмешкой Филипп,— о крошке жалеть при целом пироге нечего.

— Ну, как же? — мигнул Ваньчок в сторону Лимпиады.

Филипп закачал головой, и он понял, что дело не клеится. По щекам его пробежал нитками румянец и погас...

Лимпиада подняла недопряденную кудель и вышла в клеть.

— Не говорил еще,— зашептал Филипп,— не в себе что-то она. Погоди, как-нибудь похлопочу.

— А ты мотри за ней, кабы того... Мельник-то ведь прощелыга. Живо закрутит.

Филипп обернулся к окну и отворил.

— Идет,— толкнул он заговорившегося Ваньчка.

Лимпиада внесла прялку и поставила около скамейки мотальник.

— Распутывай, Ваньчок,— сказала, улыбаясь, она.— Буду ткать, холстпну посулю.

— Только не обманывать,— сел на корточки он.— Уж ты так давно мне даешь.

— Мы тогда сами отрежем,— засмеялся Филипп.— Коли поязано, так давай подавай.

Лимпиада вспомнила, что говорили с Каревым, и ей сделалось страшно при мысли о побеге.

Всю жизнь она дальше яра не шла. Знала любую тропинку в лесу, все овраги наперечет пересказывала и умела находить всегда во всем старом свежее.

И любовь к Кареву в ней расшевелил яр. Когда она увидела его впервые, она сразу почуяла, что этот человек пришел, чтобы покинуть ее,— так ей ее сердце сказало. Она сперва прочла в глазах его что-то близкое себе и далекое.

Не могла она идти с ним потому, что сердце ее запуталось в кустах дремных черемух. Она могла всю жизнь, как

ей казалось, лежать в траве, смотреть в небо и слушать обжигающие любовные слова Карева; идти с ним, она думала, это значит растерять все и расплескать, что она затаила в себе с колыбели.

Ей больно было потерять Карева, но еще больней было уходить с ним.

Ветры дорожные срывают одежду и, приподняв путника с вихрем, убивают его насмерть...

— Стой, стой! — крикнул Ваньчок.— Эк ты, сиверга лесная, оборвала нитку-то. Сучи теперь ее.

Лимпиада остановила веретеном гребешки и стала ссучивать нитку.

— Ты долго меня будешь мучить? — закричал Филипп.— Видишь, кошка опять лакает молоко.

— Брысь, проклятая! — подбежал Ваньчок и поднял махотку к губам.

— А славно, как настоящая сметана.

— И нам-то какой рай,— засмеялся Филипп: — Вытянул кошкин спив-то, а мы теперь без всякой гребости попьем.

— Ладно,— протер омоченные усы.— Ведь и по муке тоже мыши бегают, а ведь все едят и не кугукнут. Было бы, мол, что кусакать.

В отворенное окно влетел голубь и стал клевать разбросанные крохи.

Кошка приготовила прыжок и, с шумом повалив мотальник, прижала его когтями.

— Ай, ай! — зашумел Филипп и подбежал к столу, но кошка, сверкнув глазами, с сердитым мяуканьем схватила голубя за горло и выпрыгнула в окно.

Лимпиада откинула прялку и в отворенную дверь побежала за нею.

— Чукан,— крикнула она собаку.— Вчизи, Чукан!

Собака погналась по кулижке вдогонь за кошкой напересек, но она ловко повернула назад и прыгнула на сосну.

Позади с Филиппом бежал Ваньчок и свистом оглушал тишину бора.

— Вон, вон она! — указывая на сосну, приплясывала Лимпиада.— Скорей, скорей лезьте!

Ваньчок ухватился за сук и начал карабкаться.

Кошка злобно забиралась еще выше и, положив голубя на ветвистый сук, начала пронзительно мяукать.

— А, проклятая! — говорил он, цепляясь за сук.— Заскулила! Погоди, мы те напарим.

Он уцепился уже за тот сук, на котором лежал голубь,

вдруг кошка подпрыгнула и, метясь в его голову, упала наземь.

Чукан бросился на нее и с визгом отскочил обратно.

— Брысь, проклятая, брысь! — кинул в нее камень Филипп и притопнул ногами.

Кошка, свернув крючком хвост, прыгнула в чащу и затерялась в траве.

— Вот проклятая-то,— приговаривал, слезая, Ваньчок,— прямо в голову норовила.

Лимпиада взяла голубя и, положив на ладони, стала дуть в его окровавленный клюв.

Голубь лежал, подломив шейку, и был мертв.

— Заела, проклятая, заела,— проговорила она жалобно.— Не ходи она лучше теперь домой и не показывайся на мои глаза.

— Да, кошки бывают злые,— сказал Филипп.— Мне рассказывал Иенка, как один раз он ехал на мельницу. «Еду, говорит, гляжу, кошка с котом на дороге. Я кнутом и хлыстнул кота. Повернулся мой кот, бежит за мной — не отстает. Приехал на мельницу — и он тут. Пошел к сторожу — и он за мной. Лег на печь и лежит, а глаза так и пышут. Спугался я, подсасывает сердце, подсасывает. Я и откройся сторожу — так, мол, и так. «Берегись, грить, человече; постелю я тебе на лавке постель, а как стану тушить огонь, так ты тут же падай под лавку». Когда стали ложиться — то я прыг да под лавку скорей. Вдруг с печи кот как взовьется и прямо в подушку, так когти-то и заскрипели. «Вылезай,— кличет сторож.— Наволоку за это с тебя да косушку». Глянул я, а кот с прищемленным языком распустил хвост и лежит околетый».

Вечером Лимпиада накинула коротайку и вышла на дорогу.

— Куда? — крикнул Филипп.

— До яру,— тихо ответила она и побежала в кусты.

Она шла к той липе, где обещала встретиться с Каревым; щеки ее горели, и вся она горела как в лихорадке, сарафан цеплялся за кусты, и брошками садились на концы подола репьи.

«Что я скажу? — думала она.— Что скажу? Сама же я сказала ему, куды хошь веди».

Каратайка расстегивалась и цеплялась за сучья. Коса трепалась, но она ничего не слышала, а все шла и шла.

— Пришла? — с затаенным дыханием спросил он.

— Пришла,— тихо ответила она и бросилась к нему на грудь.

Он гладил ее волосы и засматривал в голубые глаза.

— Ну, говори, моя зозуленька,— прислонился губами к ее лбу.— Я тебя буду слушать, как ласточку.

— Ох, Костя,— запрокинула она голову,— люблю, люблю я тебя, но не могу уйти с тобой. Будь что будет, я дождусь самого страшного, но не пойду.

— Что ж,— грустно поник Карев,— и я с тобой буду ждать.

Она обвилась вкруг его колен и, опустившись на траву, зарыдала.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Тяжба с помещиком затянулась, и на суде крестьянам отказали.

— Подкупил,— говорили они, сидя по завалинкам,— как есть подкупил. Мыслимо ли — за правду в глаза наплевали! Как бог свят, подкупил.

Ходили, оторвав от помела палку, огулом мерить. Шумели, спорили и глубокую-глубокую затаили обиду.

На беду появился падеж на скотину.

— Сибирка,— говорили бабы.— Все коровы передохнут.

Стадо пригнали с луга домой; от ящура снадобьем аптешника коровам мазали языки и горла.

Молчаливая боль застудила звенящим льдом на сердцах всех крестьян раны.

Пошли к попу, просили с молебном кругом села пройти. Поп, дай не дай, четвертную ломит.

— Ты, батюшка, крест с нас сымаешь! — кричали мужики.— Мы будем жаловаться ирхирею.

— Хоть к митрополиту ступайте,— ругался поп.— Задаром я вам слоняться не буду.

Шли с открытыми головами к церковному старосте и просили от церкви ключи. Сами порешили с пеньем и хоругвями обойти село.

Староста вышел на крыльцо и, позвякивая ключами, заорал на все горло:

— Я вам дам такие ключи, сволочи!.. Думаете — вас много, так с вами и сладу нет... Нет, голубчики, мы вас в дугу согнем!

— Ладно, ребята,— с кроткой покорностью сказал дед Иен,— мы и без них обойдемся.

Жила на краю села стогодовалая Параня, ходила, опираясь на костыль, и волочила расшибленную параличом ногу, и видела, знала она порядки дедов своих, знала — обидели кровно крестьян, но молчала и сказать не могла, немая была старуха. Знала она, где находилась копия с бумаг.

Лежала тайна в груди ее, колотила стенки дряблого закоченевшего тела, но, не находя себе выхода, замирала.

Проиграли мужики на суде Пасик, забилась старуха головой о стенку и с пеной у рта отдала богу душу.

Разговорившись после похорон Парани о старине, некоторые вспомнили, что при падеже на скотину нужно опахивать село.

Вечером на сходе об опахиванье сказали во всеуслышанье и не велели выходить на улицу и заглядывать в окна.

При опахиванье, по сказам стариков, первый встречный и глянувший — колдун, который и наслал болезнь на скотину.

Участники обхода бросались на встречного и зарубали топорами насмерть.

В полночь старостина жена позвала дочь и собрала одиннадцать девок.

Девки вытащили у кого-то с погребка соху, и дочь старосты запрягла с хомутом свою мать в соху.

С пением и заговором все разделись наголо, и только жена старосты была укутана и увязана мешками.

Глаза ее были закрыты, и, очерчивая на перекрестке круг, каждый раз ее спрашивали:

— Видишь?

— Нет,— глухо она отвечала.

После обхода с сохой на селе болезнь приутихла, и все понемногу угомонились.

Но однажды утром в село прибежал с проломленной головой какой-то мужик и рассказал, что его избил помещик.

— Только хотел орешину сорвать,— говорил он,— как подокрался и цапнул железной тростью.

Мужики, сбежавшись, заволновались.

— Кровь, подлец, нашу пьет! — кричали они, выдергивая колья.

На кулижку выбежал дед Иен и стал звать мужиков на расправу.

— Житья нет! — кричал он.— Так теперь и терпеть все!..

Собравшись ватагой с кольями, побежали на Пасик. Брань и ругань царапали притихший овраг Пасика.

Помещик злобно схватил пистолет и побежал навстречу мужикам.

— Моя собственность! — грозил он кулаком.— Права не имеете входить; и судом признано — моя!..

— Бей его! — крикнул дед Иен.— Ишь, мошенник, как клоп нажрался нашего сока! Пали, ребята, его!

Он поднял булыжник и, размахнувшись, бросил в висок ему.

Взмахнул руками и как подкошенный упал в овраг.

— Бегим, бегим! — шумели мужики.— Кабы не увидали!

По лесу зашлепал бег, и косматые ели замахали верхушками.

На дне оврага, в осыпанной глине, лежал с мертвенными совиными глазами их ястреб. Руки крыльями раскинулись по траве, а голова была облеплена кровавой грязью.

Филипп взял посох и пошел на Чухлинку погуторить со старостой. Он выкатился на бугор и стал спускаться к леску.

Вдруг до него допрянул рассыпающийся топот и сдавленные голоса.

«Лес воруют»,— подумал он и побежал что силы вдогон.

Топот смолк, и голоса проглотил шелест отточенных хвой.

Он побежал дальше и удивился, что ни порубки, ни людей не видно.

— Зря спугались,— пробасил неожиданно кто-то за его спиной.— Выходи, ребята, свой человек.

Из кустов вышли с кольями мужики, и сзади, с разорванным рукавом рубахи, плелся дед Иен.

— Молчи, не гуторь! — подошли все, окружив его.— Помещика укокошили. В овраге лежит.

Филипп пожал плечами, и по спине его закололи булавки.

— Как же теперь? — глухо открыл он губы и затеребил пальцами бороду.

— Так теперь,— отозвался худощавый старик, похожий на Ивана Богослова.— Не гуторить, и все... Станут приставать — видом не видали.

— Следы тогда надо скрыть,— заговорил Филипп.—

Вместе итить не гоже. Кто-нибудь идите по мельниковой дороге, с Афонина перекрестка, а кто — стежками, и своим показываться нельзя. Выдадут жены работников.

— Знамо, лучше разбресться,— зашушукали голоса.— Теперь небось спохватились.

По дороге вдруг раздался конский топот. Все бросились в кусты и застыли.

. . . .

К помещику по Чухлинке прокатил на тройке пристав, после тяжбы с крестьянами он как-то скоро завязал дружбу с полицией и приглашал то исправника, то пристава в гости.

Конюх стоял у ограды и, приподняв голову, видел, как к имению, клубя пыль, скакали лошади.

Он поспешно скинул запорку, отворил ворота, снял, заранее приготовившись, шапку и стал ждать.

Когда пристав подъехал, он поклонился ему до земли, но тот, как бы не замечая, отвернулся в сторону.

— Где барин? — спросил он выбежавшую кухарку, расстилавшую ему ковер.

— В Пасике, ваше благородие,— ответила она.— Послать или сами пойдете?

— Сам схожу.

— Борис Петрович! — крикнул он, выпятив живот и погромыхивая саблей.

По оврагу прокатилось эхо, но ответа не последовало.

В глаза ему бросилась ветка желтых крупных орехов, он протянул руку и, очистив от листьев, громко прищелкивая языком, клал на зуб.

— Борис Петрович! — крикнул он опять и стал спускаться в овраг.

Глаза его застыли, а поседелые волосы поднялись ершом.

В овраге на осыпанной глине лежал Борис Петрович.

Он кубарем скатился вниз и стал осматривать, поворачивая, труп.

Рядом валялся со взведенным курком пистолет.

— Горячий еще! — крикнул вслух.— Мужики проклятые, не кто иной, как мужичье!

— Проехали,— свистнул чуть слышно Филипп, толкая соседа.— Трое, кажись, проскакали. Впереди всех без картуза пристав. Теперь, ребята, беги кто куды знает, поодиночке. Не то схватят, помилуй бог.

Выскочив на дорогу, шмыгая по кустам, стали добираться до села.

Филипп проводил их глазами и пошел обратно к дому.

У окна на скамейке рядом с Лимпиадой он увидел Карева и, поманув пальцем, подошел к нему.

— Беда, Костя! — сказал он.— Могила живая.

— Что такое?

— Помещика убили.

Карев затрясся, и на лбу его крупными каплями выступил пот.

— Пристав поехал.

— Пристав,— протянул Карев и бросился бежать на Чухлинку.

Лимпиада почуяла, как упало ее сердце; она соскочила со скамьи и бросилась за ним вдогон.

— Куда, куда ты? — замахал переломленным посохом Филипп и, приставив к глазам от солнечного блеска руку, стал всматриваться на догонявшую Карева Лимпиаду.

— Вот сумасшедшие-то! — ворчал он, сердито громыхая щеколдой.— Видно, нарваться хотят.

Пристав, запалив лошадь, прискакал с работниками прямо под окно старосты.

— Живо сход, живо! — закричал он.— Ах вы, оглоеды, проклятые убийцы, разбойники!

Десятские бегом пустились стучать под окна.

— А... пришли! — кричал он на собравшуюся сходку.— Пришли, живодеры ползучие!.. Живо сознавайтесь, кто убил барина? В Сибирь вас всех сгоню, в остроге сгною, сукиных детей! Сознавайтесь!

Мужики растерянно моргали глазами и не знали, что сказать.

— А... не сознаетесь, нехристи!—скрипел он зубами.— Пасик у вас отняли... Пиши протокол на всех! — крикнул он уряднику.— Завтра же пришлю казаков... Я вам покажу! — тряс он кулаком в воздухе.

Из кучки вылез дед Иен и, вынув табакерку, сунул щепоть в ноздрю.

— Понюхай, моя родная,— произнес он вслух.— Может, боле не придется.

— Ты чего так шумишь-то? — подошел он, пристально глядя на пристава.— У тебя еще матерно молоко на губах не обсохло ругаться по матушке-то. Ты чередом говори с неповинными людьми, а не собачься. Ишь ты тоже, какой липоед!

— Тебе что надо? — гаркнул на него урядник.

— Ничего мне не надо,— усмехнулся дед.— Я говорю, что я убил его и никого со мной не было.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Не тоскуй, касаточка,— говорил Епишка Анне.— Все перемелется в муку. Пускай гуторят люди, а ты поменьше слухай до почаще с собой говори. Ты ведь знаешь, что мы на свете одни-одинешеньки. Не к кому нам сходить, некому пожалиться.

— Ох, Епишка, хорошо только речи сыпать. Ты один, зато водку пьешь. Водка-то, она все заглушает.

— Пей и ты.

— Пью, Епишка, дурман курю... Довела меня жизнь, домыкала.

В зыбке ворочался, мусоля красные кулачонки, первенец.

— Ишь какой! — провел корюзлым пальцем по губам его Епишка.— Глаза так по-Степкину и мечут.

Анна вынула его на руки и стала перевивать.

— Что пучишь губки-то? — махал головой Епишка.— Есть хочешь, сосунчик? Сейчас тебе соску нажую.

Взял со стола черствый крендель и стал разжевывать; зубы его скрипели; выплюнул в тряпочку, завязал узелок и поднес к тоненьким зацветающим губам.

— У-ю-ю, пестун какой вострый! Гляди, как схватил! Да ты не соси, дурень, палец-то дяди, он ведь грязный. В канаве седня дядя ночевал.

Анна кротко улыбалась и жала в ладонь высунувшиеся ножки.

— Ничего, подлец, не понимаешь,— возился на коленях Епишка,— хоть и смотришь на меня... Ты ведь еще чередом не знаешь, хочется тебе есть али нет. А уж я-то знаю... Горе у матери молоко твое пролило... Ох, ты, сосунчик мой. Так, так, раба божия Аннушка,— встал он.— Все мы люди, все человеки, а сердце-то у кого свиное, а у кого собачье. Нету в нас, как говорится, ни добра, ни совести; правда-то, сказано, в землю зарыта... У него, у младенцато, сердца совсем нету... Вот когда вырастет большой, бог ему и даст по заслугам... Ведь я говорю не с проста ума. Жисть меня научила, а судьбина моя подсказала.

Анна грустно смотрела на Епишку и смахивала выкатившиеся слезы.

— Он-то ведь, бедный, несмысленный... Ничего не знает, ни в чем не виноват. Аннушка бедна, Аннушка горька,— приговаривал Епишка,— сидеть тебе над царем над мертвым тридцать три года... Нескоро твой ворон воды принесет... Помнишь?

Старая, плечи вогнуты, костылем упирается, все вдаль глядит. Коротайка шубейная да платок от савана завязаны. В Киев идет мощам поклониться.

В красной косыночке просфора иерусалимская... У гроба господня склонялась.

Солнце печет, пыль щекочет, а она, знай, идет и ни на минуту не задумается, не пожалеет. У куста села, сумочку развязывает... сухарики гложет с огурчиком.

— Зубов нет,— шамкает побирушке,— деснами кусаю, кровью жую...

— Телом своим причащаешься,— говорит побирушка.— Так ни лучше богу заслужишь...

Ходят морщины желтые, в ушах хруптит, заглушает.

— Берегешь копеечку-то? — спрашивает искоса побирушка.

— Берегу — всю жисть пряла, теперь по угодникам разношу. Трудовая-то жертва дорога.

По верхушкам сосен ветерок шуршит.

— Соснуть бы не мешало,— крестится побирушка.

Примнная траву, каратайку под голову положила. Мягка она, постель травяная, кости обсосанные всякому покою рады. О Киеве думает, ризы божеские блестятся.

«Ни сумы, ни сапог, ни поясов кожаных...» — голос дьякона соборного в ушах звенит...

«О-ох, грешная я»,— думает.

— Фюи, фюи,— гарчет плаксиво иволга. Тени облачные веки связывают.

По меже храп свистит, побирушка на сучье привалилась.

Тихо кусты качаются... Тень господня над бором ползает.

— Господи,— шепчут выцветшие губы,— помилуй меня грешную.

«Ни сумы, ни сапог, ни поясов кожаных»,— гудит в ушах.

— Тетенька,— будит прикурнувшую побирушку,— встань, тетенька.

— А-ат? — поднимается нищенка.

— Бедная ты, бездомная, возьми вот сумочку-то. Деньги тут. Ни сумы, ни сапог, в писании сказано...— плачет. Упокоилось сердце. Комочком легла. Глаза поволоклись морокой.

— Фюи, фюи,— гарчет плаксиво иволга.

— Идем,— подвязывает лапти побирушка,— провожу... До Маркова доберемся, а там заночуешь.

В осиннике шаги аукают.

— Это, я думаю, ты не от сердца дала мне... Лишние они у тебя.

Глядит вдаль, а в глазах замерла безответность.

— Что молчишь-то? — дергает ее за руку.

— Ни сумы, ни сапог, тетенька, камни с души своей скинаю.

— То-то... камни... знаем мы вас, прохожалок. Нахапите с чужой крови-то, а потом раздаете. Ишь и глаза, как озеро, пышут... Знаем мы вас. Знаем!

— Лазарь, ты мой Лазарь,— срывается кроткий шепот.— Ничего у бога нет непутевого,— ударяет клюкой по траве.— Все для человека припас он... От всего оградил. Человек только жадничает.

— Вишь, мушки мокреть всю спили с травы. Прошли бы, оброснились. Чай, с снохами-то неладно жила? — пытливо глядит ей в глаза побирушка.

— Нет, родная, никого не обижала.

— Врешь поди.

— Я к мощам иду,— тихо шепчет.— Что мне душу грязнить свою, непутевое говоришь. Не гневи бога, не введи во искушение,— поют на клиросе.

— То-то, вот вы такие и искушаете,— сердито машет палкой.— Святоши, а деньги кроете.

— О-ох... Устала...— опускается на траву.— Прогневаю бога ропотом. Прости ты меня, окаянную.

Побирушка, зажав палку, прыгнула, как кошка.

— У-у-у...— защелкала зубами.

Зычный хряст заглушил шелест трав. Кусты задрожали.

— Отдай деньги, проклятущая...

— Фюи, фюи,— гарчет иволга.

Глаза подернулись дымкой. К горлу подползло сдавленное дыханье, под стиснутыми руками как будто скреблась мышь.

Старый Анисим прилежным покаяньем расположил к себе игумена монастырского.

— Как ты, добрый человек, надоумил мир-то покинуть? Ведь старая кровь-то на подъем, ох, как слаба.

— Так, святой отец,— говорил Анисим.— Остался один, что ж, думаю, зря лежать на печи, лучше грехи замаливать. Сын, вишь, у меня утонул. Старуха не стерпела,

странствовать ушла. Дома молодайка есть, пусть как хочет живет. Сказывают, будто она несчастная была, и сын-то, может, погинул с неудачи... А мне дела до этого нет, такая она все-таки добрая, слова грубого не сказала, не обидчица была.

Похоронил Степан мать, сходил к Аниспму, получил с него деньги и дома остался жить. Оставила мать припадочного братишку, зорко заставила следить.

— Нет тебе счастья и талана,— сказала она,— ползай, как червь, по земле, если бросишь его.

Побоялся Степан остаться с Анной, а жениться на ней, гадал,— будут люди пенять.

«Что, мол, девок тебе, что ль, не хватает, бабу-то берешь».

Поехал он как-то в Коростово к тетке на праздник да остался заночевать. На улице девчата под окнами слонялись, парни в ливенку канавушки пиликали.

— Поди,— сказала ему тетка,— тебя девки-то зманывают.

Степан надел поддевку, заломил набекрень шапку, пошел к девкам.

Девки с визгом рассыпались и скрылись.

— Кто? — окрикнули его парни.

— Свой.

— Нет, не свой,— заговорил кто-то.— По ухватке видно — не свой... У нас, брат, так девок не щупают. Больно хлесток...

— Невесту, что ль, выглядываешь? — спросил гармонист.

— Невесту,— тихо ответил Степан.

— Так ты, брат, видно, сам знаешь... у нас положение водится... четверть водки поставь.

— Ладно,— сказал Степан,— поставлю, только не четверть, а три бутылки... Денег не хватает...

— Не хватает, не надо,— кивнул гармонист.— Мы не такие уж глоты.— Завозился на каблуках.

Степан отдал деньги ребятам и пошел к девкам.

Девки сидели на оглоблях пожарной бочки и, опершись на багор, играли песни.

Степан приглядывался, какая покрасивее, и, сильно затягивая папиросу, светил.

В середках одна все закрывалась рукавом, и он смекнул, что он ей нравится.

Зашел сзади и, потягивая к себе на колени, свалил.

Девка смеялась и, обхватив его за грудь, старалась повалить.

Закружив, начал целовать ее в щеки и отвел в сторону.

— Пусти ты,— отпихивалась она.— У, какой безотвязный... пусти!..

— Не пущу,— прижимался к пей Степан.— Хоть кричи, не пущу.

Прижал ее к плетню и силился расстегнуть коротайку.

— Ты, тетенька, меньше ста рублей не бери,— говорил он утром о приданом.— Ведь я не бобыль: две лошади, три коровы да овец сколько...

— Да чья она? — спрашивала тетка.— Куда идти-то мне?

— Черноглазая такая. Кудри на лоб выбиваются.

— А, ну теперь знаю. Ишь какую метишь,— она ведь писарева...

— Отдадут — сама говорила.

— То-то...

Она надела новую шубейку, покрыла белую тужильную по покойному мужу косынку и пошла свахой.

— Ты что, Марьяна? — спросила писариха и поманула ее ладонью.

— Посвататься, касатка, пришла, за племянника. Может, знавала Степку-то, без порток все у волости бегал махоньким...

— А,— протянула писариха.— Что ж, разве он не женат еще?

— Нет.

— Мы было хотели ведь погодить, с приданым никак че собрались.

— Да мы и немного берем-то.

— Сколько?

— Да как тебе сказать, не меней сотни.

— Ладно,— кинула в заслон мочалку,— сговорено.

— А он-то,— указала она па спящего на лавке писаря,— как же?..

Писариха подняла ногу и плюнула на каблук.

— В пятках он у меня, я с ним и разговаривать не стану.

Марьяна поклонилась и, подвязавшись, пошла обратно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Откулева-то выползло на востоке черное пятнышко и, закружившись, начало свертываться в большой моток.

По яру дохнувший ветерок трепыхнул листочки кленов, и вдогон зашептал вихорь.

Шнырявшая в сединах осипы синица соскользнула с ветки и, расплескав крылышки, упала в синь.

Карев сидел у плеса и слушал, как шумели вербы.

Волосы его трепались, и в них впутывалась мягкая сыпучая мшаница.

Он чувствовал на щеках своих брызги с плеса, и водяное кружево кидало в него оборванные клочья.

Сердце его кружилось с вихрем, думал, как легко бы и привольно слиться с грозою и унестись далеко-далеко, так далеко, чтобы потерять себя.

Яр зашумел, закачался, и застонала земля.

Протягивая к ветру руки навстречу, побежал, как ворон, к сторожке.

«Не шуми, мати зеленая дубравушка, дай подумать, погадать». Упал на траву. «Что ты не видел там, у околицы, чего ждешь? — шептал ему какой-то тайный голос.— В ожиданьях только погибель. Или силы у тебя не хватает подняться и унестись отсюда, как вихорь?»

«Нет, все не то,— подумал он.— Это на бред похоже. Надо связать себя, заставить или сильней натянуть нить с початка кудели, или уж оборвать».

Яр шумел...

Черная навись брызнула дождем, и капли застучали, как дробь, по широким листьям лопушника.

Карев встал и, открыв рот, стал ловить дождь губами.

С бородки его, как веретено, сучилась холодноватая струйка, шел босиком по грязи, махал сапогами и осыпал с зеленых пахучих кустов бисер.

В прорванных тучах качалось солнце, и по дороге голубели лужи.

С околицы выбежала Лимпиада и зазвенела серебряным смехом.

Она была мокрая, и с косы ее капала роса.

— Дождь фартуком собирала,— сказала она и, приподнявшись на цыпочки, подставила ему алые губы.

Карев повесил перед солнцем на колья сапоги и стал отряхать с мокрых штанов грязь.

— Иди, замою... Филиппа нет,— обняла его за плечи.— Тес пилит.

Обмыл ноги и, сжав горсть, плеснул на нее. По щекам ее с черными мушками грязи покатилась вода, она подбежала к луже, хотела брызнуть ногой, но, поскользнувшись, упала.

Поднял и со смехом понес на крыльцо.

Лимпиада стирала рукавом рубахи грязь и, закрасневшись, качала ногами.

— Костя,— притиснула она его голову,— милый, не уходи. Как хорошо-то!

Навстречу, повиливая хвостом, выбежал с веселым лаем Чукан и, оскаливая зубы, ловил мотавшийся на ноге Лимпиады башмак.

К вечеру в сторожку вернулся Филипп и стал рассказывать, как били деда Иена в холодной.

— В остроге сидит, сердешный,— говорил он.— Скоро, наверно, погонят.

— Жалко,— вздыхала Лимпиада,— хороший мужик был.

Прояснившееся небо опять заволоклось тучами, и сверкавшая молния клевала космы сосен.

Филипп чиркнул спичку и, подлезая под божницу, засветил лампадку.

В дверь кто-то заскребся; Лимпиада отворила и увидела кошку.

— Милая,— нежно протянула руки,— где ты пропадала? Я давно уж не сержусь на тебя.

Посадила на колени, стала гладить.

Облезлые волосы спадали на сарафан и белели, как нитки.

Кошка пучила глаза и, мурлыча, сама гладилась об ее руки.

— Ты убил...— покосился с пеной у рта пристав,— ты убил?..

— Я,— отозвался дед Иен.— Говорю, что я.

— Связать его! — крикнул он мужикам.— Да с понятыми в холодную отправить.

Дед Иен сам протянул руки и заложил их назад.

— Вяжи покрепче, Петро,— сказал он мужику,— а то левая рука выскочит.

— Ладно,— мотнул головой Петро,— ты больно-то не горячись, мы ведь для близиру.

Спотыкаясь, пошел вперед, и на губах его застыла светлая улыбка.

Пристав толкнул его на крыльцо холодной и ударил по голове тростью.

По щеке зазмеилась полоска крови.

— Эй,— крикнул грозно Петро,— ты что делаешь! — и, схватив замахнувшуюся трость, сломал о худощавое колено пополам.

— Ты не хрындучи! — затопал пристав.— Я тебя, сукин сын, в остроге сгною!

— Видал?..— показал ему кулак Петро.— Мы такую шваль-то видывали.

— Молчать! — крикнул, покраснев, как вареный рак, и ударил его по щеке.

Петро размахнулся, и кулак его попал прямо в глаз приставу.

Покачнулся и упал с крыльца в грязь. Над бровью вскочила набухшая шишка, и заплывший глаз сверкнул, как кровяное пятно.

— Ой, караул! — закричал он и, поднявшись на корточки, побежал к Пасику.

— Ну, дед, сиди,— сказал Петро,— а я теперь скроюсь, а то, пожалуй, найдут, по обличию узнают.

— Прощай, Петро,— обернулся дед, подавая развязать руки.— Мне теперь, видно, капут — дух вон и лапти кверху.

— Прощай, дед. Спасибо тебе за все доброе, век не забуду, как ты выручил меня в Питере.

— Помнишь?

— Не забуду.

Обнявшись, с кроткой печалью сняли шапки и расстались.

— Жалко,— ворчал Петро,— таких и людей немного остается.

Дед Иен велел сторожу открыть дверцу холодной и, присев на скамейку, стал перевертывать онучи.

— Бабка-то теперича у кого твоя останется? — болезно гуторил сторож.

— Э, родной, об этом тужить неча, общество знает свое дело. Не помрет с голоду.

— Так-то так, а как постареет, кто ходить за ней станет?

— Найдутся добрые люди, касатик. Не все ведь такие хамлеты.

Говор смолк. Слышно было, как скреблась за переборкой мышь. В запаутинившееся окно билась бабочка.

Наутро к селу с гудом рожков подъехали стражники. В руках их были плети и свистки.

Впереди ехал исправник и забинтованный пристав. Подъехали к окну старосты, собрали народ и стали читать протокол.

— «Мы обязываем крестьян села Чухлинки выдать нам провожатого при аресте крестьянина Иена Иеновича Кавелина,— громко и раздельно произнес исправник.— В противном случае общество понесет наказание за укрывательство».

— На вас креста нет,— зашумели мужики.— Неужели мы будем смотреть, кого кто-либо из вас посылает с каким поручением. Гляди на нас,— обернулись все лицами к приставу,— узнавай, кого посылал вчера.

— Мошенники! — кричал пристав.— Мы вас на поселение сошлем!

— Куда хошь ссылай, нам все одно. Кому Сибирь, а нам мать родная.

Деда Иена привели на допрос под конвоем.

— Так ты заявляешь, Кавелин, что совершил убийство без посторонних?

— Да.

— В какую пору дня вы его убили?

— В полдень.

— Имеешь ли оправдания, при каких обстоятельствах совершилось убийство?

— Все имеем,— закричали мужики.

— Молчать! — застучал кулаком исправник.

— Вам известно,— сказал дед Иен,— болей я говорить не стану.

— Тридцать горячих ему! — закричал пристав и, вынув зеркало, поглядел на распухшую, с кровоподтеками губу.

Два стражника повалили его на землю и, расстегнув портки, навалились на ноги и плечи.

Взмахнула плеть, и по старому желтому телу вырезалась кровяная полоса.

— Кровопийцы! — кричали мужики, налезая на стражников и выламывая колья.

— Прошу не буянить,— обратился исправник.— Староста, вы должны подчинить их порядку. Остановите.

— Братцы,— крикнул староста,— все равно ничего не поделаешь! Угомонитесь на минутку.

— Ишь какой братец заявился,— крикнул кто-то.— Сказали ему, а он и рад стараться.

Деда Иена подняли и развязали руки. Дрожа и путаясь руками, он стал застегивать портки.

— Прощайте, братцы,— кричал он, снимая шапку,— больше не свидимся.

— Прощай,— как стон, протянули мужики и с поникшими головами смотрели, как два стражника, посадив его на телегу, повезли в город.

Карев, прощаясь, сунул в руку деду пачку денег.

— Возьми обратно,— крикнул стражник.— Не полагается. Опосля суда...

Лимпиада стояла на колымаге и, закрывшись руками, вздрагивала от рыданий.

— Поедем,— сказал он ей, когда стражники скрылись за селом.

— Едем,— сказала она и, дернув вожжи, поворотила лошадь на проулки.

День заутренне гудел, и с бора несся неугомонный шум.

— Ну и изверги! — говорил Карев.— В глазах хватают за горло, кровь сосать.

По дороге летели звенящие паутинки и пряжей обвивали космы верб.

— Н-но, родная,— потрагивал Карев вожжами.— Тут, чай, за спуском недалече. Ну, как же ты думаешь? — спросил, обернувшись, заглядывая Лимпиаде в глаза.— Ведь ждать, кроме плохого, ничего не дождешься.

Лимпиада молчала, и ей как-то сделалось холодно от этого вопроса. Она сжалась комочком и привалилась к головням.

— Какое бесцветное небо,— сказала она после долгого молчания.— Опять гроза будет.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Карев решил уйти. Загадал выплеснуть всосавшийся в его жилы яровой дурман.

В душе его подымался ветер и кружил, взбудораживая думы.

Жаль ему было мельницы старой.

Но какая-то грусть тянула его хоть поискать, не оставил ли он чего нужного, что могло пригодиться ему в дороге.

«Сходи, взгляни и, не показываясь, уходи обратно. Так надо, так надо».

После этого на другой день Лимпиада заметила на лбу его складку, которой никогда не видела.

— Милый, ты о чем-нибудь думаешь? — спросила она.— Перестань думать. Ты видишь, я тебя люблю, ничего не требую от тебя, останься только здесь, послушай хоть раз меня, ты уйдешь, я сама скажу, когда почую, что тебе уходить надо.

— Любая моя белочка,— говорил, лаская ее, Карев.— Ты словно плотвичка из тесного озера синего, которая видит с мелью ручей на истоке и, боясь погибели, из того не хочет через него выплеснуться в многоводную речку. Послушай ты меня хоть раз, выпутай свои космы из веток сосен, отрежь их, если крепко они запутались. Я ведь и без кудрей твоих красивых буду любить тебя. Оденься ты странницей, возьми из своего закадычного друга яра посох и иди. Ты можешь ведь весь этот яр унести с собою. Ты не бойся, что что-нибудь забудешь,— сердце ничего не теряет.

— Яр аукает, отвечает эхом, но никогда не принимает, что говорят ему. Он отдает слова обратно,— сказала Лимпиада.— Если бы я была водяницей, я бы заманула тебя в омут и мертвого стала бы ласкать. Но я лесная русалка, полюбила тебя живого, тут и я несчастлива и ты.

— Эй вы, голуби! — крикнул Филипп.— Полно вам ворковать, помогли бы мне побросать на сушило сено, я бы вам спасибо сказал и чаем напоил.

— Дешево же ты, воробей, платишь,— засмеялся Карев и, подпоясав кушак, надел пахнущие кирпичом желтые рукавицы.

Анна спеленала своего первенца свивальником, надела на бессильную головку расшитую калпушку и пошла к бабке на зорю.

Не спал мальчик, по ночам все плакал и таял, как свечка.

Вошла в низенькую, с короткими сенцами хату и, став около порога, помолилась богу.

— Здорово, бабушка.

— Поди здорово, касатка. Чего скажешь?

— Не спит он. Заговорить пришла, просто никак за ним не уходишь.

— Погоди, погоди, родимая, сейчас бросим камешки, жив ли он будет...

Боялась, что последняя радость покинет ее.

Бабка налила в полоник воды и бросила туда из жаровни засопевшие угли.

— С глазу, с глазу дурного, касатка, мучается младенчик. Люди злые осудили.

Достала из сумочки, пришитой к крестовому гайтану, три камешка и, посупив их, кинула в воду.

— Помрет,— сказала.— Не жилец на белом свету.

Анна побледнела и ухватилась за сердце.

— Бабушка, обмани хоть меня,— рыдая, судорожно забилась.— Не отнимай надежду мою.

— Погоди, касатка, сейчас на зорю сходим, может, ему и полегчает.

Вышли на крыльцо. Багрянец пенился в сини и красил кровью облака.

Бабка взяла ребенка и, повернув лицом на закат, стала заговаривать:

— Заря-зоряница, красная девица. Перва заря вечорошная, вторая полуношная, третья утрошная. Вынь, господи, бессонницу у Алексея-младенца. Спаси его, господи, от лихова часу, от дурнова глазу, от ночнова часу. Вынь, господи, его скорби изо всех жил, изо всех член.

«Умрет, умрет,— колола тоска Анну.— Опять одна... опять покинутая...»

— Ты не болезнуй, сердешная, может, с наговору-то и ничего не будет.

Прижала к груди, ножки его в кулачок и грела... в закрытые глаза засматривала.

— Милый, милый, малюсенький.

Шла, как ветер нес. Вдруг Епишка повстречался.

— Где была, куда бог носил? — подошел он, заглядывая на ребенка.

— На заговор ходила.

— Ути, мой месяц серебряный, как свернулся-то... Один носик остался. Ты не плачь, Аннушка,— обратился он к ней,— а то и я плакать буду, ведь он мне что сын родной.

— Ох, Епишка, сердце мое не вынесет, если помрет он. Утоплюсь я тогда в любой канаве.

— Ты, голубушка, не убивайся так, может, господь пожалеет его. Ты себя-то береги, пока жив он.

— Карев ушел,— сказал Филипп.— Он тебе, Липа, не говорил, когда вернется?

— Он, вишь, пристал к варнакам охотиться,— ответила Лимпиада.— Верно, после выручки.

— Экий расслоняй, все время бегает по ветру.

Лимпиада сидела за столом и ткала холсты.

— Я хотел с тобой поговорить, Липа,— начал Филипп.— За Карева, я чую, ты не пойдешь замуж, а оставаться в девках тебе невозможно... Ваньчок вот все просит твоего согласия, а то хоть завтра играй свадьбу...

— Что ты привязался с своим Ваньчком, разве мне еще женихов нету?

— Вот чудная такая! Ведь я знаю, что тебе советую. Ваньчок возьмет тебя, ты опять при мне останешься. Случись что со мной, если ты не выйдешь, тебя погонят ведь отсюда. А с ним... У него деньги...

— На что мне они, его деньги? — бросила Лимпиада.— Ими горло ему надо засыпать.

— Ну, как хошь, я тебя не насилую...

Филипп стал на лавочку и обмел на потолке копотные паутины. Веник осыпал березовые листья и разносил пряный пах. В окно стучался ветер.

С крыши срывалась солома и, закружившись, ныряла в чащу.

Летели листья, листья, листья и, шурша, о чем-то говорили.

— Пожар,— сказал Филипп, указывая на огненную осину.— Вот что делает холодная пора-то.

«Хорошо,— с сверкающими глазами подумала Лимпиада.— Лучше сгореть с этим бором, чем уйти от него...»

Ветер подсвистывал.

Карев ушел... Он выбрал темные ночи бабьего лета, подлинней расчесал свою бороду и надел ушастую шапку.

Сердце его билось, когда он подходил к своему селу; под окнами сидели девки и играли с ребятами в жгуты.

Боялся, оглядывался и нерешительными шагами стал подходить к дому. Подкрался к вербе и стал всматриваться; горел огонь.

Из окна выглянула соседка.

— Епишка,— окрикнула она его,— поди почитай письмецо.

Пристыл, но, спохватившись, быстро замахал на конец села.

Было тихо, и лишь изредка лаяли собаки. С реки подымался туман и застилал землю.

Сел околь гумна и глядел на жевавшую желтую траву лошадь.

— Дзинь-дзинь,— позвякивала она, прыгая, железным путом и, подняв голову, гривой махала.

— Коняш, коняш,— захрипел за плетнем старческий голос, и зашлепала оброть.

Как будто обжог почуял и бросился, зарывшись с головой, на солому.

Старик тпрукал лошадь и, кряхтя, отчаливал путо.

Стук копыт стал таять, и звенящая тишина изредка нарушалась петушьим криком.

Свежо, здорово, стелился туман.

Когда Анна вернулась, мальчику сделалось еще хуже. Она байкала его, качала, прижимая к груди, но он метался и опускал свислую головку.

Подстелив подушечку, положила на лавку и заботливо прислоняла к головке руку.

Что-то пугало ее, что-то грозило, и она вся трепетала при мысли, что останется одна.

Мальчик качнул головкой, дернул, вздрагивая ножками, и пустил пенистую слюну.

— Ах! — вскрикнула она и ухватилась за сердце.

Ноги ее сползли, и вся она грохнулась на пол.

Подбежал котенок и, покачивая бессильные пальцы, начал играть.

Через минуту она встала и уставилась в одну точку.

Понемногу она успокаивалась, но по крови ее желчью разливалась горечь и будила какую-то страшную решимость.

Она случайно повернулась к окну — и вся похолодела. У окна, прилепившись к стеклу, на нее смотрело мертвое лицо Кости и, махнув туманом, растаяло.

— Зовет,— крикнула она,— умереть зовет! — и выбежала наружу.

Рассвет кидал клочья мороки, луга курились в дыму, и волны плясали.

В камышах краснел мокрый сарафан, и на берегу затона, постряв на отцветшем татарнике, трепался на ветру платок.

Черная дорога, как две тесьмы, протянулась, резко выдолбив колеи, и вилась змеей на гору.

С горы, гремя бадьей и бочкой, спускался водовоз.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Сказал старый Анисим игумену:

— Пусти меня домой, ради бога, ноет вот тут,— указывал он на грудь.— Так и чую, что случилось неладное...

— Иди, бог с тобой,— благословил его игумен.— Святые отцы и те ворачивались заглянуть на своих родных.

Накинул Анисим подрясник, заломил свою смятую скуфью и поплелся, сгорбившись, зеленями шелковыми.

Идет, костылем упирается, в небо глядит, о рае поет, а у самого сердце так и подсасывает — что-то там дома творится?

Проезжие смотрят — всем кланяется и вслед глядит ласково-ласково.

На тройке барин какой-то едет, поравнялся, спрашивать стал:

— Разве ты меня знаешь — кланяешься-то?

— Нет, не знаю, и не тебе кланяюсь,— лику твоему ангельскому поклон отдаю.

Улыбнулся барин, теплая улыбка сердце согрела. Может быть, черствое оно было сердце, а тут растопилось от солнца, запахло добром, как цветами.

— Прощай, старичок, помолись за меня угодникам да вот тебе трешница, вынимай каждый день просфору за раба божьего Сергея.

— Не весна, а весной пахнет. Свете тихий, вечерний свет моей родины, прими наши святые славы,— шепчет он.

И опущенные белые усы ясно вырезают разрез посинелых губ.

— Здорово, дедушка,— встретили его у околицы ребятишки.— Анны-то нету дома... утопилась намедни она, как парень ее помер; заколочен дом-то ваш.

Вдруг почувствовал, ноги подкашиваются, и опустился.

— Устал, дедушка, посиди, мы тебе табуретку принесем.

— Спасибо, родные, спасибо, немного осталось, хоть на корточках доползу.

Встал и, еще более сгорбившись, поплелся мимо окон; ребятишки растерянными глазами провожали.

Прохожие останавливались.

— Ой, Анисим, Анисим, не узнаешь тебя,— встретила у ворот соседка.— Поди закуси малость, небось ведь замытарился, болезный.

Слезу утирает, на закат молится.

— Как тебя бог донес такую непуть? Ведь холод, чичер, а ты шел.

Ничего Анисим не ответил, застыл от печали глубокой.

С пьяной песней в избу взошел Епишка.

— «Я умру на тюремной постели, похоронят меня коекак...» Мое почтенье, челом бью, дедушка Анисим, прости, что пою песню, я ведь теперь все на панихидный лад перевожу...

— Присаживайся,— подставила хозяйка скамью,— гостем будешь, вместе горе поделим, мы все ведь какие-то бесталанные.

— Про то и пою, тетень, эх-а!.. «А, судьба ль ты моя роковая, до чего ж ты меня довела...» Не могу, ей-богу, не могу... Слезы катятся, а умирать не хочется. Ведь могила-то когда хошь приют даст, жить бы надо, да что-то как жестянка ломается жизнь моя, и не моя одна. Ты, дедушка, меня в монахи возьми, можа, я там хоть пить перестану. Ведь там нет вина, стены да церковь.

— Убежишь,— засмеялась старуха.— Не лезь уж, куды не надо. Так и живи.

— Не хочу я так-то жить, мочи моей не хватает, с тоски помру.

Епишка был пришляк на село, он пришел как-то сюда вставлять рамы и застрял здесь. Десять лет уж минуло.

Где-то в дальней губернии у него осталась жена, которая пустила его на заработки.

Каждый год Епишка собирался набрать денег и отослать жене на перестройку хаты, но деньги незаметно переходили к шинкарке Лексашке, и хата все откладывалась.

Каждое рождество он писал домой, что живет слава богу, что скоро пришлет денег и заживет, как пан.

Но опять выпадал какой-нибудь невеселый для него день, и опять домой писалось коротенькое письмо с одним и тем же содержанием.

Жена его знала эту слабость, она писала ему, чтоб он вернулся, что дом давно перестроен, но он никогда не читал дальше поклонов. Не хотел, а может быть, и наперед чуял, что пишут.

— Возьми меня, дедушка, ради бога возьми, там ведь жалованье платят, может, скоплю сколько-нибудь, домой пошлю.

Анисим молчал и грустно покачивал головою.

— Ты сегодня, Епишка, пьян, завтра ты по-другому скажешь. Ты лучше вот что я тебе посоветую, выписывай

сюда жену да живи на моей усадьбе. Дом-то мой ведь первый на селе. Я подпишу тебе все, ничего не оставлю. А коли помру, если хватит доброй совести, поставь мне крест на могилу.

— Родной ты мой,— упал Епишка на колени.— Спаситель, как мне тебя благодарить?

— Встань, Епишка,— сказал Анисим.— Пустое все это, ведь мне все равно ничего не надо. Ты закусывай лучше сейчас, ведь небось после Анны тебя никто не накормил.

— Нет,— всхлипнул Епишка,— разве я пойду просить... Стыдно... Была Анна, так она все понимала... Царство ей небесное, хорошая баба была.

Хозяйка начала рассказывать, как вытащили Анну из воды.

— Отец ты мой родной,— приговаривала, пришлепывая губами.— Как положили два гроба-то рядом, инда сердце кровью обливалось.

— Ты посмотри,— указал Епишка на разрубленный палец.— Гроб делал... Как вспомню, что делаю для Анны, топор из рук валится и рубанок не стругает... Оттяпал ведь до самой кости.

Анисим решил пождать жену Епишкину. «Пропьет еще все,— думал он.— Баба-то лучше удержит».

Через неделю им пришел ответ, что жена Епишки три года тому назад померла, а оставшаяся вдовой дочь продала все пожитки и едет.

«Как же так? — думал Епишка.— Неужели я три года не писал?..»

Он как-то состарился, съежился и жалел, что Анисим подписал ему свое имущество.

«Охо-хо! — думал он.— Уехал, девке-то десять годов было, уж вдова стала. Вот она какая жисть-то, самому сорок годов стукнуло, а я все думал — тридцать».

«Как же она замуж вышла? — спрашивал себя.— И откуда набрали денег, когда присылу не было?.. Впрочем, что же, баба была здоровая, за семерых работать могла...»

Через два дня Епишка встретил на телеге молодую бабу и с слезами бросился целовать ее.

Старый Анисим сам не одну смахнул слезу. Жалко ему было Епишку... Мыканец он.

«И в кого она у меня такая красивая,— думал Епишка,— ни на меня, ни на мать не похожа».

— Ты теперь брось пить-то,— говорил Анисим.— А ты, родная, поудерживай его, слаб он...

— Дедушка, ей-богу, одну рюмочку, с радости. Ведь

я сейчас словно причастился, весь мир бы обнял, да головы у него нет.

Дочь Епишки улыбалась и, налив себе рюмку, почомкалась.

— Ты ведь у меня единая, ненаглядная моя. Мы теперь тебе такого жениха сыщем, какой тебе и во сне не снился.

Погорбился старый Анисим за эту неделю, щеки ввалились, а подбородок качался, будто шептал.

Простился с Епишкой и дочерью его и пошел опять с костылем, сгорбившись еще ниже.

— Ты как-нибудь, папаша, лошадь купи,— говорила Марфа отцу,— пахать станем.

— Теперь мы с тобой заживем, Марфунька,— говорил Епишка.— Земли у нас много, хлеба много, скота семь голов рогатого, лошадей только, жаль, увели. Недоглядки.

Плетется Анисим, на солнце поглядывает, до захода в монастырь надо попасть.

По дорожке воронье каркает, гуси в межах на отлет собираются.

Пришел в келью, к игумену, пыльный с дороги, постучался.

— Благослови, отче... Вернулся. Теперь не пойду.

— Ну что, не обмануло тебя сердце твое?

— Нет, отче, сноха утонула. Господь меня надоумил сходить... Господь.

— Ты отдохни поди, вишь, как выглядишь плохо. А что ж старуха-то твоя не вернулась?

— Нима, отче; видно, к угодникам в подножие улеглась. Сильная духом была, знал я, что ей не вернуться.

В келью пришел свою, на столе просфора зачерствелая, невынутая.

Кусает зубами качающимися, молитву хлебу насущному читает.

И опять все как было: на стене скуфья на гвоздике, у окошка на подставочке цветы доморощенные не поливаны.

На мешочном тюфяке в дырки солома выбилась, в коричневых выструганных сучьях клопы гнездятся.

— Слава тебе, Христе боже наш, слава тебе.

Около рукомойника рушничок висит, покойная сноха вышивала.

— Всех похоронил, теперь самому на покой пора. Ой, как тяжело хоронить!

Захолодало. По селу потянулись с капустой обозы.

Хорошо молиться в осень темной ночи за чью-нибудь непутевую душу.

Обронили вербы четки зеленые, краснотой подернулись листья — удила шелковые.

Вечер. Голоса на дороге про темную ноченьку поют.

Прощай ты, пора нудная, томящая. Вылила ты из пота нашего колосья зернистые, кровью нашей напоила ягоды свои.

Марфа принялась за хозяйство. Сперва ей казалось все как-то по-чудному. Ночью она не могла дверь найти спросонья, вместо порога к загнетке печной забиралась.

Стало подсасывать что-то опять Епишку, не сиделось ему дома, горько было на чужое добро смотреть. Чужое несчастье на счастье пошло.

Ходил в лес, осин с кореньями натаскал, а потом у окошка стал рассаживать.

— Марфунька,— кричал он, запихивая в землю скрябку,— воды неси поливать.

Люди засматривали, головой покачивали.

— Что это с Епишкой-то сталось: дочь привез, вино бросил пить и в церковь ходит.

В монастырь бегал причащаться, всю дорогу без одышки бежал.

— Так ин,— говорит,— лучше бог простит все... да и думы грешные в голову не полезут.

Старый Анисим просфорочку ему дал, советовал лучше кобылку купить, чем мерина.

— Ты кобылку-то купишь — через три года две лошади, ой, ой, каких будешь иметь!

Послухался Епишка старого Анисима, пришел домой и сказал Марфе, что хочет кобылу купить.

В базарный день повели продавать двух коров и выручили три сотни.

— Теперь ты, папаша, в город иди, там-то, чай, лучше купишь.

Снарядила Марфа отца в дорогу, зашила деньги в подштанники и проводила.

Приковылял Епишка в город, в трактирчик зашел отогреться. Люди винцо попивают, речи деловые гуторят. Подсела к Епишке девка какая-то, наянная такая, целоваться лезет.

— Жисть свою пропиваю! — кричит Епишка.— Хорошая ты моя, жалко мне тебя, пей больше, заливай свою тоску, не с добра, чай, гулять пошла.

Когда па другое утро Епишка полез в кошелек купить калачика, там валялась закрытая бумажкой единая заплесневелая старинная копейка.

Ждала Марфа отца и ждать отказалась, уж замуж успела выйти, мужа к себе приняла, а он как в воду канул.

Через два года, в такое же время, она получила письмо от него:

«Добрая доченька, посылаю тебе свое родительское благословение, которое может существовать по гроб твоей жизни и навеки нерушимо.

Дорогая Марфенька, об деньгах прошу тебя не сумлеваться, скоро приеду домой. Кобыла тут у меня па примете есть хорошая, о двух сосунков. Как только вернуся, заживем опять с тобой па славу».

Карев запер хату и пошел в другой раз к сторожке. Лимпиада просила оставить на память вырезанную им солоницу.

Филипп окапывал завалинку и возил на тачке с подгорья загрубелую землю.

— Отослал Иенке денег ай нет? — спросил он, не оборачиваясь, поправляя солому.

— Отослал... сам возил, прощаться ездил.

— То-то долго-то.

— Да.

— Ну, входи,— сказал Филипп.— Ваньчок приехал, чай пьют, дожидаются.

Ваньчок сидел в углу с примасленными, расчесанными на ряд волосами и жевал пышку.

Когда Карев ступил на порог, он недовольно поглядел па него и, приподняв руками блюдечко, чуть-чуть кивнул головой.

— Принес? — спросила Лимпиада и с затаенной болью, нагнувшись, стала рассматривать рисунки.

На крышке было вырезано заходящее солнце и волны реки.

Незатейливый рисунок очень много говорил Лимпиаде, и, положив солонку на окно, она задумалась.

Карев подвинул стакан к чайнику и налил чаю.

— Ну, ты что ж молчишь? — обратился он к Ваньчку.— Рассказывай что-нибудь.

— Чего рассказывать-то? — протянул Ваньчок.— Все пересказано давно.

— Ну,— засмеялся Карев,— это ты, наверно, не в духе

сегодня. Ты бы послухал, как ты под «баночкой» говоришь, ты себя смехом кропишь и других заражаешь.

— Лучше Фильке пойду подсоблю,— сказал он, надевая картуз и затягивая шарф.

Когда Ваньчок вышел, Карев поднял на Лимпиаду глаза.

— Идешь? — спросил глухо он.— Я ухожу послезавтра. Пойдем. Жалеть нечего.

Лимпиада свесила голову и тихо, безжизненно прошептала:

— Иди, я не пойду.

— Прощай. Больше, я думаю, говорить тебе нечего.

Лимпиада загородила ему дорогу и повисла, схватившись за него, на руках.

— Не уходи, милый Костя,— ради всего святого, пожалей меня.

— Нет, я не могу оставаться,— сказал Карев и отдернул ее руку.

На пороге показался Филипп.

— Ты что же, совсем уходишь?

— Да, совсем, проститься зайду. Не поминайте лихом, а если сделал чего плохого, то прошу прощенья...

Когда Карев ушел, Лимпиада проводила Филиппа к Ваньчку, а сама побежала на мельницу.

Хата была заперта, и на крыльце на скамейке лежала пустая пороховница.

«Куда же ушел?» — подумала она и повернула обратно. Вечерело. Оступилась в колею и вдруг, задрожав, почувствовала, что под сердцем зашевелился ребенок.

— Ох! — вскрикнула тихо и глухо, побежала к дому, щеки горели, платок соскочил на плечи, но она бежала и ничего не замечала.

В открытых глазах застыл ужас, губы подергивались как бы от боли.

Прибежала и, запыхавшись, села у окна.

«Зачем же я бежала? Господи, откуда эта напасть? Что делать мне... что делать?..»

Думы вспыхивали пламенем и, как разбившаяся на плесе волна, замирали.

«Вытравить, избавиться»,— мелькнула мысль. Она поспешно подбежала к печурке.

«Преступница»,— шептал какой-то голос и колол, как шилом, в голову.

«Господи,— упала она перед иконой,— научи!»

На брусе — для мора тараканов, в синей бумажке,— в глаза ей бросилась спорынья.

С лихорадочной дрожью наскребла спичек и смешала с спорыньей.

Когда цедила из самовара воду, в ней была какая-то неведомая ей дотоле решимость.

Без страха поднесла к губам запенившуюся влагу и выпила.

Чашка, разбившись, зазвенела осколками, и, свалившись на пол плашмя, Лимпиада забилась, как в судороге.

Волосы, сбившись тонкими прядями, рассыпались по полу и окропились бившей клочьями с губ пеной. Под окном ворковали голуби, и затихший бор шептался о чем-то зловещем.

Лицо ее было как мел, и на нем отражалась лесная зеленая дремь.

Филипп не поехал к Ваньчку, он встретил чухлинского старосту и пошел оглядывать намеднишнюю вырубку.

Щепа пахла ладаном, на голых корнях в вырубях сверкала вода.

— Тут надо бы примерить,— сказал староста.— Сбегай-ка до дому за рулеткой.

Филипп сломил ветку калинника и побег к сторожке.

Чукан, свернувшись в кольцо у ворот, хотел схватить его за ногу.

В голову ударило мертвечиной, на полу в луже крови валялась Лимпиада — и около нее разбитая чашка.

— Отравилась!..— крикнул, как журавль перед смертью, и побежал к колодцу за холодной водой.

Поливал ей на грудь, пальцем разжимал стиснутые зубы.

Холодел.

Склонившись на колени, закрылся руками и заголосил по-бабьему.

— Ой, не ходила бы девка до мельника, не развивала бы свою кудрявую косу, не выскакивала бы в одной сорочке по ночам, не теряла бы ты девичью честь.

Ползал, подымал осколки чашки и подносил к носу.

— Ох ты, бесталанная головушка, при тебе спорынья в поле вызрела, и на погибель ты свою ее пожинала.

Ваньчок трепал за ухо своего подпаска.

— Ты опять, негодяй, потерял ярку. Ищи, харя твоя поганая, до смерти захлыщу.

— Я, дя-аденька, ни при чем,— плакал Юшка.— Вот те Христос, не виноват...

— Я те, сволочь, покажу, как отказываться. Ишь сопляк какой подхалимный!

Возбужденный опять неудачей, напился к вечеру пьян и поехал опять сватать Лимпиаду.

Около околицы ему послышалось, что Филипп поет песню.

Он слез с телеги и, качаясь, выгаркивал осипло «Веревочку»:

Эх, да как на этой на веревочке
Жизнь покончит молодец...

С концом песни ввалился в избу и остолбенел.

— Это он! — крикнул с брызгами пены у рта.— Это он... Он весь яр поджег, дымом задвашил...

Красные глаза увидели прислоненную к запечью берданку.

Голова закружилась безумием и хмелем.

Схватив берданку, осмотрел заряды и выбежал на дорогу.

Ветер ерошил на непокрытой голове волосы и спускал на глаза.

Хвои шумели.

Вечерело. Карев ходил набрать грибов. Заготавливал на отход.

Шел с грустной думой о Лимпиаде и незаметно подошел к дому.

В хате светился огонь, и на полу сырой картошкой играл кот.

На крыльце он увидел темную тень и подумал, что его кто-то ожидает.

Прислоненная к перилам тень взмахнула ружьем.

«Филипп,— подумал Карев,— на охоту, видно, напоследок зовет...»

Грянул выстрел, и, почуял, как что-то кольнуло его и разлилось теплом.

Упал... по телу пробегла дремная слабость. Показалось еще теплее, но вдруг к горлу хлынуло как бы расплавленное олово, и, не имея силы вздохнуть, он забился, как косач.

Стихало... От дороги слышались удаляющиеся шаги. Месяц, выкатившись из-за бугра долины, залил лунью крыльцо и крышу.

— Ку-гу, ку-гу...— шомонила за мельницей сова.

<1915>

СЛОВАРЬ МЕСТНЫХ РЯЗАНСКИХ НАРЕЧИЙ[1]

Артус — просфора, освященная в первый день пасхи.

Бочаг — яма на дне реки, омут.

Брус — крайний ряд кирпичей у чела печи.

Брусница — деревянный футляр для точильного бруса. Во время работы привязывается ремнем за спину косца.

Бурыга — ухаба, рытвина.

Бучень — птица выпь.

Воронок — медовая брага с хмелем.

Выбень — выбитое место.

Вяхирь — сотчатый кошель для сена.

Гребать — брезговать.

Грядки — две продольные жерди, образующие края кузова повозки.

Донце — дощечка со специальной рамкой, на которую садится пряха, вставляя в нее гребень или кудель.

Жарница — глиняная миска для запеканов.

Забурукал — глухо, невнятно заворчал, забормотал.

Задвашить — задушить.

«Заря-зоряница...» — заговор от бессонницы. Есенин слышал его от матери.

Засемать — засуетиться, зачастить ногами.

Засычка (норовить в засычку) — задираться, ввязываться в драку, в скандал.

Захряслый — затверделый.

Зубок — подарок новорожденному.

Калпушка — детский чепчик.

Кочатыг — тупое, широкое, плоское шило для плетения лаптей и кошелей.

Кулага — заварное жидкое тесто из ржаной муки с солодом.

Лоск — лог, лощина или низкое место в поле.

Лушник — ситный хлеб, испеченный с луком, пережаренным в масле.

---

[1] Составлен А. А. Есениной. Приводится с некоторыми сокращениями.

Мотальник — приспособление в прялке для сматывания пряжи.
Мускорно — трудно, кропотливо.
Мухортая — захудалая.

Наянно — навязчиво.
Нехолявый — неопрятный, неряшливый.

Ободнять — рассветать.
Оборки (оборы) — веревочные завязки у лаптей.
Оброть — недоуздок, конская узда без удил, с одним поводом для привязи.
Окадычиться — умереть.
Олахарь — обалдуй, непутевый.

Падина — настил из хвороста под стога сена.
Попки — связанные пучки ржаной соломы, кладущиеся на верх соломенной крыши.
Постная — круглая корзиночка, плетенная из соломы, перевитой мелким лозняком. В ней держат муку и в нее же кладут, как в форму, хлебное тесто для подхода.
Поязать — обещать.
Путро — месиво с мучными высевками для скота.
Пьяника — лесная ягодка (голубика).
Пятерик — бревно, из которого можно напилить пять поленьев.

Разёпа — разиня.

Саламата — кушанье, приготовленное из поджаренной муки с маслом.
Сиверга (сиверка) — холодная мокрая погода при северном ветре.
Суровика — лесная ягода.

Тудылича — в том месте, в той стороне; или — не теперь, не сейчас.
Тужильная косынка — белая косынка, которой женщины покрывают головы в особо горестные дни — дни похорон и поминания близких людей.

Ушук — мгла.

Хрестец (крестец) — убранный хлеб подсчитывается копнами и крестцами. В копне пятьдесят два снопа, в крестце — тринадцать. В полях хлеб укладывается по двенадцать снопов крест-накрест и накрывается сверху тринадцатым. Отсюда и название — крестец.
Хруп — жесткий, крупный помол муки.
Хрындучить — ерепениться, куражиться.

Цибицы — чибисы.

Чапыга (чапыжник) — частый кустарник, непроходимая чаща.
Чимерика (чемерица) — луговая трава с толстым стеблем и с широкими листьями.
Чичер — резкий холодный ветер.

Шалыган — шалун, бездельник.
Шомонить — лезть, заглядывать, шуметь, наговаривать.
Шушпан — летняя женская одежда.

Щипульник — шиповник.

БОБЫЛЬ И ДРУЖОК

(Рассказ, посвященный сестре Катюше)

Жил на краю деревни старый Бобыль. Была у Бобыля своя хата и собака. Ходил он по миру, сбирал куски хлеба, так и кормился. Никогда Бобыль не расставался с своей собакой, и была у нее ласковая кличка Дружок. Пойдет Бобыль по деревне, стучит под окнами, а Дружок стоит рядом, хвостом виляет. Словно ждет свою подачку. Скажут Бобылю люди: «Ты бы бросил, Бобыль, свою собаку, самому ведь кормиться нечем...» Взглянет Бобыль своими грустными глазами, взглянет — ничего не скажет. Кликнет своего Дружка, отойдет от окна и не возьмет краюшку хлеба.

Угрюмый был Бобыль, редко с кем разговаривал.

Настанет зима, подует сердитая вьюга, заметет поземка, надует большие сугробы.

Ходит Бобыль по сугробам, упирается палкой, пробирается от двора ко двору, и Дружок тут бежит рядом. Прижмется он к Бобылю, заглядывает ласково ему в лицо и словно хочет вымолвить: «Никому мы с тобою не нужны, никто нас не пригреет, одни мы с тобою». Взглянет Бобыль на собаку, взглянет — и словно разгадает ее думы,— и тихо-тихо скажет:

— Уж ты-то, Дружок, меня, старика, не покинь.

Шагает Бобыль с собакой, доплетется до своей хаты, хата старая, нетоплена. Посмотрит он по запечке, посмотрит, по углам пошарит, а дров — ни полена. Глянет Бобыль на Дружка, а тот стоит, дожидается, что скажет хозяин. Скажет Бобыль с нежной лаской:

— Запрягу я, Дружок, тебя в салазки, поедем мы с тобой к лесу, наберем там мы сучьев и палок, привезем, хату затопим, будем греться с тобой у лежанки.

Запряжет Бобыль Дружка в салазки, привезет сучьев и палок, затопит лежанку, обнимет Дружка, приголубит. Задумается Бобыль у лежанки, начнет вспоминать прожитое. Расскажет старик Дружку о своей жизни, расскажет о ней грустную сказку, доскажет и с болью молвит:

— Ничего ты, Дружок, не ответишь, не вымолвишь слова, но глаза твои серые, умные... Знаю, знаю... ты все понимаешь...

Устала плакать вьюга. Реже стали метели, зазвенела капель с крыши. Тают снега, убывают.

Видит Бобыль — зима сходит, видит — и с Дружком беседует:

— Заживем мы, Дружок, с весною.

Заиграло красное солнышко, побежали ручьи-колокольчики. Смотрит Бобыль из окошка, под окном уж земля зачернела.

Набухли на деревьях почки, так и пахнут весною. Только годы Бобыля обманули, только слякоть весенняя старика подловила.

Стали ноги его подкашиваться, кашель грудь задавил, поясница болит-ломит, и глаза уж совсем помутнели.

Стаял снег. Обсушилась земля. Под окошком ветла распустилася. Только реже старик выходит из хаты. Лежит он на полатях, слезть не может.

Слезет Бобыль через силу, слезет, закашляется, загрустит, Дружку скажет:

— Рано, Дружок, мы с тобою тогда загадали. Скоро уж, видно, смерть моя, только помирать — оставлять тебя — неохота.

Заболел Бобыль, не встает, не слезает, а Дружок от полатей не отходит; чует старик — смерть подходит, чует — Дружка обнимает,— обнимает, сам горько плачет:

— На кого я, Дружок, тебя покину. Люди нам все чужие. Жили мы с тобой... всю жизнь прожили, а смерть нас разлучает. Прощай, Дружок, мой милый, чую, что смерть моя близко, дыханье в груди остывает. Прощай... Да ходи на могилу, поминай своего старого друга!..

Обнял Бобыль Дружка за шею, крепко прижал его к сердцу, вздрогнул — и душа отлетела.

Мертвый Бобыль лежит на полатях. Понял Дружок, что хозяин его умер. Ходит Дружок из угла в угол,— ходит, тоскует. Подойдет Дружок, мертвеца обнюхает,— обнюхает, жалобно завоет.

Стали люди промеж себя разговаривать: почему это Бобыль не выходит. Сговорились, пришли — увидали, увида-

ли — назад отшатнулись. Мертвый Бобыль лежит на полатях, в хате запах могильный — смрадный. На полатях сидит собака, сидит — пригорюнилась.

Взяли люди мертвеца, убрали, обмыли, в гроб положили, а собака от мертвого не отходит. Понесли мертвого в церковь, Дружок идет рядом. Гонят собаку от церкви, гонят — в храм не пускают. Рвется Дружок, мечется на церковной паперти, завывает, от горя и голода на ногах шатается.

Принесли мертвого на кладбище, принесли — в землю зарыли. Умер Бобыль никому не нужный, и никто по нем не заплакал.

Воет Дружок над могилой, воет, лапами землю копает. Хочет Дружок отрыть своего старого друга, отрыть — и с ним лечь рядом. Не сходит собака с могилы, не ест, тоскует. Силы Дружка ослабели, не встает он и встать не может. Смотрит Дружок на могилу, смотрит жалобно, стонет. Хочет Дружок копать землю, только лапы свои не поднимает. Сердце у Дружка сжалось... дрожь по спине пробежала, опустил Дружок голову, опустил, тихо вздрогнул... и умер Дружок на могиле...

Зашептались на могиле цветочки, нашептали они чудную сказку о дружбе птичкам. Прилетала к могиле кукушка, садилась она на плакучую березу. Сидела кукушка, грустила, жалобно над могилой куковала.

1917

ЖЕЛЕЗНЫЙ МИРГОРОД

1

<...> Да, я вернулся не тем. Много дано мне и много отнято. Перевешивает то, что дано.

Я объездил все государства Европы и почти все штаты Северной Америки. Зрение мое преломилось особенно после Америки. Перед Америкой мне Европа показалась старинной усадьбой. Поэтому краткое описание моих скитаний начинаю с Америки.

BOAT «PARIS»[1]

Если взять это с точки зрения океана, то все-таки и это ничтожно, особенно тогда, когда в водяных провалах эта громадина качается своей тушей, как поскользающийся... (Простите, что у меня нет образа для сравнения; я хотел сказать — как слон, но это превосходит слона приблизительно в 10 тысяч раз. Эта громадина сама — образ. Образ без всякого подобия. Вот тогда я очень ясно почувствовал, что проповедуемый мною и моими друзьями «имажинизм» иссякаем. Почувствовал, что дело не в сравнениях, а в самом органическом.) Но если взглянуть на это с точки зрения того, на что способен человек, то можно развести руками и сказать: «Милый, да что ты наделал? Как тебе?.. Да как же это?..»

Когда я вошел в корабельный ресторан, который площадью немного побольше нашего Большого театра, ко мне подошел мой спутник и сказал, что меня просят в нашу кабину.

Я шел через громадные залы специальных библиотек, шел через комнаты для отдыха, где играют в карты, прошел

[1] Пароход «Париж» *(англ.)*.

через танцевальный зал, и минут через пять, через огромнейший коридор, спутник подвел меня к нашей кабине. Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, две ванные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше.

Вспомнил про «дым отечества», про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за «Русь», как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию.

Милостивые государи!

С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство. Пусть я не близок коммунистам, как романтик в моих поэмах,— я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в своем творчестве. С такими мыслями я ехал в страну Колумба. Ехал океаном шесть дней, проводя жизнь среди ресторанной и отдыхающей в фокстроте публики.

ЭЛИС-АЛЕНД

На шестой день, около полудня, показалась земля. Через час глазам моим предстал Нью-Йорк.

Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке! Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами?! Это поэма без слов. Рассказать ее будет ничтожно. Милые, глупые российские доморощенные урбанисты и электрификаторы в поэзии! Ваши «кузницы» и ваши «лефы» — как Тула перед Берлином или Парижем.

Здания, заслонившие горизонт, почти упираются в небо. Над всем этим проходят громаднейшие железобетонные арки. Небо в свинце от дымящихся фабричных труб. Дым навевает что-то таинственное, кажется, что за этими зданиями происходит что-то такое великое и громадное, что дух захватывает. Хочется скорее на берег, но... прежде должны осмотреть паспорта...

В сутолоке сходящих подходим к какому-то важному субъекту, который осматривает документы. Он долго вертит документы в руках, долго обмеривает нас косыми взглядами и спокойно по-английски говорит, что мы должны идти в свою кабину, что в Штаты он нас впустить не может и что завтра он нас отправит на Элис-Аленд.

Элис-Аленд — небольшой остров, где находятся карантин и всякие следственные комиссии. Оказывается, что Вашингтон получил сведения о нас, что мы едем как большевистские агитаторы. Завтра на Элис-Аленд... Могут отослать обратно, но могут и посадить...

В кабину к нам неожиданно являются репортеры, которые уже знали о нашем приезде. Мы выходим на палубу. Сотни кинематографистов и журналистов бегают по палубе, щелкают аппаратами, чертят карандашами и все спрашивают, спрашивают и спрашивают. Это было приблизительно около 4 часов дня, а в $5^1/_2$ нам принесли около 20 газет с нашими портретами и огромными статьями о нас. Говорилось в них немного об Айседоре Дункан, о том, что я поэт, но больше всего о моих ботинках и о том, что у меня прекрасное сложение для легкой атлетики и что я наверняка был бы лучшим спортсменом в Америке. Ночью мы грустно ходили со спутником по палубе. Нью-Йорк в темноте еще величественнее. Копны и стога огней кружились над зданиями, громадины с суровой мощью вздрагивали в зеркале залива.

Утром нас отправили на Элис-Аленд. Садясь на маленький пароход в сопровождении полицейских и журналистов, мы взглянули на статую свободы и прыснули со смеху. «Бедная, старая девушка! Ты поставлена здесь ради курьеза!» — сказал я. Журналисты стали спрашивать нас, чему мы так громко смеемся. Спутник мой перевел им, и они тоже засмеялись.

На Элис-Аленде нас по бесчисленным комнатам провели в комнату политических экзаменов. Когда мы сели на скамьи, из боковой двери вышел тучный, с круглой головой господин, волосы которого были вздернуты со лба челкой кверху и почему-то напомнили мне рисунки Пичугина в сытинском издании Гоголя.

— Смотри,— сказал я спутнику,— это Миргород! Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, и мы спасены!

— Мистер Есенин,— сказал господин. Я встал.— Подойдите к столу! — вдруг твердо сказал он по-русски. Я ошалел.

— Подымите правую руку и отвечайте на вопросы.

Я стал отвечать, но первый вопрос сбил меня с толку:

— В бога верите?

Что мне было сказать? Я поглядел на спутника, тот мне кивнул головой, и я сказал:

— Да.

— Какую признаете власть?

Еще не легче. Сбивчиво я стал говорить, что я поэт и что в политике ничего не смыслю. Помирились мы с ним, помню, на народной власти. Потом он, не глядя на меня, сказал:

— Повторяйте за мной: «Именем господа нашего Иисуса Христа обещаюсь говорить чистую правду и не делать никому зла. Обещаюсь ни в каких политических делах не принимать участия».

Я повторял за ним каждое слово, потом расписался, и нас выпустили. (После мы узнали, что друзья Дункан дали телеграмму Гардингу. Он дал распоряжение по легком опросе впустить меня в Штаты.) Взяли с меня подписку не петь «Интернационала», как это сделал я в Берлине.

— Миргород! Миргород! Свинья спасла!

НЬЮ-ЙОРК

Сломя голову я сбежал с пароходной лестницы на берег. Вышли с пристани на стрит, и сразу на меня пахнуло запахом, каким-то знакомым запахом. Я стал вспоминать: «Ах, да это... это тот самый... тот самый запах, который бывает в лавочках со скобяной торговлей». Около пристани на рогожах сидели или лежали негры. Нас встретила заинтересованная газетами толпа.

Когда мы сели в автомобиль, я сказал журналистам: «Mi laik Amerika...» [1]

Через десять минут мы были в отеле.

Москва, 14 августа 1923 г.

2

БРОДВЕЙ

На наших улицах слишком темно, чтобы понять, что такое электрический свет Бродвея. Мы привыкли жить под светом луны, жечь свечи перед иконами, но отнюдь не пред человеком.

Америка внутри себя не верит в бога. Там некогда заниматься этой чепухой. Там свет для человека, и потому я начну не с самого Бродвея, а с человека на Бродвее.

---

[1] Мне нравится Америка... *(искаж. англ.)*

Обиженным на жестокость русской революции культурникам не мешало бы взглянуть на историю страны, которая так высоко взметнула знамя индустриальной культуры.

Что такое Америка?

Вслед за открытием этой страны туда потянулся весь неудачливый мир Европы, искатели золота и приключений, авантюристы самых низших марок, которые, пользуясь человеческой игрой в государства, шли на службу к разным правительствам и теснили коренной красный народ Америки всеми средствами.

Красный народ стал сопротивляться, начались жестокие войны, и в результате от многомиллионного народа краснокожих осталась горсточка (около 500 000), которую содержат сейчас, тщательно огородив стеной от культурного мира, кинематографические предприниматели. Дикий народ пропал от виски. Политика хищников разложила его окончательно. Гайавату заразили сифилисом, опоили и загнали догнивать частью на болота Флориды, частью в снега Канады.

Но и все же, если взглянуть на ту беспощадную мощь железобетона, на повисший между двумя городами Бруклинский мост, высота которого над землей равняется высоте 20-этажных домов, все же никому не будет жаль, что дикий Гайавата уже не охотится здесь за оленем. И не жаль, что рука строителей этой культуры была иногда жестокой.

Индеец никогда бы не сделал на своем материке того, что сделал «белый дьявол».

Сейчас Гайавата — этнографический киноартист; он показывает в фильмах свои обычаи и свое дикое несложное искусство. Он все так же плавает в отгороженных водах на своих узеньких пирогах, а около Нью-Йорка стоят громады броненосцев, по бокам которых висят десятками уже не шлюпки, а аэропланы, которые подымаются в воздух по особо устроенным спускным доскам; возвращаясь, садятся на воду, и броненосцы громадными рычагами, как руками великанов, подымают их и сажают на свои железные плечи.

Нужно пережить реальный быт индустрии, чтобы стать ее поэтом. У нашей российской реальности пока еще, как говорят, «слаба гайка», и потому мне смешны поэты, которые пишут свои стихи по картинкам плохих американских журналов.

В нашем литературном строительстве со всеми устоями на советской платформе я предпочитаю везти телегу,

которая есть, чтобы не оболгать тот быт, в котором мы живем. В Нью-Йорке лошади давно сданы в музей, а в наших родных пенатах...

Ну да ладно! Москва ие скоро строится. Поговорим пока о Бродвее с точки зрения великих замыслов. Эта улица тоже ведь наша.

Сила Америки развернулась окончательно только за последние двадцать лет. Еще сравнительно не так давно Бродвей походил на наш старый Невский, теперь же это что-то головокружительное. Этого нет ни в одном городе мира. Правда, энергия направлена исключительно только на рекламный бег. Но зато дьявольски здорово! Американцы зовут Бродвей, помимо присущего ему названия «окраинная дорога»,— «белая дорога». По Бродвею ночью гораздо светлее и приятнее идти, чем днем.

Перед глазами — море электрических афиш. Там, на высоте 20-го этажа, кувыркаются сделанные из лампочек гимнасты. Там, с 30-го этажа, курит электрический мистер, выпуская электрическую линию дыма, которая переливается разными кольцами. Там, против театра, на вращающемся электрическом колесе танцует электрическая Терпсихора и т. д., все в том же роде, вплоть до электрической газеты, строчки которой бегут по 20-му или 25-му этажу налево беспрерывно до конца номера. Одним словом: «Умри, Денис!..» По радио музыка Чайковского из музыкальных магазинов слышится в Сан-Франциско, но любители могут его слушать и в Нью-Йорке, сидя в своей квартире.

Когда все это видишь или слышишь, то невольно поражаешься возможностям человека, и стыдно делается, что у нас в России верят до сих пор в деда с бородой и уповают на его милость.

Бедный русский Гайавата!

БЫТ И ГЛУБЬ ШТАТОВ

Тот, кто знает Америку по Нью-Йорку и Чикаго, тот знает только праздничную или, так сказать, выставочную Америку.

Нью-Йорк и Чикаго есть не что иное, как достижения в производственном искусстве. Чем дальше вглубь, к Калифорнии, впечатление громоздкости исчезает: перед глазами бегут равнины с жиденькими лесами и (увы, страшно похоже на Россию!) маленькие деревянные селения негров. Города становятся похожими на европейские, с той лишь

разницей, что если в Европе чисто, то в Америке все взрыто и навалено как попало, как бывает при постройках. Страна все строит и строит.

Черные люди занимаются земледелием и отхожим промыслом. Язык у них американский. Быт — под американцев. Выходцы из Африки, они сохранили в себе лишь некоторые инстинктивные выражения своего народа в песнях и танцах. В этом они оказали огромнейшее влияние на мюзик-холльный мир Америки. Американский фокстрот есть не что иное, как разжиженный национальный танец негров. В остальном негры — народ довольно примитивный, с весьма необузданными нравами. Сами американцы — народ тоже весьма примитивный со стороны внутренней культуры.

Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в «Business»[1] и остального знать не желает. Искусство Америки на самой низшей степени развития. Там до сих пор остается неразрешенным вопрос: нравственно или безнравственно поставить памятник Эдгару По. Все это свидетельствует о том, что американцы — народ весьма молодой и не вполне сложившийся. Та громадная культура машин, которая создала славу Америке, есть только результат работы индустриальных творцов и ничуть не похожа на органическое выявление гения народа. Народ Америки — только честный исполнитель заданных ему чертежей и их последователь. Если говорить о культуре электричества, то всякое зрение упрется в этой области в фигуру Эдисона. Он есть сердце этой страны. Если бы не было этого гениального человека в эти годы, то культура радио и электричества могла бы появиться гораздо позже, и Америка не была бы столь величественной, как сейчас.

Со стороны внешнего впечатления в Америке есть замечательные курьезы. Так, например, американский полисмен одет под русского городового, только с другими кантами.

Этот курьез объясняется, вероятно, тем, что мануфактурная промышленность сосредоточилась главным образом в руках эмигрантов из России. Наши сородичи, видно, из тоски по родине, нарядили полисмена в знакомый им вид формы.

Для русского уха и глаза вообще Америка, а главным

[1] Бизнес, дела *(англ.)*.

образом Нью-Йорк,— немного с кровью Одессы и западных областей. Нью-Йорк на 30 процентов еврейский город. Евреев главным образом загнала туда нужда скитальчества из-за погромов. В Нью-Йорке они осели довольно прочно и имеют свою жаргонную культуру, которая ширится все больше и больше. У них есть свои поэты, свои прозаики и свои театры. От лица их литературы мы имеем несколько имен мировой величины. В поэзии сейчас на мировой рынок выдвигается с весьма крупным талантом Мани-Лейб.

Мани-Лейб — уроженец Черниговской губернии. Россию он оставил лет 20 назад. Сейчас ему 38. Он тяжко пробивал себе дорогу в жизни сапожным ремеслом и лишь в последние годы получил возможность существовать на оплату за свое искусство.

Переводами на жаргон он ознакомил американских евреев с русской поэзией от Пушкина до наших дней и тщательно выдвигает молодых жаргонистов с довольно красивыми талантами от периода Гофштейна до Маркиша. Здесь есть стержни и есть культура.

В специфически американской среде — отсутствие всякого присутствия.

Свет иногда бывает страшен. Море огня с Бродвея освещает в Нью-Йорке толпы продажных и беспринципных журналистов. У нас таких и на порог не пускают, несмотря на то что мы живем чуть ли не при керосиновых лампах, а зачастую и совсем без огня.

Сила железобетона, громада зданий стеснили мозг американца и сузили его зрение. Нравы американцев напоминают незабвенной гоголевской памяти нравы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.

Как у последних не было города лучше Полтавы, так и у первых нет лучше и культурней страны, чем Америка.

— Слушайте,— говорил мне один американец,— я знаю Европу. Не спорьте со мною. Я изъездил Италию и Грецию. Я видел Парфенон. Но все это для меня не ново. Знаете ли вы, что в штате Теннесси у нас есть Парфенон гораздо новей и лучше?

От таких слов и смеяться и плакать хочется. Эти слова замечательно характеризуют Америку во всем, что составляет ее культуру внутреннюю. Европа курит и бросает, Америка подбирает окурки, но из этих окурков растет что-то грандиозное.

<1923>

ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Я сын крестьянина. Родился в 1895 году 21 сентября в Рязанской губернии, Рязанского уезда, Кузьминской волости.

С двух лет, по бедности отца и многочисленности семейства, был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекло почти все мое детство. Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку.

Потом меня учили плавать. Один дядя (дядя Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, пока не захлебывался, он все кричал: «Эх, стерва! Ну куда ты годишься?» «Стерва» у него было слово ласкательное. После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавая по озерам за подстреленными утками. Очень хорошо я был выучен лазить по деревьям. Из мальчишек со мной никто не мог тягаться. Многим, кому грачи в полдень после пахоты мешали спать, я снимал гнезда с берез, по гривеннику за штуку. Один раз сорвался, но очень удачно, оцарапав только лицо и живот да разбив кувшин молока, который нес на косьбу деду.

Среди мальчишек я всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: «Ты у меня, дура, его не трожь. Он так будет крепче».

Бабушка любила меня изо всей мочи, и нежности ее не было границ. По субботам меня мыли, стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Но и масло мало помогало. Всегда я орал благим матом и даже теперь какое-то неприятное чувство имею к субботе.

По воскресеньям меня всегда посылали к обедне и, чтобы проверить, что я был за обедней, давали 4 копейки. Две копейки за просфору и две за выемку частей священнику. Я покупал просфору и вместо священника делал на ней перочинным ножом три знака, а на другие две копейки шел на кладбище играть с ребятами в свинчатку.

Так протекало мое детство. Когда же я подрос, из меня очень захотели сделать сельского учителя, и потому отдали в закрытую церковно-учительскую школу, окончив которую шестнадцати лет, я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось. Методика и дидактика мне настолько осточертели, что я и слушать не захотел.

Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16—17 годам. Некоторые стихи этих лет помещены в «Радунице».

Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по журналам, тем, что их не печатают, и неожиданно грянул в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй — Городецкий. Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта. Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова. С Клюевым у нас завязалась, при всей нашей внутренней распре, большая дружба, которая продолжается и посейчас, несмотря на то, что мы шесть лет друг друга не видели.

Живет он сейчас в Вытегре, пишет мне, что ест хлеб с мякиной, запивая пустым кипятком и моля бога о непостыдной смерти.

За годы войны и революции судьба меня толкала из стороны в сторону. Россию я исколесил вдоль и поперек, от Северного Ледовитого океана до Черного и Каспийского моря, от Запада до Китая, Персии и Индии.

Самое лучшее время в моей жизни считаю 1919 год. То-

гда мы зиму прожили в 5 градусах комнатного холода. Дров у нас не было ни полена.

В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее.

Любимый мой писатель — Гоголь.

Книги моих стихов: «Радуница», «Голубень», «Преображение», «Сельский часослов», «Трерядница», «Исповедь хулигана» и «Пугачев».

Сейчас работаю над большой вещью под названием «Страна негодяев».

В России, когда там не было бумаги, я печатал свои стихи вместе с Кусиковым и Мариенгофом на стенах Страстного монастыря или читал просто где-нибудь на бульваре. Самые лучшие поклонники нашей поэзии проститутки и бандиты. С ними мы все в большой дружбе. Коммунисты нас не любят по недоразумению.

За сим всем читателям моим нижайший привет и маленькое внимание к вывеске: «Просят не стрелять!»

14 мая 1922
Берлин

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился в 1895 году 21 сентября в селе Константинове Кузьминской волости, Рязанской губ. и Рязанского уез. Отец мой крестьянин Александр Никитич Есенин, мать Татьяна Федоровна.

Детство провел у деда и бабки по матери в другой части села, которое наз. Матово.

Первые мои воспоминания относятся к тому времени, когда мне было три-четыре года.

Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовецкий монастырь, который от нас верстах в 40. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, бог счастье даст».

Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, пели духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о женихе, светлом госте из града неведомого.

Нянька — старуха приживальщица, которая ухаживала за мной, рассказывала мне сказки, все те сказки, которые слушают и знают все крестьянские дети.

Дедушка пел мне песни старые, такие тягучие, заунывные. По субботам и воскресным дням он рассказывал мне Библию и священную историю.

Уличная же моя жизнь была непохожа на домашнюю. Сверстники мои были ребята озорные. С ними я лазил вместе по чужим огородам. Убегал дня на 2—3 в луга и питался вместе с пастухами рыбой, которую мы ловили в маленьких озерах, сначала замутив воду руками, или выводками утят.

После, когда я возвращался, мне частенько влетало.

В семье у нас был припадочный дядя, кроме бабки, деда и моей няньки.

Он меня очень любил, и мы часто ездили с ним на Оку

поить лошадей. Ночью луна при тихой погоде стоит стоймя в воде. Когда лошади пили, мне казалось, что они вот-вот выпьют луну, и радовался, когда она вместе с кругами отплывала от их ртов. Когда мне сравнялось 12 лет, меня отдали учиться из сельской земской школы в учительскую школу. Родные хотели, чтоб из меня вышел сельский учитель. Надежды их простирались до института, к счастью моему, в который я не попал.

Стихи писать начал лет с 9, читать выучили в 5.

Влияние на мое творчество в самом начале имели деревенские частушки. Период учебы не оставил на мне никаких следов, кроме крепкого знания церковно-славянского языка. Это все, что я вынес.

Остальным занимался сам под руководством некоего Клеменова. Он познакомил меня с новой литературой и объяснил, почему нужно кое в чем бояться классиков. Из поэтов мне больше всего нравился Лермонтов и Кольцов. Позднее я перешел к Пушкину.

1913 г. я поступил вольнослушателем в Университет Шанявского. Пробыв там 1,5 года, должен был уехать обратно по материальным обстоятельствам в деревню.

В это время у меня была написана книга стихов «Радуница». Я послал из них некоторые в петербургские журналы и, не получая ответа, поехал туда сам. Приехал, отыскал Городецкого. Он встретил меня весьма радушно. Тогда на его квартире собирались почти все поэты. Обо мне заговорили, и меня начали печатать чуть ли не нарасхват.

Печатался я: «Русская мысль», «Жизнь для всех», «Ежемесячный журнал» Миролюбова, «Северные записки» и т. д. Это было весной 1915 г. А осенью этого же года Клюев мне прислал телеграмму в деревню и просил меня приехать к нему.

Он отыскал мне издателя М. В. Аверьянова, и через несколько месяцев вышла моя первая книга «Радуница». Вышла она в ноябре 1915 г. с пометкой 1916 г.

В первую пору моего пребывания в Петербурге мне часто приходилось встречаться с Блоком, с Ивановым-Разумником. Позднее с Андреем Белым.

Первый период революции встретил сочувственно, но больше стихийно, чем сознательно.

1917 году произошла моя первая женитьба на З. Н. Райх.

1918 году я с ней расстался, а после этого началась моя скитальческая жизнь, как и всех россиян за период 1918—21 гг. За эти годы я был в Туркестане, на Кавказе,

в Персии, в Крыму, в Бессарабии, в Оренбургских степях, на Мурманском побережье, в Архангельске и Соловках.

1921 г. я женился на А. Дункан и уехал в Америку, предварительно исколесив всю Европу, кроме Испании.

После заграницы я смотрел на страну свою и события по-другому.

Наше едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне нравится цивилизация. Но я очень не люблю Америки. Америка это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества. Если сегодня держат курс на Америку, то я готов тогда предпочесть наше серое небо и наш пейзаж: изба, немного вросла в землю, прясло, из прясла торчит огромная жердь, вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошаденка. Это не то что небоскребы, которые дали пока что только Рокфеллера и Маккормика, но зато это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и др.

Прежде всего я люблю выявление органического. Искусство для меня не затейливость узоров, а самое необходимое слово того языка, которым я хочу себя выразить.

Поэтому основанное в 1919 году течение имажинизм, с одной стороны — мной, а с другой — Шершеневичем, хоть и повернуло формально русскую поэзию по другому руслу восприятия, но зато не дало никому еще права претендовать на талант. Сейчас я отрицаю всякие школы. Считаю, что поэт и не может держаться определенной какой-нибудь школы. Это его связывает по рукам и ногам. Только свободный художник может принести свободное слово.

Вот и все то, короткое, схематичное, что касается моей биографии. Здесь не все сказано. Но я думаю, мне пока еще рано подводить какие-либо итоги себе. Жизнь моя и мое творчество еще впереди.

20 июня 1924

О СЕБЕ

Родился в 1895 году, 21 сентября, в Рязанской губернии, Рязанского уезда, Кузьминской волости, в селе Константинове.

С двух лет был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекло почти все мое детство. Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Один дядя (дядя Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками и, пока не захлебывался, он все кричал: «Эх! Стерва! Ну куда ты годишься?» «Стерва» у него было слово ласкательное. После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавал по озерам за подстреленными утками. Очень хорошо лазил по деревьям. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: «Ты у меня, дура, его не трожь, он так будет крепче!» Бабушка любила меня из всей мочи, и нежности ее не было границ. По субботам меня мыли, стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Но и масло мало помогало. Всегда я орал благим матом и даже теперь какое-то неприятное чувство имею к субботе.

Так протекло мое детство. Когда же я подрос, из меня очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали в церковно-учительскую школу, окончив которую я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось.

Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16—17 годам. Некоторые стихи этих лет помещены в «Радунице».

Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по журналам, тем, что их не печатают, и поехал в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй — Городецкий. Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта. Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова. С Клюевым у нас завязалась при всей нашей внутренней распре большая дружба.

В эти же годы я поступил в Университет Шанявского, где пробыл всего $1^1/_2$ года, и снова уехал в деревню.

В Университете я познакомился с поэтами Семеновским, Наседкиным, Колоколовым и Филипченко.

Из поэтов-современников нравились мне больше всего Блок, Белый и Клюев. Белый дал мне много в смысле формы, а Блок и Клюев научили меня лиричности.

В 1919 году я с рядом товарищей опубликовал манифест имажинизма. Имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом.

От многих моих религиозных стихов и поэм я бы с удовольствием отказался, но они имеют большое значение как путь поэта до революции.

С восьми лет бабка таскала меня по разным монастырям, из-за нее у нас вечно ютились всякие странники и странницы. Распевались разные духовные стихи. Дед напротив. Был не дурак выпить. С его стороны устраивались вечные невенчанные свадьбы.

После, когда я ушел из деревни, мне долго пришлось разбираться в своем укладе.

В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном.

В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину.

Что касается остальных автобиографических сведений,— они в моих стихах.

Октябрь 1925

ИЗ КРИТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ

ЯРОСЛАВНЫ ПЛАЧУТ

«Внимая ужасам войны», в унисон зазвенели струны больших и малых поэтов. На страницах газет и журналов пестреют имена Бальмонта, Брюсова, Сологуба, Городецкого, Липецкого и др. Все они трогают одинаковую струну «грянувшего выстрела». Даже «сладко лиричный» Цензор заплясал под солдатскую песню.

Я не стану останавливаться на разборе этих поэтов, перейду прямо к определению того, что дали нам женщины-поэтессы.

Этих избранниц у нас очень немного. И они большею частью закатывались «золотой звездой» на расцвете своего таланта, как Мирра Лохвицкая. Мы еще не успели забыть и «невесту в атласном белом платье» Надежду Львову, но, не уклоняясь от своей цели, я буду продолжать мотать тот клубок мыслей, который я начал.

Плачут серые дали об угасшей весне, плачут женщины, провожая мужей и возлюбленных на войну, заплакала и Зинаида Х. Плачет, потому что:

...Сердце смириться не хочет,
Не хочет признать неизбежность холодной разлуки.
И плачет, безумное, полное гнева и муки...

Но это еще ничего. Хорошо плакать, когда нечего бояться за свои слезы, но вот плачет молодая замужняя

женщина, у которой за спиной свекровь, а спереди: «Новую сплетню готовя, две ядовитые дамы».

Она плачет без слез, плачет сердцем, а сердце плачет кровью. Разве не больно на слова милого «Завтра наш полк выступает» «молча к стене прислониться».

Нет, очень больно.

Это ведь та самая плачет, которую «выдавала матушка далече замуж».

Зинаида Х. не выступила с кличем: «на войну!». Она поет об оставшихся, плачет об ушедшем на войну и в этих слезах прекрасна, как «Ярославна».

Пусть «так надо... так надо». Но она за свою малую просьбу у судьбы с этим смириться не хочет.

Плачет Щепкина-Куперник... ее слезы тоже слезы оставшейся возлюбленной!

Выводя свою ровную строчку,
Просижу я всю ночь напролет.
Всю-то долгую зимнюю ночку
Сон усталых очей не сомкнет.
Сердце мое надрывается.
Кровью оно обливается...
Что я могу еще дать?
Только плакать, молиться и ждать.

Это плачет швея за работой, и ее берет раздумье:

Вот уж скоро работа готова,
Уж немного осталося мне...
Ах, кому ты придешься, обнова,
На далекой, на страшной войне?
Кто тебя, как под праздник наденет,
Собираясь бестрепетно в бой,
Или после окопов заменит
Всю измокшую ветошь тобой?

Жутко становится от представления, как эту белоснежную холщовую рубаху смочит алая кровь.

Но тихой нежной лермонтовской колыбельной песней веет от слов:

Кто бы ни был мой воин безвестный,
Но с надеждой в работу мою
Я с молитвой Царице Небесной
Образок освященный зашью.

Но дальше снова слышна печаль, может быть, этот белый холст прикроет ее милого грудь. Но эту сетиментальность она побивает твердым решением:

Не его — не его, так другого...
Для него пусть другая сошьет.

Он пе останется неприкрытым, потому, что она знает:

Сколько женщин от края до края
Наклоняются нынче к шитью,
И дрожит в них душа, замирая,
О любимых далеких в бою...

Но Щепкина-Куперник плачет вообще. Но ее слезы больше слезы матери. Она по большей части томится «в безутешном ожидании» и молится перед иконой. Ее вздохи — вздохи матери Андрия и Остапа, и она грустная, с заплаканными глазами молится о их спасении.

Тихо взгрустнула «у воинского поезда» Белогорская, отдала дань серым шинелям, как женщина, поклонилась до земли и прошептала: «Вы уезжаете»...

А сердце мое, как раненая птица,
Как раненая птица в крови.

Я подслушал, как плачут Ярославны. Но я и услышал, как загремели с призывом Жанны д'Арк. Лишь только разнеслись наши победы казаков, как по струнам своей лиры ударила Любовь Столица.

Так ширяй, казак, и гикай
И неси с победной пикой
В глубь чужих туманных стран
Дух наш орлий, взгляд соколий,
Золотую птицу воли
Из земли младых славян!

Громко крикнула Мария Трубецкая:

Поэты, вам ли теперь молчать?

Могучий голос зазвенел, как набат:

Великой брани мечта воскресни!

Эта Жанна д'Арк предлагает встать всем поэтам в общем кличе и служить той святыне, за которую

Полки стремятся врага встречать.

Красиво сказала Хмельницкая:

Вы над орлами, разбившими грудь,
В жаркой борьбе не рыдайте.

Здесь, правда, слезы ни к чему, ибо

Гордые птицы не знают преград
Бурь никаких не страшатся.

Она гордо и сильно говорит в путь ушедшим:

Смело ж, родные, идите вперед —
Головы выше держите!
Ночь умирает, уж близок восток,
Скоро врага вы сразите.

* * *

Я отметил только те стихотворения, которые ясно определили отношения к войне тех и других поэтесс. Я разделил их на два лагеря. В каждом лагере свои законченные взгляды на ушедших. Говорить о высоком достоинстве преимущества тех или иных не приходится.

Нам одинаково нужны Жанны д'Арк и Ярославны. Как те прекрасны со своим знаменем, так и эти со своими слезами.

<1915>

<КОГДА Я ЧИТАЮ УСПЕНСКОГО...>

...Когда я читаю Успенского, то вижу перед собой всю горькую правду жизни. Мне кажется, что никто еще так не понял своего народа, как Успенский. Идеализация народничества 60-х и 70-х годов мне представляется жалкой пародией на народ. Прежде всего там смотрят на крестьянина, как на забавную игрушку. Для них крестьянин — это ребенок, которым они тешатся, потому что к нему не привилось еще ничего дурного. Успенский показал нам жизнь этого народа без всякой рисовки. Для того чтобы познать народ, не нужно было ходить в деревню. Успенский видел его и на Растеряевой улице. Он показал его не с одной стороны, а со всех. И смеялся Успенский не так, как фальшивые народники — над внешностью, а над сердцем своей правдивой душой, горьким словом Гоголя.

<1915>

О «ЗАРЕВЕ» ОРЕШИНА

Петр Орешин. «Зарево». Книга стихов. Издательство «Революционный социализм».

Кто любит родину?
Ветер-бродяга ответил господу:
— Кто плачет осенью
Над нивой скошенной и снова радостно
Под вешним солнцем
В поле босой и без шапки
Идет за сохой —
Он, господи, больше всех любит родину.

Вот такими простыми и теплыми словами, похожая на сельское озеро, где отражается и месяц, и церковь, и хаты, наполнена книга Петра Орешина. В наши дни, когда «бог смешал все языки», когда все вчерашние патриоты готовы отречься и проклясть все то, что искони составляло «родину», книга эта как-то особенно становится радостной.

Даже и боль ее, щемящая, как долгая, заунывная русская песня, приятна сердцу, и думы ее в четких и образных строчках рождают милую памяти молитву, ту самую молитву, которую впервые шептали наши уста, едва научившись лепетать: «Отче наш, иже еси...»

Петр Орешин уже знаком читающей публике. Имя его пестрело по многим петроградским газетам и журналам, но те, которые знают его отрывочно, конечно, имеют о нем весьма неполное представление. У каждого поэта есть свой общий тон красок, свой ларец слов и образов. Пусть во многих местах глаз опытного читателя отмечает промахи и недочеты, пусть некоторые образы сидят на строчках, как тараканы, объедающие корку хлеба, в стихе,— все-таки это свежести и пахучести книги нисколько не умаляет, а тому, кто видит, что «зори над хатами вяжут широченные сети», кто слышит, что «красный петух в облаках прокри-

чал»,— могут показаться образы эти даже стилем мастера всех этих коротких и длинных песенок, деревенских идиллий.

Перед Орешиным еще широкое будущее. Гадать о том, разовьется он или завянет, сейчас довольно трудно, но услышавшие от него через «Зарево» о том, что

Месяц ушел в облака
За туманный плетень,
Синие чешет бока
За лачугами день —

будут помнить об этом, как о черемуховом запахе, долго.

<1918>

<О ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЯХ>

...Горького брызнуть водою старого, но твердо спаянного кропила. Жизнь любит говорить о госте и что идет как жених с светильником «во полунощи».

Сборник пролетарских писателей ярко затронул сердца своим первым и робким огнем лампады, пламя которой нежно оберегалось от ветра ладонями его взыскующих душ.

Но зато нельзя сказать того, что на страницах этих обоих сборников с выразителями коллективного духа Аполлон гуляет по-дружески.

Есть благословенная немота мудрецов и провидцев, есть благое косноязычие символизма, но есть немота́ и тупое заикание. Может быть, это и резко будет сказано, но те, которые в сады железа и гранита пришли обвитые веснами на торжественный зов гудков, все-таки немы по-последнему.

Кроме зова гудков, есть еще зов песни и искус в словах. На древних дагинийских праздниках песнотворцы состязались друг с другом так же, как на праздниках мечей и копий. Но представители новой культуры и новой мысли особенным изяществом и изощрением в своих узорах не блещут. Они очень во многом еще лишь слабые ученики пройденных дорог или знакомые от века хулители старых устоев, неспособные создать что-либо сами. Перед нами довольно громкие, но пустые строки поэта Кириллова:

> Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля,
> Растопчем искусства цветы.

Уже известно, что когда пустая бочка едет, она громче гремит. Мы не можем, конечно, не видеть и не понимать, что это сказано ради благословения грядущего. Здесь нет того преступного геростратизма по отношению к Софии футуристов с почти с вчерашней волчьею мудростью века

по акафистам Ницше, но все же это сказано без всякого внутреннего оправдания, с одним лишь чахоточным указанием на то, что идет «завтра», и на то, что «мы будем сыты».

Тот, кто чувствует, что где-то есть Америка, и только лишь чувствует, не стараясь и не зная, с каких сторон опустить на нее свои стопы, еще далек от тени Колумба. Он только лишь слабый луч брезжущего в туман, как соломенный сноп, солнца, того солнца, которое сходит во ад, родив избавление. Он даже и не предтеча, потому что в предтече уже есть петли, которые могут связать. Но до того лассо, которое сверкает в смуглой руке духовного тодаса, далеко и предтече, и потому все, что явлено нам в этих сборниках, есть лишь слабый звук показавшейся из чрева пространства головы младенца. Конечно, никто не может не приветствовать первых шагов ребенка, но никто и не может сдержать улыбки, когда этот ребенок, неуверенно и робко ступая, качается во все стороны и ищет инстинктивно опоры в воздухе. Посмотрите, какая дрожь в слабом тельце Ивана Морозова. Этот ребеночек качается во все стороны, как василек во ржи. Вглядитесь, как заплетаются его ноги строф:

Повеяло грустью холодной в ненастные дни листопада,
И чуткую душу тревожит природы тоскующий лик,
Не слышно пленительных песен в кустах бесприютного сада,
И тополь, как нищий бездомный, к окну сиротливо приник.

Здесь он путает левую ногу с правой, здесь спайка стиха от младенческой гибкости выделывает какой-то пятки ломающий танец. Поставьте вторую строку на место третьей и третью на место второй, получается стихотворение совершенно с другой инструментовкой:

Повеяло грустью холодной в ненастные дни листопада,
Не слышно пленительных песен в кустах бесприютного сада,
И чуткую душу тревожит природы тоскующий лик,
И тополь, как нищий бездомный, к окну сиротливо приник.

Этого даже нельзя придумать нарочно. Такая шаткость строк похожа на сосну с корнями вверх, и все же мысль остается почти неизменной. Конечно, это только от бледности ее, оттого,' что мысль как мысль здесь и не ночевала. Здесь одни лишь избитые, засохшие цветы фонографических определений, даже и не узор. Но узоры у некоторых, как, например, у Кондратия Худякова, попадаются иногда довольно красивые и свежестью своей не уступают вырисовке многих современных мастеров:

Бабушка вздула светильню.
Ловит в одежде блох.
«Бабушка, кто самый сильный
В свете?» — «Сильнее всех бог!»

Лепится кошкой проворной
На стену тень от огня.
«Бабушка, кто это черный
Смотрит в окно на меня?»

Но, увы, это только узор. Того масла, которое теплит душу огнем более крепких поэтических откровений, нет и у Худякова. Он только лишь слабым крючком вывел первоначальную линию того орнамента, который учит уста провожать слова *с помазанием*.

Творчество не есть отображение и потому так далеко отходит от искусства, в корне которого («искус») — отображение обстающего нас. Искусство — Антика; оно живет тогда, когда линии уже все выисканы, а творчество живет в искании их.

Созидателям нового храма не мешало бы это знать, чтоб не пойти по ложным следам и дать лишь закрепление нового на земле быта. В мире важно предугадать пришествие нового откровения, и мы ценим на земле не то, «что есть», а «как будет».

Вот поэтому-то так и мил ярким звеном выделяющийся из всей этой пролетарской группы Михаил Герасимов, ярко бросающий из плоти своей песню не внешнего пролетария, а того самого, который в коробке мускулов скрыт под определением «я» и напоен мудростью родной ему заводи железа.

А здесь на согнутые спины
Взвалили уголь, шлак и сталь.
О, если б как в волнах дельфины,
Без кочегарок и турбины,
Умчаться в заревую даль!

К сожалению, представлен Герасимов в этом последнем сборнике весьма мало. Такие строчки, как, например:

На плащанице звездных гроздий
Лежит луны холодный труп,
И, как заржавленные гвозди,
Вонзились в небо сотни труб,—

напечатанные в «Заводе огнекрылом», обещают в нем поэта весьма и весьма несредней величины среди своих собратий.

Художественная проза сборников, увы, не заслуживает почти никакого внимания. Повесть «Вольница». Какой-то

мутный и бесформенный лепет приемов Потехина и Засодимского, а мелкие рассказы — не то лирические силуэты, не то просто анекдоты из неприглядной и неприбранной жизни, где все лежит не на своем месте, где люди и вещи светят почти одним светом.

Проза пролетарская еще не нашла своих путей, как поэзия. В ней есть лишь от прошлого бледноликий Бибик и совсем слабый от «Нине» Безсалько.

Заканчивая эти краткие мысли о выявленных ликах сборником пролетарских писателей, мы все-таки скажем, что дорога их в целом пока еще не намечена. Расставлены только первые вехи, но уже хорошо и то, что к сладчайшему причастию тайн через свет их идет Герасимов.

<1918—1919>

БЫТ И ИСКУССТВО

(Отрывок из книги «Словесные орнаменты»)

Сии строки я посвящаю своим собратьям по тому течению, которое исповедует Величию образа.

Собратьям моим кажется, что искусство существует только как искусство. Вне всяких влияний жизни и ее уклада. Мне ставится в вину, что во мне еще не выветрился дух разумниковской школы, которая подходит к искусству, как к служению неким идеям.

Собратья мои увлеклись зрительной фигуральностью словесной формы, им кажется, что слова и образ это уже все.

Но да простят мне мои собратья, если я им скажу, что такой подход к искусству слишком несерьезный, так можно говорить об искусстве поверхностных напечатлений, об искусстве декоративном, но отнюдь не о том настоящем строгом искусстве, которое есть значное служение выявления внутренних потребностей разума.

Каждый вид мастерства в искусстве, будь то слово, живопись, музыка или скульптура, есть лишь единичная часть огромного органического мышления человека, который носит в себе все эти виды искусства только лишь как и необходимое ему оружие.

Искусство это виды человеческого управления. Словом, звуками и движениями человек передает другому человеку то, что им поймано в явлении внутреннем или явлении внешнем. Все, что выходит из человека, рождает его потребности, из потребностей рождается быт, из быта же рождается его искусство, которое имеет место в нашем представлении.

Понимая искусство во всем его размахе, я хочу указать моим собратьям на то, насколько искусство неотделимо от

быта и насколько они заблуждаются, увязая нарочито в тех утверждениях его независимости.

Виды искусства, как я уже сказал, весьма многообразны. Прежде чем подойти к искусству слова, подойдем к самому несложному и поверхностному искусству, искусству одежды человека, перенесемся мыслями хотя бы к нашей скифской эпохе. Вспомним тавров, будинов и сарматов.

Описывая скифов, Геродот прежде всего говорит о их обычаях и одежде. Скифы носят на шеях гривны, на руках браслеты, на голову надевают шлем, накрываются сшитыми из конских копыт плащами, которые служат им панцирями. Нижняя одежда состоит из шаровар и коротких саков. Всматриваясь в это коротенькое описание, вы сразу уже представляете себе всю причинность обряда, и перед вами невольно встает это буйное, и статное, и воинственное племя. Вы уже сразу чувствуете, что гривна ему нужна для того, чтоб защитить от меча врага шею, шлемом они защищают череп, браслетом — кисть руки, плащ же охраняет его бока и спину.

Так же как и в одежде, человек выявил себя своими требованиями и в музыке. Мы знаем, что мелодии родились так же, как щит и оружие.

Действие музыки главным образом отражается на крови. Звуки как-то умеют и беспокоить и усмирять ее. Эту тайну знали как древние заклинатели змей, играющие на флейтах, так бессознательно знают ее и по сей день наши пастухи, играя на рожке коровам. Недаром монголы говорят, что под скрипку можно заставить плакать верблюда. Звуки умеют привязывать и развязывать, останавливать и гнать бурей. Все это уже известно давно, и на этом давно уже построены определения песен героических, эпических, надгробных и свадебных.

Подходя к слову, мы также видим, что значение его одинаково с предыдущими видами требований человека.

Слова — это образы всей предметности и всех явлений вокруг человека; ими он защищается, ими же и наступает. Нет слова беспредметного и бестелесного, и оно так же неотъемлемо от бытия, как и все многорукое и многоглазое хозяйство искусства. Даже то искусство одежды, музыки и слова, которое совсем бесполезно, все-таки есть прямой продукт бытовых движений. Оно попутчик быта.

Что такое теперешние ожерелья, перстни и браслеты, как не сколок с воинственных лат наших далеких предков? Что такое чувствительные романсы, вгоняющие в половой

жар и в грусть девушек и юношей, как не действие над змеей или коровой? И что такое слова, как не синие трупики обстановочных предметов первобытного человека? Нет, быт и искусство неотделимы. Фигуры — это уже быт, а искусство есть самая яркая фигуральность.

Собратья мои не признают порядка и согласованности в сочетаниях слов и образов. Хочется мне сказать собратьям, что они не правы в этом.

Жизнь образа огромна и разливчата. У него есть свои возрасты, которые отмечаются эпохами. Сначала был образ *словесный*, который давал имена предметам, за ним идет образ *заставочный, мифический*, после мифического идет образ *типический*, или *собирательный*, за типическим идет образ *корабельный*, или *образ двойного зрения*, и, наконец, *ангелический*, или *изобретательный*, о которых нам отчасти пришлось говорить в нашей книге «Ключи Марии».

Пример словесного образа таков. Сначала берем образ без слова. Перед нами неотчеканенные массы звуков пчелы:

У-у-у-у,
бу-бу-бу.

Перед сознанием человека встает действие, которое определяется звуком «бу»; предмет пойман в определение и уже неподвижен, определение это есть образ слова.

Образ заставочный, или мифический, есть уподобление одного предмета или явления другому:

Ветви — руки,
сердце — мышь,
солнце — лужа.

Мифический образ заключается и в уподоблении стихийных явлений человеческим бликам.

Отсюда Даждь-бог, дающий дождь, и ветреная Геба, что

Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

На нем построены все божественные фигуры, а также именные клички героев у дикарей: «Пятнистый олень», «Красный ветер», «Сова», «Сычи», «Обкусанное солнце» и т. д.

Типический образ, или собирательный, есть образ сумм внешних или внутренних фигур при человеке. Внешний образ: «нос, что перевоз». Внутренний образ:

Тверд, как камень,
Блудлив, как ветер.

Корабельный образ, образ двойственного положения:

Взбрезжи, полночь, луны кувшин
Зачерпнуть молока берез.

Он очень родственен заставочному с тою лишь разницей, что заставочный неподвижен. Этот же образ имеет вращение.

Образ ангелический, или изобретательный, есть воплощенпе двпжения или явления, так же как и предмета, в плоть слова. На чувстве этого образа построена вся техническая предметная изобретательность, а также и эмоциональная. Образ предметного ангелизма: ковер-самолет и аэроплан, перо жар-птицы и электричество, сани-самокаты и автомобиль. На образе эмоционального ангелизма держатся имена незримого и имматериального, когда они, только еще предчувствуемые, облекаются уже в одежду имени, например, чувство незримой страны «Инония», чувство незримого и неизвестного прихода, как-то: «Гость чудесный».

Итак, подыскав определения текучести образов, уложив их в формы, для них присущие, мы увидим, что текучесть и вращение их имеет согласованность и законы, нарушения которых весьма заметны.

Вся жизнь наша есть не что иное, как заполнение большого, чистого полотна рисунками.

Сажая под окошком ветлу или рябину, крестьянин, например, уже делает четкий и строгий рисунок своего быта со всеми его зависимостями от климатического стиля. Каждый шаг наш, каждая проведенная борозда есть необходимый штрих в картине нашей жизни.

Смею указать моим собратьям, что каждая линия в этом рисунке строго согласуется с законами общего. Климатический стиль нашей страны заставляет меня указать моим собратьям на то, насколько необходимы и непреложны эти законы. Собратья мои сами легли черточками в этот закон и вращаются так, как им предназначено. Что бы они ни говорили в противовес, сила останется за этим так же, как и за правдой календарного абриса в хозяйственном обиходе нашего русского простолюдина.

Северный простолюдин не посадит под свое окно кипариса, ибо знает закон, подсказанный ему причинностью вещей и явлений. Он посадит только то дерево, которое присуще его снегам и ветру.

Вглядитесь в календарные изречения Великороссии, там всюду строгая согласованность его с вещами и с местом, временем и действием стихий. Все эти «Марьи зажги снега, заиграй овражки», «Авдотьи подмочи порог» и «Федули сестреньки» построены по самому наилучшему приему чувствования своей страны.

У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и несогласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния.

У Анатоля Франса есть чудный рассказ об одном акробате, который выделывал вместо обыкновенной молитвы разные фокусы на трапеции перед богоматерью. Этого чувства у моих собратьев нет. Они ничему не молятся, и нравится им только одно пустое акробатничество, в котором они делают очень много головокружительных прыжков, но которые есть ни больше, ни меньше, как ни на что не направленные выверты.

Но жизнь требует только то, что ей нужно, и так как искусство только ее оружие, то всякая ненужность отрицается так же, как и несогласованность.

<1920>

ВСТУПЛЕНИЕ

<к сборнику «Стихи скандалиста»>

Я чувствую себя хозяином в русской поэзии и потому втаскиваю в поэтическую речь слова всех оттенков, нечистых слов нет. Есть только нечистые представления. Не на мне лежит конфуз от смелого произнесенного мной слова, а на читателе или на слушателе. Слова — это граждане. Я их полководец. Я веду их. Мне очень нравятся слова корявые. Я ставлю их в строй как новобранцев. Сегодня они неуклюжи, а завтра будут в речевом строю такими же, как и вся армия.

Стихи в этой книге не новые. Я выбрал самое характерное и что считаю лучшим. Последние 4 стихотворения «Москва кабацкая» появляются впервые.

20 марта 1923
Берлин.

<О СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЯХ>

За годы революции, когда был разрушен старый быт, а новый быт в вихре событий не мог еще народиться, художественное творчество в нашей стране было также вихревым и взрывчатым, как время революции. Пришло царство хаоса. Невероятный раскол и сногсшибательные объединения. Образовалось бесчисленное количество групп и течений. Те писатели и поэты, которые черпали свою силу в содержании старых укладов, оказались за рубежом или умолкли, а те, которые приняли революцию, пошли рядом с нею. Была и есть группа еще так называемых пролетарских писателей, которые хотели быть зеркалом нового, едва только показывающего ростки быта, но — увы! — на пути своем они настолько оказались бессильны, фальшивы и подражательны, поэтому говорить о них можно только вскользь, отдавая главным образом внимание попутчикам, которые, несмотря ни на какой свист, ни на какие улюлюкания со стороны других групп, действительно оказались единственными талантливыми и способными воспринимать биение пульса нашей эпохи.

Сейчас можно смело сказать, что в беллетристике мы имеем такие имена: Всеволода Иванова, Бориса Пильняка, Вячеслава Шишкова, Михаила Зощенко, Бабеля и Николая Никитина,— которые действительно внесли клад в русскую художественную литературу.

Симпатии к этим писателям в первенстве их одного перед другим могут делиться и не делиться. Пока они живы, неизвестно, кто кого перевесит, да и главное зарыто не в этом, а в том, что они появились, что они есть и каждый из них отражает революцию так, как он видит ее, беспристрастными глазами художника.

У нас очень много писалось о Пильняке. Одно время страшно хвалили, чуть ли не до небес превозносили, но потом вдруг ни с того ни с сего стало очень модным ругать

его. «Помилуйте,— слышится из уст доморощенных критиков,— да какой же это писатель, если он в революции ничего не увидел, кроме половых органов?»

Этот страшно глупый и безграмотный подход говорит только о невежестве нашей критики или о том, что они Пильняка не читали. Пильняк изумительно талантливый писатель, быть может, немного лишенный дара фабульной фантазии, но зато владеющий самым тонким мастерством слова и походкой настроений. У него есть превосходные места в его «Материалах к роману» и в «Голом годе», которые по описаниям и лирическим отступлениям ничуть не уступают местам Гоголя. Глупый критик или глупый читатель всегда видит в писателе не лицо его, а обязательно бородавки или родинки.

То, что Пильняк сочно описывает на пути своих повестей, как самцы мнут баб по всем рассейским дорогам и пространствам, совсем не показывает его сущность. Это только его отличительная родинка и совсем не плохая, а, наоборот,— красивая. Эта сочность правдива, как сама жизнь.

Про Всеволода Иванова писали тоже достаточно как в русской, так и заграничной прессе. Его рассказ «Дитё» переведен чуть ли не на все европейские языки и вызвал восторг даже у американских журналистов, которые литературу вообще считают, если она не ремесло, пустой забавой. Об Иванове установилось мнение как о новом бытописателе сибирских и монгольских окраин. Его «Партизаны», «Бронепоезд», «Голубые пески» и «Берег» происходят по ту сторону Урала и отражают не европейскую Россию, а азиатскую. В рассказах его и повестях, помимо глубокой талантливости автора, на нас веет еще и географическая свежесть. Иванов дал Сибирь по другому рисунку, чем его предшественники Мамин-Сибиряк, Шишков и Гребенщиков, и совершенно как первый писатель показал нам необычайную дикую красоту Монголии. Язык его сжат и насыщен образами, материал его произведений свеж и разносторонен. Наряду со своими рассказами и повестями он дал ряд прекрасных алтайских сказок.

Михаил Зощенко в рассказах Синебрюхова и других своих маленьких вещах волнует нас своим необычайным и метким юмором. В нем есть что-то от Чехова и от Гоголя их ранней поры. Будущее этого писателя...[1]

<1924>

---

[1] *Далее зачеркнуто:* весьма огромное.

ОТВЕТЫ НА АНКЕТУ О ПУШКИНЕ

1. Как вы теперь воспринимаете Пушкина?

Пушкин — самый любимый мною поэт. С каждым годом я воспринимаю его все больше и больше как гения страны, в которой я живу. Даже его ошибки, как, например, характеристика Мазепы, мне приятны, потому что это есть общее осознание русской истории.

2. Какую роль вы отводите Пушкину в судьбах современной и будущей русской литературы?

Влияния Пушкина на поэзию русскую вообще не было. Нельзя указать ни на одного поэта, кроме Лермонтова, который был бы заражен Пушкиным. Постичь Пушкина — это уже нужно иметь талант. Думаю, что только сейчас мы начинаем осознавать стиль его словесной походки.

3. Как дать Пушкина современному русскому читателю?

Я не поклонник отроческих стихов Пушкина. По-моему, их нужно просмотреть и некоторые выкинуть. Из зрелых стихов я считаю ненужным все случайные стихотворные письма и эпиграммы, кроме писем к Языкову и Дельвигу.

<1924>

В. Я. БРЮСОВ

Умер Брюсов. Эта весть больна и тяжела, особенно для поэтов.

Все мы учились у него. Все знаем, какую роль он играл в истории развития русского стиха.

Большой мастер, крупный поэт, он внес в затхлую жизнь после шестидесятников и девятидесятников струю свежей и новой формы.

Лучше было бы услышать о смерти Гиппиус и Мережковского, чем видеть в газете эту траурную рамку о Брюсове. Русский символизм кончился давно, но со смертью Брюсова он канул в лету окончательно.

Много Брюсова ругали, много говорили о том, что он не поэт, а мастер. Глупые слова! Глупые суждения!

После смерти Блока это такая утрата, что ее и выразить невозможно. Брюсов был в искусстве новатором.

В то время, когда в литературных вкусах было сплошное слюнтяйство, вплоть до горьких слез над Надсоном, он первый сделал крик против шаблонности своим знаменитым:

О, закрой свои бледные ноги.

Много есть у него прекраснейших стихов, на которых мы воспитывались.

Брюсов первый раздвинул рамки рифмы и первый культивировал ассонанс. Утрата тяжела еще более потому, что он всегда приветствовал все молодое и свежее в поэзии. В литературном институте его имени вырастали и растут такие поэты, как Наседкин, Иван Приблудный, Акульшин и др. Брюсов чутко относился ко всему талантливому. Сделав свое дело на поле поэзии, он последнее время был вроде арбитра среди сражающихся течений в литературе. Он мудро знал, что смена поколений всегда

ставит точку над юными, и потому, что он знал, он написал такие прекрасные строки о гуннах:

Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

Брюсов первый пошел с Октябрем, первый встал на позиции разрыва с русской интеллигенцией. Сам в себе зачеркнуть страницы старого бытия не всякий может. Брюсов это сделал.

Очень грустно, что на таком литературном безрыбьи уходят такие люди.

<1924>

ИЗ ЭПИСТОЛЯРНОЙ ПРОЗЫ

ИЗ ПИСЕМ К Г. А. ПАНФИЛОВУ

1

(Константиново, 7 июля 1911 г.)

Дорогой друг!

Гриша, неужели ты забыл свои слова: ты говорил, что будем иметь переписку, а потом вдруг на мое письмо [1] не отвечаешь. Почему же? Пожалуйста, объясни мне эту причину. У нас все уехали на сенокос. Я дома. Читать нечего, играю в крокет. Немного сделал делов по домашности. Я был в Москве одну неделю [2], потом уехал. Мне в Москве хотелось и побыть больше [3], да домашние обстоятельства не позволили. Купил себе книг штук 25. 10 книг отдал Митьке, 5 Клавдию [4]. Я очень рад, что он взял. Остальные взяли гимназистки у нас здесь в селе, и у меня нет ничего.

2

(Константиново, июнь — июль, до 8, 1912 г.)

Дорогой друг!

...Дай мне, пожалуйста, адрес от какой-либо газеты и посоветуй, куда посылать стихи [1]. Я уже их списал. Некоторые уничтожил, некоторые переправил. Так, например, в стихотворении «Душою юного поэта» [2] последнюю строфу заменил так:

Ты на молитву мне ответь,
В которой я тебя прошу.
Я буду песни тебе петь,
Тебя в стихах провозглашу.

«Наступление весны» уничтожил.

Друг, посоветуй куда. Я моментально отошлю. Пырикову передай поклон[3] от меня. Больше писать не знаю чего. Остаюсь любящий тебя друг

Есенин.

3

(Москва, август, до 18, 1912 г.)

Дорогой Гриша!

Письмо я твое получил. Мне переслали его из дома[1]. Я вижу, тебе живется не лучше моего. Ты тоже страдаешь духом, не к кому тебе приютиться и не с кем разделить наплывшие чувства души; глядишь на жизнь и думаешь: живешь или нет? Уж очень она протекает-то слишком однообразно, и что новый день, то положение становится невыносимее[2], потому что все старое становится противным, жаждешь нового, лучшего, чистого, а это старое-то слишком пошло. Ну ты подумай, как я живу, я сам себя даже не чувствую. «Живу ли я, или жил ли я?» — такие задаю себе вопросы после недолгого пробуждения. Я сам не могу придумать, почему это сложилась такая жизнь, именно такая, чтобы жить и не чувствовать себя, то есть своей души и силы, как животное. Я употреблю все меры, чтобы проснуться. Так жить — спать и после сна на мгновение сознаваться, слишком скверно. Я тоже не читаю, не пишу пока, но думаю...

Любящий тебя *Есенин С.*

4

(Москва, август 1912 г.).

Дорогой Гриша!

...(Благослови меня, мой друг, на благородный труд. Хочу писать «Пророка»[1], в котором буду клеймить позором слепую, увязшую в пороках толпу. Если в твоей душе

хранятся еще помимо какие мысли, то прошу тебя, дай мне их как для необходимого материала. Укажи, каким путем идти, чтобы не зачернить себя в этом греховном сонме. Отныне даю тебе клятву, буду следовать своему «Поэту». Пусть меня ждут унижения, презрения и ссылки. Я буду тверд, как будет мой пророк, выпивающий бокал, полный яда, за святую правду с сознанием благородного подвига).

5

(Москва, ноябрь — декабрь 1912 г.).

Прежде всего, лучше истина, чем лицемерие. Ты думаешь, ты прав с своими укоризнами? Тебя оскорбило, что я сказал: *«Что вы спите?»* Но ведь ты лучше почитаешь истину и искренность. Знай же: я это чувствовал и сказал. Я и всегда говорю, что чувствую. Что ты подозреваешь в этих словах? Если что-либо дурное, то я говорю тебе нет! Если тебе это кажется грубо, то прости, я извинения просить не буду. Я сказал искренне, так как сказал бы всякий мужик, видя, что мешкают. Этими словами я не требовал от тебя подробного письма, а требовал только ответа, что получил ты книги или нет. Я боялся за них, потому что посланы были без цены, а квитанции я затерял.

Если ты требуешь своим письмом от меня всего красивого, чистого, благородного, деликатного, но лицемерного, то знай, это не есть искренность, а я тебе сказал именно так (искренне). Если что-либо и встретилось в моем письме, затрагивающее струны твоей души, то знай, я не отвлеченная идея (какая-либо), а человек, не лишенный чувств, и недостатков, и слабостей. Вина не моя, что ты нашел оскорбление в моем письме,— вина твоя, что ты не мог разобраться. Если я употребил м. г., то посмотри на окончание всей фразы и погляди, кому она сказана и можно ли так называть двух лиц. Не я тебя оскорбил, ты сам себя и меня, и меня до обидных слез. Знай, где твой находился в это время идеал? Или в это время он откачнулся от тебя, или ты от него. Я не знаю, но вижу. За все твои слова я мог бы сказать, как Рахметов («Что делать?», Чернышевский): «Ты или подлец, или лжец». Но я не хочу и особого равнодушия не имею, и притом глубоко тебя знаю и ценил как лучшего друга. Все-таки рана оскорбления лежит у меня на груди. Не было изо всех писем горше и

худше сего письма!!! Во-первых, стыдны для тебя такие шаблонные требования, как Бальзамова и карточка. Здесь должно если быть, то все уже направленное к эгоизму. Хочешь быть идеалистом и противником общества, а сам строго соблюдаешь все светские приличия и рад за них подорвать все основы дружбы. Теперь уже не дружба, а жалкие шатающиеся останки, которые, может быть, рухнут при малейшем противоречии.

Ответа просить я не буду, потому что, может быть, будет тебе неприятно и ты не сочтешь себя обязанным и виновным перед собою. Почему-то невольно лезут в голову мрачные строчки:

Облетели цветы, догорели огни,
Непроглядная ночь, как могила темна.

6

(Москва, март 1913 г.)

Дорогой Гриша!

Извини, что запоздал ответом. Вопрос о том, изменился ли я в чем-либо, заставил меня подумать и проанализировать себя. Да, я изменился. Я изменился во взглядах, но убеждения те же и еще глубже засели в глубине души. По личным убеждениям я бросил есть мясо и рыбу, прихотливые вещи, как-то: вроде шоколада, какао, кофе не употребляю и табак не курю. Этому всему будет скоро 4 месяца. На людей я стал смотреть тоже иначе. Гений для меня — человек слова и дела, как Христос. Все остальные, кроме Будды [1], представляют не что иное, как блудники, попавшие в пучину разврата. Разумеется, я имею симпатию и к таковым людям, как, например, Белинский, Надсон, Гаршин и Златовратский и др. Но как Пушкин, Лермонтов, Кольцов, Некрасов — я не признаю. Тебе, конечно, известны цинизм А. Пушкина, грубость и невежество М. Лермонтова, ложь и хитрость А. Кольцова, лицемерие, азарт и карты и притеснение дворовых Н. Некрасова, Гоголь — это настоящий апостол невежества, как и назвал его Белинский в своем знаменитом письме [2]. А про Некрасова можешь даже судить по стихотворению Никитина «Поэту обличителю». Когда-то ты мне писал о Бодлере и Кропоткине, этих подлецах, о которых мы с тобой поговорим после. Жаль, что не приходится нам увидеться, мы бы поговорили чередом, а не как в письмах. На пасху я поеду домой и не теряю надежды съездить к тебе хотя

бы на один день. Недавно я устраивал агитацию среди рабочих письмами. Я распространял среди них ежемесячный журнал «Огни» с демократическим направлением [3]. Очень хорошая вещь. Цена годовая 65 к. Ты должен обязательно подписаться. После пасхи я буду там помещать свои вещи... [4]

Любящий т[ебя] *С. Е.*

7

(Москва, сентябрь, не ранее 24, 1913 г.)

Дорогой Гриша!

Писать подробно не могу. Арестовано 8 человек товарищей за прошлые движения из солидарности к трамвайным рабочим [1]. Много хлопот [2] и приходится суетиться.

А ты пока пиши свое письмо, я подробно на него отвечу.

Любящий тебя *Сережа.*

8

(Москва, сентябрь 1913 г.)

Сбейте мне цепи, скиньте оковы! [1]
Тяжко и больно железо носить.
Дайте мне волю, желанную волю,
Я научу вас свободу любить.

Увы мне, увы мне! Тебе ничего там не видно и не слышно в углу твоего прекрасного далека [2]. Там возле тебя мирно и плавно текут, чередуясь, блаженные дни, а здесь кипит, бурлит и сверлит холодное время, подхватывая на своем течении всякие зародыши правды, стискивает в свои ледяные объятия и несет бог весть куда в далекие края, откуда никто не приходит. Ты обижаешься, почему я так долго молчу, но что я могу сделать, когда на устах моих печать, да и не на моих одних.

Гонима, Русь, ты беспощадным роком,
За грех иной, чем гордый Биллеам,
Заграждены уста твоим пророкам
И слово вольное дано твоим ослам [3].

Мрачные тучи сгустились над моей головой, кругом неправда и обман. Разбиты сладостные грезы, и все унес промчавшийся вихорь в своем кошмарном круговороте.

Наконец и приходится сказать, что жизнь — это действительно «пустая и глупая шутка»[4]. Судьба играет мною. Она, как капризное дитя, то смеется, то плачет. Ты, вероятно, получил неприятное для тебя письмо от моего столь любезного батюшки[5], где он тебя пробирает на все корки. Но я не виноват здесь, это твоя неосторожность чуть было (не) упрятала меня в казенную палату[6]. Ведь я же писал тебе: перемени конверты и почерк[7]. За мной следят, и еще совсем недавно был обыск у меня на квартире[8]. Объяснять в письме все не стану, ибо от сих пашей и их всевидящего ока[9] не скроешь и булавочной головки. Приходится молчать. Письма мои кто-то читает, но с большой аккуратностью, не разрывая конверта. Еще раз прошу тебя, резких тонов при письме избегай, а то это кончится все печально и для меня, и для тебя. Причину всего объясню после, а когда, сам не знаю. Во всяком случае, когда угомонится эта разразившаяся гроза.

А теперь поговорим о другом. Ну как ты себе поживаешь? Я чувствую себя прескверно. Тяжело на душе, злая грусть залегла[10]. Вот и гаснет румяное лето со своими огненными зорями, а я и не видал его за стеной типографии. Куда ни взгляни, взор всюду встречает мертвую почву холодных камней, и только и видишь серые здания да пеструю мостовую, которая вся обрызгана кровью жертв 1905 г.[11]. Здесь много садов, оранжерей, но что они в сравнении с красотами родимых полей и лесов. Да и люди-то здесь совсем не такие. Да, друг, идеализм здесь отжил свой век, и с кем ни поговори, услышишь одно и то же: «Деньги — главное дело», а если будешь возражать, то тебе говорят: «Молод, зелен, поживешь — изменишься». И уже заранее причисляют к героям мещанского счастья, считая это лучшим блаженством жизни. Все погрузились в себя, и если бы снова явился Христос, то он и снова погиб бы, не разбудив эти заснувшие души.

Жизнь невеселая, жизнь терпеливая,
Горько она, моя бедная, движется[12].

Да, я частенько завидую твоему другу Пырикову. Вероятно, его боги слишком любили, что судили ему умереть молодым[13]. Как хорошо закатиться звездой пред рассветом, но а сейчас-то его пока нет и не видно. Кругом мрак.

Ах ты, ноченька,
Ночка темная,
Ночка темная,
Ночь осенняя![14]

Дела мои не особенно веселят. Поступил в Университет Шанявского на историко-философский отдел [15]. Но со средствами приходится скандалить. Не знаю, как буду держаться, а силы так мало. Я не знаю, что ты там засел в Клепиках, пора бы и вырваться на волю. Ужели тебя не гнетет та удушливая атмосфера? Здесь хоть поговорить с кем можно и послушать есть чего. Пока, думаю, довольно с меня разводить эти мертвые каракули. Скука невыносимая. «Все мошенники и подлецы. Есть только один порядочный человек, губернатор города NN, да и тот, по правде сказать, свинья!» Так говорил Собакевич [16]. И правда, я пока хорошего ничего не вижу.

Любящий тебя *Сережа.*

9

(Москва, сентябрь — октябрь 1913 г.)

Дорогой Гриша!

Извини, что запоздал ответом. Я все дожидался, чтобы послать тебе вырезку из газеты со своим стихотворением, но оказывается, это еще немного продолжится. Пришлю после.

Ты просишь рассказать тебе, что со мной произошло, изволь. Во-первых, я зарегистрирован в числе всех профессионалистов, во-вторых, у меня был обыск, но все пока кончилось благополучно. Вот и все.

Живется мне тоже здесь не завидно. Думаю во что бы то ни стало удрать в Питер. Москва — это бездушный город, и все, кто рвется к солнцу и свету, большей частью бегут от нее. Москва не есть двигатель литературного развития, а она всем пользуется готовым из Петербурга. Здесь нет ни одного журнала. Положительно ни одного. Есть, но которые только годны на помойку, вроде «Вокруг света», «Огонек». Люди здесь большей частью волки из корысти. За грош они рады продать родного брата. Все здесь построено на развлечении, а это развлечение покупают ценой крови.

Да, мельчает публика. Портятся нравы, а об остальном уж и говорить нельзя.

Читал ли ты роман Ропшина «То, чего не было» из эпохи 5 годов. Очень замечательная вещь.

Вот где наяву необузданное мальчишество революционеров 5 года. Да, Гриша, все-таки они отодвинули свободу

лет на 20 назад. Но бис с ними, пусть им себе галушки с маком кушают на энтом свити. Пока больше не знаю, что писать.

Любящий тебя *Сережа.*

Не обижайся, что замедлил. Карточку давай сюда.

10

(Москва, октябрь 1913 г.)

Печальные сны охватили мою душу. Снова навевает на меня тоска угнетенное настроение. Готов плакать и плакать без конца. Все сформировавшиеся надежды рухнули, мрак окутал и прошлое и настоящее. «Скучные песни и грустные звуки» [1] не дают мне покоя. Чего-то жду, во что-то верю и не верю. Не сбылися мечты святого дела. Планы рухнули, и все снова осталось на веру «Дальнейшего будущего». Оно все покажет, но пока настоящее его разрушило. Была цель, были покушения, но тягостная сила их подавила, а потом устроила насильное триумфальное шествие. Все были на волоске и остались на материке. Ты все, конечно, понимаешь, что я тебе пишу. Ми<нистр>ов всех чуть было не отправили в пекло святого Сатаны, но вышло замешательство. И все снова по-прежнему. На Ца + Ря не было ничего и ни малейшего намека, а хотели их, но злой рок обманул, и деспотизм еще будет владычествовать, пока не загорится заря. Сейчас пока меркнут звезды и расстилается тихий легкий туман, а заря еще не брезжит, но всегда перед этим или после этого угасания владычества ночи, всегда бывает так. А заря недалека, и за нею светлый день. Посидим у моря, подождем погоды, когда-нибудь и утихнут бурные волны на нем и можно будет без опасения кататься на плоскодонном челноке.

НА ПАМЯТЬ ОБ УСОПШЕМ У МОГИЛЫ

В этой могиле под скромными ивами
Спит он, зарытый землей,
С чистой душой, со святыми порывами,
С верой зари огневой.

Тихо погасли огни благодатные
В сердце страдальца земли,
И на чело никому не понятные
Мрачные тени легли.

Спит он, а ивы над ним наклонилися,
Свесили ветви кругом,
Точно в раздумье они погрузилися,
Думают думы о нем.

Тихо от ветра, тоски напустившего,
Плачет, нахмурившись, даль,
Точно им всем безо времени сгибшего
Бедного юношу жаль.

11

(Москва, январь 1914 г.)

Дорогой Гриша!

Изнуренный сажусь за письмо. Последнее время я тоже свалился с ног. У меня сильно кровь шла носом. Ничто не помогало остановить. Не ходил долго на службу, и результат — острое малокровие. Ты просил меня относительно книг, я искал, искал и не нашел. Вообще-то в Москве во всех киосках и рынках не найти старых книг этого издательства. Ведь главное-то, они захватили провинциализм, а потому там и остались...

...Посылаю тебе на этой неделе детский журнал, там мои стихи [1].

Что-то грустно, Гриша. Тяжело. Один я, один кругом, один, и некому мне открыть свою душу, а люди так мелки и дики. Ты от меня далеко, а в письме всего не выразишь, ох, как хотелось бы мне с тобой повидаться.

О болезни твоей глубоко скорблю [2] и не хотел бы тебе напоминать об этом, слишком больно травить свою душу.

Любящий тебя *С. Е.*

12

(Москва, февраль, 1914 г.)

Гриша! Небось ты меня скипидаришь вовсю. Голубчик мой, <обож>ди немного. Ей-богу, ни минуты свободной. Так писать, <что> вздумается, не интересно. Благодарю глубоко за приглашение, но приехать не могу, есть дела <важ>ные дома. Вот летом, тогда с великим восторгом. Распечатался я во всю ивановскую. Редактора принимают без просмотра и псевдоним мой «Аристон» сняли. Пиши, г<ово>рят, <под> своей фамилией. Получаю 15 к. за строчку. Посылаю одно из детских стихотворений. Глубоко любящий тебя *Сережа.*

(Какова моя персона?) Я очень изменился.

ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСЕМ

13. И. И. ШНЕЙДЕРУ

(Висбаден, 21 июня 1922 г.)

Висбаден, июнь 21. 922.

Германия? Об этом поговорим после, когда увидимся, но жизнь не здесь, а у нас. Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер [1]. Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем, чешем, не стесняясь, у всех на виду седалищные щеки, но мы не воняем так трупно, как воняют внутри они. Никакой революции здесь быть не может. Все зашло в тупик. Спасет и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы.

Нужен поход на Европу ————————————————————————————————

Однако серьезные мысли в этом письме мне сейчас не к лицу. Перехожу к делу. Ради бога, отыщите мою сестру через магазин (оставьте ей письмо) и устройте ей получить деньги, по этому чеку в «Ара». Она, вероятно, очень нуждается. Чек для Ирмы только пробный. Когда мы узнаем, что вы получили его, тогда Изадора пошлет столько, сколько надо.

Если сестры моей нет в Москве, то напишите ей письмо и передайте Мариенгофу, пусть он отошлет его ей.

Кроме того, когда Вы поедете в Лондон, Вы позовите ее к себе и запишите ее точный адрес, по которому можно было бы выслать ей деньги, без которых она погибнет.

Передайте мой привет и все чувства любви моей Мариенгофу. Я послал ему два письма, на которые он почему-то мне не отвечает.

О берлинских друзьях я мог бы сообщить очень замечательное (особенно о некоторых доносах во французскую полицию, чтоб я не попал в Париж). Но все это после, сейчас жаль нервов.

Когда поедете, захватите с собой все книги мои и Мариенгофа и то, что обо мне писалось за это время.

Жму Вашу руку.

До скорого свиданья. Любящий Вас *Есенин.*

Ирме мой нижайший привет. Изадора вышла за меня замуж второй раз и теперь уже не Дункан-Есенина, а просто Есенина.

14. М. М. ЛИТВИНОВУ

(Дюссельдорф, 29 июня 1922 г.)

Июнь 29 1922

Уважаемый т. Литвинов!

Будьте добры, если можете, то сделайте так, чтоб мы выбрались из Германии и попали в Гаагу.

Обещаю держать себя корректно и в публичных местах «Интернационал» не петь [1].

Уважающие Вас

С. Есенин.

Айседора Дункан.

15. А. М. САХАРОВУ

(Дюссельдорф, 1 июля 1922 г.)

1 июля 1922 г.

...*Родные мои! Хорошие!*

Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар, на искусство начхать — самое высшее музик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно... Ну и <...> я их тоже с высокой лестницы.

Если рынок книжный — Европа, а критик — Львов-Рогачевский, то глупо же ведь писать стихи им в угоду и по их вкусу.

Здесь все выглажено, вылизано и причесано так же почти, как голова Мариенгофа. Птички какают с разреше-

ния и сидят, где им позволено. Ну, куда же нам с такой непристойной поэзией? Это, знаете ли, невежливо так же, как коммунизм. Порой мне хочется послать все это к <...> и навострить лыжи обратно.

Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину [1].

...Сейчас на столе у меня английский журнал со стихами Анатолия [2], который мне даже и посылать ему не хочется. Очень хорошее издание, а на обложке пометка: в колич. 500 экземпляров. Это здесь самый большой тираж!..

16. А. Б. МАРИЕНГОФУ

(Остенде, 9 июля 1922 г.)

...Милый мой, самый близкий, родной и хороший, так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая «северянинщина» жизни, что просто хочется послать это все к энтой матери.

Сейчас сижу в Остенде. Паршивейшее Гель-Голландское море и свиные тупые морды европейцев. От изобилия вин в сих краях я бросил пить и тяну только сельтер. Очень много думаю и не знаю, что придумать.

Там, из Москвы, нам казалось, что Европа — это самый обширнейший рынок распространения наших идей в поэзии, а теперь отсюда я вижу: боже мой! до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет такой страны еще и быть не может.

Со стороны внешних впечатлений после нашей разрухи здесь все прибрано и выглажено под утюг. На первых порах особенно твоему взору это понравилось бы, а потом, думаю, и ты бы стал хлопать себя по колену и скулить, как собака. Сплошное кладбище. Все эти люди, которые снуют быстрей ящериц, не люди — а могильные черви, дома их гробы, а материк — склеп. Кто здесь жил, тот давно умер, и помним его только мы, ибо черви помнить не могут.

Из всего, что я намерен здесь сделать, это издать переводы двух книжек [1] по 3—2 страницы двух несчастных авторов, о которых здесь знают весьма немного и то в литературных кругах.

Издам на английском и французском. К тебе у меня, конечно, много просьб, но самая главная — это то, чтобы ты позаботился о Екатерине, насколько можешь...

В Берлине я наделал, конечно, много скандала и переполоха [2]. Мой цилиндр и сшитое берлинским портным манто привели всех в бешенство. Все думают, что я приехал на деньги большевиков, как чекист или как агитатор. Мне все это весело и забавно. Том свой продал Гржебину [3].

От твоих книг шарахаются. Хорошую книгу стихов удалось продать только как сборник новых стихов [4] твоих и моих. Ну да черт с ними, ибо все они здесь прогнили за 5 лет эмиграции. Живущий в склепе всегда пахнет мертвечиной. Если ты хочешь сюда пробраться, то потормоши Илью Ильича, я ему пишу об этом особо. Только после всего, что я здесь видел, мне не очень хочется, чтобы ты покинул Россию. Наше литературное поле другим сторожам доверять нельзя.

При всяком случае, конечно, езжай, если хочется, но скажу тебе откровенно: если я не удеру отсюда через месяц, то это будет большое чудо. Тогда, значит, во мне есть дьявольская выдержка характера, которую отрицает во мне Коган... [5]

Твой *Сергун.*

Остенд, июль 9, 1922.

17. А. Б. МАРИЕНГОФУ

(Нью-Йорк, 12 ноября 1922 г.)

12 ноября 1922 г.

Милый мой Толя! Как рад я, что ты не со мной здесь в Америке, не в этом отвратительнейшем Нью-Йорке. Было бы так плохо, что хоть повеситься...

Лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва. В чикагские «сто тысяч улиц» можно загонять только свиней. На то там, вероятно, и лучшая бойня в мире.

О себе скажу (хотя ты все думаешь, что я говорю для потомства): что я впрямь не знаю, как быть и чем жить теперь.

Раньше подогревало то при всех российских лишениях, что вот, мол, «заграница», а теперь, как увидел, молю бога не умереть душой и любовью к моему искусству. Никому

оно не нужно, значение его для всех — как значение Изы Кремер[1], только с тою разницей, что Иза Кремер жить может на свое пение, а тут хоть помирай с голоду.

Я понимаю теперь, очень понимаю кричащих о производственном искусстве.

В этом есть отход от ненужного. И правда, на кой черт людям нужна эта душа, которую у нас в России на пуды меряют. Совершенно лишняя штука эта душа... С грустью, с испугом, но я уже начинаю учиться говорить себе: застегни, Есенин, свою душу, это так же неприятно, как расстегнутые брюки... В голове у меня одна Москва и Москва.

Даже стыдно, что так по-чеховски.

Сегодня в американской газете видел очень большую статью с фотографией о Камерном театре, но, что там написано, не знаю, за не... никак не желаю говорить на этом проклятом аглицком языке. Кроме русского, никакого другого не признаю, и держу себя так, что ежели кому-нибудь любопытно со мной говорить, то пусть учится порусски.

Конечно, во всех своих движениях столь же смешон для многих, как француз или голландец на нашей территории.

Ты сейчас, вероятно, спишь, когда я пишу это письмо тебе. Потому в России сейчас ночь, а здесь день...

Боже мой, лучше было есть глазами дым, плакать от него, но только бы не здесь, не здесь. Все равно при этой культуре «железа и электричества» здесь у каждого полтора фунта грязи в носу...

ИЗ ПИСЕМ О ЛИТЕРАТУРЕ

18. А. В. ШИРЯЕВЦУ

(Москва, 21 января 1915 г.)

Москва, 21 января 1915 года.

Александр Васильевич!

Приветствую Вас за стихи Ширяевца. Я рад, что мое стихотворение помещено вместе с Вашим [1]. Я давно знаю Вас из ежемесячника [2] и по второму номеру «Весь мир» [3]. Стихи Ваши стоят на одинаковом достоинстве стихов Сергея Клычкова [4], Алексея Липецкого [5] и Рославлева [6]. Хотя Ваша стадия от них далека. Есть у них красивые подделки под подобные тона, но это все не то.

Извините за откровенность, но я Вас полюбил с первого же мной прочитанного стихотворения. Моих стихов в Чарджуе Вы не могли встречать, да потом я только вот в это время еще выступаю. Московские редакции обойдены мной успешно [7]. В ежемесячнике я тоже скоро, наверное, появлюсь [8].

Есть здесь у нас еще кружок журнала «Млечный Путь» [9]. Я там много говорил о Вас, и меня просили пригласить Вас. Подбор сотрудников хороший. Не обойден и Игорь Северянин. Присылайте, ежели не жаль, стихов, только без гонорара. Раскаиваться не будете. Журнал выходит один раз в месяц, но довольно изрядно.

Кстати, у меня есть еще Ваше стихотворение «Городское». Поправьте, пожалуйста, последнюю строчку.

«Не встречу ль я любезного на улице в саду» — переправьте как-нибудь на любовную беду. А то уж очень здесь шаблонно.

Строчки «что сделаю-поделаю я с девичьей тоской» — краса всего стихотворения. Оно пойдет во втором номере

«Друг народа»[10]. Если можно, я попросил бы карточку Вашей с<обственной> персоны. Ведь книги стихов у Вас нет.

Очень рад за Вас, что Вашу душу девушка-царевна вывела из плена городского. Вы там вдалеке так сказочны и прекрасны.

Жму руку Вашу.

Со стихами моими Вы еще познакомитесь. Они тоже близки Вашего духа и Клычкова.

Ответьте, пожалуйста.

Уважающий Вас

Сергей Александрович Есенин.

Москва, 2-й Павловский пер., д. 3, кв. 12.

19. А. А. БЛОКУ

(Петроград, 9 марта 1915 г.)

Александр Александрович!

Я хотел бы поговорить с Вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может быть, где и встречали по журналам мою фамилию. Хотел бы зайти часа в 4.

С почтением *С. Есенин.*

20. Н. А. КЛЮЕВУ

(Петроград, 24 апреля 1915 г.)

Дорогой Николай Алексеевич!

Читал я Ваши стихи, много говорил о Вас с Городецким[1] и не могу не писать Вам. Тем более тогда, когда у нас есть с Вами много общего. Я тоже крестьянин и пишу так же, как Вы, но только на своем рязанском языке[2]. Стихи у меня в Питере прошли успешно. Из 60 принято 51. Взяли «Северные записки», «Русская мысль», «Ежемесячный журнал» и др. А в «Голосе жизни» есть обо мне статья Гиппиус[3] под псевдонимом Роман Аренский, где упоминаетесь и Вы. Я хотел бы с Вами побеседовать о

многом, но ведь «через быстру реченьку, через темненький лесок не доходит голосок». Если Вы прочитаете мои стихи, черканите мне о них. Осенью Городецкий выпускает мою книгу «Радуница». В «Красе»[4] я тоже буду. Мне очень жаль, что я на этой открытке ничего не могу еще сказать. Жму крепко Вашу руку. Рязанская губ., Рязан. у., Кузьминское почт. отд., село Константиново, Есенину Сергею Александровичу.

21. В. С. ЧЕРНЯВСКОМУ

(Константиново, июнь — июль 1915 г.)

Дорогой Володя! Радехонек за письмо твое. Жалко, что оно меня не застало по приходе. Поздно уж я его распечатал. Приезжал тогда ко мне К. Я с ним пешком ходил в Рязань, и в монастыре были, который далеко от Рязани. Ему у нас очень понравилось. Все время ходили по лугам. На буграх костры жгли и тальянку слушали. Водил я его и на улицу. Девки ему очень по душе. Полюбилось так, что еще хотел приехать. Мне он понравился еще больше, чем в Питере. Сейчас я думаю уйти куда-нибудь. От военной службы меня до осени освободили. По глазам оставили. Сперва было совсем взяли.

Стихов я написал много. Принимаюсь за рассказы. Два уже готовы. К. говорит, что они многое открыли ему во мне. Кажется, понравились больше, чем надо. Стихов ему много не понравилось, но больше восхитило. Он мне объяснил о моем *пантеизме* и собирался статью писать.

Интересно, черт возьми, в разногласии мнений. Это меня не волнует, но хочется знать, на какой стороне Философов и Гиппиус. Ты узнай, Володя. Меня беспокоит то, что я отослал им стихи, а ответа нет. Черновиков у меня, видно, никогда не сохранится. Потому что интересней ловить рыбу и стрелять, чем переписывать. За июнь посмотри «Северные записки», там я уже напечатан, как говорит К. Жду только «Русскую мысль». Читал в «Голосе жизни» Струве, оба стиха понравились. Есть в них, как и в твоих, «холодок скептической печати». Стихов я тебе скоро пришлю почитать. Только ты поторопись ответом. Самдели уйду куда-нибудь. Милый Рюрик, один он там остался.

Городецкий мне все собирается писать, но пока не писал. Писал Клюев, но я ему все отвечать собираюсь. Рю-

рику я пишу, а на Костю осердился, он не понял как следует. Коровы хворают, люди не колеют...

Любящий тебя *Сережа.*

22. Д. В. ФИЛОСОФОВУ

(Константиново, июль — август 1915 г.)

Дорогой Дмитрий Владимирович. Мне очень бы хотелось быть этой осенью в Питере, так как думаю издавать две книги стихов [1]. Ехать, я чую, мне не на что. Очень бы просил Вас поместить куда-либо моего «Миколая Угодника» [2]. Может быть, выговорите мне прислать деньжонок к сентябрю. Я был бы очень Вам благодарен. Проездом я бы уплатил немного в Университет Шанявского, в котором думаю серьезно заниматься [3]. Лето я шибко подготовлялся. Очень бы просил Вас. В «Северных записках» и «Русской мысли», боюсь, под аванс сочтут за шарамыжничество. Тут у меня очень много записано сказок и песен [4]. Но до Питера с ними пирогов не спекешь. Жалко мне очень, что «Голос жизни»-то закрыли [5]. Жду поскору ответа. Может быть, «Современник» возьмет.

Любящий Вас *Есенин.*

23. М. В. АВЕРЬЯНОВУ

(Петроград, 16 ноября 1915 г.)

1915 года, ноября 16 дня продал Михаилу Васильевичу Аверьянову в полную собственность право первых изданий в количестве трех тысяч экземпляров моей книги стихов «Радуница» за сумму сто двадцать пять рублей и деньги сполна получил.

Означенные три тысячи экземпляров М. В. Аверьянов имеет право выпустить в последовательных изданиях.

Крестьянин села Константинова Рязанского уезда и Рязанской губернии Кузьминской волости.

Сергей Александрович *Есенин.*

Петроград, Фонтанка, 149, кв. 9.

24. Р. В. ИВАНОВУ-РАЗУМНИКУ

(Петроград, декабрь, не позднее 21, 1915 г.)

Многоуважаемый Разумник Васильич!

В прошлом году я начал первый раз в Питере печатать свои стихи в «Русской мысли», «Северных записках», «Ежемесячном журнале», «Новом журнале для всех», «Голосе жизни», «Биржевых ведомостях», «Огоньке» и др.

На днях выходят сразу одна за одной мои две книги «Радуница» и «Авсень».

С войной мне нынешний год пришлось ехать в Ревель пробивать паклю, но ввиду нездоровости я вернулся. Приходится жить литературным трудом, но очень тяжко. Дома на родине у меня семья, которая нуждается в моей помощи. Ввиду этого, Разумник Васильевич, я попросил бы Вас похлопотать в Литературном фонде о ссуде руб. в 200. Дабы я хоть не поскору должон был искать себе заработок и имел возможность выбрать его.

Адрес мой: Фонтанка, 149, кв. 9.

Уважающий Вас *Сергей Есенин.*

25. Н. А. КЛЮЕВУ

(Царское Село, июль — август 1916 г.)

Дорогой Коля, жизнь проходит тихо и очень тоскливо. На службе у меня дела не важат. В Петроград приедешь, одна шваль торчит. Только вот вчера был для меня день, очень много доставивший. Приехал твой отец, и то, что я вынес от него, прямо-таки передать тебе не могу. Вот натура — разве не богаче всех наших книг и прений? Все, на чем ты и твоя сестра ставили дымку, он старается еще ясней подчеркнуть, и для того только, чтоб выдвинуть помимо себя и своих желаний мудрость приемлемого. Есть в нем, конечно, и много от дел мирских с поползновением на выгоду, но это отпадает, это и незаметно ему самому, жизнь его с первых шагов научила, чтоб не упасть, искать видимой опоры. Он знает интуитивно, что когда у старого волка выпадут зубы, бороться ему будет нечем, и он должен помереть с голоду... Нравится мне он.

Сидел тут еще Ганин, у него, знаешь, и рот перекосился совсем от заевшей его пустой и ненужной правды. Жаль его очень, жаль потому, что делает-то он все так, как надо, а объясняет себе по-другому.

Пишу мало я за это время, дома был — только растравил себя и все время ходил из угла в угол да нюхал, чем отдает от моих бываний там — падалью иль сырой гнилью.

За последнее время вырезок никаких не получал, говорил мне Пимен, что видел большую статью где-то, а где, не знаю. Клавдия Алексеевна говорила, что ты три получил. Пришли, пожалуйста, мне посмотреть, я их тебе отошлю тут же обратно.

Дед-то мне показывал уж и какого размера, ды все, говорит, про тебя сперва, про Николая после чтой-то.

Приезжай, брат, осенью во что бы то ни стало. Отсутствие твое для меня заметно очень, и очень скучно. Главное то, что одиночество круглое.

Как я вспоминаю пережитое...

Вернуть ли?

Твой *Сергей Есенин.*

26. Н. Н. ЛИВКИНУ

(Царское Село, 12 августа 1916 г.)

12 августа 16 г.

Сегодня я получил ваше письмо [1], которое вы послали уже более месяца тому назад. Это вышло только оттого, что я уже не в поезде, а в Царском Селе при постройке Феодоровского собора [2].

Мне даже смешным стало казаться, Ливкин, что между нами, два раза видящих друг друга, вдруг вышло какое-то недоразумение, которое почти целый год не успокаивает некоторых. В сущности-то ничего нет. Но зато есть осадок какой-то мальчишеской лжи, которая говорит, что вот-де Есенин попомнит Ливкину, от которой мне неприятно.

Я только обиделся, не выяснив себе ничего, на вас за то, что вы меня и себя, но больше меня, поставили в неловкое положение. Я знал, что перепечатка стихов немного нечестность, но в то время я голодал, как, может быть, никогда, мне приходилось питаться на 3—2 коп. Тогда, когда вдруг около меня поднялся шум, когда Мережков-

ский, гиппиусы и философовы открыли мне свое чистилище и начали трубить обо мне, разве я, ночующий в ночлежке по вокзалам, не мог не перепечатать стихи, уже употребленные? Я был горд в своем скитании, то, что мне предлагали, я отпихивал. Я имел право просто взять любого из них за горло и взять просто сколько мне нужно из их кошельков. Но я презирал их — и с деньгами, и со всем, что в них есть,— и считал поганым прикоснуться до них. Поэтому решил просто перепечатать стихи старые, которые для них все равно были неизвестны. Это было в их глазах, или могло быть, тоже некоторым воровством, но в моих ничуть, и когда вы написали письмо со стихами в «Журнал для всех» [3], вы, так сказать, задели струну, которая звучала корябающе.

Теперь я узнал и постарался узнать, что в вас было не от пинкертоновщины все это, а по незнанию. Сейчас, уже утвердившись в многом и многое осветив с другой стороны, что прежде казалось неясным, я с удовольствием протягиваю вам руку примирения перед тем, чего между нами не было, а только казалось. И вообще между нами ничего не было бы, если бы мы поговорили лично.

Не будем говорить о том мальчишке, у которого понятие о литературе, как об уличной драке: «Вот стану на углу и не пропущу, куда тебе нужно». Если он усвоил себе термин ля, сейчас существующий: «Сегодня ты, а завтра я» [4], то в мозгу своем все-таки не перелицевал его. То, что когда-то казалось другим, что я увлекаюсь им как поэтом было смешно для меня иногда, но иногда принимал и это, потому что во мне к нему было некоторое увлечение, которое чтоб скрыть иногда от ужаса других, я заставлял себя дурачиться, говорить не то, что думаю, и чтоб сильней оттолкнуть подозрение на себя, выходил на кулачки с Овагемовым. Парнем разухабистым хотел казаться. Вообще, между нами ничего не было, говорю вам теперь я, кроме опутывающих сплетен, а сплетен и здесь хоть отбавляй, и притом они незначительны.

Ну, разве я могу в чем-нибудь помешать вам как поэту? Да я просто дрянь какая-то после этого был бы, которая не литературу любит, а потроха выворачивать. Это мне было еще больней, когда я узнал, что обо мне так могут думать, но, а в общем-то, ведь все это выеденного яйца не стоит.

Сергей Есенин.

27. Л. Н. АНДРЕЕВУ

(Царское Село, 20 октября 1916 г.)

Дорогой Леонид Николаевич, навещая А. М. Ремизова[1], мы с Клюевым хотели очень повидать Вас, но не пришлось, о чем глубоко жалеем. В квартире Вашей я оставил Вам несколько стихотворений и книгу[2]. Будьте добро<де>тельны, сообщите мне, подошло что или нет из них, так как я нахожусь на военной службе и справиться лично не имею возможности.

Уважающий и почитающий Вас

Сергей Есенин.

Царское Село. Канцелярия по постройке Феодоровского собора.

28. М. В. АВЕРЬЯНОВУ

(Царское Село, ноябрь, около 20, 1916 г.)

Дорогой Михаил Васильевич! Положение мое скверное. Хожу отрепанный, голодный, как волк, а кругом все подтягивают. Сапоги каши просят, требуют, чтоб был как зеркало, но совсем почти невозможно. Будьте, Михаил Васильевич, столь добры, выручите из беды, пришлите рублей 35. Впредь буду обязан Вам «Голубенью», о достоинстве коей можете справиться у Разумника Иванова и Клюева. Вы-то ведь не слыхали моих стихов с апреля.

Думаю, что я не обижу моим обращением Вас, но я всегда почему-то именно надеялся на эту сторону, потом даже был разговор когда-то при выпуске «Радуницы», что, когда книга разойдется, 50 р. добавочных. Положим, книга не разошлась, но я все-таки к Вам обращаюсь и надеюсь.

Сергей Есенин.

Царское Село. Канцелярия по постройке Феодоровского собора.

29. А. В. ШИРЯЕВЦУ

(Петроград, июнь, до 16, 1917 г.)

Дорогой Шура!

Очень хотел приехать к тебе под твое бирюзовое небо, но за неимением времени и покачнувшегося здоровья пришлось отложить.

Очень мне надо с тобой обо многом переговорить или списаться.

Сейчас я уезжаю домой, а оттуда напишу тебе обстоятельно.

Но впредь ты меня предупреди, получишь ли ты эту открытку.

Твой *Сергей.*

Кузьминское п. отд.
село Константиново Рязанск. губ. и уез.
С. Есенину.

30. А. В. ШИРЯЕВЦУ

(Константиново, 24 июня 1917 г.)

1917. Июнь 24.

Хе-хе-хе, что ж я скажу тебе, мой друг, когда на языке моем все слова пропали, как теперешние рубли. Были и не были. Вблизи мы всегда что-нибудь, но уж обязательно сыщем нехорошее, а вдали все одинаково походит на прошедшее, а что прошло, то будет мило,— еще сто лет назад сказал Пушкин [1].

Бог с ними, этими питерскими литераторами, ругаются они, лгут друг на друга, но все-таки они люди, и очень недурные внутри себя люди, а потому так и развинчены. Об отношениях их к нам судить нечего, они совсем с нами разные, и мне кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы. Мы ведь скифы, приявшие глазами Андрея Рублева [2] Византию и писания Козьмы Индикоплова [3] с поверием наших бабок, что земля на трех китах стоит, а они все романцы, брат, все западники. Им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костер Стеньки Разина [4].

Тут о «нравится» говорить не приходится, а приходится натягивать свои подлинней голенища да забродить в их

пруд поглубже и мутить, мутить, до тех пор, пока они, как рыбы, не высунут свои носы и не разглядят тебя, что это — *ты*. Им все нравится подстриженное, ровное и чистое, а тут вот возьмешь им да кинешь с плеч свою вихрастую голову, и боже мой, как их легко взбаламутить.

Конечно, не будь этой игры, весь успех нашего народнического движения был бы скучен, и мы, пожалуй, легко бы сошлись с ними. Сидели бы за их столом рядом, толковали бы, жаловались на что-нибудь. А какой-нибудь эго-Мережковский приподымал бы свою многозначительную перстницу и говорил: гениальный вы человек, Сергей Александрович или Александр Васильевич, стихи ваши изумительны, а образы, какая образность, а потом бы тут же съехал на университет, посоветовал бы попасть туда и, довольный тем, что все-таки в жизни у него несколько градусов больше при университетской закваске, приподнялся бы вежливо встречу жене [5] и добавил: «Смотри, милочка, это поэт из низов...» А она бы расширила глазки, и, сузив губки, пропела: «Ах, это вы самый, удивительно, я так много слышала, садитесь». И почла бы удивляться, почла бы расспрашивать, а я бы ей, может быть, начал отвечать и говорить, что корову доят двумя пальцами, когда курица несет яйцо, ей очень трудно и т. д. и т. д.

Да, брат, сближение наше с ними невозможно. Ведь даже самый лучший из них — Белинский, говоря о Кольцове, писал «мы», «самоучка», «низший слой» и др., а эти еще дурнее [6].

Но есть, брат, среди них один человек, перед которым я не лгал, не выдумывал себя и не подкладывал, как всем другим. Это Разумник Иванов. Натура его глубокая и твердая, мыслью он прожжен, и вот у него-то я сам, сам Сергей Есенин, и отдыхаю, и вижу себя, и зажигаюсь об себя.

На остальных же просто смотреть не хочется. С ними нужно не сближаться, а обтесывать, как какую-нибудь плоскую доску, и выводить на ней узоры, какие тебе хочется, таков и Блок, таков Городецкий и все и весь их легион.

Бывают, конечно, сомнения и укоры в себе, что к чему и зачем все это, но как только взглянешь и увидишь когонибудь из них, так сейчас же оно, это самое-то, и всплывает. Люботно уж больно потешиться над ними, а особенно когда они твою блесну на лету хватают, несмотря на звон ее железный. Так вот их и выдергиваешь, как лещей или шелесперов.

Я очень и очень был недоволен твоим приездом туда, особенно твоими говореньями с Городецким. История с

Блоком мне была передана Миролюбовым с большим возмущением [7], но ты должен был ее так не оставлять и душой своей не раскошеливаться перед ними. Хватит ли у них места вместить нас? Ведь они одним хвостом подавятся, а ты все это делал.

В следующий раз мы тебя поучим наглядно, как быть с ними, а пока скажу тебе об издательствах. Аверьянов сейчас купил за $2^1/_2$ тыс. у Клюева полн. соб. (вышедшие книги) и сел на них. Дела у него плохи, и издатель он шельмоватый. «Страда» — это просто случайные сборники [8] под редакцией Ясинского, а остальные журналы почти наполовину закрыты.

Мой план: обязательно этой осенью сделать несколько вечеров, а потом я выпускаю книгу в одном издательстве [9] с платой по процентам и выпущу сборник «пятерых» [10] — тебя, меня, Ганина, Клюева и Клычкова. (О Клычкове поговорим еще, он очень и близок нам, и далек по своим воззрениям). Но все это выяснится совсем там, в сентябре. Стихи посылай в «Скифы», новый сборник, и «Заветы» [11] на имя Разумника Васильевича Иванова. Царское Село, Колпинская, 20. Это не редакция там, а его квартира. Ему посылать лучше, он тебя знает, и я ему о тебе говорил. А пока всего тебе доброго.

Твой *Сергей.*

Константиново.

31. Р. В. ИВАНОВУ-РАЗУМНИКУ

(Москва, апрель, до 13, 1918 г.)

Дорогой Разумник Васильевич!

Уж очень мне понравилась, с прибавлением не, клюевская «Песнь Солнценосца» и хвалебные оды ей с бездарной «Красной песней».

Штемпель Ваш «Первый глубинный народный поэт», который Вы приложили к Клюеву из достижений его «Песнь Солнценосца», обязывает меня не появляться в третьих «Скифах». Ибо то, что вы сочли с Андреем Белым за верх совершенства, я счел только за мышиный писк.

Это я, если не такими, то похожими словами, уже говорил Вам когда-то при Арсении Авраамове.

Клюев, за исключением «Избяных песен», которые я ценю и признаю, за последнее время сделался моим врагом. Я больше знаю его, чем Вы, и знаю, что заставило

написать его «прекраснейшему» и «белый свет Сережа, с Китоврасом схожий».

То единство, которое Вы находите в нас, только кажущееся.

«Я яровчатый стих»

и

«Приложитесь ко мне, братья»

противно моему нутру, которое хочет выплеснуться из тела и прокусить чрево небу, чтоб сдвинуть не только государя с Николая на овин, а... *

Но об этом говорить не принято, и я оставлю это для «лицезрения в печати», кажется, Андрей Белый ждет уже...

В моем посвящении Клюеву я назвал его середним братом из чисел 109, 34 и 22. Значение среднего в «Конькегорбунке», да и во всех почти русских сказках —

«Так и сяк».

Поэтому я и сказал: «Он весь в резьбе молвы»,— то есть в пересказе сказанных. Только изограф, но не открыватель.

А я «сшибаю камнем месяц» и черт с ним, с Серафимом Саровским, с которым он так носится, если, кроме себя и камня в колодце небес, он ничего не отражает.

Говорю Вам это не из ущемления «первенством» Солнценосца и моим «созвучно вторит», а из истинной обиды за Слово, которое не золотится, а проклевывается из сердца самого себя птенцом...

И «Преображение» мое, посвященное Вам, поэтому будет напечатано в другом месте.

Любящий Вас

Сергей Есенин.

32. А. БЕЛОМУ

(Москва, сентябрь — декабрь, 1918 г.)

Дорогой Борис Николаевич, какая превратность: хотел Вас очень сегодня видеть и не могу. Лежу совсем расслабленный в постели.

---

* Так в тексте.

Черкните мне (если не повезло мне в сей раз), когда Вы будете свободны еще.

Любящий Вас *С. Есенин.*

Адрес: Скатертный пер., д. 20
Лидии Ивановне Кашиной для С. Е.

33. В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

(Москва, до 17 декабря 1918 г.)

В Профессиональный Союз писателей
Сергея Александровича Есенина

Заявление

Прошу зачислить меня в Союз писателей. Имею вышедших четыре книги: «Радуница», «Голубень», «Преображение» и «Сельский часослов».

Сергей Есенин.

1-й Тверской Комиссариат.
Крестовоздвиженский, 2, кв. 18.

34. В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

(Москва, декабрь, до 20, 1918 г.)

В Союз московских писателей
Сергея Александровича Есенина

Заявление

Прошу Союз писателей выдать мне удостоверение для местных властей, которое бы оберегало меня от разного рода налогов на хозяйство и реквизиций. Хозяйство мое весьма маленькое (лошадь, две коровы, несколько мелких животных и т. д.), и всякий налог на него может выбить меня из колеи творческой работы, то есть вполне приостановить ее, ибо я, не эксплуатируя чужого труда, только этим и поддерживаю жизнь моей семьи.

Сергей Есенин.

Село Константиново Федякинской вол. Рязанской губ. и уез.

35. В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛУБ СОВЕТСКОЙ СЕКЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ-ХУДОЖНИКОВ И ПОЭТОВ

(Москва, февраль, не ранее 23,— март, не позднее 3, 1919 г.)

Признавая себя по убеждениям идейным коммунистом, примыкающим к революционному движению, представленному РКП, и активно проявляя это в моих поэмах и статьях, прошу зачислить меня в действительные члены литературно-художественного клуба Советской секции писателей-художников и поэтов.

Член секции: *Сергей Есенин.*

36. В ОТДЕЛ ПЕЧАТИ МОСКОВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ

(Москва, до 18 февраля 1920 г.)

В Отдел Печати МСР и КД
т. Ангарскому

С. А. Есенина

Заявление

Прошу выдать мне разрешение на печатание книг:
«Радуница». 4 печатных листа. 3 тыс. экз.
«Преображение». 4 печатных листа. 3 тыс. экз.
«Телец». 12 печатных листов. 5000 экз.
«Словесная орнаментика». 3 печатных листа. 3 тыс. экз.

Примечания. 1) Издание «Тельца» является необходимым для автора как первый том, где будет выяснен подсчет его силы за 5-тилетнюю литературную работу.

2) «Радуница» и «Преображение» — две книги, показывающие революционное движение крестьянства, нуждающихся в закреплении худож<ественными> обра<зами>.

3) «Словесная орнаментика» необходима как теоретическое показание развития словесных знаков, идущих на путь открытий не выявленных возможностей человека.

Бумага для книг имеется. Одновременно прошу зарегистрировать марку Изд-ва автора «Злак».

Подпись

37. А. В. ШИРЯЕВЦУ

(Москва, 26 июня 1920 г.)

Милый Шура! Извини, голубчик, что так редко тебе пишу, дела, дорогой мой, ненужные и бесполезные дела съели меня с головы до ног. Рад бы вырваться хоть к черту на кулички от них и не могу.

«Золотой грудок» твой пока еще не вышел [1] и, думаю, раньше осени не выйдет. Уж очень трудно стало у нас с книжным делом в Москве...

...Живу, дорогой,— не живу, а маюсь, только и думаешь о проклятом рубле. Пишу очень мало. С старыми товарищами не имею почти ничего, с Клюевым разошелся, Клычков уехал, а Орешин глядит как-то все исподлобья, словно съесть хочет. Сейчас он в Саратове, пишет плохие коммунистические стихи и со всеми ругается. Я очень его любил [2], часто старался его приблизить себе, но ему все казалось, что я отрезаю ему голову, так у нас ничего и не вышло, а сейчас он, вероятно, думает обо мне еще хуже.

А Клюев, дорогой мой,— бестия. Хитрый, как лисица, и все это, знаешь, так: под себя, под себя. Слава богу, что бодливой корове рога не даются. Поползновения-то он в себе таит большие, а силенки-то мало. Очень похож на свои стихи, такой же корявый, неряшливый, простой по виду, а внутри — черт...

...Ты, по рассказам, мне очень нравишься, большой, говорят, неповоротливый и с смешными думами о мнимой болезненности. Стихи твои мне нравятся тоже, только, говорят, ты правишь их по указаниям жен туркестанских инженеров. За это, брат, знаешь, *мативируют*. И какой черт ты доверяешься вообще разным с...!

Пишешь ты очень много зрящего, особенно не нравятся мне твои стихи о Востоке [3]. Разве ты настолько уж осартился или мало чувствуешь в себе притока своих родных почвенных сил?

Потом брось ты петь эту стилизационную клюевскую Русь с ее несуществующим Китежом и глупыми старухами, не такие мы, как это все выходит у тебя в стихах. Жизнь, настоящая жизнь нашей Руси куда лучше застывшего рисунка старообрядчества. Все это, брат, было, вошло в гроб, так что же нюхать эти гнилые колодовые останки? Пусть уж нюхает Клюев, ему это к лицу, потому что от него самого попахивает, а тебе нет.

Посылаю тебе «Трерядницу» [4], буду очень рад, если ты как-нибудь сообщишь о своем впечатлении.

Твой *С. Есенин.*

38. Е. И. ЛИВШИЦ

(В поезде «Кисловодск — Баку», 11—12 августа 1920 г.)

Милая, милая Женя! Ради бога не подумайте, что мне что-нибудь от Вас нужно, я сам не знаю, почему это я стал вдруг Вам учащенно напоминать о себе, конечно, разные бывают болезни, но все они проходят. Думаю, что пройдет и это.

Сегодня утром мы из Кисловодска выехали в Баку, и, глядя из окна вагона на эти кавказские пейзажи, внутри сделалось как-то тесно и неловко. Я здесь второй раз в этих местах и абсолютно не понимаю, чем поразили они тех, которые создали в нас образы Терека, Казбека, Дарьяла и все прочее. Признаться, в Рязанской губ. я Кавказом был больше богат, чем здесь. Сейчас у меня зародилась мысль о вредности путешествий для меня. Я не знаю, что было бы со мной, если б случайно мне пришлось объездить весь земной шар? Конечно, если не пистолет юнкера Шмидта [1], то, во всяком случае, что-нибудь разрушающее чувство земного диапазона. Уж до того на этой планете тесно и скучно. Конечно, есть прыжки для живого, вроде перехода от коня к поезду, но все это только ускорение или выпуклёние. По намекам это известно все гораздо раньше и богаче. Трогает меня в этом только грусть за уходящее милое родное звериное и незыблемая сила мертвого, механического.

Вот Вам наглядный случай из этого. Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно, и что же? Видим, за паровозом что есть силы скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого [2]. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка, тягательством живой силы с железной.

Простите, милая, еще раз за то, что беспокою Вас. Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал [3], а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без

славы и без мечтаний [4]. Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений. Конечно, кому откроется, тот увидит *тогда* эти покрытые уже плесенью мосты, но всегда ведь бывает жаль, что если выстроен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают.

Вы плавающая и идущая, Женя! Поэтому-то меня и тянет с словами к Вам...

Люб⟨ящий⟩ Вас *С. Есенин.*

39. Р. В. ИВАНОВУ-РАЗУМНИКУ

(Москва, 4 декабря 1920 г.)

Декабрь 4, 1920.

...Мне очень и очень хотелось бы Вас увидеть, услыхать и самому сказать о себе. Уж очень многое накопилось за эти $2^1/_2$ г., в которые мы с Вами не виделись [1]. Я очень много раз порывался писать Вам, но наше безалаберное российское житие, похожее на постоялый двор, каждый раз выбивало перо из рук. Я удивляюсь, как еще я мог написать столько стихов и поэм за это время.

Конечно, переструение внутреннее было велико. Я благодарен всему, что вытянуло мое нутро, положило в формы и дало ему язык. Но я потерял зато все то, что радовало меня раньше от моего здоровья. Я стал гнилее. Вероятно, кой-что по этому поводу Вы уже слышали.

Ну, а что с Клюевым?

Он с год тому назад прислал мне весьма хитрое письмо, думая, что мне, как и было, 18 лет, я на него ему не ответил, и с тех пор о нем ничего не слышу. Стихи его за это время на меня впечатление производили довольно неприятное. Уж очень он, Разумник Васильевич, слаб в форме и как-то расти не хочет. А то, что ему кажется формой, ни больше ни меньше как манера, и порой довольно утомительная. Но все же я хотел бы увидеть его. Мне глубоко интересно, какой ощупью вот теперь он пойдет?..

Жму Вашу руку

С. Есенин.

Если урвете минутку, то черкните, а я Вам постараюсь выслать «Сорокоуст» и «Исповедь хулигана».

40. Р. В. ИВАНОВУ-РАЗУМНИКУ

(Ташкент, май 1921 г.)

Дорогой Разумник Васильевич!

...Я очень много думал, Разумник Васильевич, за эти годы, очень много работал над собой, и то, что я говорю, у меня достаточно выстрадано. Я даже Вам в том письме не все сказал [1], по-моему, Клюев совсем стал плохой поэт, так же как и Блок. Я не хочу этим Вам сказать, что они очень малы по своему внутреннему содержанию. Как раз нет. Блок, конечно, не гениальная фигура, а Клюев как некогда пришибленный им не сумел отойти от его голландского романтизма, но все-таки они, конечно, значат много. Пусть Блок по недоразумению русский, а Клюев поет Россию по книжным летописям и ложной ее зарисовке всех приходимцев, в этом они, конечно, кое-что сделали. Сделали до некоторой степени даже оригинально. Я не люблю их главным образом как мастеров в нашем языке.

Блок — поэт бесформенный, Клюев тоже. У них нет почти никакой фигуральности нашего языка...

...Дорогой Разумник Васильевич, 500, 600 корней хозяйство очень бедное, а ответвления словесных образов дело довольно скучное, чтобы быть стихотворным мастером, их нужно знать дьявольски. Ни Блок, ни Клюев этого не знают, так же как и вся братия многочисленных поэтов.

Я очень много болел за эти годы, очень много изучал язык и к ужасу своему увидел, что ни Пушкин, ни все мы, в том числе и я, не умели писать стихов.

Ведь стихи есть определенный вид словесной формы, где при лирическом, эпическом или изобретательном выявлении себя художник делает некоторое звуковое притяжение одного слова к другому, то есть слова входят в одну и ту же произносительную орбиту или более, или менее близкую. Но такие рифмы, какими переполнено все наше творчество:

Достать — стать
Пути — идти
Голубица — скрыться
Чайница — молчальница

и т. д. и т. д.

Ведь это же дикари только могут делать такие штуки. Положим, язык наш звучащих имеет всего 29 букв, а если

разделить их на однородные типы, то и того меньше будет, но все же это не годится. Нужно, если не буквенно, то хоть по смысловому понятию, уметь отделять слова от одинаковости их значения.

Поэтическое ухо должно быть тем магнитом, которое соединяет в звуковой одноудар по звучанию слова разных образных смыслов, только тогда это и имеет значение. Но ведь «пошла — нашла», «ножка — дорожка», «снится — синится» — это не рифмы. Это грубейшая неграмотность, по которой сами же поэты не рифмуют «улетела — отлетела». Глагол с глаголом нельзя рифмовать, уже по одному тому, что все глагольные окончания есть вид одинаковости словесного действия. Но ведь и все почти существительные в языке есть глаголы. Что такое синица и откуда это слово взялось, как не от глагола синеется, голубица — голубеется и т. д.

Я не хочу этим развивать или доказывать перед Вами мою теорию поэтических напечатлений. Нет! Я единственно Вам хочу указать на то, что я на поэта, помимо его внутренних импульсов, имею особый взгляд, по которому отказался от всяких четких рифм и рифмую теперь слова только обрывочно, коряво, легкокасательно, но разносмысленно, вроде: почва — ворочается [2], куда — дал [3] и т. д. Так написан был отчасти «Октоих» и полностью «Кобыльи корабли».

Вот с этой, единственно только с этой точки зрения я писал Вам о Блоке и Клюеве во втором своем письме. Я, Разумник Васильевич, не особенный любитель в поэзии типов, которые нужны только беллетристам. Поэту нужно всегда раздвигать зрение над словом. Ведь если мы пишем на русском языке, то мы должны знать, что до наших образов двойного зрения:

«Головы моей желтый лист» [4],
«Солнце мерзнет, как лужа» [5] —

были образы двойного чувствования:

«Мария зажги снега» и «заиграй овражки»
«Авдотья подмочи порог» [6].

Это образы календарного стиля, которые создал наш великоросс из той двойной жизни, когда он переживал свои дни двояко, церковно и бытом.

Мария — это церковный день святой Марии, а «зажги снега» и «заиграй овражки» — бытовой день, день таянья снега, когда журчат ручьи в овраге. Но это понимают только немногие в России...

41. Р. В. ИВАНОВУ-РАЗУМНИКУ

(Москва, 6 марта 1922 г.)

1922, 6 март.
Москва.

Дорогой Разумник Васильевич!

...Журналу Вашему или сборнику обрадовался тоже чрезвычайно. Давно пора начать — уж очень мы все рассыпались, хочется опять немного потесней «в семью едину», потому, что мне, например, до чертиков надоело вертеться с моей пустозвонной братией, а Клюев засыхает совершенно в своей Баобабии. Письма мне он пишет отчаянные. Положение его там ужасно, он почти умирает с голоду.

Я встормошил здесь всю публику, сделал для него что мог с пайком и послал 10 миллионов руб. Кроме этого, послал еще 2 миллиона Клычков и 10 — Луначарский. Не знаю, какой леший заставляет его сидеть там? Или «ризы души своей» боится замарать нашей житейской грязью? Но тогда ведь и нечего выть, отдай тогда тело собакам, а душа пусть уходит к богу.

Чужда и смешна мне, Разумник Васильевич, сия мистика дешевого православия, и всегда-то она требует каких-то обязательно неумных и жестоких подвигов. Сей вытегорский подвижник хочет все быть календарным святителем вместо поэта, поэтому-то у него так плохо все и выходит.

«Рим» его, несмотря на то, что Вы так тепло о нем отозвались, на меня отчаянное впечатление произвел. Безвкусно и безграмотно до последней степени со стороны формы. «Молитв молоко» и «сыр влюбленности» — да ведь это же его любимые Мариенгоф и Шершеневич со своими «бутербродами любви». Интересно только одно фигуральное сопоставление, но увы,— как это по-клюевски старо!.. Ну, да это ведь попрек для него очень небольшой, как Клюева. Сам знаю, в чем его сила и в чем правда. Только бы вот выбить из него эту оптинскую дурь, как из Белого — Штейнера, тогда, я уверен, он записал бы еще лучше, чем «Избяные песни». Еще раз говорю, что журналу Вашему рад несказанно. Очень уж опротивела эта беспозвоночная тварь со своим нахальным косноязычием. Дошли до того, что Ходасевич стал первоклассным поэтом... Дальше уж идти некуда. Сам Белый его заметил и, в Германию отъезжая, благословил. Нужно обязательно про-

ветрить воздух. До того накурено у нас сейчас в литературе, что просто дышать нечем.

В Москве себя я чувствую отвратительно. Безлюдье полное...

С тоски перечитывал «Серебряного голубя». Боже, до чего все-таки изумительная вещь. Ну разве все эти Ремизовы, Замятины и Толстые (Алекс.) создали что-нибудь подобное? Да им нужно подметки целовать Белому. Все они подмастерья перед ним. А какой язык, какие лирические отступления! Умереть можно. Вот только и есть одна радость после Гоголя.

Живу я как-то по-бивуачному, без приюта и без пристанища, потому что домой стали ходить и беспокоить разные бездельники, вплоть до Рукавишникова. Им, видите ли, приятно выпить со мной! Я не знаю даже, как и отделаться от такого головотяпства, а прожигать себя стало совестно и жалко.

Хочется опять заработать, ибо внутри назрела снова большая вещь...

Жму Вашу руку.

С. Есенин.

42. А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

(Москва, 17 марта 1922 г.)

Наркому по просвещению
Анатолию Васильевичу Луначарскому

Заявление

Прошу Вашего ходатайства перед Наркоминотделом о выдаче мне заграничного паспорта для поездки на трехмесячный срок в Берлин по делу издания книг, своих и примыкающей ко мне группы поэтов, предлагая свои услуги по выполнению могущих быть на меня возложенных поручений Народного комиссариата по просвещению.

В случае Вашего согласия прошу снабдить меня соответствующими документами.

Сергей Есенин.

1922, март 17.

43. Н. А. КЛЮЕВУ

(Москва, 5 мая 1922 г.)

Милый друг!

Все, что было возможно, я устроил тебе и с деньгами, и с посылкой от «Ара». На днях вышлю еще 5 миллионов.

Недели через две я еду в Берлин, вернусь в июне или в июле, а может быть, и позднее. Оттуда постараюсь также переслать тебе то, что причитается со «Скифов». Разговоры об условиях беру на себя и если возьму у них твою книгу, то не обижайся, ибо устрою ее куда выгодней их оплаты.

Письмо мое к тебе чисто деловое, без всяких лирических излияний, а потому прости, что пишу так мало и скупо...

В Москву я тебе до осени ехать не советую, ибо здесь пока все в периоде организации и пусто — хоть шаром покати. Голод в центральных губерниях почти такой же, как и на севере. Семья моя разбрелась в таких условиях кто куда.

Перед отъездом я устрою тебе еще посылку. Может, как-нибудь и провертишься. Уж очень ты стал действительно каким-то ребенком — если этой паршивой спекулянтской «Эпохе» за грош свой «Рим» продал. Раньше за тобой этого не водилось.

Вещь мне не понравилась. Неуклюже и слащаво.

Ну, да ведь у каждого свой путь.

От многих других стихов я в восторге...

С. Есенин.

44. О. М. БЕСКИНУ

(Москва, 1 сентября 1924 г.)

Дорогой т. Бескин!

Я посылал письмо Белицкому и просил прислать мне денег из причитающейся мне суммы в 284 рубля, о которой мы условились с ним устно.

Книгу, по-моему, так выпускать не годится. Уж очень получается какая-то фронтовая брошюра. Посылаю для присоединения к ней балладу «26». О ней мы с Ионовым

говорили уже. Потом лучше бы всего было соединить и последние мои стихи вместе с этой книгой. Это будет значительно и весче, чем в таком виде.

С дружеским к Вам приветом

С. Есенин.

1.9.24.

45. Г. А. БЕНИСЛАВСКОЙ

(Тифлис, 17 октября 1924 г.)

Милая Галя! Привет Вам и Екатерине.

Сижу в Тифлисе. Дожидаюсь денег из Баку...

С книгами делайте что хотите. Доверенность прилагаю. Высылаю стихи. «Песнь о великом походе» [1] исправлена. Дайте Анне Абрамовне [2] и перешлите Эрлиху для Госиздата. Там пусть издадут «36» и ее вместе [3].

Отпишите мне на Баку, что делается в Москве. Спросите Казина [4], какие литературные новости. Приеду сам не знаю когда, вероятно, к морозам и снегу.

Напечатайте «36» в «Молодой гвардии» [5] и получите деньги.

Мне важно, чтоб Вы собрали и подготовили к изданию мой том так, как я говорил с Анной Абрамовной [6], лирику отдельно и поэмы отдельно. Первым в поэмах «Пугачев», потом «36», потом «Страна негодяев» и под конец «Песнь». Мелкие же поэмы идут впереди всего...

Целую и жму руки.

Сергей Есенин.

17/X.24.

Пишите, пишите.

46. Г. А. БЕНИСЛАВСКОЙ

(Тифлис, 29 октября 1924 г.)

Милая Галя! Я остаюсь пока на Кавказе, и останусь, вероятно, до мая.

Делать в Москве мне нечего. Все, что напишу, буду присылать Вам.

Посылаю Вам 2 стихотворения из «Персидских мотивов». После пришлю еще.

Издайте «Рябиновый костер» так, как там расставлено[1]. «Русь советскую» в конце исправьте. Вычеркните слово «даже», просто сделайте «но и тогда...» Потом — не «названьем», а «с названьем». Если Анна Абрамовна не бросила мысли о Собрании, то издайте по берлинскому тому[2] с включением «Москвы кабацкой» по порядку и «Рябинового костра». «Возвращение на родину» и «Русь советскую» поставьте после «Исповеди хулигана». «Москва кабацкая» полностью, как есть у Вас, с стихотворением «Грубым дается радость». «Персидские мотивы» не включайте.

Разделите все на три отдела: лирика, маленькие поэмы и большие: «Пугачев», «36», «Страна», «Песнь о походе». После «Инонии» вставьте «Иорданскую голубицу».

Вот и все.

Этого Собрания я желаю до нервных вздрагиваний. Вдруг помрешь — сделают все не так, как надо...

С. Есенин.

29/X.24.

47. Г. А. БЕНИСЛАВСКОЙ

(Тифлис, конец ноября 1924 г).

Милая Галя!

Привет Вам и все прочее. Посылаю «Русь уходящую». Покажите Воронскому. Вставьте в книгу под конец, как я вам разместил, и продайте под названием «После скандалов». «Рябиновый костер»[1] я как название продаю здесь в Тифлисе, «36» давайте куда хотите. Привет сестрам. Крепко жму Ваши руки.

С. Е.

Напишите мне подробно, что делается в Москве. Как Воронский, Казин, Анна Абрамовна и др. Я не приеду до тех пор, пока не кончу большую вещь[2]. Как нравится «Русь уходящая»? Вещь, я над которой работаю, мне нравится самому. Отрывки пришлю из Баку. Пишите в Баку. Я там буду дней через 5 после этого письма и пробуду недели две.

С. Е.

48. П. И. ЧАГИНУ

(Батум, 14 декабря 1924 г.)

14/XII.24.

Дорогой Петр Иванович!

Прости, голубчик, что не писал и не присылал стихов. Не скажу, чтоб было некогда, а просто заело безалаберное житие... Теперь сижу в Батуме. Работаю и скоро пришлю Вам поэму [1], по-моему, лучше всего, что я написал. Сейчас же посылаю «Цветы». Теперь же разговор вот какой: книжку я хочу назвать «Рябиновый костер» [2] и смешать поэмы с лирикой последнего периода.

Если б Муран был добр, то пусть он вырежет все стихи, которые печатались в «Бакинском рабочем», и пришлет мне. Я все это приведу в порядок и вышлю их тебе с полным описанием расположения книги...

Лившиц надо мной улыбается. Давай, говорит, Сергей, за Маркса тихо сядем... [3]

С. Есенин.

49. Г. А. БЕНИСЛАВСКОЙ

(Батум, 20 декабря 1924 г.)

Галя, голубушка! Спасибо за письмо, оно очень меня обрадовало. Немного и огорчило тем, что Вы сообщили о Воронском... [1]

...Только одно во мне сейчас живет. Я чувствую себя просветленным, не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое поэзия.

Не говорите мне необдуманных слов, что я перестал отделывать стихи. Вовсе нет. Наоборот, я сейчас к форме стал еще более требователен. Только я пришел к простоте и спокойно говорю: «К чему же? Ведь и так мы голы. Отныне в рифмы буду брать глаголы» [2]. Путь мой, конечно, сейчас очень извилист. Но это прорыв. Вспомните, Галя, ведь я почти 2 года ничего не писал, когда был за границей. Как Вам нравится «Письмо к женщине»? У меня есть вещи еще лучше. Мне скучно здесь. Без Вас, без Шуры и Кати, без друзей. Идет дождь тропический, стучит по стеклам. Я один. Вот и пишу, и пишу...

Галя милая, «Персидские мотивы» это у меня целая

книга в 20 стихотворений[3]. Посылаю вам еще 2. Отдайте все 4 в журнал «Звезда Востока»...

Я скоро завалю Вас материалом. Так много и легко пишется в жизни очень редко.

Это просто потому, что я один и сосредоточен в себе. Говорят, я очень похорошел. Вероятно, оттого, что я что-то увидел и успокоился...

Весной, когда приеду, я уже не буду никого подпускать к себе близко. Боже мой, какой я был дурак. Я только теперь очухался. Все это было прощание с молодостью. Теперь будет не так...

С. Е.

50. П. И. ЧАГИНУ

(Батум, 21 декабря 1924 г.)

Дорогой Петр Иванович! Спасибо за телеграмму. Хотя я денег и не получил, но мне дорого внимание друга.

Стихи посылаю вторично[1]. «Цветы», как хочешь, печатай или не печатай[2]. Это философская вещь. Ее нужно читать так: выпить немного, подумать о звездах, о том, что ты такое в пространстве и т. д., тогда она будет понятна.

Стихи о Персии я давно посвятил тебе[3]. Только до книги я буду ставить или «П. Ч.» или вовсе ничего. Все это полностью будет в книге. Она выйдет отдельно. 20 стихотворений. Скоро, быть может, приеду. Не забывай гонораром.

Твой любящий тебя

С. Есенин.

51. Г. А. БЕНИСЛАВСКОЙ

(Батум, 20 января 1925 г.)

...Скажите Вардину, может ли он купить у меня поэму 1000 строк. Лиро-эпическая. Очень хорошая. Мне 1000 р. нужно будет на предмет поездки в Персию или Константинополь. Вы же можете продать ее как книгу и получить еще 1000 р. для своих нужд, вас окружающих...

Пишу еще поэму и пьесу. На днях пришлю Вам две

новых книги. Одна вышла в Баку, другая в Тифлисе. Хорошо жить в Советской России. Разъезжаю себе, как Чичиков, и не покупаю, а продаю мертвые души. Пришлите мне все, что вышло из новых книг, а то читать нечего. Ну пока. Жму руки. Приветы. Приветы.

С. Есенин.

20/I.25, Батум.

52. Т. Ю. ТАБИДЗЕ

(Москва, 20 марта 1925 г.)

Милый друг Тициан! Вот я и в Москве. Обрадован страшно, что вижу своих друзей, и вспоминаю и рассказываю им о Тифлисе...

Грузия меня очаровала. Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и Питере — тут же качу обратно к Вам, увидеть и обнять Вас. В эту весну в Тифлисе, вероятно, будет целый съезд москвичей. Собирается Качалов, Пильняк, Толстая и Вс. Иванов. Бабель приедет раньше. Уложите его в доску. Парень он очень хороший и стоит гостеприимства. Спроси Паоло, какое нужно мне купить ружье по кабанам. Пусть напишет №.

Передай привет всем моим добрым друзьям — Паоло, Леонидзе и Гаприндашвили. Поцелуй руку твоей жене и дочке, и, если не трудно, черкни пару слов.

Брюсовский, д. 2, корпус «Правды» А, кв. 27, С. Есенину.
20/III.25.

53. Н. Н. НАКОРЯКОВУ

(Москва, 27 марта 1925 г.)

Тов. Накоряков!

Я уезжаю на Кавказ, возможно, надолго. Дело с альманахом «Поляне» [1] представляю себе так: сейчас набирается материал, но первый ударный № издается в начале сентября. За это время набирается попутно материал и для 2-го номера. Полагаю, что в этом году больше двух №№ издать не удастся [2].

Необходимым же условием начала работы считаю немедленную оплату принятого и процензуренного материала. Быть может, было бы лучше на редакцию сразу пере-

вести тысячи две рублей. Кроме того, для ведения редакционных дел альманаха необходимо закрепить одного человека с соответствующей оплатой по должности заведующего редакцией и секретаря альманаха.

На эту работу редакционной коллегией представляется тов. Наседкин, с которым я буду поддерживать связь с Кавказа.

Редколлегия окончательно сконструирована в таком виде: Вс. Иванов. Пав. Радимов и я. Список ближайших сотрудников будет представлен Вс. Ивановым или Наседкиным.

Уезжая, надеюсь, что Вы окажете всемерное содействие [3] несомненно большому и культурному делу.

С приветом

С. Есенин.

27/III.25.

54. В. И. КАЧАЛОВУ

(Баку, 15 мая 1925 г.)

15 мая 1925 г.
Качалову

Дорогой Василий Иванович!

Я здесь. Здесь и напечатал, кроме «Красной нови», стихотворение «Джиму».

В воскресенье выйду из больницы (болен легкими). Очень хотелось бы увидеть Вас за 57-летним армянским. А?

Жму Ваши руки.

С. Есенин.

55. В ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЕЛ ГОСИЗДАТА

(Москва, 17 июня 1925 г.)

В Литературный отдел Госиздата

Сергея Есенина

Предлагаю литературному отделу издать собрание моих стихотворений в количестве 10 000 строк, по рублю за строку, с единовременной выдачей в 2000 рублей и остальные с ежемесячной выдачей по 1000 руб., начиная

с 1 августа 1925 г. по 1 апреля 1926 г., сроком издания на 2 года, тиражом не более 10 000 т. Мое Собрание стихотворений и поэм никогда не издавалось.

Сергей Есенин.

17/VI.25.

56. А. М. ГОРЬКОМУ

(Москва, 3 июля 1925 г.)

Дорогой Алексей Максимович!

Помню Вас с последнего раза в Берлине [1]. Думал о Вас часто и много.

В словах, и особенно письменных, можно сказать лишь очень малое. Письма не искусство и не творчество.

Я все читал, что Вы присылали Воронскому [2].

Скажу Вам только одно, что вся Советская Россия всегда думает о Вас, где Вы и как Ваше здоровье. Оно нам очень дорого.

Посылаю Вам все стихи, которые написал за последнее время.

И шлю привет от своей жены, которую Вы знали еще девочкой по Ясной Поляне.

Желаю Вам много здоровья, сообщаю, что все мы следим и чутко прислушиваемся к каждому Вашему слову.

Любящий Вас

Сергей Есенин.

19.3/VII.25. Москва.

57. Я. Е. ЦЕЙТЛИНУ

(Москва, 13 декабря 1925 г.)

Дорогой товарищ Цейтлин. Спасибо Вам за письмо. Жаль только то, что оно застало меня очень поздно. Я получил его только вчера, 12/XII.25 г. По-видимому, оно провалялось у кого-нибудь в кармане из прожекторцев [1], ибо поношено и вскрыто. Я очень рад и счастлив тем, что мои стихи находят отклик среди николаевцев. Книги я постараюсь Вам прислать, как только выйду из санатория, в котором поправляю свое расшатанное здоровье.

Из стихов мне Ваших понравилась вещь о голубятне и паре голубей [2]. Вот если б только поправили перебойную

строку и неряшливую «Ты мне будешь помощником... хошь» [3], я бы мог его отдать в тот же «Прожектор».

Дарование у Вас безусловное, теплое и подкупающее простотой, только не упускайте чувств, но и строго следите за расстановкой слов.

Не берите и не пользуйте избитых выражений. Их можно брать исключительно после большой школы, тогда в умелой рамке, в руках умелого мастера они выглядят по-другому.

Избегайте шатких, зыблемых слов и больше всего следите за правильностью ударений. Это очень нехорошо, что Вы пишете были́, вместо бы́ли.

Желаю Вам успеха как в стихах, так и в жизни и с удовольствием отвечу Вам, если сочтете это нужным себе. Жму Вашу руку.

Сергей Есенин.

Москва.
Остоженка, Померанцев пер., д. 3, кв. 8.

КОММЕНТАРИИ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

За последние десятилетия все полнее, масштабнее открывается богатейшее литературное наследие великого русского советского поэта Сергея Есенина. Становится все более очевидным, что Есенин как художник слова неповторимо самобытен не только в своих стихах и поэмах, но и в своей прозе, литературно-критических статьях и выступлениях, эпистолярном наследии. Наглядное тому подтверждение — выходящие одно за другим Собрания сочинений Сергея Есенина, включая последнее — шеститомное.

В настоящем издании, выходящем в серии «Школьной библиотеки», впервые в одном томе избранных произведений Есенин представлен как поэт и прозаик. Первый поэтический раздел книги включает в хронологической последовательности лучшие стихотворения Есенина, затем «Маленькие поэмы» и, наконец, его поэмы — «Пугачев», «Страна негодяев», «Ленин» (отрывок из поэмы «Гуляй-поле»), «Песнь о великом походе», «Анна Снегина». Второй прозаический — «Повести, рассказы, очерки», «Из автобиографической прозы», «Из критической прозы», «Из эпистолярной прозы». При отборе произведений Есенина, включенных в настоящее издание, учитывался характер и подготовленность аудитории, к которой оно обращено. Примечания содержат конкретный историко-литературный и реальный комментарий. Учитывая, что важнейшие сведения о жизни и творчестве поэта, кроме стихов, содержат его автобиографии, критические статьи и письма, публикуемые в настоящем издании и комментарии к ним, главное внимание во вступительной статье обращено на связь поэзии Есенина с современностью и ее мировое значение.

В КОММЕНТАРИЯХ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ:

Воспоминания — сб. «Воспоминания о Сергее Есенине», под ред. Ю. Л. Прокушева. М., «Московский рабочий», 1975.

Комментарии ГЛМ — комментарии С. А. Толстой-Есениной,

хранящиеся в Отделе рукописей Государственного литературного музея (Москва).

Собр. соч.— С. А. Есенин. Собр. соч. в 6-ти томах. М., «Художественная литература», 1977—1980.

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

СТИХОТВОРЕНИЯ

«Вот уж вечер. Роса...» — (стр. 18). Одно из первых юношеских стихотворений поэта. «По словам Есенина,— свидетельствует С. А. Толстая-Есенина, жена поэта,— это его первые стихи. Считая их слабыми, он не хотел включать их в Собрание. Согласился напечатать стихи только благодаря просьбе своих близких. Текст был продиктован им. Дата поставлена по его указанию» *(Комментарии ГЛМ)*.

«Выткался на озере алый свет зари...» (стр. 19).— Об отношении поэта к этому стихотворению рассказывает один из юношеских друзей Есенина Н. А. Сардановский: «Сам он (Есенин.— *Ю. П.*) все время был под впечатлением этого стихотворения и читал его мне вслух бесконечное число раз. Вскоре же он набрался смелости и поехал со своими стихами к профессору Сакулину. Отзыв критика был, по-видимому, очень лестным для Сергея. Из передаваемых им подробностей этого визита я помню, что стихотворение «Выткался на озере...» Сергей для Сакулина читал два раза».

Фата — женское покрывало.

«Матушка в Купальницу по лесу ходила...» (стр. 20).

Купальница — ночь накануне народного праздника Ивана Купалы, который по старому стилю отмечается 24 июня.

Не дознамо печени судорга схватила...— не от печени судорога схватила.

Купыри — луговая трава.

Сутемень — вечерние сумерки.

Травы ворожбиные...— по народному поверью, целебная сила трав бывает наибольшей в ночь на Ивана Купала.

Поэт («Тот поэт, врагов кто губит...») (стр. 20).— Посвящено Грише Панфилову. О нем см. с. 545 наст. изд.

«Поэт» не просто экспромт, написанный в момент расставания со школьным товарищем. Есенин обращается к теме поэта и поэзии в другом, еще более раннем стихотворении, относящемся к 1910—1911 гг., и тоже озаглавленном «Поэт» («Он бледен. Мыслит страшный путь...»), а вслед за этим стихотворением — «Пребывание в школе» («Душно мне в этих холодных стенах...») и «Душою юного поэта...».

Б е р е з а (стр. 21).— Стихотворение было напечатано в первом номере детского журнала «Мирок» за 1914 г. (подробнее об этом см. с. 532 наст. изд.).

В х а т е (стр. 23).— «В хате» — одно из стихотворений, которое Есенин, по свидетельству современников, читал часто в литературной среде Петрограда и Москвы в 1915—1916 гг. Писатель И. Н. Розанов, присутствовавший на первом публичном выступлении Есенина в Москве 21 января 1916 г. в «Обществе свободной эстетики», вспоминал: «Он... начал с эпического. Читал о Евпатии Рязанском... Потом... перешел к мелким стихам о деревне... Тут были стихотворения, понравившиеся мне целиком, например, «Корова», где уже сказалась столь характерная для позднейшего Есенина нежность к животным.... Еще более произвело на меня впечатление «В хате» («Пахнет рыхлыми драченами...»). ...Ночью, уже ложась спать, я все восхищался этой «пугливой шумотой» и жалел, что не могу припомнить всего стихотворения» (*Воспоминания*, 287—288).

Драчены — блины, сдобренные яйцами, молоком и маслом.

Дежка — кадка.

Печурка — углубление в боковой части русской печи.

«П о с е л у т р о п и н к о й к р и в е н ь к о й...» (стр. 24).

Ливенка — гармошка.

«Г о й т ы, Р у с ь, м о я р о д н а я...» (стр. 25).

Корогод — хоровод.

Лехи — полевые полосы.

«Я п а с т у х, м о и п а л а т ы...» (стр. 25).

Сутёмы — сумерки.

Кивливом — от слова «кивать».

«К р а й т ы м о й з а б р о ш е н н ы й...» (стр. 26).

Прутник — кустарник.

«З а г л у ш и л а з а с у х а з а с е в к и...» (стр. 27).— Это стихотворение было напечатано в редактировавшемся М. Горьким журнале «Летопись». (Об отношении Есенина к М. Горькому см. с. 565 наст. изд.)

«Ч е р н а я, п ó т о м п р о п а х ш а я в ы г ь!..» (стр. 27).

Выть — участок пахотной земли, которым в Рязанской губернии наделялось определенное количество душ или дворов.

Веретье — широкое полотно из брезента или сурового домотканого холста.

Кукан — островок, появляющийся во время спада разлива в реке.

«С т о р о н а л ь м о я, с т о р о н к а...» (стр. 29).

Посолонка — тощая земля.

Забольная — надоедливая.

Г о р о д (стр. 30).— Л. В. Берман, бывший сотрудник журнала «Голос жизни», где Есенин, приехав в Петроград весной 1915 г.,

публиковал свои стихи, рассказывает об истории возникновения у поэта стихотворения «Город»: «Как-то я предложил ему: «Вот ты пишешь все о деревне и о деревне. Попробуй написать о городе. Ведь ты видишь город совсем иначе, чем городские поэты». И вот Есенин принес свое стихотворение «Город». Когда я его прочитал, то понял, что я ему в советчики не гожусь. Но понял я также, что Есенин поэт не только одаренный, а и очень самобытный». (Подробнее об этом см.: К о н о п а ц к а я Т. Неизвестные стихи Сергея Есенина.— Журн. «Звезда». Л., 1975, апрель, № 4.)

Остается заметить, что критика в разные годы дружно писала о «неприятии» поэтом «уходящей, патриархальной Руси» жизни города. При этом, как правило, упускалось из виду главное: неприятие какого города?

Поэт бескомпромиссно-отрицательно воспринимает действительность старого буржуазного города, капиталистического города, включая Берлин, Париж и особенно — Нью-Йорк. Вспомним его зарубежный очерк, написанный после поездки в Западную Европу и Америку, «Железный Миргород».

Вместе с тем, Есенин создает знаменитую «Песнь о великом походе», в которой прославляет рабочий революционный «Питерград» и его доблестных защитников.

В стихах, написанных в 1924—1925 гг., в таких как «Стансы», «Прощай, Баку!..», «Неуютная, жидкая лунность...» и ряде других, возникает образ новой социалистической действительности, отчетливо видится новое отношение поэта Руси крестьянской к теме города.

«Т е б е о д н о й п л е т у в е н о к...» (стр. 31).

Куга — болотная трава.

Смирна — благовонная смола.

Ливан — ладан.

Д е д (стр. 31).

Жамковая — мятая, давленая.

«В т о м к р а ю, г д е ж е л т а я к р а п и в а...» (стр. 32).

Свей — здесь: пыльная рябь дороги.

Т а б у н (стр. 33).

Вихрастый гамаюн — сказочная птица-вещунья с человеческим лицом, воспетая в древнерусских сказаниях.

П е с н ь о с о б а к е (стр. 34).— О чтении Есениным этого стихотворения в Берлине в 1922 г. рассказывает М. Горький (см.: Г о р ь к и й М. Полн. собр. соч., т. 20. М., Наука, 1974, с. 67—68).

О с е н ь (стр. 35).

Иванов Разумник Васильевич — о нем см. с. 543 наст. изд.

«З а р е к о й г о р я т о г н и...» (стр. 38).

Купало — см. коммент. на с. 508 наст. изд.

Летошней — прошедшей.

Л и с и ц а (стр. 40).

Ремизов Алексей Михайлович — о нем см. с. 557 наст. изд.

Желна — черный дятел.

Ошур — оскал зубов.

«**П р о п л я с а л, п р о п л а к а л д о ж д ь в е с е н н и й...**» (стр. 47).

Понтий Пилат — римский наместник в древней Иудее. Согласно библейской легенде, при его правлении свершилась казнь-распятие Христа.

Или, Или, лама савахфани...— слова, как гласит библейская легенда, произнесенные Христом перед смертью: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» (д р е в н е е в р.).

«**О Р у с ь, в з м а х н и к р ы л а м и...**» (стр. 49).

Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) — поэт. Стихотворение «О Русь, взмахни крылами...» Есенин читал на открытии памятника А. Кольцову 3 ноября 1918 г. И. Белоусов вспоминает: «При открытии памятника Кольцову Есенин — тогда молодой еще, задорный — говорил свое стихотворение, стоя у подножия памятника. Как сейчас, слышу его голос, вижу его фигуру с поднятой головой с кудрявыми белокурыми волосами. Он бросал в толпу новые, смелые слова» (Литературная среда. Воспоминания, 1880—1920. М., 1928, с. 265—266). Подробнее об отношении Есенина к Кольцову см. с. 558 наст. изд.

Клюев Николай Алексеевич — о нем и о взаимоотношениях Есенина и Клюева см. с. 554 наст. изд. Стихотворение «О Русь, взмахни крылами...» явилось своего рода ответом на клюевское стихотворение «Елушка-сестрица...», посвященное Есенину. В нем в завуалированной форме Н. Клюев сравнивал Есенина с Борисом Годуновым, а себя — с невинной жертвой Годунова царевичем Димитрием. Есенин понял скрытую мысль «Елушки-сестрицы...», о чем свидетельствует его письмо к Иванову-Разумнику от апреля 1918 года. «Клюев,— отмечает Есенин в этом письме,— за исключением «Избяных песен», которые я ценю и признаю, за последнее время сделался моим врагом. Я больше знаю его, чем Вы, и знаю, что заставило написать его «прекраснейшему» и «Белый свет Сережа, с Китоврасом схожий». То единство, которое Вы находите в нас, только кажущееся...» (Подробнее о взаимоотношениях Есенина и Клюева см.: Б а з а н о в В. Г. Сергей Есенин и крестьянская Россия. Л., 1982.)

Чапыгин Алексей Павлович (1870—1937) — известный советский писатель, автор исторических романов о крестьянском движении в России — «Разин Степан» и «Гулящие люди». С Чапыгиным Есенин познакомился в 1915 г.

«**Р а з б у д и м е н я з а в т р а р а н о...**» (стр. 51) — С. А. Толстая-Есенина свидетельствует, что, «по словам Есенина,

это стихотворение явилось первым его откликом на Февральскую революцию» *(Комментарии ГЛМ)*.

«Небо ли такое белое...» (стр. 51).

Умба — пристань на побережье Белого моря.

«О муза, друг мой гибкий...» (стр. 54).

Разумниковский лик — имеется в виду писатель Р. В. Иванов-Разумник. О нем см. с. 543 наст. изд.

«Зеленая прическа...» (стр. 55). — Написано в Константинове. *Л. И. Кашина* — дочь константиновского помещика, прообраз героини поэмы «Анна Снегина».

«О пашни, пашни, пашни...» (стр. 56).

Исайя — один из библейских пророков.

Кантата (стр. 57).— Текст «Кантаты» состоял из трех частей, первая иэ которых принадлежит М. И. Герасимову, вторая — Есенину, а третья — С. А. Клычкову. Написана к торжественному открытию мемориальной доски на Кремлевской стене в память героев революции. Доска, выполненная скульптором С. Т. Коненковым, была открыта в дни Октябрьских торжеств 1918 года.

«По-осеннему кычет сова...» (стр. 61).— Об истории создания этого стихотворения см.: *Воспоминания*, 252.

«Я последний поэт деревни...» (стр. 62).

Мариенгоф А. Б. (1897—1962) — поэт, с которым был близок Есенин в период своего увлечения имажинизмом. Отношения его с Есениным претерпели значительную эволюцию от дружбы (1919—1921 гг.) до резкого разрыва в 1924 г.

С. А. Толстая-Есенина пишет: «Есенин рассказывал, что это стихотворение было написано под влиянием одного из лирических отступлений в «Мертвых душах». Иногда полушутя прибавлял: «Вот меня хвалят за эти стихи, а не знают, что это не я, а Гоголь». Несомненно, что место в «Мертвых душах», о котором говорил Есенин,— это вступление к шестой главе, которое заканчивается словами: «...что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О, моя юность! О, моя свежесть!» *(Комментарии ГЛМ)*.

«Заметался пожар голубой...» (стр. 68).— Этим стихотворением открывался цикл «Любовь хулигана», созданный Есениным во второй половине 1923 г. Он был посвящен актрисе Камерного театра А. Л. Миклашевской. Поэт познакомился с ней в августе 1923 г. Стихотворения «Пускай ты выпита другим...», «Дорогая, сядем рядом...», «Мне грустно на тебя смотреть...» и «Вечер черные брови насопил...» также входили в этот цикл.

«Мы теперь уходим понемногу...» (стр. 77).— Стихотворение написано на смерть поэта А. В. Ширяевца в мае 1924 г. Подробнее о дружбе двух поэтов см. с. 553 наст изд.

П у ш к и н у (стр. 78).— Написано в связи с 125-летием со дня рождения Пушкина. Есенин читал стихотворение у памятника Пушкину в Москве, на Тверском бульваре. «Это было 6 июня... в памятный для литературной Москвы пушкинский день,— вспоминал И. Н. Розанов.— У памятника великому поэту речей не произносилось... Слово было предоставлено поэтам для произнесения стихов. Первым на ступенях пьедестала, возле только что возложенного венка... появилась фигура Есенина. Он был без шляпы. Льняные кудри резко выделяли его из окружающих. Сильно раскачивая руками, выкрикивая строчки, он прочел свое обращение «К Пушкину». Впервые прозвучало стихотворение, известное теперь всем и каждому».

«И з д а т е л ь с л а в н ы й! В э т о й к н и г е...» (стр. 79).— Стихотворение адресовано И. И. Ионову, в те годы — директору Ленинградского отделения ГИЗа.

«О т г о в о р и л а р о щ а з о л о т а я...» (стр. 80).— А. А. Есенина рассказывает об истории написания этого стихотворения во время приезда в Константиново: «Работал Сергей очень много. Я помню, как часами, почти не разгибаясь, сидел он за столом у раскрытого окна нашей маленькой хибарки... Здесь же им было написано стихотворение «Отговорила роща золотая...». В работе над этим стихотворением у него была замечательная помощница — наша рязанская природа с пролетающими в поле косяками журавлей, с костром рябины красной, стоявшей перед нашим боковым окном» (*Воспоминания*, 78—79).

П а м я т и Б р ю с о в а (стр. 82).— Стихотворение написано в связи со смертью В. Я. Брюсова. Тогда же Есениным была написана статья «В. Я. Брюсов». См. с. 461 наст. изд.

П е р с и д с к и е м о т и в ы

Написаны Есениным во время трех поездок в Грузию и Азербайджан, с осени 1924-го по август 1925 г. Хотя цикл и назван «Персидскими мотивами», навеян он именно этими поездками, а не Персией, где Есенин никогда не был. Близкий друг Есенина П. И. Чагин рассказывает: «...Поехали на дачу в Мардакьянах, под Баку, где Есенин в присутствии Сергея Мироновича Кирова неповторимо задушевно читал новые стихи из цикла «Персидские мотивы». Киров, человек большого эстетического вкуса, в дореволюционном прошлом блестящий литератор и незаурядный литературный критик, обратился ко мне после есенинского чтения с укоризной: «Почему ты до сих пор не создал Есенину иллюзию Персии в Баку? Смотри, как написал, как будто был в Персии. В Персию мы не пустили его, учитывая опасности, которые его могут подстеречь, и боясь за его жизнь. Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай. Чего не хватит — довообразит. Он же поэт, да какой!» Летом 1925 года Есенин приехал ко мне на дачу. Это, как

он сам признавал, была доподлинная иллюзия Персии: огромный сад, фонтаны и всяческие восточные затеи. Ни дать ни взять Персия» *(Воспоминания*, 405—406).

«Ш а г а н э т ы м о я, Ш а г а н э!..» (стр. 85).

Шаганэ — Шаганэ Нерсесовна Тальян, в те годы преподавательница литературы. Есенин познакомился с ней во время своего пребывания в Батуми зимой 1924/25 г.

Шираз — город на юге Ирана. В письме к Г. Бениславской от 8 апреля 1925 г. Есенин писал: «Я хочу поехать даже в Шираз и, думаю, поеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персидские лирики. И недаром мусульмане говорят: если он не поет, значит, он не из Шушу, если он не пишет, значит, он не из Шираза».

«Т ы с к а з а л а, ч т о С а а д и...» (стр. 86).

Саади (начало XIII в.— 1292) — классик персидско-таджикской поэзии.

«С в е т в е ч е р н и й ш а ф р а н н о г о к р а я...» (стр. 88).

Хаям — Омар Хайям (1048—1123) — великий таджикский и персидский поэт, автор знаменитых четверостиший (рубаи).

К а п и т а н з е м л и (стр. 96).— Впервые напечатано в газете «Заря Востока» 21 февраля 1926 г., с примечанием: «Впервые публикуемое стихотворение Сергея Есенина «Капитан земли» написано в январе 1925 г., в Батуми, накануне годовщины смерти Ленина».

С о б а к е К а ч а л о в а (стр. 99).— Об истории создания этого стихотворения см. рассказ народного артиста СССР В. И. Качалова (*Воспоминания*, 408—411).

«П р о щ а й, Б а к у! Т е б я я н е у в и ж у...» (стр. 105).

...балаханский май...— 1 мая 1925 г. Есенин был на рабочей массовке в пригороде Баку — Балаханы.

«К а ж д ы й т р у д б л а г о с л о в и, у д а ч а!..» (стр. 107).— А. А. Есенина рассказывает: «В первой половине июля Сергей уезжает в деревню, или, как мы говорили, «домой». Дома он прожил около недели. Шел сенокос, стояла тихая, сухая погода, и Сергей почти ежедневно уходил из дома: то на сенокос к отцу и помогал ему косить, то на 2 дня уезжал с рыбацкой артелью километров за 15 от нашего села ловить рыбу. Эта поездка с рыбаками и послужила поводом к написанию стихотворения «Каждый труд благослови, удача!..», которое было написано там же, в деревне» (*Воспоминания*, 93).

«В и д н о, т а к з а в е д е н о н а в е к и...» (стр. 107).

Вынул я кольцо у попугая...— А. А. Есенина вспоминает: «Кольцо, о котором говорится в стихотворении, действительно Сергею на счастье вынул попугай незадолго до его женитьбы на Софье Андреевне Толстой. Шутя, Сергей подарил это кольцо ей. Это было простое медное кольцо очень большого размера» (*Воспоминания*, 93).

«Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!..» (стр. 115).

Пусть она услышит... ничего не значит...— Неточная цитата из «Завещания» М. Ю. Лермонтова.

«Я красивых таких не видел...» (стр. 115).— Это и последующие стихотворения «Ах, как много на свете кошек...», «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «В этом мире я только прохожий...» посвящены А. А. Есениной, которая позже вспоминала: «В один из сентябрьских дней Сергей предложил Соне и мне покататься на извозчике... Лишь только мы отъехали от дома, как мое внимание привлекли кошки. Уж очень много их попадалось на глаза... и я сказала об этом Сергею... Мое открытие показалось ему забавным, и он тотчас же превратил его в игру, предложив считать всех кошек, попадавшихся нам на пути... Когда мы доехали до Театральной площади, Сергей предложил зайти пообедать. Сидя за столом и видя мое смущение, Сергей все время улыбался, и, чтобы окончательно смутить меня, он проговорил: «Смотри, какая ты красивая, как все на тебя смотрят...» А на следующий день Сергей написал и посвятил мне стихи: «Ах, как много на свете кошек...» и «Я красивых таких не видел...» (*Воспоминания*, 94—95).

«Эх вы, сани! А кони, кони!..» (стр. 117).— По свидетельству С. А. Толстой-Есениной, это стихотворение входило в замысел цикла стихов о русской зиме. «В течение трех месяцев, почти до самой смерти, Есенин не оставлял этой темы...» (журн. «Смена». М., 1946, № 3—4, февраль).

«Мелколесье. Степь и дали...» (стр. 123).

Венка — род гармоники.

«Какая ночь! Я не могу...» (стр. 125).— Стихотворения «Какая ночь! Я не могу...», «Не гляди на меня с упреком...», «Ты меня не любишь, не жалеешь...», «Может, поздно, может, слишком рано...» задумывались как цикл «Стихи о которой». В декабре 1925 г. поэт писал И. В. Евдокимову: «На днях пришлю тебе лирику «Стихи о которой». По предположению С. А. Толстой-Есениной, кроме перечисленных стихотворений в него должны были войти «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель...» и еще два стихотворения зимнего цикла (см. коммент. к стих. «Эх вы, сани! А кони, кони!..».)

«До свиданья, друг мой, до свиданья...» (стр. 130).— Последнее стихотворение Есенина. 24 декабря 1925 года Есенин из Москвы приехал в Ленинград и остановился в гостинице «Англетер». 25, 26, 27 декабря он встречался со своими друзьями, многие бывали у него в номере. Е. А. Устинова, жившая в этой же гостинице, вспоминает, что днем 27 декабря она зашла в номер к Есенину. «Сергей Александрович стал жаловаться, что в этой «паршивой» гостинице даже чернил нет, и ему пришлось писать сегодня

утром кровью. Скоро пришел поэт Эрлих. Сергей Александрович подошел к столу, вырвал из блокнота написанное утром кровью стихотворение и сунул Эрлиху во внутренний карман пиджака. Эрлих потянулся рукой за листком, но Есенин его остановил: «Потом прочтешь, не надо!» Позднее мы снова сошлись все вместе» (*Воспоминания*, 160).

В. Эрлих вспоминает: «Часам к восьми и я поднялся уходить. Простились. С Невского я вернулся вторично: забыл портфель... Есенин сидел у стола спокойный, без пиджака, накинув шубу, и просматривал старые стихи. На столе была развернута папка. Простились вторично» (*Воспоминания*, 456).

Стихотворение В. Эрлих прочитал только на следующий день после самоубийства Есенина. Напечатанное в «Красной газете» в тот же день, оно вскоре стало широко известно.

МАЛЕНЬКИЕ ПОЭМЫ

Марфа Посадница (стр. 131).— В основу поэмы положены предания о Марфе Посаднице (вторая половина XV в.), вдове новгородского посадника И. А. Борецкого, которая возглавляла в 1471 г. боярскую оппозицию, отстаивавшую независимость Новгорода и боровшуюся против присоединения Новгорода к Московскому великому княжеству.

Написанная в начале империалистической войны, «Марфа Посадница» воспринималась современниками Есенина как произведение с отчетливо выраженными демократическими устремлениями. М. Горький предполагал напечатать «Марфу Посадницу» в журн. «Летопись», но царская цензура запретила стихотворение.

Полотнища зорние — здесь: световые вспышки.

Внуки Васькины...— то есть Василия Буслаева, героя новгородских былин.

...правнуки Микулы...— Микула Селянинович, былинный богатырь.

Хоругви — знамена, стяги.

Шомонить — лезть, заглядывать, шуметь, наговаривать.

Тропарь — церковный певчий стих.

Русь (стр. 134).— На обороте автографа (ЦГАЛИ) рукой Есенина даны объяснения к ряду слов стихотворения:

«*В погорающем инее* — облетающем, исчезающем инее.

Застреха — полукрыша, намет соломы у карниза.

Шаль пурги — снежный смерч (вьюга) (ага) (мага).

Бласт — видение».

С. Фомин, близко знавший Есенина в 1914—1915 гг., вспомина-

ет: «В начале 1915 г. еще перед отъездом в Петербург Есенин является к товарищам, где был и я, с большим новым стихотворением под названием «Русь» (сб. «Памяти Есенина». М., 1926, с. 130). С публичным чтением стихотворения «Русь» Есенин неоднократно выступал в Петрограде, в частности, на первом вечере литературно-художественного общества «Страда» 19 ноября 1915 г. «Русь» была встречена в литературных кругах с особым интересом. Очень скоро эта «маленькая поэма» Есенина стала широко известна. Газета «Биржевые ведомости» 21 октября 1915 г., сообщая о программе «вечера народной поэзии», проводимого литературно-художественной группой «Краса» 25 октября в зале Тенишевского училища, указывала, что на этом вечере «впервые выступит молодой поэт, крестьянин Рязанской губернии, Сергей Есенин, так удачно дебютировавший нынешней весной во многих журналах. С. Есенин прочтет *известную поэму свою «Русь»* (выделено мной.— *Ю. П.*) и цикл стихов «Маковые побаски». «Русь», как и ряд других произведений («Марфа Посадница», «Ус», «Узоры», «Греция», «Польша», «Выть», «Заглушила засуха засевки...»), давала Есенину полное моральное и гражданское право сказать позднее о том, что отделяло его творчество от буржуазно-декадентской литературы в годы мировой войны. «Резкое различие со многими петербургскими поэтами в ту эпоху сказалось в том,— подчеркивал Есенин,— что они поддались воинствующему патриотизму, а я, при всей любви к рязанским полям и к своим соотечественникам, всегда резко относился к империалистической войне и к воинствующему патриотизму... У меня даже были неприятности из-за того, что я не пишу патриотических стихов на тему «Гром победы, раздавайся», но поэт может писать только о том, с чем он органически связан» (см.: Р о з а н о в И в а н. Есенин о себе и других. М., 1926, с. 22).

Т о в а р и щ (стр. 139).— Писатель Лев Никулин рассказывает, как ему в 1918 г. посчастливилось слышать Есенина, читающего «Товарища». «В то время,— замечает он,— уже немало было написано стихов о революции, но остались в литературе «поэтохроника» Маяковского «Революция» и «Товарищ» Есенина». Особенно он взволновал слушателей, говорил Лев Никулин, в тот момент, когда «дошел почти до конца стихотворения и вдруг, рванув воротник сорочки, почти с ужасом крикнул:

Кто-то давит его, кто-то душит.
Палит огнем.

И после долгого молчания, когда вокруг была мертвая тишина, он произнес торжественно и проникновенно:

Но спокойно звенит
За окном,
То погаснув, то вспыхнув
Снова,

Железное
Слово...
И как долгий, отдаленный раскат грома, все усиливающийся, радостно-грозный:
Ре-эс-пу-у-ублика!» (*Воспоминания*, 227—228).

Он лежит на Марсовом поле...— 23 марта 1917 года в Петрограде, на Марсовом поле состоялись похороны борцов, погибших в дни Февральской революции.

О т ч а р ь (стр. 142).

Ятаг (ятаган) — большой кривой турецкий кинжал, отточенный с одной стороны.

Аника — герой лубочных картин, народных сказаний, нечестивец, разоритель церквей.

Соловки.— На Соловецком острове в Белом море находился монастырь, основанный в XV в. и являвшийся одним из центров раскола.

...рыжий Иуда целует Христа.— Иуда Искариот, согласно Евангелию, один из двенадцати апостолов, предавший Иисуса Христа за тридцать сребреников.

Цепь Акатуя.— На Акатуевские рудники в Сибири (около Нерчинска) ссылались каторжники.

И н о н и я (стр. 146).— Вспоминая о встречах с Есениным в первые послереволюционные месяцы, В. С. Чернявский писал: «В эти месяцы были написаны одна за другой все его богоборческие и космические поэмы о революции... Про свою «Инонию», еще никому не прочитанную и, кажется, только задуманную, он заговорил со мной однажды на улице, как о некоем реально существующем граде, и сам рассмеялся моему недоумению: «Это у меня будет такая поэма... Инония — иная страна...» (журн. «Новый мир». М., 1965, № 10).

Иеремия — один из библейских пророков.

Китеж — по легенде, город, скрывшийся под водой во время татаро-монгольского нашествия.

Индикоплов (Индикоплевст — плаватель в Индию) Косьма — византийский купец и путешественник VI в., автор «Христианской топографии», где давалось библейское толкование теории строения Вселенной.

Часослов — книга молитв и песнопений.

Радонеж — место, по которому получил свое имя Сергий Радонежский (ок. 1321—1391) — основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря, причисленный православной церковью к лику святых.

На реках вавилонских мы плакали...— Перефразированное начало 136-го псалма Давида (Библия), где говорится о плаче иудеев, томившихся в вавилонском плену.

Олипий — Есенин имеет в виду Алимпия (Алипия) — первого известного по имени русского иконописца (конец XI — начало XII в.).

«Слава в вышних богу и на земле мир!..» — одна из молитв православной церкви («Великое славословие»).

Сион — гора, на которой была воздвигнута иерусалимская крепость.

Иорданская голубица (стр. 152).

Иорданская голубица — по библейской легенде, голубь, появившийся над Христом в момент его крещения в реке Иордан.

Апостол Андрей — по библии, один из ближайших учеников Христа.

Маврикийский дуб — библейский образ. Есенин так толковал это понятие в статье «Ключи Марии»: «...символическое древо, которое означает «семью»... в Иудее это древо носило имя Маврикийского дуба... Мы есть чада древа, семья того вселенного дуба...»

Небесный барабанщик (стр. 155).

Старк Л. Н. (1869—1937) — поэт и журналист, один из редакторов газ. «Советская страна» (1919), в которой печатался Есенин.

Пантократор (стр. 157).

Пантократор — могущественный (греч.).

Сорокоуст (стр. 159).— И. Н. Розанов вспоминает об одном из выступлений Есенина: «Ни одно из произведений Есенина не вызвало такого шума, как «Сорокоуст»... Аудитория Политехнического музея в Москве. Вечер поэтов. Духота и теснота... Председательствует сдержанный, иногда только криво улыбающийся Валерий Брюсов. Очередь за имажинистами. Выступает Есенин. Начинает свой «Сорокоуст»... Но когда поэт произносит девятый стих и десятый, где встречается слово, не принятое в литературной речи, начинается свист, шиканье, крики: «Довольно!» и т. д. Есенин пытается продолжать, но его не слышно. Шум растет. Есенин ретируется... С неимоверным трудом... председателю удается наконец водворить относительный порядок. Брюсов встает и говорит: «Вы слышали только начало и не даете поэту говорить. Надеюсь, что присутствующие поверят мне, что в деле поэзии я кое-что понимаю. И вот я утверждаю, что данное стихотворение Есенина самое лучшее из всего, что появилось в русской поэзии за последние два или три года» (*Воспоминания*, 291—292).

Сорокоуст — в православной церкви сорокодневная молитва по умершему.

Мариенгоф А. Б.— см. о нем коммент. к стихотворению «Я последний поэт деревни...».

Исповедь хулигана (стр. 161).— Богоборческий пафос, столь характерный для первых послеоктябрьских стихов и поэм Есенина, особенно таких, как «Инония», вызвал негативно-обыва-

тельскую реакцию «старого мира», пытающегося представить все это лишь как литературное хулиганство.

«В начале 1918 года,— записывает Есенин в черновике последней автобиографии,— я твердо почувствовал, что связь со старым миром порвана, и написал поэму «Инония», на которую много было нападок и из-за которой за мной утвердилась кличка «Хулиган». Открыто полемический вызов «старому миру» носит уже само название «маленькой поэмы» — «Исповедь хулигана», и примыкающего к ней тематически стихотворения «Хулиган».

В о з в р а щ е н и е н а р о д и н у (стр. 163).— Мать поэта, Татьяна Федоровна Есенина (1875—1955), вспоминает, с какой радостью возвратился сын из поездки в чужие страны. «Видно,— замечает она,— ему не было никакой утехи от иностранных земель. «Только в России дышишь по-настоящему»,— помню, говорил он».

Из Америки, как отмечал Маяковский, Есенин вернулся «с ясной тягой к новому».

Приходит все более ясное понимание поэтом того, что в деревне, как и повсюду, революционные силы сталкиваются в непримиримой борьбе с силами старого мира, что в деревне есть Русь советская и Русь уходящая. (Подробнее в кн.: П р о к у ш е в Ю. Сергей Есенин. Образ, стихи, эпоха. М., 1979.)

Кукольни (куколь) — сорная трава или ее семя.

Р у с ь с о в е т с к а я (стр. 166).

Сахаров Александр Михайлович — о нем см. с. 169 наст. изд.

Н а К а в к а з е (стр. 551).

Не пой, красавица, при мне...— начальные строки известного стихотворения А. С. Пушкина.

Азамат, Казбич — персонажи повести «Бэла» («Герой нашего времени») М. Ю. Лермонтова.

Был пулей друга успокоен...— имеется в виду Н. С. Мартынов, убивший на дуэли Лермонтова. В юности они учились вместе в юнкерской школе.

И Грибоедов здесь зарыт.— Могила А. С. Грибоедова находится в Тбилиси, на горе Мтацминда.

Поет о пробках в Моссельпроме...— Намек на работу Маяковского в эти годы над стихами для торговой рекламы.

Клюев...— см. коммент. на с. 554 наст. изд.

Б а л л а д а о д в а д ц а т и ш е с т и (стр. 171).— Написано в Баку к шестой годовщине гибели двадцати шести бакинских комиссаров. П. И. Чагин вспоминает: «Помню, с каким вдохновением Сергей Есенин читал эту свою знаменитую «Балладу» у памятника двадцати шести и какой бурной овацией наградили его бакинские рабочие» (*Воспоминания о Сергее Есенине*. М., 1965, с. 414).

Двадцать шесть бакинских комиссаров — руководители борьбы трудящихся Азербайджана и всего Закавказья за Советскую

власть в 1917—1918 гг.— С. Г. Шаумян, П. А. Джапаридзе, М. Азизбеков, И. Т. Фиолетов и другие были расстреляны английскими интервентами 20 сентября 1918 года на 207-й версте близ Красноводска, в песчаной степи, между станциями Перевал и Ахча-Куйма.

Якулов Г. Б. (1884—1928) — художник и скульптор, автор памятника 26 бакинским комиссарам в Баку.

Стансы (стр. 175).— К сожалению, при жизни Есенина «Стансы», как и другие произведения поэта, в которых он стремится воспеть Русь советскую, были явно тенденциозно и однозначно восприняты многими из тогдашних критиков. Так редактор журн. «Красная новь» А. Воронский в статье «На разные темы» писал: «После... чудесных лирических стихов «Стансы» режут слух как гвоздем по стеклу... Хуже всего, что «Стансам» не веришь, они не убеждают» (Воронский А. На разные темы.— Альм. «Наши дни». М., 1925, с. 305—306).

Поэт решительно отвергает подобные критические «поучения» и попытки «доказать» неискренность его «Стансов».

...Есть музыка, стихи и танцы,
Есть ложь и лесть...
Пускай меня бранят за «Стансы» —
В них правда есть... —

так отвечал поэт критикам «Стансов» в стихотворении «1 Мая», написанном на Кавказе весной 1925 года.

Чагин Петр Иванович — о нем см. с. 562 наст. изд.

Тигулевка — «холодная», арестантское помещение.

Демьян — поэт Демьян Бедный (наст. имя и фам.— Е. А. Придворов, 1883—1945).

Русь бесприютная (стр. 178).— Об истории создания поэмы, связанной с посещением Есениным коллектора беспризорников в Тифлисе в ноябре 1924 г. см.: Вержбицкий Н. К. Встречи с Есениным. Тбилиси, 1961.

Поэтам Грузии (стр. 185).— Есенин, находясь на Кавказе, печатает это стихотворение в газ. «Заря Востока» (23 ноября 1924 г.).

Поэт Г. Н. Леонидзе вспоминает, что Есениным «были задуманы переводы из грузинской поэзии... он мечтал о создании особого цикла стихов о Грузии... Кроме больших и малых планов были большие и малые факты, события, происшествия, эпизоды, связанные с жизнью Сергея Есенина в Тбилиси, в своей совокупности и создавшие у него то настроение, которое продиктовало ему свое послание «Поэтам Грузии» (*Воспоминания*, 388).

...Голубые роги.— От названия литературной группы грузинских поэтов «Голубые роги» (1916—1930 гг.), в которую входили

такие выдающиеся поэты, как Паоло Яшвили, Тициан Табидзе, Георгий Леонидзе и др.

Кунак — друг.

Письмо от матери (стр. 188).

Есенин Александр Никитич (1873—1931) — отец поэта.

Письмо деду (стр. 196).— Стихотворение обращено к деду Есенина Ф. А. Титову (ум. в 1927 г.). Е. А. Есенина рассказывает: «Вся округа знала Федора Андреевича Титова (нашего дедушку по матери). Умен в беседе, весел в пиру и сердит в гневе, дедушка умел нравиться людям... По отношению к детям у дедушки всегда была большая доброта и нежность. Уложить спать, рассказать сказку, спеть песню ребенку для него было необходимостью. Сергей часто вспоминал свои разговоры с ним... Когда мать ушла от Есениных, дедушка взял Сергея к себе, но мать послал в город добывать хлеб себе и сыну, за которого он приказал ей высылать три рубля в месяц... Пять лет Сергей жил у дедушки Федора» (*Воспоминания*, 24—26).

«Достойно есть», *«Отче»*, *«Символ веры»* — православные молитвы.

«Аллилуйя» (хвалите господа — греч.) — возглас в христианском богослужении.

Метель (стр. 199).— В автографе (ГБЛ) стихотворения «Метель» и «Весна» объединены общим заглавием «Над капиталом».

Мой путь (стр. 204).

Лориган — известные французские духи.

Письмо к сестре (стр. 208).— Стихотворение обращено к сестре поэта — Екатерине Александровне Есениной (1905—1977).

О Дельвиге писал наш Александр.— Подразумевается стихотворение А. С. Пушкина «Послание Дельвигу».

Ах, эти вишни! Ты их не забыла? — «У нас... по всему участку,— рассказывает в своих воспоминаниях А. А. Есенина,— росли ползучие вишни, которые доставляли много хлопот нашим родителям — нужна была земля под картошку. Нам, детям, много огорчений приносила вырубка сада и распашка его сохой или плугом» (*Воспоминания*, 74).

Блажен, кто не допил до дна...— вариации строк из восьмой главы «Евгения Онегина»:

...Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина...

Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве (стр. 210).— А. А. Есенина, вспоминая о том, как константиновские крестьяне встретили в селе революционные события 1917 года, подчеркивает, что руководил «всем Молчалин Петр Яковлевич, наш односельчанин, рабочий ко-

ломенского завода... Личность Молчалина интересовала Сергея. Он знал о нем все. Позднее Молчалин послужил ему в известной мере прототипом для образа Оглоблина Прона в «Анне Снегиной» и комиссара в «Сказке о пастушонке Пете» (*Воспоминания*, 43).

Черный человек (стр. 215).— Замысел поэмы возник, очевидно, у Есенина в годы зарубежных поездок. «Сергей Есенин,— сообщал журн. «Россия» (1923, № 8),— вернулся из Нью-Йорка... Им написан цикл лирических стихотворений... «Страва негодяев» и «Черный человек в черной перчатке». По свидетельству современников (А. Мариенгофа, В. Шершеневича и др.), первый вариант поэмы, значительно более драматический и больший по размеру, Есенин читал после возвращения на родину осенью 1923 г.

Еще в конце 1955 г. жена поэта Софья Андреевна Толстая-Есенина, показывая мне сохранившийся у нее автограф заключительных строк поэмы, заметила с явным огорчением:

«Как ни странно, но мне приходилось слышать и даже у кого-то читать, что «Черный человек» писался в состоянии опьянения, чуть ли не в бреду. Какой это вздор! Взгляните еще раз на этот черновой автограф. Как жаль, что он не сохранился полностью. Ведь «Черному человеку» Есенин отдал так много сил! Написал несколько вариантов поэмы. Последний создавался на моих глазах, в ноябре двадцать пятого года. Два дня напряженной работы. Есенин почти не спал. Закончил — сразу прочитал мне. Было страшно. Казалось, разорвется сердце. И как досадно, что критикой «Черный человек» не раскрыт... А между тем я писала об этом в своих комментариях. Замысел поэмы возник у Есенина в Америке. Его потряс цинизм, бесчеловечность увиденного, незащищенность человека от черных сил зла. «Ты знаешь, Соня, это ужасно. Все эти биржевые дельцы — это не люди, это какие-то могильные черви».

«Черный человек» — это своеобразный реквием поэта.

С трагической искренностью поведал нам Есенин в своей поэтической исповеди о том «черном», что омрачало его душу, что все больше волновало его сердце. Но — это только одна грань, одна сторона поэмы, ибо ныне особенно очевидно, что ее художественно-философское и социальное содержание несомненно значительно глубже.

Своей поэмой Есенин так яростно «ударил» «черного человека», так бесстрашно обнажил его душу, что необходимость суровой, беспощадной борьбы с черными силами зла стала еще более очевидной. Такова вторая грань, вторая объективная сторона поэмы.

ПОЭМЫ

Пугачев (стр. 220).— О главной задаче, которую ставил перед собой Есенин в драматической поэме, о его взглядах на Емельяна Пугачева как на личность, человека, который смог

поднять и возглавить выступление крестьян против царя, дворян и помещиков, рассказывает в своих воспоминаниях И. Н. Розанов:

«Однажды Есенин сказал мне: «Сейчас я заканчиваю трагедию в стихах. Будет называться «Пугачев».

— А знаете ли вы замысел повести Короленко из эпохи пугачевского бунта?

— Нет.

Я передал, что слышал когда-то от самого Короленко. Главный интерес повесть должна была возбудить трагическою участью одной из жен Пугачева, без вины виноватой.

— Ну это совсем другое!.. У меня же совсем не будет любовной интриги. Разве она так необходима? Умел же без нее обходиться Гоголь...

...Еще есть одна особенность в моей трагедии. Кроме Пугачева, никто почти в трагедии не повторяется, в каждой сцене новые лица. Это придает большое движение и выдвигает основную роль Пугачева» (*Воспоминания*, 294—295).

Есенин многократно выступал с публичным чтением отрывков из «Пугачева». Особенно часто он читал монолог Хлопуши. Рассказ о чтении Есениным монолога содержится в воспоминаниях М. Горького: «Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными.

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!

Что ты? Смерть?..

Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез...

Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он — я думаю — и не нуждался в них» (*Воспоминания*, 332—333).

Страна негодяев (стр. 248).— Замысел этой вещи возник у Есенина зимой 1921/22 г. В автобиографии 1922 г. Есенин писал: «Сейчас работаю над большой вещью под названием «Страна негодяев». С. А. Толстая-Есенина рассказывает: «Замысел пьесы «Страна негодяев» все время менялся по ходу работы... С. А. Есенин намеревался создать широкое полотно, в котором хотел показать столкновение двух миров и двух начал в жизни человечества... Расширение замысла у Есенина произошло после его поездки в США, о чем он мне не раз говорил... Есенин рассказывал мне, что он ходил в Нью-Йорке специально посмотреть знаменитую нью-йоркскую биржу, в огромном зале которой толпятся многие тысячи людей и совершают в обстановке шума и гама сотни тысяч сделок. «Это страшнее, чем быть окруженным стаей волков»,— говорил Есенин. «Что значат наши маленькие воришки и бандюги в сравнении с ни-

ми? Вот где она — страна негодяев!» (журн. «Юность». М., 1957, № 4, с. 32).

Монолог Рассветова, в котором отразились впечатления Есенина от этой поездки, был напечатан в газ. «Бакинский рабочий» и в сб. «Страна Советская» с датой: «Нью-Йорк, 14 февраля 23 года». Есенин продолжал переделывать поэму до последних дней своей жизни, обдумывая план, меняя заглавие.

При жизни Есенина поэма полностью не была опубликована.

«Слова, слова, слова...» — из монолога Гамлета в одноименной трагедии Шекспира.

«Все, что было...»— популярная в двадцатые годы песенка.

Ленин (Отрывок из поэмы «Гуляй-поле») (стр. 289).— Как свидетельствуют современники, Есенин с первых лет революции проявлял постоянный, не ослабевающий интерес к личности Ленина.

Всего вероятнее, что Есенин видел впервые и слушал выступление В. И. Ленина на открытии мемориальной доски «Павшим в борьбе за мир и братство народов» на Красной площади 7 ноября 1918 г. Вновь с огромным вниманием и волнением Есенин слушал выступление В. И. Ленина на Всероссийском совещании работников внешкольного образования 24 января 1919 г. «Владимира Ильича,— воспоминала З. Н. Райх, жена Есенина, присутствовавшая вместе с ним на этом совещании,— встретили овацией, которую невозможно было остановить. Ленин уходил, приходил, снова уходил и возвращался». И далее она отмечает, что «Есенин наблюдал за всем этим совершенно бледный, глубоко потрясенный и впивался глазами в Ленина...». (Есенин и современность, М., 1975, с. 362.)

С именем Ленина, с политикой коммунистов связывает Есенин то огромные социальные сдвиги и изменения, которые на его глазах происходили в жизни русского крестьянства. «Знаешь,— рассказывал поэт в те годы писателю Юрию Либединскому,— я сейчас из деревни... А все Ленин! Знал, какое слово надо сказать деревне, чтобы она сдвинулась. Что за сила в нем, а?» (*Воспоминания*, 367).

И вдруг страшный удар обрушился на молодую страну Советов, на душу поэта! Умер Ленин! Перестало биться сердце великого «капитана земли». «Мы, родные,— вспоминает Е. А. Есенина,— буквально не узнавали Сергея, так он был потрясен кончиной Ленина и всем происходящим в стране. Особенно он был потрясен и весь, в буквальном смысле слова, перевернут посещением Колонного зала, где был установлен гроб с телом В. И. Ленина. На второй или третий день смерти Ленина, близкий друг нашей семьи Софья Виноградская, работавшая в те годы в «Правде», принесла Сергею и мне пропуск в Колонный зал. Все трое мы отправились туда под ве-

чер. Пройдя в Колонный зал, мы встали в группу людей, стоящих чуть поодаль от ленинского гроба. Пробыли мы у гроба Ленина более часа. Все это время Сергей хранил глубокое молчание. Молчал он и по пути домой и дома. Горе поглотило все его силы. В дни ленинского траура,— продолжает Екатерина Александровна,— поэты, каждый в меру своего таланта, откликнулись на смерть вождя. Есенин молчал. А когда кто-нибудь из редакций газет и журналов просил его при встрече или по телефону: «Давайте напишите стихи о Ленине»,— отвечал он всем коротко и одинаково: «Я не могу». И это не случайно. Он чувствовал невозместимость потери. Кто же заменит Ленина, да и можно ли заменить его. Судьба страны, судьба России, ее будущее без Ленина, борьба оппозиции против партии — все это глубоко волновало Есенина» (цит. по записи беседы с Е. А. Есениной 28 августа 1957 года).

«Это то горе, которое не оплакать»,— скажет Есенин о смерти Ленина. Вот почему «не могу» откликнуться быстро, «не могу» написать стихи сейчас, сегодня. Но «не могу» не думать о всем виденном и пережитом в траурные январские дни, «не могу» не размышлять вновь и вновь над воплощением замысла поэмы, который уже давно зрел в уме и вынашивался в сердце. Теперь, после смерти Ленина, первоначальный замысел «проявляется» и выкристаллизовывается окончательно. Есенину ясно, что это прежде всего должна быть поэма о Ленине, вожде революции и Человеке, что все должно быть подчинено выявлению и художественному раскрытию этой главной идеи.

«Отрывок из поэмы» — под таким неброским, как бы ни на что пока не претендующим, обычным рабочим названием печатает Есенин впервые весной 1924 г. в альм. «Круг» свою ленинскую вещь.

Состоял «Отрывок...» из трех очень крепко спаянных между собой идейно и связанных сюжетно частей: первой — «Еще закон не отвердел...», второй — «Россия! Страшный, чудный звон!..», третьей — «Была пора жестоких лет...». Это, по существу, уже был не просто «Отрывок...», а близкий к окончанию вариант будущей ленинской поэмы Есенина. Внеся в этот вариант, по сути дела, одно очень важное принципиальное дополнение, поэт публикует его весной 1925 года на Кавказе в своей новой книге «Страна Советская», теперь уже под определенным и ко многому обязывающим названием — «Ленин» (из поэмы «Гуляй-поле»). Затем в той же редакции он печатает его в Собрании сочинений. (Подробнее о работе поэта над образом Ленина см.: П р о к у ш е в Ю. Вечный образ. М., «Знание», 1977.)

П е с н ь о в е л и к о м п о х о д е (стр. 292).— Поэма написана в июле 1924 г. в Ленинграде. Находясь осенью 1924 г. на Кавказе, Есенин продолжал работать над поэмой. См. с. 562 наст. изд.

Там же, на Кавказе, в газ. «Заря Востока», Есенин впервые публикует свою поэму, затем включает в свой сборник «Русь советская» (Баку, 1925).

Как свидетельствует Г. А. Бениславская, «Песнь...» восторженно встретил массовый отдел крестьянской литературы Госиздата и вещь была передана туда». Вскоре после этого поэма Есенина вышла в Госиздате отдельным изданием, с выразительными, интересными рисунками, массовым тиражом.

«Песнь о великом походе» при жизни Есенина, как и другие его историко-революционные поэмы, не получила в критике должной и заслуженной оценки.

Живой отклик, судя по свидетельству современников, вызвала «Песнь о великом походе» среди читателей, особенно в крестьянской массе. В известной книге А. М. Торопова «Крестьяне о писателях» (М.—Л., 1930) автором приводятся высказывания крестьян после того, как им была прочитана поэма «Песнь о великом походе».

«По-моему, этот «Поход» лучше всех сочинений Есенина. Вот такие его штуки надо для народа издавать»; «За этот стих любая деревня ухватится обеими руками»; «Разумный стих. Дает нам, тумакам, понять и про старое, и про новое. Будь ты хоть какой неписьменный, все поймешь»; «Изо всех стихов стих!.. Дороже целых книг он» (Т о р о п о в А. Крестьяне о писателях. 2-е дополненное и переработанное издание. Новосибирское книжное издательство, 1963, с. 188—189).

Сам Есенин, как вспоминает поэт В. Кириллов, относился к поэме «Песнь о великом походе» как к своей несомненной удаче (см.: К и р и л л о в В л а д и м и р. Встречи с Есениным.— Сб. «Сергей Александрович Есенин». М.—Л., 1926, с. 178).

Но факт остается фактом, долгое время даже те, кто о поэте, его стихах в общем-то писали и высказывались доброжелательно, к «Песни о великом походе» относились весьма сдержанно, считая ее «не есенинской». Такие суждения иногда раздаются, к сожалению, и в наши дни. Между тем сегодня становится все очевидней, что в «Песни о великом походе» яснее обозначился творческий и гражданский путь Есенина как художника, который вместе с другими зачинателями советской литературы прокладывал в те годы путь поэзии социалистического реализма.

Ни наготой... ни резанами — имеются в виду старинные русские монеты.

А н н а С н е г и н а (стр. 307).— Поэма «Анна Снегина» была в основном закончена к концу января 1925 г., о чем Есенин сообщил в письме к Г. А. Бениславской от 20 января 1925 г.: «Скажите Вардину, может ли он купить у меня поэму 1000 строк. Лиро-эпическая. Очень хорошая» и в письме к Н. К. Вержбицкому от 26 янва-

ря 1925 г.: «Сейчас заканчиваю писать очень большую поэму». Однако работа над «Анной Снегиной» продолжалась и после возвращения в Москву.

«Из Баку,— вспоминает поэт В. Ф. Наседкин,— он (Есенин.— *Ю. П.*) привез целый ворох новых произведений: поэму «Анна Снегина», «Мой путь», «Персидские мотивы» и несколько других стихотворений. «Анну Снегину» набело он переписывал уже здесь, в Москве, целыми часами просиживал над ее окончательной отделкой» (*Воспоминания*, 431).

Поэма была напечатана в четвертом номере «Красной нови» за 1925 г. «Радостный, он пришел ко мне с номером журнала, еще пахнущим типографской краской,— вспоминает С. А. Толстая-Есенина.— Раскрыл журнал и начал читать... Я сидела не шелохнувшись. Как он читал! А когда кончил, передавая журнал, сказал, улыбаясь: «Это тебе за твое терпение и за то, что так хорошо слушала». Я открыла журнал. На странице, где поэма начиналась, вверху рукой Есенина было написано: «Милой Соне. С. Есенин» (П р о к у ш е в Ю. Время, Поэзия, Критика. М., Художественная литература, 1980, с. 490).

В своих комментариях к поэме «Анна Снегина» С. А. Толстая-Есенина подчеркивает: «Анна Снегина» в значительной степени автобиографична... Лето 1918 года Есенин провел в Константинове и, конечно, был очевидцем явлений, происходивших в революционной деревне. Связь этого произведения с реальной действительностью,— продолжает Толстая-Есенина,— легко проследить даже по ряду деталей. Например, названия деревень «Криуши» и «Радово»... Две деревни с такими названиями существуют в округе села Константиново... Одна из них находится около Радовецкого монастыря, памятного Есенину по детским впечатлениям» *(Комментарии ГЛМ)*.

В 1925 г. Есенин неоднократно читал «Анну Снегину». В. Ф. Наседкин подчеркивал в своих воспоминаниях, что «друзьям он (Есенин.— *Ю. П.*) охотнее всего читал тогда эту поэму» (*Воспоминания*, 431).

В своих комментариях к произведениям поэта С. А. Толстая-Есенина подчеркивает, что «Анна Снегина» имела большой успех у рядового читателя, но литературной средой и критикой поэма была встречена равнодушно и даже отрицательно. На Есенина это произвело тяжелое впечатление» *(Комментарии ГЛМ)*.

ПРОЗА

Я р (стр. 328).— В 1915 г. двадцатилетний поэт написал свою первую и единственную большую прозаическую вещь о дореволюционной рязанской деревне — повесть «Яр», нелегкая судьба героев которой непосредственно так или иначе связана с этими родными есенинскими местами.

По свидетельству Е. А. Есениной, повесть «Яр» была написана автором немногим более чем за две недели (*Собр. соч.*, т. V, с. 304). Почему Есенин после удачного поэтического дебюта в Петрограде весной 1915 г., вернувшись в Константиново летом 1915 г., «неожиданно» переключился на прозу?

Очевидно, что-то значительное волновало Есенина.

В «Яре» Есенину удалось сказать то, о чем он не мог сказать в стихах, хотя и пытался в своей ранней поэзии затрагивать большие социально значимые конфликты. Вспомним запрет цензуры на публикацию «Марфы Посадницы» и антивоенной поэмы «Галки». В «Яре» как бы «случайно» вспыхивает социальный конфликт — столкновенье крестьян с помещиком из-за участка земли. Однако этот «локальный» эпизод емок по содержанию, художественно выразителен и типичен для жизни русской деревни в канун революционных событий 1917 года.

Все это дало возможность Есенину в «Яре» открыто сказать о том главном, что неотступно и мучительно тревожило и волновало в ту пору его гражданскую совесть, сказать горькую правду о жизни русского крестьянства — о боли народной, гневе народном, ненависти народной к угнетателям.

Все, что в этом плане художественно и социально зарождалось в «Яре», позднее пройдет через все послеоктябрьское творчество Есенина, особенно — через его эпические вещи, такие, как «Инония», «Сорокоуст», «Пугачев» и еще в большой степени — «Песнь о великом походе» и, наконец, «Анна Снегина».

Без «Яра» не было бы у Есенина *такой* «Анны Снегиной».

Повесть «Яр» написана автором, который знал деревенскую жизнь не со стороны, а изнутри, знал ее суть. Он был рожден рязанской деревней и в своей повести правдиво рассказал о жизни этой деревни в предреволюционные годы.

Когда мы сегодня читаем повесть «Яр», то нам становится еще очевидней та непреложная истина, почему сам поэт, а главное — трудовая крестьянская Русь в годы Октябрьской революции все больше и больше поворачивала свои сердца к великой народной правде Ленина.

При жизни поэта и в дальнейшем проза Есенина, включая повесть «Яр», чаще всего в критике либо обходилась молчанием, либо ей давались явно тенденциозные оценки. (Подробнее см.: Прокушев Ю. Л. Родина и революция в творчестве Есенина.— Альм. «Литературная Рязань», 1957, № 2.)

Бобыль и Дружок (стр. 422).— Рассказ Есенина, несомненно, близок и перекликается со стихами поэта о «братьях наших меньших» и, прежде всего, со знаменитой «Песнью о собаке». Они были написаны почти одновременно, когда Есенину едва ли исполнилось двадцать лет. Будучи не схожими жанрово и сюжетно, они

сродственны, близки друг другу гуманистическим пафосом. И рассказ, и стихи Есенина о животных проникнуты любовью, милосердием ко всему живому в мире, заботой о нравственном, духовном облике самого человека.

Железный Миргород (стр. 425).— В основу очерка, опубликованного Есениным в газ. «Известия» осенью 1923 г., легли впечатления от его зарубежной поездки. «Я объездил все государства Европы и почти все штаты Северной Америки,— писал Есенин вскоре после возвращения на родину и подчеркивал при этом: — Зрение мое переломилось, особенно после Америки».

10 мая 1922 г. с московского аэродрома поднялся небольшой самолет и взял курс на запад. Так была открыта первая международная линия Аэрофлота: Москва—Кенигсберг. Есенин и Дункан вылетели в Германию этим самолетом. Всего шесть пассажиров находились в его крохотном салоне.

Германия, Голландия, Бельгия, Франция, Италия — вот европейские страны, которые посетил Есенин. Более четырех месяцев (с 2 октября 1922 г. по 4 февраля 1923 г.) он вместе с Айседорой Дункан проводит в США. 3 августа 1923 г. Есенин вернулся в Москву. Очерк «Железный Миргород» — одно из выдающихся произведений отечественной публицистики. Это правдивый художественный документ эпохи. Очевидна его огромная действенная сила, не только не убывающая, а наоборот, возрастающая в наши дни. Есенин предполагал продолжить очерк «Железный Миргород» и в следующей части «поговорить особо» о «той среде, которая называется рабочим классом». И в этом случае не обошлось без «помощи» критики.

После публикации в «Известиях» очерка «Железный Миргород», бывший сатириконец О. Л. Д'ора, печатает в «Правде» рецензию-фельетон «Сергей Есенин в Америке. Личные воспоминания...» (28 августа 1923 г.). В издевательско-памфлетной форме он зло и незаслуженно высмеивает рассказ поэта об американских встречах и впечатлениях в его очерке.

Стр. 426. *Поэмы Маяковского об Америке!* — Имеется в виду поэма «150 000 000», написанная Маяковским в 1920 г.

Ваши «кузницы» и «лефы» — «Левый фронт искусств» («Леф») и «Кузница» — литературные группы 20-х годов. Входящие в них писатели проявляли повышенный интерес к достижениям техники, индустриальной тематике.

В Штаты он нас впустить не может... —По прибытии в Нью-Йорк (1 октября 1922 г.) С. Есенину и А. Дункан как «большевистским агитаторам» не было разрешено сойти на берег. Разрешение на пребывание в США было получено 2 октября после допроса А. Дункан специальным иммиграционным комитетом.

Стр. 427. *Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, и мы спасе-*

ны! — Есенин вспомнил сцену из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя.

Стр. 428. *Взяла с меня подписку не петь «Интернационала», как это сделал я в Берлине.*— Об этом эпизоде см. с. 554 наст. изд.

Стр. 430. *Одним словом: «Умри, Денис!..»* — «Умри, Денис, лучше не напишешь!» — выражение, которое связывают со словами, якобы сказанными кн. Потемкиным Д. И. Фонвизину после первого представления «Недоросля».

Стр. 432. *Мани-Лейб* — псевдоним М. Л. Брагинского, еврейского поэта-переводчика, переводил на идиш стихи Есенина. Есенин встречался с ним в Нью-Йорке.

...от периода Гофштейна до Маркиша.— Д. Н. Гофштейн и П. Д. Маркиш — советские еврейские поэты.

Из автобиографической прозы

Первые автобиографические заметки Есенина относятся к 1915—1916 гг. Написанные в Петрограде, в самом начале его творческого пути, они — предельно кратки.

Пройдет шесть лет, прежде чем Есенин напишет новую автобиографию, на этот раз — более развернутую и подробную.

На родине поэта за это время свершатся великие события: Есенин бесповоротно связывает свою судьбу с революционной Россией. Хотя произошло это далеко не просто, не однозначно. Свидетельство тому — и автобиографическая проза Есенина.

Весной 1922 г. в Берлине Есенин впервые печатает в журнале «Новая русская книга» довольно подробную автобиографию. Судя по всему, писалась она за границей. Подтверждается это не только ее содержанием, стилем, но и — авторской датой: «14 мая 1922. Берлин». Вскоре после возвращения из-за границы, в конце августа 1923 г., Есенин напишет новую, в некоторых моментах более развернутую автобиографию. Примерно через год появится еще одна автобиография поэта. Наконец, осенью 1925 г. Есениным будет создана наиболее известная автобиография — «О себе», предназначенная для Собрания сочинений. Все автобиографии Есенина стилистически жанрово-едины. Одна как бы рождается, вытекает из другой. Картины жизни поэта, его многогранный образ, становятся в них все полнокровнее, объемнее. Главное в автобиографической прозе поэта — становление Личности, взгляд «во внутрь себя». Личность эта — Есенин.

«Вопрос вопросов» всей автобиографической прозы Есенина — это отношение поэта к революции. В автобиографии 1922 г. читаем: «За годы войны и революции судьба меня толкала из стороны в сторону. Россию я исколесил вдоль и поперек». Пока еще многое не определилось окончательно. Очевидно лишь одно: в годы револю-

ции поэт был на родине, вместе с восставшим народом. Поиск истины, позволяющей конкретно и ясно представить завтрашний день революционной России, будет продолжен. Отсюда и сверхзадача зарубежной поездки: сравнить, сопоставить жизнь на родине с жизнью Запада, чтобы понять до конца: «Куда несет нас рок событий?»

«Доволен больше всего тем, что вернулся в Советскую Россию»,— вот что определяет суть автобиографии Есенина 1923 г., написанной после зарубежных странствий.

И еще очень важное свидетельство поэта, в той же автобиографии: «Со всеми устоями на советской платформе».

Осмысливая теперь глубже, дальновиднее исторические события 1917 г. и тогдашнее к ним свое отношение, Есенин в автобиографии 1924 г. критически замечает: «Первый период революции встретил сочувственно, но больше стихийно, чем сознательно». Как завершение поиска истины, как свидетельство гражданской, политической зрелости поэта звучат его слова в автобиографии 1925 года — «О себе»: «В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимая все по-своему, с крестьянским уклоном».

Сергей Есенин (стр. 433).— Автобиография 1922 г.

Стр. 434. *Дед по матери...* — Федор Андреевич Титов; к нему обращено стихотворение «Письмо деду» (см. коммент. на с. 522 наст. изд.).

Стр. 434. *Бабушка* — Наталья Евтеевна Титова.

...в закрытую церковно-учительскую школу... — В 1909 г. после окончания Константиновского начального земского училища Есенин поступает во второклассную Спас-Клепиковскую учительскую школу. Весной 1912 г., успешно сдав в ней выпускные экзамены, он получает звание учителя школы грамоты.

«Радуница» — книга стихов Есенина, первая. Вышла в 1916 г. в Петрограде. Переиздавалась дважды (1918 и 1921 гг.). Каждый раз поэт вносит в ее состав и текст существенные изменения и дополнения.

Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по журналам, тем, что их не печатают, и поехал в Петербург...— Есенин печатается с начала 1914 г. в московских журналах, в основном — детских: «Мирок», «Проталинка», «Млечный Путь», «Друг народа», выходящих небольшим тиражом и малоизвестных в литературном мире. Стихи, которые в это время поэт направляет в столичные петроградские журналы, последние не печатают. Именно об этом и говорится в автобиографии.

Первый, кого я увидел, был Блок.— О встрече Есенина с Блоком см. с. 554 наст. изд.

Второй — Городецкий.— Сергей Митрофанович Городецкий (1884—1967) — поэт, в те годы увлекавшийся народной поэзией, фольклором. Впервые Есенин встретился с Городецким 11 марта 1915 г.

«Стихи он принес,— вспоминает Городецкий,— завязанными в деревенский платок. С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Начался какой-то праздник песни» (*Воспоминания*, 183).

Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова.— Клюев — о нем см. с. 554 наст. изд. Непосредственная встреча Есенина с Клюевым состоялась лишь в конце сентября — начале октября 1915 г. ; в марте—апреле 1915 г., когда Есенин находился в Петрограде, Клюева там не было.

Стр. 435. *В РКП я никогда не состоял...*— Интересно и поучительно в связи с этим явно полемически-имажинистским утверждением поэта свидетельство журналиста-правдиста Георгия Устинова, которое было напечатано еще в 1925 г. ленинградской «Красной газетой»:

«Сергей Есенин,— может быть, очень ненадолго, но крепко почувствовал железный, неуклонный шаг революции: в начале 1919 г. он однажды робко приносит мне на стол записку, написанную мелким прямым почерком... Это было заявление С. Есенина о его желании вступить в партию большевиков, «чтобы нужнее работать».

— Напиши, пожалуйста, рекомендацию... Я, знаешь ли... я понял... и могу умереть хоть сейчас.

Тогда,— замечает Устинов далее,— с коммуниста это спрашивалось в первую очередь. В эти огненные годы нужна была полная готовность умереть за Советскую власть, за коммунизм, чтобы быть революционером. Других революционеров партия не знала.

— Нет, Сергей, в партию тебе... зачем?

— А стихи?

— Давай попробуем...

И Сергей Есенин пишет слабоватое (!!! — *Ю. П.*), но зато вдребезги «революционное» стихотворение «Небесный барабанщик». Я в то время был заведующим редакцией московской «Правды» и при нем, при Есенине, написал на уголке стихотворения: «По-моему, годится». «А, впрочем, подожди,— говорю,— что скажут другие члены редколлегии». И послал стихотворение Н. Л. Мещерякову. Тот возвратил стихотворение тут же с такой надписью: «Нескладная чепуха. Не пойдет. Н. М.».

— Ну как... насчет заявления?

— Подожди... надо подумать...

Через неделю-другую Сергей Есенин учредил теперь уже достаточно известную, достаточно надоевшую и достаточно забытую литературную секту под названием «имажинизм» (Устинов Георгий. Сергей Есенин и его смерть.— «Красная газета», вечерний выпуск. Л., 1925, 29 декабря).

Вольно или невольно, но и Устинов и Мещеряков не поддержа-

ли поэта в очень важную для него пору. Тогда же, в марте 1919 г., Есенин подает заявление о зачислении в члены «литературно-художественного клуба» при Советской секции писателей, художников и поэтов. Вот текст этого, во многом примечательного, есенинского документа: «Признавая себя по убеждениям идейным коммунистом, примыкающим к революционному движению, представленному РКП, и активно проявляя это в моих поэмах и статьях, прошу зачислить меня в действительные члены литературно-художественного клуба Советской секции писателей, художников, поэтов. Член секции: Сергей Есенин» (*Собр. соч.*, т. 6, с. 89).

Стр. 435. *Любимый мой писатель — Гоголь.*— Поэт Николай Полетаев рассказывает о встрече с Есениным в 1918 г.: «Говорили мы с ним о литературе. Я спросил его, чем он сейчас больше всего интересуется.

— Изучаю Гоголя. Это что-то изумительное!

Есенин даже приостановился, а потом неподражаемо прочел на память несколько гоголевских строк и фраз из описаний природы».

Книги моих стихов...— К перечисленным надо добавить еще одно оригинальное есенинское издание. Оно вышло в Петрограде в 1918 г. отдельной книжицей. Это стихотворение «Исус-младенец».

...*«Страна негодяев»*...— см. коммент. к этой драматической поэме в наст. изд. с. 524.

...*Когда... не было бумаги, я печатал свои стихи вместе с Кусиковым и Мариенгофом на стенах Страстного монастыря или читая просто где-нибудь на бульваре.*— Эти строки при комментировании часто пытаются свести лишь к «разного рода эпатажу» и выходкам имажинистов. При этом не учитывают, что это было время, когда рождалось новое революционное искусство, бескомпромиссно отвергающее старую буржуазную мораль, литературу, религию; когда Блок создает «Двенадцать» и «Скифы», Маяковский — «Левый марш» и «Мистерию-Буфф», Есенин — «Небесного барабанщика» и «Инонию», когда Маяковский издавал свои знаменитые «Приказы по армии искусств», полемически утверждая: «Улицы — наши кисти. Площади — наши палитры». и провозглашая: «На улицу, футуристы, барабанщики и поэты!» (Маяковский Владимир. Полн. собр. соч. в 13-ти томах. М., Гослитиздат, 1956, т. 2, с. 15); когда имажинисты объявляли «всеобщую мобилизацию... действующего искусства» под лозунгом «Имажинисты всех стран, соединяйтесь!» (*Собр. соч.*, т. 5, с. 257).

Один из современников Есенина вспоминает, как в 1920 г. на одном из городских скверов Харькова поэт читал свою «Инонию». «Толпа гуляющих плотным кольцом окружила нас и стала сначала с удивлением, а потом с интересом слушать чтеца, Однако..., когда он резко, подчеркнуто бросил в толпу:

Тело, Христово тело
Выплевываю изо рта,—

раздались негодующие крики, кто-то завопил: «Бей его, богохульника!»... Неожиданно показались матросы. Они приблизились к нам через плотные ряды публики и весело крикнули Есенину: «Читай, товарищ, читай!» В толпе нашлись сочувствующие и зааплодировали. Враждебные голоса замолкли, только несколько человек, громко ругаясь, ушли со сквера» (Повицкий Л. Сергей Есенин (Воспоминания). Рукописный отдел ГБЛ).

Позднее, в 1923 г. Есенин скажет об этом времени: «Мы были зачинателями новой полосы в эре искусства, и нам пришлось долго воевать. Во время нашей войны мы переименовывали улицы в свои имена и раскрасили Страстной монастырь в слова своих стихов» (*Собр. соч.*, т. 5, с. 224).

Автобиография (стр. 436).— Датирована Есениным: «20 июня 1924».

Стр. 437. *...Поступил вольнослушателем в Университет Шанявского.*— В Московском городском народном университете им. А. Л. Шанявского Есенин занимался в 1913—1914 гг. на историко-философском отделении. Почти двухлетнее пребывание в этом, необычном для царской России, общедоступном, демократическом высшем учебном заведении — примечательная веха в жизни Есенина.

Печатался я: «Русская мысль», «Жизнь для всех», «Ежемесячный журнал» Миролюбова, «Северные записки» и т. д. Это было весной 1915 г.— 24 апреля 1915 г. Есенин в своем первом письме к Н. А. Клюеву сообщал: «Стихи у меня в Питере прошли успешно. Из 60 принято 51. Взяли «Северные записки», «Русская мысль», «Ежемесячный журнал» и др.» Как видим, Есенин не называет журнал «Жизнь для всех». В 1915 г. в этом журнале есенинские стихи не публиковались.

Позднее с Андреем Белым.— Псевдоним Бориса Николаевича Бугаева (1880—1934) — поэта, прозаика, одного из теоретиков символизма. Есенин познакомился с ним в Царском Селе, в начале 1917 г.

З. Н. Райх.— Весной 1917 г. Есенин познакомился с Зинаидой Николаевной Райх (1894—1939), в то время работавшей машинисткой в петроградской газете «Дело народа». В том же году — 4 августа Есенин и Райх вступили в брак, который был официально расторгнут 5 октября 1921 г. В дальнейшем З. Н. Райх — артистка театра Мейерхольда. (Подробнее см.: Есенина Т. С. Зинаида Николаевна Райх.— Сб. «Есенин и современность». М., «Современник», 1975.)

Стр. 438. *...женился на А. Дункан и уехал в Америку...*— Айседора Дункан (1878—1927) — американская танцовщица, осново-

положница нового направления в балете — свободного пластического танца. Приехав в Москву в 1921 г., по приглашению наркома по просвещению А. В. Луначарского, Дункан создает балетную школу, где с увлечением занимается с детьми рабочих, приобщая их к высокому искусству танца.

Есенин знакомится с Дункан в 1921 г., в мае месяце 1922 г. вступает с ней в брак. В том же месяце они вдвоем отправляются в зарубежную поездку. (Подробнее см. коммент. к «Железному Миргороду», с. 530 наст. изд.)

Стр. 438. *...основанное в 1919 году течение имажинизм...*— В начале 1919 г. в журн. «Сирена» (Воронеж) и одновременно в газ. «Советская страна» (Москва) была опубликована «Декларация» — своеобразный литературный манифест имажинистов — подписанная поэтами: Есениным, Ивневым, Мариенгофом, Шершеневичем и художниками — Эрдманом и Якуловым. Вскоре после этого ее авторы устроили в Политехническом музее шумный вечер стихов и выставку картин имажинистов. По поводу этого вечера в печати было справедливо замечено, что «новая группа» дает слишком мало положительных художественных достижений, снова агитационный бум, широковещательные декларации и манифесты» (журн. «Вестник жизни», 1919, № 67). Сегодня с особой очевидностью ясно, что большинство имажинистов по своим литературным взглядам были типичными представителями формалистического искусства тех лет. Еще в мае 1921 г. Есенин публикует статью «Быт и искусство» (см. наст. изд. с. 452), в которой говорит о своем принципиальном расхождении с другими членами имажинистской группы, по существу, по главному вопросу — искусство и жизнь.

О с е б е (стр. 439).— Датирована Есениным: «Октябрь 1925».

Семеновский Дмитрий Николаевич (1894—1960) — поэт.

Наседкин Василий Федорович (1894—1940) — поэт.

Колоколов Николай Иванович (1897—1933) — поэт и беллетрист.

Филипченко Иван Гурьевич (1887—1939) — поэт.

Из критической прозы

До сих пор нет, по существу, фундаментальных исследований, подробно, всесторонне рассматривающих литературно-критические и эстетические взгляды Есенина как одного из тех русских художников слова, которые в революционную Октябрьскую эпоху стояли у истоков новой отечественной литературы — литературы социалистического реализма.

До сих пор принято считать, что литературно-критическое наследие Есенина не велико в своем объеме. Если иметь в виду количество, то это утверждение в известной степени будет правомерным. Хотя и тут, как и в других подобных случаях, разумеется главным

образом не *страничный*, а *мыслительный* объем, новаторская суть теоретических суждений и выводов автора, убежденность его аргументации, наконец, образность, эмоциональность, народность его критического слова. Следует заметить, что кроме специальных работ по вопросам теории и истории литературы, во многих письмах Есенина, его автобиографиях, беседах с современниками, получают свое развернутое или более краткое освещение проблемы народности литературы, традиций и новаторства, фольклора, эстетического идеала художника; дается идейно-художественная оценка различным литературным течениям и группировкам, отмечаются характерные особенности современного литературного процесса; высказывается взгляд на творчество и отдельные произведения писателей-классиков и современников поэта; говорится об отношении к литературе, творчеству писателей в Советской России и на Западе; анализируется художественное своеобразие писателя в области формы, языка, стиля. (Ряд этих писем, а также автобиографий Есенина печатаются в наст. изд.)

При таком подходе, таком рассмотрении этой части литературного наследия Есенина, масштабность, объемность его содержания становится особенно очевидной. Равно как и тот бесспорный факт, что в нашей отечественной словесности это один из прекраснейших образцов *критической прозы*.

Ярославны плачут (стр. 441).— Долгое время текст этого, по всей вероятности, первого печатного выступления Есенина как критика оставался неизвестным. Хотя некоторые современники Есенина вспоминали эту статью, опубликованную в феврале 1915 г. в журн. «Женская жизнь». В 1975 г. статья «Ярославны плачут» была напечатана как забытое произведение в журн. «Молодая гвардия» (№ 10 публикация С. Кошечкина). Название, а точнее основная мысль, основная идея статьи, ее общий эмоциональный настрой, конечно же, рождены горькой действительностью военного лихолетья России. Вместе с тем, сказалось здесь влияние одного из любимых произведений Есенина — «Слова о полку Игореве». Особенно вечного образа русской мадонны — Ярославны.

«Внимая ужасам войны...» — Есенин начинает свою статью первой строкой известного стихотворения Н. А. Некрасова.

Мирра Лохвицкая (1869—1905) — поэтесса, известная в начале века.

Надежда Львова — поэтесса. В 1913 г., когда ей было 22 года, покончила с собой. Ей принадлежит стихотворение «Я оденусь невестой в атласное белое платье...». Его имеет в виду Есенин, цитируя, очевидно, по памяти.

Стр. 442. *Плачет Щепкина-Куперник* — известная русская поэтесса и переводчица Т. Л. Щепкина-Куперник (1874—1952). Цитируется ее стихотворение «Песня над рубашкой».

Стр. 443. *...Загремели с призывом Жанны д'Арк...*— Жанна д'Арк (ок. 1412—1431) — легендарная героиня французской истории. В мировой литературе стала символом женского мужества, мудрости, самопожертвования и отваги.

Любовь Столица (1884—1948) — поэтесса. Есенин цитирует ее стихотворение «Казак».

...Поэты, вам ли теперь молчать? — строка стихотворения «В далеком прошлом, в иные годы...», напечатанного М. Трубицкой в сентябре 1914 г. в журн. «Нива».

...Полки стремятся врага встречать... — из того же стихотворения М. Трубицкой. Процитировано не совсем точно.

...Вы над орлами, разбившими грудь... — цитируется стихотворение поэтессы Е. Хмельницкой, опубликованное в ноябре 1914 г. в журн. «Солнце России».

<Когда я читаю Успенского...> (стр. 445).

В 1915—1916 гг. в Петрограде Есенин встречался с литературным критиком и публицистом Львом Максимовичем Клейнбортом (1875—1950). Последний в своих воспоминаниях в 1926 г. рассказывает, как, при каких обстоятельствах появился отзыв об Успенском.

«Затеяв работу о читателе из народа — работу, опубликованную целиком уже в годы революции,— я разослал ряд анкет в культурно-просветительные организации, библиотеки, обслуживавшие фабрику и деревню, в кружки рабочей и крестьянской интеллигенции. Объектом моего внимания были по преимуществу Горький, Короленко, Лев Толстой, Глеб Успенский. Разумеется, я не мог не интересоваться, под каким углом зрения воспринимает этих авторов Есенин, и предложил ему изложить свои мысли на бумаге, что он и сделал отчасти у меня на глазах. Он, без сомнения, уже тогда умел схватывать, обобщать то, что стояло в фокусе литературных интересов... Оригинальнее всего он отозвался об Успенском. По самому воспроизведению деревни он выделял Успенского из группы разночинцев народников... Особенно пришелся ему по вкусу образ Ивана Босых» (*Воспоминания*, 150—152).

Рукопись Есенина, о которой рассказывает Клейнборт, включала шесть страниц. Известна из них только одна — шестая, пять других до сих пор не обнаружены.

Стр. 445. *...видел его на Растеряевой улице.*— «Нравы Растеряевой улицы» — одна из книг Г. Успенского. Ее имеет в виду Есенин.

О «Зареве» Орешина (стр. 446).

Знакомство Есенина с поэтом Петром Васильевичем Орешиным (1887—1938) произошло осенью 1917 г. в Петрограде. После первой встречи, как вспоминает Орешин, они «виделись часто и подолгу».

Это было время, когда Есенин, Клюев, Орешин, Ширяевец стре-

мятся к объединению как поэты, представляющие революционную крестьянскую Русь. В 1918 г. в петроградском издательстве «Революционная мысль», выходит их коллективный сборник «Красный звон», со вступительной статьей Иванова-Разумника «Поэты и революция». Есенин печатает в нем «Марфу Посадницу», «Ус», «Товарищ», «Певущий зов», «Отчарь». Большой раздел сборника — «Алый храм» (с. 45—89) составили стихи П. Орешина, среди них стихотворение «Зарево».

В том же 1918 г. в Правление Московского пролеткульта поступает «Заявление инициативной группы крестьянских поэтов и писателей об образовании крестьянской секции при Московском Пролеткульте», подписанное Есениным, Клычковым, Коненковым, Орешиным. (Подробнее об этом см.: *Собр. соч.*, т. 6, с. 211—213.)

Естественно, что когда в 1918 г. в Петрограде вышел первый сборник Петра Орешина — «Зарево», Есенин выступает в печати с рецензией, поддерживающей молодого автора. В дальнейшем отношения Есенина и Орешина складывались по-разному. Так, в 1920 г., в письме А. В. Ширяевцу, говоря о П. Орешине, Есенин отмечал, что тот «глядит как-то все исподлобья, словно съесть хочет... пишет плохие коммунистические стихи и со всеми ругается. Я очень его любил, часто старался приблизить себе, но ему все казалось, что я отрезаю ему голову, так у нас ничего и не вышло».

Стр. 446. «*Кто любит родину?..*» — строфы из стихотворения того же названия. Кроме него, в рецензии цитаты из стихов «Дед-Краснобай» и «На заре».

...*знаком читающей публике. Имя его пестрело по многим петроградским газетам и журналам*... — Орешин начал печататься с 1911 г. (газ. «Саратовский вестник» и др.). Позднее его стихи публикуют петроградские журналы («Вестник Европы», «Заветы» и др.).

О пролетарских писателях (стр. 448).

В статье речь идет о сб. «Завод огнекрылый», выпущенном издательством Московского пролеткульта в 1918 г. и «Сборнике пролетарских писателей» (под ред. М. Горького, А. Сереброва, А. Чапыгина), который вышел в петроградском издательстве «Парус» в том же 1918 г. Сохранился (кроме первого листа) черновой автограф статьи. Впервые мы рассказали о нем в 1957 г. в альм. «Литературная Рязань» (кн. 2).

С осени 1918 г. Есенин проявляет явный интерес к творчеству поэтов Пролеткульта, и прежде всего к Михаилу Герасимову. В соавторстве с ним и с С. Клычковым он пишет стихотворение «Кантата», посвященное памяти погибших борцов революции, опубликованное впервые в журнале самарского Пролеткульта «Зарево заводов» (1919, № 1, январь). Тогда же, осенью восемнадцатого года, Есениным в соавторстве с поэтами М. Герасимовым, С. Клычко-

вым, Н. Павлович был написан киносценарий «Зовущие зори», посвященный Великой Октябрьской социалистической революции. Сохранился беловой автограф киносценария, большая часть которого написана рукой Есенина. (Подробнее см.: Прокушев Ю. Сергей Есенин. Образ. Стихи. Эпоха. М., Советская Россия, 1979.)

В сентябре 1918 г. Есенин присутствует на Всероссийской конференции Пролеткультов, в ноябре выступает в студии Пролеткульта на вечере «Новейшей поэзии». Выше отмечалось, что Есенин как один из членов «Инициативной группы» подписывает письмо, в котором идет речь о создании «крестьянской секции, как привходной в общей работе Московского Пролеткульта» (*Собр. соч.*, т. 6, с. 213).

К сожалению, руководители и «теоретики» Пролеткульта (В. Керженцев, П. Безсалько и др.), относясь сектантски-догматически к писателям «не пролетарского происхождения», не поддержали тяготения Есенина и других крестьянских писателей к Пролеткульту.

Следует заметить, что печатные органы Пролеткульта — журн. «Пролетарская культура», «Грядущее», «Гудки» и др.— в ряде рецензий и статей на первые послеоктябрьские произведения Есенина бездоказательно, подчас в грубой форме, пытались отторгнуть поэта, его творчество от новой революционной России. «Нельзя допускать, чтобы со страниц советской прессы разносилась всякая ахинея»,— так отозвался рецензент об «Иорданской голубице» Есенина на страницах журнала «Пролетарская культура» (М., 1918, № 4, с. 37).

Конечно, раздавались иные суждения, но общий негативный пафос пролеткультовской критики по отношению к Есенину очевиден. Есенин же, рассматривая произведения писателей, представленных в рецензируемых сборниках, стремится дать им объективную оценку.

Стр. 448. *...нельзя сказать того, что... с выразителями коллективного духа Аполлон гуляет по-дружески.*— В древнегреческой мифологии Аполлон — бог света, музыки, поэзии. Автор как бы хочет сказать, что участникам сборника не хватает истинного «божественного» вдохновения, поэтической дерзости.

...строки поэта Кириллова... — Владимир Тимофеевич Кириллов (1890—1943) — поэт, начал печататься с 1913 г., первая книга «Стихотворения» (изд. Петроградского Пролеткульта) вышла в 1918 г., в двадцатые годы входил в группу «Кузница». Есенин, очевидно, по памяти цитирует стихотворение «Мы», написанное Кирилловым в 1917 г. Точно строфа звучит так:

Мы во власти мятежного, страстного хмеля,
Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты»,
Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.

...преступного геростратизма... — нарицательное выражение. Житель из Эфеса Герострат, желая «прославиться», сжег знаменитый храм Артемиды (IV в. до н. э.).

...по отношению к Софии футуристов... — В своих выступлениях, особенно коллективных манифестах, публиковавшихся в альманахах «Пощечина общественному вкусу», «Садок судей», «Рыкающий Парнас» и др. футуристы решительно отвергали писателей-классиков, их связь с современностью: «Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности. Кто не забудет своей *первой* любви, не узнает последней» («Пощечина общественному вкусу»).

Есенин всегда критически воспринимал шумные манифесты футуристов: «Бессилие футуризма выразилось главным образом в том, что, повернув сосну кореньями вверх и посадив на сук ей ворону, он не сумел дать жизнь этой сосне...» — писал Есенин в «Ключах Марии» (*Собр. соч.*, т. 5, с. 186).

Стр. 449. *...волчьею мудростью века по акафистам Ницше...* — имеются в виду взгляды реакционного немецкого философа-идеалиста Фридриха Ницше (1844—1900).

Морозов Иван Игнатьевич (1883—1942) — поэт. Есенин познакомился с ним в 1916 г. Морозов подарил ему свою книжку «Красный звон». В статье цитируется стихотворение «Из осенних мотивов», напечатанное в «Сборнике пролетарских писателей».

Худяков Кондратий Кузьмич (1887—1921) — поэт. Цитируется по его стихотворению «Ночью» из «Сборника пролетарских писателей».

Стр. 450. *Герасимов* Михаил Прокофьевич (1889—1939) — поэт. В 1905 г. вступил в большевистскую партию. Участвовал в революционном движении. Находился в эмиграции. В Париже посещал кружок рабочих писателей. Осенью 1915 г. был выслан из Франции в Россию за неподчинение властям и пропаганду против войны. После Октябрьской революции — на руководящей партийно-государственной работе. Печатается с 1913 г. Первые книги: «Вешние воды» (1917), «Завод весенний» (1919).

Есенин часто встречался с М. Герасимовым, об их сотрудничестве см. с. 512 наст. изд. В статье Есенин цитирует стихи Герасимова «Кочегар» и «Ночью».

Повесть «Вольница» — напечатана в «Сборнике пролетарских писателей», автор М. Черноков.

Стр. 451. *Бибик* Александр Павлович (1877—1976) — писатель.

Бевсалько Павел Карпович (1887—1920) — писатель.

Быт и искусство (стр. 452).

В первые годы революции Есенин проявляет особый интерес к выявлению природы художественного образа, отношению поэзии

к жизни и другим эстетическим проблемам. В 1918 г. он создает свою теоретическую работу «Ключи Марии».

Сближаясь с имажинистами, Есенин поначалу считал, что его эстетические принципы близки к их творческим устремлениям. На самом же деле формалистическое творчество имажинистов было глубоко чуждо есенинской поэзии. Активно критикуя лозунг футуристов «слово — самоцель», имажинисты настойчиво выдвигали «новый» лозунг: «образ — самоцель», трактуя его откровенно формалистически. В брошюре «2×2=5» один из теоретиков имажинизма Вадим Шершеневич утверждал: «*Победа образа над смыслом и освобождение слова от содержания тесно связаны с поломкой старой грамматики и с переходом к неграмматическим фразам*... Мы хотим славить несинтаксические формы. Нам скучно от смысла фраз: доброго утра! Он ходит!.. Нам милы своей образностью и бессмысленностью (!!! — *Ю. П.*) несинтаксические формы: доброй утра! или доброй утры! или он хожу!» (Шершеневич Вадим. «2×2=5». Листы имажиниста. М., 1920, изд. «Имажинисты», с. 45). Ему вторил А. Мариенгоф, «доказывающий», что «Искусство — есть форма. Содержание — одна из частей формы» (Мариенгоф А. Буян-остров. Имажинизм. М., 1920, с. 10).

Вот некоторые примеры подобной «поэзии»:

Друзья ремингтоны, поршни и шины,
Прыщи велосипедов — на оспе мостовой!
Никуда я от вас, машины, не уйду
С натощак головой.

Это из «поэмы» Шершеневича «Перемирие с машинами». А вот строки из «поэмы» Мариенгофа «Развратничаю с вдохновением»:

Город к городу каменным задом,
Хвостами окраин
Окраины.
Любуйтесь, граждане, величественнейшей случкой.

Подзаголовок статьи «Быт и искусство» («Отрывок из книги «Словесные орнаменты») свидетельствует о том, что эта статья должна была явиться частью книги, которую Есенин, судя по его заявлению в отдел печати Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов, предполагал выпустить в 1920 году. Книга не выходила. При всем том, статья «Быт и искусство» воспринимается как работа завершенная. Она содержит аргументированную и принципиальную критику взглядов имажинистских «собратьев» поэта, по ряду коренных вопросов и, прежде всего, отношению и взаимодействию искусства с жизнью. Несколько позднее, в 1921 г., Есенин, при обсуждении его «Пугачева», вновь подчеркнул свое принципиальное рас-

хождение с имажинистами. «Он сказал, что расходится во взглядах на искусство со своими друзьями-имажинистами: некоторые из его друзей считают, что в стихах образы должны быть нагромождены беспорядочной толпой. Такое беспорядочное нагромождение образов его не устраивает, толпе образов он предпочитает органический образ» (Г р у з и н о в И. Есенин разговаривает о литературе и искусстве. М., Книгоиздательство В. С. П., 1927, с. 10).

Стр. 452. *...дух разумниковской школы...* — Имеется в виду время (1916—1918 гг.), когда Есенин сближается с критиком неонароднического толка Р. В. Ивановым-Разумником. Его религиозно-мистические взгляды о «христианском» социализме и особой исторической миссии русского крестьянства оказали известное влияние на идейно-художественные искания Есенина как поэта в канун революции и первые месяцы после Октября семнадцатого года, когда Есенин ряд своих стихов и поэм печатает в газ. «Знамя труда» и альм. «Скифы», редактируемых Ивановым-Разумником.

Стр. 453. *...к нашей скифской эпохе.* — Имеется в виду время: VII в. до н. э.— III в. н. э. Народы, кочевавшие тогда в Причерноморской равнине, получили в истории собирательное название скифов.

Вспомним тавров, будинов и сарматов... — названия древнейших народов, которые жили: тавры — на Крымском полуострове; будины (скифское племя), сарматы (савроматы) — между Доном и Волгой.

Описывая скифов, Геродот... — Имеется в виду «История греко-персидских войн» древнегреческого историка Геродота (ок. 484—425 гг. до н. э.), который, описывая поход персидского царя Дария на скифов, рассказывает об их происхождении, верованиях, нравах и быте.

Стр. 454. *Отсюда Даждь-бог...* — одна из божественных сил в мифологии восточного славянства.

Громокипящий кубок с неба... —строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза».

Стр. 455. *Взбрезжи, полночь, луны кувшин...* — Есенин цитирует свое стихотворение «Хулиган».

...страны «Инония»... — См. коммент. к поэме «Инония», с. 518 наст. изд.

Стр. 456. *...«Марьи зажги снега, заиграй овражки», «Авдотьи подмочи порог» и «Федули сестреньки» построены по самому наилучшему приему чувствования своей страны...* — Автором взяты выражения из народного календаря (месяцеслова). Каждое из них заключает в себе многовековой опыт земледельца в его постоянных «контактах» с природой. Конкретно приведенные выражения обозначают такие дни и времена года: 1 апреля — день Марии Египетской, 1 марта — день Евдокии, 5 февраля — день Агпотьи и Федулии.

(Подробнее см.: Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и примерах. П., 1901; Даль В. Пословицы русского народа. М., 1957.)

У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова... — Имажинисты выступали против национального искусства, национальных традиций в поэзии, ее языке, стиле, считали старомодным чувство любви к родине. Так, В. Шершеневич с сожалением отмечал, что в стихах Кусикова все еще остается «восточный колорит». Он же открыто провозглашал: «Национальная поэзия — это абсурд; признать национальную поэзию, это то же самое, что признать поэзию крестьянскую, буржуазную и рабочую. Нет искусства классового и нет искусства национального... любовь к родине — это плохая сентиментальность» (Шершеневич В. Кому я жму руку, 1920, с. 23).

У Анатолия Франса есть чудесный рассказ об одном акробате... — Есенин вспоминает рассказ «Жонглер богоматери».

Вступление ⟨к сборнику «Стихи скандалиста»⟩ (стр. 457).

Стр. 457. ...*4 стихотворения «Москва кабацкая»...* — Имеются в виду стихотворения: «Да! Теперь решено. Без возврата...», «Снова пьют здесь, дерутся и плачут...», «Сыпь, гармоника. Скука... Скука...», «Пой же, пой. На проклятой гитаре...».

Ответы на анкету о Пушкине (стр. 460).—В воспоминаниях о Есенине современники поэта неоднократно отмечают, что он «с особым преклонением относился к Пушкину. Из стихов Пушкина любил декламировать «Деревню» и особенно «Роняет лес багряный свой убор...».

— Видишь, как он! — добавлял всегда после чтения и щелкал от восторга пальцами» (*Воспоминания*, 258).

С каждым годом своей жизни Есенин все ближе и ближе подходил к Пушкину. «В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину»,— писал он в автобиографии «О себе» в октябре 1925 г.

В 1924 г. журн. «Книга о книгах» разослал анкету о Пушкине. В дни 125-летия поэта ответы Есенина и ряда других писателей были напечатаны в журнале. В это же время Есениным было написано стихотворение «Пушкину», которое он читал у памятника поэту (см. коммент. к стихотворению «Пушкину» с. 513 наст. изд.).

В. Я. Брюсов (стр. 461).— В свое время принято было считать (не без «помощи» имажинистских «собратьев» поэта), что Есенин отрицательно относился к Брюсову. Так, один из них утверждал, что «Брюсов для Есенина был всегда посторонним. Они были чужды друг другу, между ними никогда не было близости...» (Грузинов Иван. Есенин разговаривает о литературе и искусстве. М., 1926, с. 7).

Статья, написанная Есениным в дни смерти Брюсова, показывает всю односторонность и несостоятельность подобных суждений и убедительно говорит о подлинном отношении Есенина к Брюсову, его поэзии. Статья «В. Я. Брюсов» долгое время была неизвестна. Впервые опубликована нами в альм. «Литературная Рязань», 1955, № 1, с. 339.

Кроме статьи, Есенин в дни смерти Брюсова написал стихотворение «Памяти Брюсова». Оно было напечатано в газете «Заря Востока» 11 октября 1924 г.

Стр. 461. *Умер Брюсов...* — В. Я. Брюсов скончался 9 октября 1924 года.

...О смерти Гиппиус и Мережковского... — Писатели, эмигрировавшие после Октябрьской революции за границу, где злобно выступали против Советской власти.

После смерти Блока... — А. А. Блок умер 7 августа 1921 г.

О, закрой свои бледные ноги.— Имеется в виду стихотворение Брюсова из сб. «Русские символисты» (1895 г.), состоящее всего из одной строки.

Стр. 462. *Но вас, кто меня уничтожит...* — этими строками заканчивалось известное брюсовское стихотворение «Грядущие гунны».

Из эпистолярной прозы

В литературном наследии Есенина особое место занимает его эпистолярная проза. В последнем шеститомном Собрании сочинений Есенина (М., «Художественная литература», 1977—1980) опубликовано более двухсот писем поэта, составивших отдельный том. Часть писем Есенина до сих пор не найдена, часть не сохранилась и, по-видимому, утрачена навсегда.

Мир писем Есенина — удивительно светлый, сердечный, чистый мир, по-своему неповторимо прекрасный и драматичный. Это истинно лирическая проза, со своим главным героем.

При обращении к письмам Есенина становятся особенно несостоятельными многие «легенды», созданные в свое время вокруг имени поэта. Таковы, к примеру, юношеские письма Есенина, после публикации которых в свое время стала особенно очевидной научная несостоятельность «старых» представлений о Есенине — идиллически настроенном деревенском юноше, влюбленном в патриархальную старину, малообразованном и далеком от истинной культуры, в стихах которого якобы больше религиозных мотивов и образов, чем реальной жизни. В настоящем издании публикуются письма Есенина к другу юности Григорию Панфилову, относящиеся к 1911—1913 гг., а также ряд зарубежных писем. В отдельный раздел выделены письма, в которых затрагиваются вопросы, связанные с твор-

чеством Есенина, его литературно-общественной и редакционно-издательской деятельностью.

С каждым годом становится известным все большее количество писем Есенина. Расширяется представление об эпистолярной прозе поэта — уникальной части его литературного наследства.

Письма Есенина — это как роман его жизни, где каждое слово правды и только правды. В письмах Есенина встает перед нами Личность поэта, его Время, его Эпоха.

Из писем к Г. А. Панфилову

1. Письмо, 7 июля 1911 г. (стр. 463).— Первое из известных есенинских писем, адресованных Панфилову.

[1] Вероятнее всего, письмо утрачено. Других источников, говорящих о его содержании, нет.

[2] Есенин приезжал к отцу, который работал у купца Н. В. Крылова в Замоскворечье.

[3] Это была первая встреча поэта с миром большого города. «Лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва»,— скажет Есенин позднее, в 1922 г.

[4] *Клавдий* Петрович Воронцов — один из близких друзей детства, воспитывающийся в доме И. Я. Смирнова — константиновского священника. «Есенин увлекался разными играми и драками,— вспоминал позднее Воронцов,— в то же время больше увлекался книгами, еще в последнем классе сельской школы у него была масса книг, прочитанных им» (см.: Воронцов К. Воспоминания о Есенине.— Рукописный отдел ИМЛИ им. Горького).

2. Письмо, июнь — июль, до 8, 1912 г. (частично) (стр. 463).

[1] До настоящего времени стихов Есенина в рязанских и московских периодических изданиях 1912—1913 гг. не обнаружено. Первое известное ныне печатное выступление Есенина: публикация стихотворения «Береза» в январе 1914 г. в журн. «Мирок», под псевдонимом «Аристон».

[2] Стихотворение неизвестно.

[3] Дмитрий *Пыриков*, товарищ Есенина в Спас-Клепиках, умер 18-ти лет в 1912 г.

3. Письмо, август, до 18, 1912 г. (частично) (стр. 464).

[1] Есенин в это время находится в Москве. «Отец,— рассказывает сестра поэта А. А. Есенина,— вызвал его к себе в Москву и устроил работать в конторе к своему хозяину с тем, чтобы осенью Сергей поступил в учительский институт» (Есенина А. А. «Это все мне родное и близкое...».— «Молодая гвардия», 1960, № 7, с. 209),

[3] Есенин надеялся, что по приезде в Москву он сможет напечатать свои стихи, встретиться с поэтами, бывать в редакциях журналов: а тут, как назло, все складывалось наоборот: скучная конторская служба, «разлад» с отцом, которому казалось, что из увлечений сына стихами путного ничего не выйдет. К тому же, в редакциях московских журналов и газет не спешили с их публикацией. Все это угнетало Есенина, особенно — чувство одиночества.

4. П и с ь м о, а в г у с т 1 9 1 2 г. (ч а с т и ч н о) (стр. 464).

[1] Подробно о работе над этой вещью говорится в письмах Есенина к М. П. Бальзамовой. «Пишу много под нависшею бурею гнева к деспотизму. Начал драму «Пророк». Читал ее у меня довольно образованный человек, кончивший университет...» (Письмо от 1 июня 1913 г. *Собр. соч.*, т. 6, с. 34). «Пророк» мой кончен... Очень удачно я его написал в экономическом отношении (черновик — 10 листов больших, и 10 листов — беловых написал, только уж очень резко я обличал пороки развратных людей мира сего» (Письмо от 12 июня 1913 г. *Собр. соч.*, т. 6, с. 36). Рукопись «Пророка» неизвестна.

6. П и с ь м о, м а р т 1 9 1 3 г. (ч а с т и ч н о) (стр. 466).— Письмо характерно для периода напряженных нравственных и мировоззренческих поисков молодого поэта. На жизненном поведении Есенина, его резких суждениях о человеческих «проступках» ряда исторических лиц, особенно французского поэта Шарля Бодлера (1821—1867) и революционера-анархиста Кропоткина Петра Алексеевича (1842—1921), сказалось очевидное влияние толстовских идей, с которыми он знакомится впервые еще в Спас-Клепиках, в панфиловском кружке, когда они, по свидетельству одного из его участников: «Читали и обсуждали роман Л. Толстого «Воскресение», его трактат «В чем моя вера?» и другие книги писателя. Мечтали побывать в Ясной Поляне... Толстовские идеи сильно захватили тогда и Есенина» (цит. по записи беседы с Г. Л. Черняевым в Спас-Клепиках в августе 1956 г.).

[1] Имеется в виду основатель древней восточной религии — буддизма, мифический мудрец Сакья-Муни, прозванный «Будда», что значит «просветленный».

[2] Имеется в виду письмо Белинского, в котором он с революционно-демократических позиций критикует взгляды Гоголя, изложенные в книге «Выбранные места из переписки с друзьями». Написано письмо 15 июля 1847 г.

[3] ...Дать широкому слою читателей доступный по форме и разнообразный материал для всестороннего духовного развития,— такую цель ставил журнал (см. «Огни», 1912, № 2). Он выходил в Москве с ноября 1912 г. Проявляя к нему интерес, помогая распространению «Огней», Есенин надеялся в дальнейшем помещать там свои стихи. Однако в апреле 1913 г. журнал был закрыт царскими

властями. Последний, пятый номер «Огней», поступивший в продажу в конце марта 1913 г., был конфискован и уничтожен.

[4] Пасха приходилась в 1913 г. на 14 апреля. В это время журнал перестал выходить.

7. Письмо, не ранее 24 сентября 1913 г. (стр. 467).

[1] Речь идет об участии рабочих-печатников типографии Сытина в однодневной общемосковской забастовке 23 сентября 1913 г. «Рабочие типографии Г. Сытина 23 сего сентября 8 ч. 10 м. утра кончили работу в количестве 1650 чел., выражая сочувствие арестованным служащим трамвая. Выйдя во двор, запели песни, а на Пятницкой улице, против здания типографии, остановили вагон трамвая № 557... Задержаны трое и замечены в толпе агитирующие. Список коих при сем прилагается»,— докладывал пристав в своем рапорте 23 сентября 1913 г. полицмейстеру 1-го отделения. 24 сентября на рапорте пристава о забастовке сытинцев появилась резолюция московского градоначальника об аресте рабочих типографии, указанных в списке. В тот же день они были арестованы, что вызвало новую волну протеста. Узнав, что товарищи арестованы, сытинцы вновь прекратили работу. (Подробнее см.: Прокушев Ю. Юность Есенина. М., 1963, с. 147—152.)

[2] Работающая вместе с Есениным корректор М. Мешкова рассказывает: «Когда арестовали несколько наборщиков, мы все это видели, возмущались. Есенин был особенно взволнован и расстроен случившимся» (цит. по записи беседы с М. М. Мешковой 4 февраля 1962 г.).

8. Письмо, конец сентября 1913 г. (стр. 467).— Романтически настроенному юноше, пока еще во многом стихийно захваченному волной нового революционного подъема, подавление царскими властями выступления рабочих в сентябрьские дни 1913 г. казалось непоправимой бедой, крушением надежд. Все это находит отражение в переписке с Панфиловым после сентябрьских событий. В данном письме это выражено особенно отчетливо.

[1] Строки широко известной революционной песни «По пыльной дороге телега несется...».

[2] Есенин как бы напоминает другу об обращении Белинского к Гоголю, в его знаменитом письме 1847 года: «...Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего прекрасного далека...»

[3] Цитируются строки стихотворения поэта, философа-идеалиста Соловьева Владимира Сергеевича (1853—1900).— «Израиля ведя стезей чудесной...».

[4] Из стихотворения Лермонтова «И скучно и грустно...».

[5] Письмо А. Н. Есенина к Панфилову неизвестно.

[6] До настоящего времени остается неизвестным, о какой «неосторожности» конкретно идет речь. Всего вероятнее, что Панфилов

весьма откровенно и яано сочуастаенно высказыаает саое отношение к революционным событиям в Москае, о которых сообщил ему Есенин.

[7] Есенин и сам прибегает к подобной «конспирацнн». Так письмо об аресте рабочих-печатников написано им резко измененным почерком, абсолютно непохожим на его почерк.

[8] В Центральном государственном архиве Октябрьской революции в Москае хранится дело, аaведенное на Есенина Московским охранным отделением. В саое аремя довелось ознакомиться с этим делом, а также с документами о Есенине особого отдела департамента полиции в Петрограде и Московского охранного отделения. В картотеках Московской охранки и департамента полиции обнаружены регистрационные карточки, составленные на Есенина в 1913 г. В охранке хранились донесения сыщиков, которые а ноябре 1913 г. вели за ним слежку. Там же имеется запрос охранного отделения о Есенине. В охранке Есенин имел кличку «Набор». Полиция отнюдь не случайно ааинтересовалась Есениным. В марте 1913 г. а руки Московского охранного отделения попал важный документ, ааставивший охранку обратить анимание на молодого рабочего типографии Сытина. Документ этот — письмо «пяти групп сознательных рабочих Замоскворецкого района», резко осуждавших раскольническую деятельность ликвидатороа и антиленинскую позицию газ. «Луч». Пятьдесят подписей стоит под этим письмом. Среди них — подпись Сергея Есенина. (Подробнее см.: П р о к у ш е в Ю. Юность Есенина. М., 1963, с. 135—146.)

[9] Для более глубинного, эмоционального состояния своей души, мыслей и чувств, аладеющих им а данный момент, окружающей его обстановки, Есенин, как уже было не однажды замечено, аводит в текст своих писем выразительные песенные строки, народные крылатые слова, стихотворные строфы многих поэтоа. Приводя их большей частью по памяти, Есенин, случается, дает им как бы свою «аольную» редакцию, всегда точно при этом сохраняя их сокроаенный смысл. Так поступает он и в данном случае со строками известного стихотворения Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

[10] Опять тот же случай. Есенин дает свою «редакцию» одной из строк стихотворения Кольцова «Песня» («Не скажу никому, отчего я весной...»).

[11] Во время Декабрьского вооруженного восстания в 1905 г. дружинники-сытинцы с оружием в руках сражались на баррикадах, аозаеденных на Пятницкой улице. Стремясь сломить боевой дух рабочих-сытинцев, царские войска по приказу адмирала-карателя Дубасова подожгли типографию.

[12] См. стихотворение Никитина «Вырыта заступом яма глубокая...».

[13] Из стихотаорения М. Лохаицкой «Я хочу умереть молодой...».

[14] Русская народная песня (первый куплет).

[15] См. коммент. на с. 535.

[16] Есенин вспоминает эпизод из «Мертвых душ» Гоголя.

10. Письмо, октябрь 1913 г. (стр. 470).

[1] Строки из юношеского стихотворения Есенина «Звуки печали» (см. *Собр. соч.*, т. 4, с. 26).

11. Письмо, январь 1914 г. (стр. 471).

[1] Всего вероятнее речь идет о журн. «Мирок», напечатавшем в январе 1914 г. стихотворение «Береза». Помог Есенину опубликовать первые его стихи литератор В. А. Попов, редактировавший сытинские детские журналы. «У Сергея,— рассказывает близко знавшая Есенина в те годы А. Р. Изряднова,— крепко сидело в голове — он большой поэт. Поэт-то поэт, а печатать нигде не печатают, тогда пришлось обратиться к редактору печатавшихся у Сытина журналов «Вокруг света» и «Мирок» Влад. Алек. Попову. Первые его стихи напечатаны в журн. «Мирок» за 1913—1914 гг.» (Изряднова А. Р. Воспоминания.— Цит. по автографу, любезно переданному нам в 1956 г. литератором М. П. Мурашевым).

[2] 25 февраля 1914 г. Панфилов умирает от туберкулеза легких. Отец Гриши, А. Ф. Панфилов, в письме от 2 марта 1914 г. к Есенину, рассказывая о последних предсмертных часах жизни сына, замечает: «Почти ежедневно он вспоминал о тебе, жаль, говорит, что около меня нет Сережи и некому успокоить мою наболевшую душу» (отдел рукописей ГБЛ, ф. 130/7).

12. Письмо, февраль 1914 г. (стр. 471).— Этому письму суждено было стать последним в переписке Есенина с Панфиловым. Написано оно на обороте фотографии поэта («Какова моя персона?») и было отправлено из Москвы не ранее второй половины февраля. В детских журналах за этот месяц впервые были напечатаны стихи Есенина за подписью автора, а не под псевдонимом «Аристон». Вырезку из журнала с одним из этих стихотворений («Пороша» или «Воробышки») Есенин посылает в письме другу. Однако, судя по всему, письмо пришло в Спас-Клепики, когда Гриши Панфилова не стало (см. коммент. к предыдущему письму).

Из зарубежных писем

Письма Есенина из Европы и Америки на родину занимают в эпистолярном наследии поэта объемно небольшое место. Судя по всему, значительная часть их, к сожалению, не сохранилась. Даже их примерное содержание (по другим косвенным источникам) остается неизвестным. Между тем, заграничные письма Есенина представляют несомненный и особый интерес, даже те, что, казалось бы, имеют сугубо «деловой» характер. Во всех поэт остается поэ-

том, остро чувствующим окружающий мир, сумевшим разглядеть подлинное лицо буржуазного Запада и закрепить увиденное в образном слове. В настоящее издание включены (полностью или частично) некоторые из заграничных писем Есенина. Остается заметить, что зарубежные письма, несомненно, дополняют и расширяют картину, воссозданную в есенинском очерке «Железный Миргород» (см. коммент. к нему и другим материалам, касающимся зарубежной поездки, с. 530 наст. изд.)

13. И. И. Шнейдеру, 21 июня 1922 г. (частично) (стр. 472).

[1] Шнейдер Илья Ильич (1891—1980) — газетный репортер, журналист, автор книги «Записки старого москвича» и «Встречи с Есениным». По поручению наркома по просвещению Луначарского в 1921 г. занимался организационно-административными делами по созданию в Москве балетной школы-студии А. Дункан. Тогда же знакомится с Есениным. В дальнейшем заведует этой студией.

[2] Есенин имеет в виду книгу немецкого философа-идеалиста Освальда Шпенглера (1870—1936) — «Закат Западного мира» (в русском переводе «Закат Европы»).

14. М. М. Литвинову, 29 июня 1922 г. (стр. 473).— Литвинов Максим Максимович (1876—1956) — известный государственный и партийный деятель, видный представитель советской дипломатической школы. Есенин обращается к нему в то время, когда Литвинов как заместитель наркома иностранных дел возглавлял советскую делегацию на международной конференции в Гааге.

[1] В берлинском «Кафе Леон», где обычно собирались по-разному настроенные русские интеллигенты-эмигранты, 12 мая 1922 г. состоялось первое выступление Есенина. Поэт пришел один. Начал читать стихи. Через некоторое время появилась Дункан, неожиданно предложившая в честь Есенина спеть «Интернационал». Она и Есенин запели, к ним присоединились из зала. Из зала же раздался свист, крики «долой». Есенин вскочил на стул: «Вы все равно не пересвистите!» И продолжал петь. И снова читал стихи (см. Шнейдер И. Встречи с Есениным. М., 1965, с. 59). В Гаагу Есенин не поехал: 4 июля 1922 г. у бельгийского консула в Кельне он получил визу, разрешающую ему и Дункан с 5 июля двухнедельное пребывание в Брюсселе.

15. А. М. Сахарову, 1 июля 1922 г. (частично) (стр. 473).— Сахаров Александр Михайлович (1894—1952) — издательский работник. С Есениным познакомился в 1919 г., будучи членом коллегии полиграфического отдела ВСНХ. Был близок имажинистам, не однажды помогал выходу их книг. Позднее Есенин посвятил Сахарову «маленькую поэму» — «Русь советская». (Подробнее см.: *Собр. соч.*, т. 6, с. 296—297.)

[1] Нарицательное выражение по имени одного из героев романа

Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» — Смердякова, являвшего собой пример безнравственности и бездуховности.

[2] Речь идет о поэте А. Б. Мариенгофе.

16. А. Б. М а р и е н г о ф у, 9 и ю л я 1 9 2 2 г. (ч а с т и ч н о) (стр. 474).— Об адресате письма см. коммент. к стихотворению «Я последний поэт деревни...» (с. 512), статье «Быт и искусство» (с. 542), автобиографии 1924 г. (с. 536).

[1] Есенин имеет в виду себя и Мариенгофа. Однако задуманные издания не были осуществлены. Лишь в Париже на французском языке в 1922 г. вышла книга Есенина «Исповедь хулигана» (перевод Ф. Элленса и М. Милославской).

[2] См. коммент. к письму М. М. Литвинову, с. 551 наст. изд.

[3] *Гржебин* Зиновий Исаевич (1869—1929), издатель, по приезде Есенина в Берлин подписавший с ним договор и выпустивший его книгу «Собрание стихов и поэм», т. 1 (Берлин, 1922).

[4] Объявление о выходе книги Есенина и Мариенгофа было помещено в газ. «Накануне» 28 мая 1922 г. По неизвестной причине книга не была напечатана. Нет сведений о возможном ее составе.

[5] См. статью историка литературы и критика Когана Л. С. (1872—1932) «Есенин» в журн. «Красная новь», № 3 за 1922 г., в которой, в частности, говорилось, что «Бунт Есенина, это — крестьянский бунт, без выдержки, бунт не прочный, срывающийся, и тем не менее близкий и сродный социальной революции».

17. А. Б. М а р и е н г о ф у, 1 2 н о я б р я 1 9 2 2 г. (ч а с т и ч н о) (стр. 475).

[1] Конкретно речь идет о выступлении на эстрадных подмостках Запада, включая Нью-Йорк, певицы легкого жанра Кремер Изы Яковлевны, эмигрировавшей из России после Октября 1917 г., а по существу — шире: о примитивном художественном уровне и потребительско-торгашеском отношении к искусству, с которым поэт столкнулся в буржуазном мире, особенно в Америке (см. очерк «Железный Миргород» с. 425 наст. изд.).

Из писем о литературе

Проблемы правды художественной, народности, историзма, чувства Родины, искусства и жизни, языка и стиля, поэтического образа, вопросы литературной теории и критики, редактуры, составления, композиции, издания новых книг, наконец, организационная сторона творческого процесса: писательские течения и группировки, творческие объединения и союзы, их взаимодействие, «программы», «манифесты» и литературно-общественная позиция — обо всем этом, в той или иной форме, идет речь в большинстве есенинских писем. Это во многом определяет их важное значение

для более полного раскрытия литературно-эстетических взглядов поэта. Ряд таких писем печатается в данном издании.

18. А. В. Ширяевцу, 21 января 1915 г. (стр. 477).— Уже в ранний период Есенин завязывает контакты с теми из молодых поэтов, которые близки ему творчески. Характерно в этом отношении и настоящее письмо, отправленное им Александру Ширяевцу, находившемуся в то время в Ташкенте. Ширяевец родился в России (село Ширяево, Самарской губернии, отсюда его псевдоним, а настоящая фамилия — Абрамов). В Среднюю Азию Ширяевец переехал еще в 1905 г. Ему было 18 лет. Первые стихи печатает в 1908 г., первая книга — «Запевка» выходит в 1916 г. в Ташкенте. В дальнейшем Александр Ширяевец станет одним из самых близких друаей Есенина. В мае 1921 г. Есенин встречается с Ширяевцем в Ташкенте. С 1922 г. до своей смерти в 1924 г. Александр Ширяевец живет в Москве.

[1] В январском номере журн. «Друг народа» опубликовано есенинское стихотворение «Узоры» и «Хоровод» Ширяевца.

[2] Имеется в виду «Ежемесячный журнал», где в 1914 г. было напечатано несколько стихотворений Ширяевца.

[3] *«Метель»* — так называлось стихотворение Ширяевца, помещенное во втором номере этого журнала за 1915 г.

[4] Поэт *Клычков* (псевдоним; наст. фамилия Лешенков) Сергей Антонович (1889—1940), автор книг: «Песни» (М., 1911), «Потаенный сад» (М., 1913), «Дубравна» (М., 1918), «Гость чудесный» (М., 1923) и др.

[5] Псевдоним писателя Каменского Алексея Владимировича (1887—1942).

[6] Поэт Росславлев Александр Степанович (1883—1920).

[7] См. с. 532 наст. изд.

[8] В этом издании стихи Есенина появляются несколько позднее, спустя три месяца после приезда в Петроград (в марте 1915 г.) и встречи его с Блоком, Городецким и редактором «Ежемесячного журнала» Миролюбовым. В шестой (июньской) книжке журнала были опубликованы: «Сыплет черемуха снегом...», «Девичник» («Я надену красное монисто...»), «Троица» («Троицыно утро, утренний канон...»).

[9] В Москве в четырнадцатом году стал выходить литературный журнал «Млечный Путь». Издавал и редактировал его Алексей Михайлович Чернышев. Он охотно печатал в журнале поэтическую молодежь. Тоненькие журнальные тетрадочки. Номера «Млечного Пути» за 1915—1916 гг. Известные и забытые авторские имена: Николай Ляшко и Илья Репин, Ф. Шкулев и Юрий Зубовский, Новиков-Прибой и П. Терский, Игорь Северянин и Иван Коробов, Спиридон Дрожжин и Сергей Буданцев. В «Млечном Пути» были впервые напечатаны стихотворения Есенина «Кручина» («Зашумели над

вароками тростники...») и «Выткался на озере алый свет зари...» (февральский и мартовский номера журнала за 1915 г.).

[10] В этом и других номерах журнала стихотворение «Городское» не печаталось.

19. А. А. Блоку, 9 марта 1915 г. (стр. 478).— «Поеду в Петроград, пойду к Блоку. Он меня поймет...» — говорил Есенин одному из своих московских знакомых в начале 1915 г. (*Воспоминания*, 133). Встреча состоялась 9 марта 1915 г. «Днем у меня рязанский парень со стихами»,— отмечает Блок в тот день в записной книжке. «Стихи свежие, чистые, голосистые...»— так высоко отозвался Блок (всегда требовательный к себе и другим поэтам) о стихах «рязанского парня». Блок со своими краткими рекомендательными письмами направляет Есенина к поэту С. М. Городецкому и литератору М. П. Мурашеву. «Направляю к вам талантливого крестьянского поэта-самородка. Вам, как крестьянскому писателю, он будет ближе, и вы лучше, чем кто-либо, поймете его. Ваш А. Блок». Внизу была приписка: «Я отобрал 6 стихотворений и направил с ними к Сергею Митрофановичу (Городецкому.— *Ю. П.*). Посмотрите и сделайте все, что возможно» (Блок Александр. Собр. соч., т. 8. М.—Л., 1970, с. 551). День первой встречи с Блоком стал одним из памятных в жизни Есенина. Талант его признал первый поэт России. Прощаясь, Блок подарил молодому рязанскому поэту книгу своих стихов. «Сергею Александровичу Есенину на добрую память. Александр Блок. 9 марта 1915. Петроград» — было написано на ее титульном листе.

20. Н. А. Клюеву, 24 апреля 1915 г. (стр. 478).— Письмо Есенина обращено к уже довольно известному в то время поэту северной русской деревни Николаю Алексеевичу Клюеву (1884—1937), автору многих журнальных публикаций (печататься начал с 1904 г.) и ряда поэтических книг. Первая из них «Сосен перезвон» вышла в 1912 г. с предисловием В. Брюсова. Лично Есенин с Клюевым встретился впервые осенью 1915 г. Отсюда берет начало их сложная, противоречивая «дружба-вражда», о которой Есенин говорит в автобиографиях. Находит это также отражение в письмах и стихах двух поэтов. См. коммент. к стихотворению «О, Русь, взмахни крылами...», с. 511 наст. изд.

[1] О С. М. Городецком см. коммент. на с. 532 наст. изд.

[2] На «рязанском языке» звучали многие поэтические строфы и строки первого его сборника «Радуница». Не обошлось при этом без «болезни» роста. Позднее, в 1921 г. Есенин в беседе с И. Н. Розановым подчеркивал: «С детства... болел я «мукой слова». Хотелось высказать свое и по-своему. Но было, конечно, много влияний и были ошибочные пути. Вот, например, знаете ли вы мою «Радуницу»?.. В первом издании у меня много местных рязанских слов. Слушатели часто недоумевали, а мне это сначала нравилось. Потом

я решил, что это ни к чему. Надо писать так, чтобы тебя понимали» (Розанов И. Н. Есенин о себе и других. М., 1926, с. 13—14).

[3] Имеется в виду статья «Земля и камень» в журн. «Голос жизни» (Пг., 1915, № 17, 22 апреля).

[4] Осенью Городецкий не смог организовать издание книги Есенина. «Радуница» вышла в феврале 1916 г.

[5] Литературно-художественное объединение «Краса» возникает весной 1915 г. Организационная инициатива исходила от Городецкого. Предполагался выпуск альманаха «Краса», других изданий, включая «Радуницу» Есенина, проведение литературно-музыкальных вечеров и встреч членов «Красы». Однако проведя свой первый вечер 25 октября 1915 г. в концертном зале Тенешевского училища, в котором участвовал и Есенин, «Краса» практически прекратила дальнейшую деятельность.

22. Д. В. Философову, июль — август, 1915 г. (стр. 480).— Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940) — публицист и литературный критик. С 1920 г. белоэмигрант. Поначалу, весной 1915 г. Есенин с явным расположением и открытостью воспринимает маститого литератора, одобрительно относившегося к его стихам. Однако, когда не без усилий Гиппиус, Мережковского и того же Философова вокруг молодого поэта из Рязани поднялся в столичных литературно-салонных кругах нездоровый сенсационный шум, Есенин резко изменяет свой взгляд на Философова, вплоть до негативного отношения. «Тогда, когда вдруг около меня поднялся шум, когда Мережковский, гиппиусы и философовы открыли мне свое чистилище и начали трубить обо мне... я презирал их — и с их деньгами, и со всем, что в них есть,— и считал поганым прикоснуться до них»,— писал Есенин 12 августа 1916 г. в Москву Н. Н. Ливкину (см. это письмо на с. 482 наст. изд.).

[1] Имеется в виду «Радуница» (1916 г.). Что касается второй, то, всего вероятнее, речь идет о задуманном Есениным в то время сб. «Авсень» (замысел не был реализован).

[2] Речь идет о стихотворении «Микола». Философов передал его в газ. «Биржевые ведомости» (25 августа 1915 г.).

[3] С отъездом в Петроград весной 1915 г., а затем — призывом на военную службу, Есенин не смог продолжать занятия в Московском городском народном университете им. А. Л. Шанявского.

[4] Будучи в 1915—1917 гг. в Петрограде, Есенин не смог их напечатать. Лишь в 1918 г. ему удалось опубликовать в московской газ. «Голос трудового крестьянства» (19 и 29 мая; 2 и 8 июня), более ста частушек, собранных и записанных им в рязанском крае. При этом вполне допустимо предположить, что некоторые из них были не только записаны, но и «сложены» самим Есениным, особенно на литературные темы.

[5] Журнал перестал выходить с июля 1915 г. По свидетельству одного из современников Есенина, «Голос жизни» распался из-за ссоры Философова с издателем (*Собр. соч.*, т. 6, с. 265).

23. М. В. Аверьянову, 16 ноября 1915 г. (стр. 480).— Аверьянов Михаил Васильевич (1867—1941) — издатель.

26. Н. Н. Ливкину, 12 августа 1916 г. (стр. 482).— Еще в 50-е годы довелось ознакомиться с письмом Есенина, относящимся к 1915 г., где речь шла о таком «дрянном человеке, как Ливкин», который сумел сделать ему, Есенину, зло: «Он вырезал из «Млечного Пути» несколько своих стихов и еще чужих и прислал их» в петроградский «Новый журнал для всех» с таким заявлением: «Если вы напечатали стихотворение Есенина, то, думаю, не откажетесь и наши». «Это подлость,— замечает Есенин и добавляет: — Я возмущен до глубины души (См.: *Собр. соч.*, т. 6, с. 61—62). Кто такой Ливкин, почему он так поступил со стихами Есенина? — никто в то время не знал. В начале 60-х годов удалось разыскать Николая Николаевича Ливкина, в недавнем прошлом работника типографии, находящегося на пенсии. Когда-то он вместе с Есениным печатал стихи в журн. «Млечный Путь». Он рассказал о «конфликте» с Есениным и о письме, полученном от Есенина из Петрограда, разрешив его напечатать. Тогда же оно было опубликовано (см.: Прокушев Ю. Есенин каким он был.— Журн. «Огонек», 1965, октябрь, № 40). Письмо свидетельствовало, как нелегко жилось Есенину поначалу в Петрограде и почему он вынужден был пойти на повторную журнальную публикацию отдельных своих стихов.

«По совету редактора «Млечного Пути» А. М. Чернышева,— заметил Ливкин во время нашей беседы,— я написал письмо Есенину с извинениями и объяснениями и получил ответ — это письмо. Но должен вам сказать откровенно, что я никогда не мог простить себе сам своего необдуманного, мальчишеского проступка. Что же касается моей мечты о «Новом журнале для всех», то я так и не попал на его страницы».

[1] Отправленное Ливкиным письмо Есенину — неизвестно.

[2] Есенин был призван в армию 26 марта 1916 г. Служил солдатом-санитаром в Царскосельском полевом военно-санитарном поезде № 143, неоднократно выезжал с поездом к линии фронта. Вся корреспонденция на поезд доставлялась в Феодоровский собор на имя Д. Н. Ломана, который был главноуполномоченным по этому поезду и одновременно ктитором (церковным старостой) собора. (Подробнее см.: Вдовин В. Материалы к биографии Есенина.— Журн. «Вопросы литературы», 1970, № 7, с. 171.)

[3] Имеется в виду «Новый журнал для всех», выходящий в Петрограде.

[4] Слова из арии Германна в опере «Пиковая дама» П. И. Чайковского.

27. Л. Н. Андрееву, 20 октября 1916 г. (стр. 484).— Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — известный русский писатель. В то время в газ. «Русская воля» возглавлял отделы беллетристики, критики, театра.

[1] 14 октября 1916 г. Есенин и Клюев побывали у писателя Ремизова Алексея Михайловича (1877—1957).

[2] Какие стихи, не установлено, в «Русской воле» Есенин не печатался. Оставленная книга — «Радуница». Еще в 1958 г. литературовед Г. В. Бебутов в Тбилиси любезно познакомил меня с этим экземпляром книги, хранившейся в его собрании с автографом Есенина. «Великому писателю Земли Русской Леониду Николаевичу Андрееву от полей рязанских, от хлебных упевов старух и молодок на память сердечную о сохе и поневе. Сергей Есенин. 1916. 14 окт. Пг.».

30. А. В. Ширяевцу, 24 июня 1917 г. (стр. 485).— Это острополемическое письмо воспринимается, по существу, как литературно-критическое эссе поэта (у Есенина есть ряд таких писем). В русской литературе от февраля к Октябрю семнадцатого года происходит дальнейшее, все более резкое, идейно-художественное размежевание писателей. Позднее, в дни вооруженного восстания, одни будут «на стороне Октября», другие — по ту сторону баррикад. Без учета этой исторической обстановки, трудно объяснить ту очевидную полемическую заостренность резких суждений, содержащихся в письме к Ширяевцу. Ведь они касаются не только Мережковских и К°, но вчера еще близкого Есенину по петроградскому периоду Сергея Городецкого и, наконец, Александра Блока. Отсюда же, на этот раз, идет явно сдержанное отношение к «самому лучшему из них» — В. Г. Белинскому, о котором еще сравнительно недавно поэт с такой теплотой отзывался в переписке с Панфиловым. Из письма видно, что Есенин в те годы был искренне убежден (как показало время не без достаточных на то оснований), что куда ближе стоят к народу в своем творчестве особенно в революционную пору писатели «крестьянской купницы» Клюев, Ширяевец, Клычков и др. (к ним поэт относит и себя), чем иные из тех «питерских литераторов», с которыми ему довелось встречаться в те годы. Ради истины заметим: в письме Ширяевцу чувствуется так же известное влияние на Есенина «скифских» идей Иванова-Разумника (см. о нем подробнее на с. 543 наст. изд.), при всей своей «революционности», по существу, имеющих идеалистический характер. На какое-то непродолжительное время «скифство» привлекает Есенина своим пафосом отрицания западного мира, якобы «заразившего» и «опутавшего» Россию мещанской бездуховностью. «Скифские» идеи находят свое выражение в его «Ино-

нии» (январь 1918 г.) и некоторых других поэмах и стихах 1917—1918 гг.

[1] Есенин имеет в виду одну из строк пушкинского стихотворения «Если жизнь тебя обманет...».

[2] Речь идет о великом художнике Древней Руси Андрее Рублеве (ок. 1360—70— ок. 1430).

[3] Имеется в виду византийский автор, живший в VI в., Индикоплов Косьма, см. о нем с. 518 наст. изд.

[4] Есенин подчеркивает суть расхождений между «крестьянской купницей» и «питерскими литераторами», напоминая при этом Ширяевцу о его стихотворении «Утес Разина» и полярно противоположном блоковском — «Новой Америке». Как это бывало не однажды в его письмах, поэт от частностей, как в данном случае, заложенных к тому же в подтексте, идет к емким, принципиальным обобщениям.

[5] Имеется в виду З. Н. Гиппиус.

[6] Есенин имеет в виду статью В. Г. Белинского «О жизни и сочинениях Кольцова». Высоко отзываясь о таланте и стихах воронежского поэта, Белинский с явным сожалением, сочувственно замечает, что, встречаясь с Кольцовым, он не заметил «никаких признаков образования». Вот почему, обладая «удивительными способностями», «глубоким умом», воронежский поэт «подобно всем самоучкам, образовывавшимся урывками... всегда чувствовал, что его интеллектуальному существованию недостает твердой почвы». То была горькая правда тогдашней российской действительности. Касалась она судьбы и таланта далеко не одного Кольцова. Разве Есенин не испытал на себе с юных лет, как трудно крестьянскому сыну доставалось образование в царской России! Он чувствовал это всю жизнь. Всю жизнь он слышал и читал о себе, что ему, Есенину, явно недостает образования и культуры. Возникает эта «легенда» в петроградских салонах еще в 1915 г.

Чувство личной сопричастности к тому, что когда-то довелось пережить Кольцову, что по-своему испытал на себе Есенин, особенно в пору общения с «питерскими литераторами», определяло его негативную реакцию (понятную и объяснимую в данных условиях) на объективно справедливые суждения Белинского, относительно недостаточности образования воронежского поэта.

[7] Миролюбов рассказал Есенину об «обиде» Ширяевца на Блока, с которым ему так и не удалось встретиться. Возникает вопрос: почему спустя три месяца после встречи с Есениным Блок не принимает другого поэта и лишь через горничную передает ему свою книгу с автографом? Сравним с этой целью два беспристрастных документа, многое проясняющих в этом вопросе.

«Глубокоуважаемый Александр Александрович,— обращается 1 июня 1915 г. Ширяевец к Блоку с запиской,— не откажите в просьбе надписать эту книгу стихов Ваших о России, Я глубоко ува-

жаю Вас.., Мне страшно хочется иметь Ваш автограф... Имею автографы З. Гиппиус и Д. С. Мережковского, надеюсь, и Вы не откажете. Напишите хотя бы в таком духе — «убирайтесь к черту»... С совершенным почтением Александр Ширяевец». По записке трудно представить, что автор ее поэт, который хотел бы почитать стихи Блоку, что ему надо обязательно с ним поговорить. Подписав книгу, Блок просит домашних передать ее автору записки. И — все. Ведь ни о чем больше на этот раз его не просили, тем более о встрече с ним. Думается, что во многом виноват здесь сам Ширяевец, просительный тон его письма-записки. Вспомним обращение к Блоку Есенина: «Александр Александрович! Я хотел бы поговорить с Вами. Дело для меня очень важное... Хотел бы зайти часа в 4». Никаких автографов. Принять — для серьезного разговора. Опять же, судя по записке, автор ее поэт («может быть... встречали по журналам мою фамилию»). Как мы знаем, Блок принимает Есенина, слушает его стихи, дарит книгу с автографом. Остается сожалеть, что подобной встречи Ширяевца с Блоком не было ни летом пятнадцатого года, ни позднее. Виноват ли в этом был только Блок один, как тогда, не зная всех обстоятельств, думал Есенин. Такое предположение вряд ли правомерно. Скорее наоборот.

[8] В 1915—1916 гг. в Петрограде некоторое время действует литературно-художественное общество «Страда». Одним из активных организаторов его был близкий друг Есенина по петроградскому периоду — М. П. Мурашев. В апреле 1916 г. общество выпустило свой первый сборник «Страда». В нем Есенин печатает стихотворение «Теплый вечер». Второй сборник «Страды» вышел в 1917 г. Стихов Есенина в нем не было. Общество «Страда» практически распалось еще весной 1916 г. Второй сборник оказался последним. Все это позволило Есенину справедливо заметить в письме, что «это просто случайные сборники».

[9] Речь, вероятно, идет о сб. «Голубень», первое издание которого вышло в 1918 г. (изд. «Революционный социализм»).

[10] Очевидно, имеется в виду сб. «Красный звон» (Пг., 1918 г.). Стихов Ганина и Клычкова в нем нет.

[11] Во втором сб. «Скифы», который готовил к печати летом 1917 г. Иванов-Разумник и который вышел в декабре того же года, стихов Ширяевца нет. Журн. «Заветы» в это время перестал выходить.

34. В Профессиональный Союз писателей, до 17 декабря 1918 г. (стр. 489).— На этом письме-заявлении Есенина отмечено: «Принят 17.XII—918». Двумя поручителями Есенина при вступлении в Московский профессиональный Союз писателей, который позднее (в 1921 г.) был преобразован во Всероссийский союз писателей, были писатели И. Белоусов и Ю. Бунин.

35. В Литературно-художественный клуб... февраль, не ранее 23, — март, не позднее 3, 1919 г. (стр. 490).— В ноябре 1918 г. при Союзе советских журналистов организуется Советская секция союза писателей-художников и поэтов. Есенин избирается в состав президиума секции. В начале марта 1919 г. при этой секции открывается литературно-художественный клуб. Заявление о приеме в который подает Есенин. (Подробнее см.: Вдовин В. Материалы к творческой биографии С. Есенина.— «Вопросы литературы», 1975, № 10.)

37. А. В. Ширяевцу, 26 июня 1920 г. (стр. 491).

1 Сборник предполагало выпустить изд. «Московская трудовая артель художников слова». Книга не выходила.

2 Вспомним, с каким радостным соучастием встретил Есенин выход первой книги Орешина «Зарево» (см. рец. на эту книгу в наст. изд., с. 446 и коммент. к ней на с. 538).

3 Есенин имеет в виду сборник Ширяевца «Край солнца и Чимбета (Туркестанские мотивы)», который вышел в Ташкенте (1919 г.).

4 Этот сборник был выпущен московским изд. «Злак» в 1920 г.

38. Е. И. Лившиц, 11 — 12 августа 1920 г. (частично) (стр. 492).— В 1920 г. в Харькове Есенин знакомится с Лившиц Евгенией Исаковной (1901—1961). Ей адресовано несколько писем поэта.

1 Есенин вспоминает здесь, очевидно, строки стихотворения А. К. Толстого «Юнкер Шмидт», входящего в знаменитые «Сочинения Козьмы Пруткова».

2 Именно этот взволновавший Есенина эпизод с жеребенком послужил основой для создания образа «красногривого жеребенка» в «Сорокоусте» (См. с. 159 наст. изд.).

3 Утопические мечты о социализме, как «золотом веке» и свободном «мужицком рае» на земле, столь вдохновенно воспетые поэтом в его «Инонии» (1918 г.), оказались иллюзорными. Они вступили в кричащие противоречия с суровой революционной действительностью эпохи военного коммунизма. Именно в этот сложный период классовых битв, требовавших от художника особенно четкой и ясной позиции, и проявился наиболее ощутимо «крестьянский уклон» Есенина, о котором он писал в автобиографии «О себе» в октябре 1925 г., подчеркивая, что «в годы революции был всецело на стороне Октября». Не следует думать, что этот «уклон» — следствие только субъективных сторон мировоззрения и творчества поэта. Во взглядах, а главное, произведениях Есенина прежде всего находили свое отражение те конкретные, объективные противоречия, которые были характерны для русского крестьянства в период пролетарской революции.

4 Есенин имеет в виду остров Святой Елены, где в ссылке умер Наполеон.

39. Р. В. Иванову-Разумнику, 4 декабря 1920 г. (частично) (стр. 493).

[1] С переездом Есенина в марте 1918 г. из Петрограда в Москву он с Ивановым-Разумником не встречался.

40. Р. В. Иванову-Разумнику, май 1921 г. (частично) (стр. 494).— Этот черновой вариант письма, адресованного Иванову-Разумнику, был составлен Есениным во время его пребывания в Ташкенте весной 1921 г. Письмо осталось незаконченным. Адресат его не получил. Оно сохранилось в архиве Ширяевца. Письмо относится к тому периоду, когда Есенин, создавая поэму «Пугачев», стремится реализовать в художественной практике, разработанные им в эти годы теоретические эстетические принципы в области поэтики, изложенные в его трактате «Ключи Марии». В некоторых моментах в письме чувствуется влияние «теоретиков» имажинизма, считающих традиционную реалистическую поэтику — устаревшей.

[1] Имеется в виду письмо Есенина к Иванову-Разумнику от 4 декабря 1920 г.

[2] Есенин приводит рифму одной из строф поэмы «Пугачев»: «Мне нравится степей твоих медь // И пропахшая солью почва. // Луна, как желтый медведь, // В мокрой траве ворочается».

[3] Несколько измененная рифма одной из строф поэмы «Кобыльи корабли»: «Им не нужно бежать в туда — // Здесь, с людьми бы теперь ужиться. // Бог ребенка волчице дал, // Человек съел дитя волчицы».

[4] Строки из поэмы «Кобыльи корабли».

[5] Строки из поэмы «Кобыльи корабли».

[6] См. коммент. к статье «Быт и искусство» на с. 543 наст. изд.

45. Г. А. Бениславской, 17 октября 1924 г. (частично) (стр. 499).— Бениславская Галина Артуровна (1897—1926) — издательский работник, журналист, с 1923 г. сотрудник редакции газеты «Беднота». Знакомство Бениславской с Есениным относится к концу 1920 г. Дружеские отношения между ними складываются позднее, в 1924—1925 гг. В это время Бениславская активно и постоянно помогает поэту в его издательско-редакционных делах как заботливый друг. «Галя милая! Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного... Это гораздо лучше и больше, чем чувствую к женщинам. Вы мне в жизни без этого настолько близки, что и выразить нельзя»,— пишет Есенин Бениславской из Ленинграда 15 апреля 1924 г. (*Собр. соч.*, т. 6, с. 143). Впервые о письмах Есенина, адресованных Бениславской, с частичной их публикацией, было рассказано на родине поэта еще в 1955 г. (см.: Прокушев Ю. Сергей Есенин. Литературные

заметки и публикация новых материалов. — Альм. «Литературная Рязань», 1955, № 1, с. 331—336).

[1] Поэма была напечатана в одном из сентябрьских номеров газ. «Заря Востока». Уже после этой публикации Есенин сделал ряд исправлений и уточнений в тексте «Песни...» и прислал его Бениславской. «Сейчас он (Есенин.— *Ю. П.*) в Тифлисе... Прислал исправленную «Песнь о великом походе». Просит поправки прислать Вам»,— сообщала 13 ноября 1924 г. Бениславская в Ленинград поэту Вольфу Эрлиху (см. Э р л и х В о л ь ф. Право на песнь. Л., 1930, с. 72). К письму был приложен список поправок.

[2] Берзинь *Анна Абрамовна* (1897—1961) — писательница, издательский работник. Как редактор отдела крестьянской литературы Госиздата, участвует в выпуске отдельным изданием «Песни о великом походе» и других сборников Есенина.

[3] В Ленинградском отделении Госиздата такой сборник не выходил.

[4] *Казин* Василий Васильевич (1898—1981) — поэт. Заведовал отделом поэзии журн. «Красная новь», где печатался Есенин.

[5] Поэма Есенина в этом журнале не публиковалась.

[6] Принцип составления и построения этого тома (издание не было осуществлено) будет в дальнейшем положен Есениным в основу своего трехтомного Собрания стихотворений, договор на выпуск которого он подписал с Госиздатом в июне 1925 г.

46. Г. А. Б е н и с л а в с к о й, 2 9 о к т я б р я 1 9 2 4 г. (ч а с т и ч н о) (стр. 499).

[1] Сборник в Москве не выходил. Осталось так же не осуществленным намерение поэта выпустить его в Тифлисе (см. письмо Есенина к Бениславской, конец ноября 1924 г.) или Баку (см. письмо к Чагину от 14 дек. 1924 г.). Позднее так был назван раздел в сборнике «Персидские мотивы».

[2] Имеется в виду том Собрания стихов и поэм Есенина, который был выпущен изд. З. И. Гржебина в 1922 году в Берлине.

47. Г. А. Б е н и с л а в с к о й, к о н е ц н о я б р я 1 9 2 4 г. (стр. 500).

[1] Книги не были изданы.

[2] Имеется в виду поэма «Анна Снегина», работа над ней была завершена в январе 1925 г.

48. П. И. Ч а г и н у, 1 4 д е к а б р я 1 9 2 4 г. (ч а с т н ч н о) (стр. 501).— Чагин Петр Иванович (1896—1967) — видный партийный и издательский работник, журналист. В годы знакомства с Есениным — редактор газ. «Бакинский рабочий». В этой газете впервые напечатана «Анна Снегина» и многие стихи поэта. С предисловием Чагина в Баку вышел сб. стихов Есенина «Русь советская». Поэт посвятил ему свои «Персидские мотивы» и стихотворение «Стансы».

[1] В Батуми в январе 1925 г. была завершена «Анна Снегина».

[2] См. коммент. к письму Г. А. Бениславской от 29 окт. 1924 г. наст. изд.

[3] 26 октября 1924 г. газ. «Заря Востока», редактором которой был *Лифшиц* (Лившиц) Михаил Осипович, напечатала стихотворение Есенина «Стансы». В нем Чагин, обращаясь к поэту, говорит: «Давай, Сергей, за Маркса тихо сядем...» Эти-то строчки и напоминал Лившиц Есенину.

49. Г. А. Бениславской, 20 декабря 1924 г. (частично) (стр. 501).

[1] Речь идет о критике-публицисте А. К. Воронском, ответственном редакторе журн. «Красная новь». В то время рапповские круги активно выступают против этого журнала и его редактора, широко публикующего на своих страницах произведения так называемых «писателей-попутчиков». Со своими стихами в журнале часто выступали Маяковский и Есенин. Введение в состав редакционной коллегии журнала Ф. Раскольникова и Вл. Сорина, придерживающихся сектантско-рапповской ориентации, ослабляло позиции Воронского как ответственного редактора. Сообщение Бениславской об этих «затруднениях» Воронского в журнале и расстроило Есенина.

[2] Есенин приводит в своей «редакции» строки из поэмы «Домик в Коломне». У Пушкина они звучат так: «К чему? скажите; уж и так мы голы. // Отныне в рифмы буду брать глаголы».

[3] Таков, очевидно, был первоначальный замысел. Первое издание книги «Персидские мотивы» включало 10 стихотворений цикла, позднее им были написаны еще пять. В окончательной редакции цикл включает 15 стихотворений.

50. П. И. Чагину, 21 декабря 1924 г. (стр. 502).

[1] Какие стихи, не установлено.

[2] 4 января 1925 г. в однодневной газ. «Арена» было помещено стихотворение «Цветы».

[3] «С любовью и дружбой Петру Ивановичу Чагину» — с таким посвящением вышел сб. «Персидские мотивы», выпущенный изд. «Современная Россия» в июне 1925 г.

52. Т. Ю. Табидзе, 20 марта 1925 г. (стр. 503).— Табидзе Тициан Юстинович (1895—1937) — выдающийся грузинский поэт. Знакомство Есенина с ним состоялось осенью 1924 г. в Тифлисе. Тогда же Есенин встречается с поэтами, о которых говорится в письме,— Паоло Яшвили (1896—1941), Георгием Леонидзе (1899—1966), Валерьяном Гаприндашвили (1889—1941) и др. «Милому Тициану в знак большой любви и дружбы. Сергей Есенин. Тифлис. Фев. 21/25» — пишет поэт на своей книге «Страна Советская» Т. Табидзе. О пребывании Есенина в Грузии и встречах с ним рассказывают в своих воспоминаниях Т. Ю. Табидзе, Н. А. Табидзе, Г. Н. Леонидзе (см.: *Воспоминания*, с. 376—392).

53. Н. Н. Накорякову, 27 марта 1925 г. (стр. 503).— Накоряков Николай Никандрович (1883—1970) — писатель, издательский работник. Член коллегии Госиздата, в то время заведовал отделом художественной литературы.

Мысль об издании своего журнала, особенно в последние годы жизни, возникала у Есенина не однажды. Так, осенью 1923 г., вскоре после возвращения из-за рубежа, он говорил Ивану Грузинову: «Хочу органзовать журнал. Буду издавать журнал. Буду работать, как Некрасов» (см.: Грузинов Иван. Есенин разговаривает о литературе и искусстве. М., 1927, с. 14).

[1] По свидетельству поэта В. Наседкина, замысел об альманахе возникает у Есенина в марте 1925 г. после возвращения с Кавказа. Есенин считал, что «Поляны» «должны стать вехой современной литературы, с некоторой ориентацией на деревню» (*Воспоминания*, с. 432).

[2] Альманах не выходил. На организационной стороне дела сказался, очевидно, отъезд Есенина в конце марта на Кавказ. Однако, по свидетельству того же Грузинова, «мысль о создании журнала до самой смерти не покидает Есенина». Осенью 1925 г. «он набрасывает проект первого номера журнала» (*Воспоминания*, с. 284). Наконец, уезжая в декабре в Ленинград, он предполагает там «через Ионова устроить свой двухнедельный журнал» (*Воспоминания*, с. 439).

[3] Накоряков не только распорядился о приеме первого номера к оплате гонорара, но и особо подчеркнул, что это интересное предложение «можно и нужно держать в орбите внимания».

55. В Литературный отдел Госиздата, 17 июня 1925 г. (стр. 504).— Намерение издать Собрание стихов и поэм возникает у Есенина значительно раньше. В 1924 г. Есенин пытается решить вопрос о подготовке Собрания стихотворений в Госиздате (см. его письма к Бениславской, с. 500 наст. изд.). В июне 1925 г. он получает согласие Госиздата на выпуск трехтомного Собрания стихотворений. Собрание было подготовлено к печати при жизни поэта. В декабре 1925 г. трагически обрывается жизнь поэта. В те дни «Известия» сообщали: «В целях увековечивания памяти Сергея Есенина Государственное издательство решило развернуть это (трехтомное.— *Ю. П.*) уже находящееся в печати издание в Полное собрание сочинений Есенина, включая и прозу. Первый том, в который входят лирические стихотворения, выйдет в свет в конце января; второй и третий тома — в течение февраля. Сейчас же приступлено к составлению четвертого тома, в который должны войти все произведения поэта, оставшиеся в рукописях, а также не вошедшие в предыдущие три тома» («Известия», 1926, 10 января). Это были знаменитые ныне четыре есенинских томика с березками.

56. А. М. Горькому, 3 июля 1925 г. (стр. 505).— С автографом этого письма, в свое время забытого и неизвестного

в литературе, довелось ознакомиться еще в пятидесятые годы и тогда же впервые напечатать его (см.: П р о к у ш е в Ю. Сергей Есенин. (Литературные заметки и публикация новых материалов).— Альманах «Литературная Рязань», 1955, книга 1, с. 340). Беседуя в те годы с С. А. Толстой-Есениной, я поинтересовался, что побудило Сергея Есенина обратиться к Горькому и что тот ответил поэту. Она рассказала, что, когда летом 1925 г. Есенин узнал, что Горький интересуется его стихами, особенно последних лет, и хотел бы их иметь, он написал ему письмо. Как всегда, своих книг под рукой у Есенина не оказалось. Через какое-то время часть их нашли. Вскоре Есенин уезжает на Кавказ. Вернувшись в сентябре в Москву, решает дождаться выхода первых томов своего Собрания и послать их с письмом в Италию Горькому. В декабре 1925 г. Есенин умирает. В первые месяцы 1926 г. выходят I и II тома его Собрания. Эти два тома, вместе с копией письма Есенина С. А. Толстая-Есенина отправляет летом 1926 г. в Италию Горькому.

Известно, с каким уважением и любовью Есенин относился к Горькому с их первых встреч в Петрограде в 1915—1916 гг. Тогда же он подарил Горькому свою «Радуницу»: «Максиму Горькому, писателю земли и человека от баяшника соломенных суемов Сергея Есенина на добрую память. 1916 г. 10 февраля, Петроград». Они виделись и позднее, включая Берлин и Италию. Груздинов вспоминает: «Есенин передавал мне, что, будучи в Италии, он посетил Максима Горького. Читал ему «Черного человека». Поэма произвела на Горького большое впечатление. Горький прослезился» (Г р у з и н о в И в а н. Есенин разговаривает о литературе и искусстве. М., 1927, с. 13).

По свидетельству С. А. Толстой-Есениной, Сергей Есенин был глубоко убежден, что Горький скоро вернется на родину и что он, Есенин, обязательно с ним встретится вновь. «Мы потеряли великого русского поэта,— писал Максим Горький, потрясенный смертью Есенина,— какой чистый и какой русский поэт...» «Мне кажется, что его стихи очень многих отрезвят и приведут в себя...» — скажет Горький после выхода первого тома Собрания Есенина. Несколько позднее, сообщая С. А. Толстой-Есениной о работе над очерком «Сергей Есенин», он просит ее прислать «две-три наиболее бесстыдные и плохие книжки» о поэте, чтобы возразить их авторам. Вскоре после этого Горький резко отрицательно отозвался о «Романе без вранья» А. Мариенгофа: «Фигура Есенина изображена им злостно...» Время, естественно, внесло свои отдельные коррективы в мысли и раздумья Горького о Есенине — поэте и человеке. Но бесспорно одно: для Горького Есенин навсегда остался великим русским поэтом.

[1] Есенин встречается с Горьким в Берлине в мае 1922 г. у А. Н. Толстого. Его жена, Н. В. Толстая-Крандиевская вспоми-

нает: «В этот год Горький жил в Берлине. «Зовите меня на Есенина,— сказал он однажды,— интересует меня этот человек». Было решено устроить завтрак в пансионате Фишера, где мы снимали две большие меблированные комнаты... Приглашены были Айседора, Есенин и Горький» (*Воспоминания*, с. 323). М. Горький в очерке «Сергей Есенин» рассказывал об этой встрече.

[2] Есенин, очевидно, имеет в виду журн. «Красная новь» и «Прожектор», ответственным редактором которых был Воронский.

57. Я. Е. Цейтлину, 13 декабря 1925 г. (стр. 505).

Цейтлин (псевд. Цветов) Яков Евсеевич (1910—1977) — в 1925 г. работал наборщиком в типографии в г. Николаеве. Первые стихи опубликовал в 1924 г. в газ. «Красный Николаев». В 1928 г. выпустил книгу стихов «Жажда». В дальнейшем журналист-очеркист в газетах «Комсомольская правда», «Социалистическое земледелие», «Известия», где выступает под псевдонимом «Цветов». В годы Отечественной войны — военный корреспондент «Правды». После войны выходят его книги «Повесть о Кирилле Орловском», «Выбор Ивана Демина» и роман «Птицы поют на рассвете», принесший известность автору.

О письме Есенина к Цейтлину (Цветову) впервые упоминает в своих воспоминаниях «Как жил Сергей Есенин» С. Виноградская, напечатавшая их в 1926 г. в биб. «Огонька». Однако текст письма оставался неизвестным. В 1956 г. в архиве С. А. Толстой-Есениной я познакомился с этим письмом. Она рассказала его историю:

«Случилось так, что последним адресатом Есенина стал рабочий паренек из города Николаева, комсомолец, увлекающийся поэзией, пишущий стихи. Несколько своих стихотворений он прислал Сергею: просил совета, поддержки, помощи. В письме он рассказывал о восторженном отношении молодых литераторов города Николаева к поэзии Есенина, «жаловался», что у них в библиотеке нет книг Сергея, просил, если возможно, прислать им хотя бы один из его стихотворных сборников. Насколько я помню,— продолжала Софья Андреевна,— стихи молодого николаевского поэта понравились Сергею своей искренностью чувств. Он написал об этом их автору. Письмо Есенина было проникнуто заботливым отношением к молодому поэту, его стихам. Из Николаева вскоре пришло восторженное ответное письмо, полное благодарности к Сергею. Но... Есенину было не суждено его прочитать. Письмо это было получено после смерти Сергея Александровича. Позднее след молодого поэта из Николаева затерялся. Неизвестно, где он находится и сегодня. Жив ли он?»

Прошло немало времени, прежде чем в 1962 г. (почти сорок лет спустя) мне удалось найти автограф письма Цейтлина (Цветова) и его стихов, которые он послал Есенину, а позднее, в начале 70-х го-

дов, разыскать его самого. (Подробнее см.: Прокушев Ю. Последний адресат Есенина.— Журн. «Москва», 1980, № 10, с. 200—212.)

[1] 25 мая 1925 г. Цейтлин отправил Есенину свое письмо. Вот несколько отрывков из этого волнующего человеческого документа романтической эпохи двадцатых годов:

«Дорогой Сергей Есенин!

Я вот уже 2 года имею сильнейшее желание снестись с тобой... И вот я решил прибегнуть к письму... Прости, что так вихрасто пишу, ибо и сейчас при твоем имени я волнуюсь и сердце готово выпрыгнуть и умереть... (Не раз я собирался писать — но письма не получалось, а одни истерические крики...) Разве можно свое чувство выразить словами... Мне нужен огонь, но, увы, словами огня не высечь мне (бездарен я!).

Я член гр. писат. «Октябрь», та самая, что ругает тебя! (Недаром она мне, «горячему», так чужда!) Опять о себе!.. Дорогой Сергей, читая Байрона, Пушкина, Лермонтова, и, наконец, лирику Надсона и в корне изучив современную литературу — у меня создалось впечатление, что ты единственно настоящий поэт... Провинция сейчас преклоняется перед тобой (в городе одна лишь «Радуница»), а поклонников... не сосчитать!.. Но это нам не мешает «болезненно» следить за тобой по журналам. У нас очень много есенинцев (так они и прозваны) — рабочие женотделы, студенты, мещане, комсомольцы и даже пионеры... (У каждого сердце «есенинское»!) И вот, в корне изучив тебя, делаем везде о тебе доклады. А по ночам ходим и, как помешанные, пьем ведрами твои стихи!..

Дорогой Сергей, помоги нам! Оживи нас!!! Если ты нам пришлешь свои стихи (книги), мы будем счастливейшими в мире! Пожалуйста, Сергей! Я за твой «Березовый ситец» последние свои брюки готов загнать. Сергей, ты — гениален!!! Ты единственный поэт, который заставил меня трепетать перед твоим именем...» Письмо заканчивается настойчивой просьбой —ответить и, главное, прислать свои книги: «Если не возгордишься и мне ответишь, пошлю свои стихи тебе... Дорогой Сергей, пожалуйста, ответь... Твой ответ осчастливит наш город, а в особенности твоих детей ЕСЕНИНЦЕВ. И по возможности свои книги... книги... Дорогой Сергей, ответь! С комсомольским приветом от всех твоих поклонников. Яков Цейтлин.

Мой адрес: г. Николаев, Адмиральская ул., № 23. Якову Цейтлину... Пришли свой адрес...»

[2] Имеется в виду кто-то из работников редакции журн. «Прожектор», куда Цейтлин направил свои стихи и письмо Есенину.

[3] Цейтлин послал четыре стихотворения: «Наган», «Дума», «Ответ». Последнее — «Письмо брату», судя по письму Есенина, привлекло его внимание, особенно третья строфа:

Вспоминаю я тебе о старом;
(Для меня ты денег не жалей!)
Привези из города в подарок
Красноперых пару голубей...

(Цит. по автографу, хранящемуся в моем архиве.)

[4] Есенин имеет в виду последнюю строку в следующей строфе стихотворения «Письмо брату»:

У меня за клуней голубятня.
Чужаки не ловятся на рожь...
И назло всем деревенским парням
Ты мне будешь помощником... хошь?.,

СОДЕРЖАНИЕ

Персидские мотивы

Маленькие поэмы

Поэмы

ПРОЗА

Повести, рассказы, очерки

Из автобиографической прозы

Из критической прозы

Из эпистолярной прозы

Из писем к Г. А. Панфилову

Из зарубежных писем

Из писем о литературе

Есенин С. А.

Е 82 Избранное / Сост., вступ. статья и коммент. Ю. Прокушева; Худож. О. Рытман.— М.: Худож. лит., 1985.— 575 с., портр., ил. (Школьная б-ка).

Настоящее издание включает избранную поэзию и прозу С. Есенина. В поэтический раздел вошли стихотворения, «маленькие поэмы», поэмы. В разделе прозы — повесть «Яр», рассказ «Бобыль и Дружок», очерк «Железный Миргород», а также избранные автобиографии поэта, его критические статьи и письма.

Е $\frac{4702010200\text{-}276}{028(01)\text{-}85}$ 91-85

ББК 84Р7
Р2

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН

ИЗБРАННОЕ

Редактор Н. Гришкина
Художественный редактор Г. Масляненко
Технический редактор И. Жаворонкова
Корректоры Л. Лобанова, И. Макаревич

ИБ № 3742

Сдано в набор 15.11.84. Подписано к печати 28.01.85. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага кн.-журн. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 30,24+форзац=30,46. Усл. кр.-отт. 30,66. Уч.-изд. л. 30,09+форзац=30,47. Тираж 370 000 экз. (2 завод 200 001—370 000). Изд. № II-1835. Заказ 5-503. Цена 1 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первой Образцовой типографии» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28

Отпечатано на Киевской книжной фабрике республиканского объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР. Киев, ул. Воровского, 24.

Спит
И
Н
Не мне теплынь.

1р.30к. ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА